95+83
1168

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[8] 2004

НОВЫЙ РОМАН ГРЭМА СВИФТА "СВЕТ ДНЯ" / "В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ" КОНСТАНТИНОСА КАВАФИСА В РУБРИКЕ "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ" / "ПОЕЗДКА В РОССИЮ" МИРОСЛАВА КРЛЕЖИ В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / СТАНИСЛАВ БАРАНЧАК В РУБРИКЕ "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА" / "НА ЛОНДОНСКОЙ СЦЕНЕ" МАРИИ КАРП В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Основан в 1891 году

[8]
2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Грэм Свифт. *Свет дня.* Роман. Перевод с английского Л. Мотылева

143 Жан-Клод Пенсон. *Стихи.* Перевод с французского и вступление Александра Давыдова

148 Яна Симон. *Ведь мы – другие. История Феликса С.* Роман. [Окончание.] Перевод с немецкого Н. Федоровой

Вглубь стихотворения

216 Константинос Кавафис. *В ожидании варваров.* Переводы с греческого. Вступительная статья Ирины Ковалевой

Из классики XX века

231 Мирослав Крлежа. *Поездка в Россию.* Главы из книги. Перевод с хорватского и вступление Натальи Вагаповой

Трибуна переводчика

274 Станислав Баранчак. *Малый, но максималистский манифест переводчика...* Фрагменты эссе. Перевод с польского И. Киселевой

Письма из-за рубежа

286 Мария Карп. *На лондонской сцене*

Среди книг

289 Николай Мельников. *Постмодернист при дворе короля Артура.* Ольга Канунникова. *Примы и фигуранты русского Парижа*

БиблиофИЛ

297 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

299

Авторы номера

302

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Грэм Свифт

Свет дня

Роман

Перевод с английского Л. Мотылева

Посвящается Кэндейс

В любви и на войне все честно.

1997

1

"Что-то на тебя нашло".

Рита сказала это два с лишним года назад и теперь знает, что нашло всерьез и надолго.

Что-то с нами случается. Переступаем черту, открываем дверь, которой раньше не замечали. Этого вообще могло не случиться, мы могли так и остаться в неведении. Может, большая часть жизни — всего-навсего отбытый срок.

Утренний поток машин по уимблдонскому Бродвею[1]. Белые струйки выхлопов. Когда отпираю снаружи уличную дверь, дыхание вылетает облачками.

"Что-то на тебя нашло, Джордж".

Она поняла даже раньше, чем я. Не зря она на этой работе — чует, что носится в воздухе. Скоро уйдет от меня, я жду этого со дня на день. Я тоже чую, что в нем носится.

© Graham Swift, 2003
© Л. Мотылев. Перевод, 2004
Роман выйдет отдельной книгой в Издательстве Ольги Морозовой.
1. Уимблдон — район на юго-западе Лондона. Бродвей — улица в Уимблдоне. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

Она, конечно, уже на месте. Бывало ли иначе? Говорит, плохо спит эти дни. "Эти дни" уже длятся годы. Каждый раз просыпается ни свет ни заря, так почему нет? Занятие всегда найдется. А я попозже. Привилегия начальника. Хотя нет и половины девятого, а вчера я освободился только в третьем часу ночи. И сегодня особый день.

Дойдя до верха лестницы, слышу щелчок и шипение включаемого чайника, явно уже горячего. Компьютер в ее маленьком отсеке (мы называем его приемной, но это слишком лестное слово) работает. Кажется, что она провела здесь всю ночь.

— Холодно, — говорит она, ежась от воздуха, который я принес, и легонько кивая в сторону внешнего мира.

— Но красиво, — говорю я.

Она-то, похоже, явилась сюда еще в сумерки.

— Кофе, чаю? — спрашивает она, игнорируя и мою улыбку, и высказывание, точно настаивая, что мне наверняка тяжело было взять старт.

Но сонливости у меня сейчас нет, хотя, казалось бы, должна быть. Я умею урвать когда можно, взять свое, покемарить. Профессиональное. Ну а Ритины трудности со сном, если честно (порой она бывает на этот счет честна), не со сном связаны.

"Пустая постель, Джордж, в ней все дело. Был бы кто..."

— Чаю, Рит. Хорошего, крепкого.

На ней угольно-черная юбка и светло-розовая кофточка из мягкой шерсти. На шее простая серебряная цепочка. Маленькие блестящие сережки-гво́здики, легкий аромат духов. Кто-кто, а Рита всегда следит за собой. Приходится, ведь мы имеем дело с клиентами.

Но светло-розовый — это ее флаг, любимый цвет. Почти белый — белый с чуть заметным румянцем. Я видел его на ней много раз. Я видел на ней пушистый халат такого же нежного розового оттенка, неплотно запахнутый поверх голых грудей. В руках поднос с утренним чаем.

Вхожу в кабинет, дверь оставляю открытой. В мое окно на втором этаже льется свет, слепящий свет низкого солнца холодным ноябрьским утром. Свет, который попадает в Ритин отсек только сквозь лед полупрозрачного дверного стекла.

Она входит следом за мной с чаем для нас обоих и с бумагами под мышкой. Эти утренние совещания — ежедневный наш обычай, и она даже не ждет, пока я устроюсь, сниму куртку, включу свой компьютер, сяду. Солнце греет сквозь оконное стекло, хотя снаружи морозно.

Ставит передо мной чай, уже прихлебывая свой, глядя на меня поверх чашки. Кладет бумаги на стол, пододвигает себе другой стул — "клиентский". Пересекает слой яркого света.

Это очень напоминает брак. Мысль приходила в голову нам обоим. Мы знаем, что это лучше великого множества браков. Рита моя помощница, моя партнерша — ну, не совсем партнерша. Перечень ее служебных обязанностей никогда не был высечен на камне, но у меня язык бы не повернулся назвать ее секретаршей (хотя она, помимо прочего, и секретарша).

"Будь ангелом, Рит".

"А кто я, по-твоему, Джордж?"

Что бы я без нее делал?

Скоро уйдет от меня, со дня на день. Объявит утром — таким же, как сегодняшнее. Чай принесет только мне, бумаги не положит на стол, а будет крепко прижимать к себе на манер щита, сесть не сядет. Скажет "Джордж" таким тоном, что я вскину глаза, и через некоторое время мне

придется сказать: “Да сядь же ты, Рита, ради всего святого”, и она сядет напротив меня, как клиентка.

“Очень приятно было иметь с тобой дело, Джордж. Очень приятно было работать с тобой, но...”

Она знает, какой сегодня день. Четверг день особый, но сегодня не просто четверг, еще и дата. Двадцатое ноября. Два года — если считать с *того* дня. Два года, и это не выдохлось. А раз так, будет длиться еще годы, сколько бы их ни оказалось. Прошло то время, когда она могла спросить меня (и спросила однажды): “Как ты можешь, Джордж, — *к ней?*” Или когда сама себе могла сказать: да, он рехнулся, он не в своем уме, но это пройдет, он очухается, надо только набраться терпения. Образумится, никуда не денется. А пока лучшая гарантия, лучший сдерживающий фактор — место, где находится эта женщина.

Хоть и не сразу, она, думаю, смирилась с этим — даже стала уважать. Факт, особенность. Каждый второй четверг мистер Уэбб отлучается “по делам”. Я даже видел в ее глазах грустное доброе понимание. Потому-то и думаю, что она уйдет.

— Это для миссис Лукас — сегодня во второй половине дня. В пять сорок пять. Раньше никак не может. — Быстрый взгляд. — Ты уже вернешься?

Мы оба знаем, что лежит в конверте. Фотографии. Мужчина и женщина в номере отеля. Увеличено до размера шесть на девять, чуть размыто, но лица вполне распознаваемы. На аппаратуру в наши дни можно положиться. Готовые снимки — особая печать, частный контракт — забирает Рита. Мужчина и женщина занимаются известно чем. Но такие изображения не удостаиваются даже вскинутой брови, Ритиной или моей. Бегло взглянуть, и только. Карточки спокойно лежат между нами на столе, как утренняя почта.

Наш хлеб. Видно там, кто есть кто? Самое важное.

— Да, я вернусь к пяти тридцати.

— И мне просто говорить, — она не делает особенного нажима, — что до этого времени тебя не будет?

— Но я не уйду раньше десяти. Утром еще смогу отвечать на звонки.

— Хорошо.

— Красиво там, — говорю опять. — Холодно, но красиво.

Еще один взгляд искоса, более долгий на этот раз. Как будто хочет сказать: несчастная ты дурья башка.

Глаза усталые. Подведены безупречно, но усталые. Солнце окатывает нас точно теплым душем, но к морщинкам вокруг ее глаз снисхождения не проявляет. Попав на струйку пара из ее чашки, заставляет волосы искриться. Она придвигается чуть ближе, желая обратить на что-то мое внимание. У кромки розового рукава — серебряный браслет.

Много прошло времени с последнего раза. Я пригласил ее попробовать кое-какую мою стряпню (Рита, конечно, ангел, но готовит отвратительно). Помнится, я даже прямо ей сказал: поужинать, и только. Но хорошая еда (вот и прихвастнул мимоходом) — штука коварная. Красное вино — тем более. Греет не только желудок, но и сердце. Разглаживает морщины. Растапливает защитные сооружения.

“Чем-то озабочена, Рит?”

Участливый начальник.

"Да нет, Джордж, ничего особенного. А ты? — Взяла бокал с вином обеими руками — ногти тоже были винно-красного цвета. — Просто то, что никого... Ну, ты понимаешь. Никого рядом".

2

Что-то случается. "Нашло", — так мы говорим.

"Скажите, миссис Нэш, а кто ваш муж по профессии?"

"Гинеколог".

Мысли, которые у меня возникли, конечно, остались при мне. Одна из них та, что это у меня впервые — гинекологи еще не попадались. По идее, должны быть верными мужьями. Своего рода гарантия. Только и делают, что осматривают женщин. Казалось бы, с них должно быть довольно. Но каково, интересно, быть замужем за гинекологом? За человеком, который каждый день осматривает других женщин?

"Понятно", — сказал я.

Но думаю, она прочла мои мысли. Женщины (взять, к примеру, Риту) читают мысли, лица быстрей мужчин. Гипотеза, урок моего ремесла. Может, женский закон такой есть. Гинекологический.

Я смотрел на ее лицо — карие глаза, — а она на меня, и была отчетливая мысль, что она читает мое лицо как книгу. И это не просто оборот речи. Я вот не читал лица как книги (я и книг-то не так уж много прочел), я читал их всего-навсего как лица.

Карие глаза. Необычный оттенок. Умная, подумал я, и не очень-то во мне уверена. Мои тупые "понятно, понятно". Сами эти мои каморки, узкая лестница, даром что окно на Бродвей. Впрочем, умная, но не слишком, и в себе уверена тоже не слишком — иначе не сидела бы здесь.

Потом, в один из моих четвергов, она сказала:

"Он не был гинекологом, когда мы познакомились, — остолоп. Он был просто... не очень прилежным студентом-медиком".

И засмеялась — правда засмеялась. Маленьким сухим смешочком. Оказалось, такое еще бывает. Я подумал: как в обычной жизни. Мы могли бы и не здесь находиться.

Еще позже она объяснила:

"Гинеколог — это из греческого. Буквально значит бабник. Ха. Но он им не был. Кроме *нее* – никого. Я точно знаю".

По правде, она-то и научила меня выражать мысли, говорить обо всем этом, пользоваться словами. Чем не образование?

Он был гинеколог, она — преподаватель языков. Включая английский, разумеется.

"Понятно".

Солнце полого светило в окно моего кабинета, точь-в-точь как сегодня. Холод снаружи, слои нагретого воздуха внутри. Поверх стола между нами — солнечный барьер. Свет тронул ее колени, придавая им такой вид, словно им некуда спрятаться.

Не уверена во мне, подумал я, и может читать мои мысли — мои гинекологические.

Но если и правда могла, если читала, значит, прочла и ту, которая отдалась во мне маленьким сочувственным уколом. Что ей от этого еще хуже — больнее, стыднее. Все избитые шуточки и пошлые высказывания

вылезли и теснятся вокруг, донимают ее. Каков гинеколог, а? Женский специалист...

Посмотрела на меня и почему-то улыбнулась. Улыбкой такой же беззащитной, как ее колени.

Переступаешь черту.

3

Цветочный только открылся. По полу цепочки серебристых блестящих капелек. Здесь, на другой стороне Бродвея, на первом этаже, солнце светит с тыла, через заднее окно, и молодая продавщица на мгновение становится силуэтом на световом полотне.

Если Рита смотрит (это предположение, не больше), если подошла к окну кабинета и глядит вниз, она приметила, как я перехожу улицу, и подтвердила себе: идет покупать цветы. Хотя именно Рита здесь постоянный покупатель, а не я. Сегодняшнюю продавщицу я раньше не видел. В первый раз это был явный, неприкрытый знак: цветы в новенькой вазе на моем рабочем столе.

Подарок, Джордж, — начни что-то сызнова. Еле заметно качнула бедрами.

Но она и себе купила — для "приемной" (ваза поменьше), — и я увидел запись в книге расходов, которую она начала вести как положено: "Цветы для офиса". Еженедельная статья. Уже, конечно, не в подарок — за мои деньги.

Одно из многих ее нововведений — часть обширного "плана переустройства", наряду с аккуратной бухгалтерией.

"Представительство, Джордж. Это имеет смысл. Когда видят вазу с цветами, чувствуют себя уверенней. Хорошо для бизнеса".

Истинная правда. И никаких неприятных запахов. И никаких сомнительных шуток. *Ты* мое представительство, Рита. Когда они видят тебя... Я не сказал этого ей. Истинная правда тем не менее.

Почему я сам об этом не подумал? Простенькая деталь. Ваза с цветами. Из "Джексона" — только улицу перейти. Помимо прочего, личный момент. Будьте к себе поласковей. Лучше питайтесь. Легче ко всему относитесь. Купите себе букет цветов.

Я раньше был полицейским. Не цветочная работа. Но у меня на памяти давний пример: фотоателье отца, а рядом — цветочный магазин. И папа был там постоянным покупателем.

Молодая продавщица вытирает руки о фартук. Ведра плотно набиты цветами. Кажется, что едва срезаны — как будто прямо тут, у них на задах, волшебный сад, которому нипочем ноябрьский мороз. Серый металл усеян холодными капельками.

Маленькие повседневные тайны. Как они оказываются в городе — все эти лилии посреди зимы? И более крупная тайна — впрочем, не такая уж тайна: почему цветочные магазины еще *существуют?* В наше-то время. Хотя бы этот, "Джексона": я все жду и жду, что он исчезнет, как внезапно исчезают магазины, но он держится. И много таких по всему городу. Казалось бы, оно давно должно было отправиться на свалку — это дурацкое нежное побуждение пойти и купить *цветы.*

Между прочим, фамилия его была Роз — этого цветочника по соседству с моим отцом. Чарли Роз. Можно подумать, выбирать ему уже не приходи-

лось: изволь соответствовать. Послушать его, вариантов и вправду не было: "Перебери все случаи, когда покупают цветы, и поймешь, что это самый ходовой товар". Чарли и Кэти Роз (а лучше бы ее звали, скажем, Гортензией).

"А сказать тебе, какой повод самый главный? Для чего они нужны прежде всего? Совесть. Вот для чего".

Почему, спрашивается, мы все не взялись торговать цветами? И конечно, будь моя воля, я бы перевел "Джексона" не только на эту сторону улицы, но и прямо сюда, в это здание, на первый этаж. Вот было бы представительство! Они бы поднимались ко мне почти что через цветочный магазин.

Впрочем, и то, что есть, представляет интерес: "Центр загара". Прямо под моим кабинетом (хотя не скажу, что часто об этом думаю) лежат врастяжку голые женщины. Я сказал однажды Рите: "Слушай, попользуйся. Вниз на полчасика, потом обратно. За мой счет". Нет, не стала. Туда ходят молоденькие. Видимо, она думает, что в ее возрасте это только резче выделяет морщины.

"А ты-то сам?"

Цветы, зимний загар — услуги на все случаи жизни, без проблем.

Молодая продавщица опять пересекает полосу света, точно движется по экрану. Поверх фартука на ней пухлая куртка-безрукавка, внизу свитер с высоким горлом. Из прически выбилась прядь. Можно представить себе пар от ее дыхания, когда сейчас разгружала фургончик.

Выбором мне мучиться не надо. Что испытано, то и сгодится. И я покупаю не по прихоти, а по поручению. Показываю на красные розы, плотные, полураспустившиеся. Наружные лепестки в полумраке магазина кажутся черными.

— Дюжину, пожалуйста.

Девушка отсчитывает и поднимает повыше, чтобы я рассмотрел. Я киваю. Она улыбается. Невольно всплывает избитая мысль: сама как цветок. Улыбаюсь в ответ. Она опять превращается в силуэт, потом идет к столику в углу и раскладывает на нем лист оберточной бумаги.

Из глубины струя прохладного воздуха, и деловито входит женщина. Хозяйка. На ней теплая куртка, расстегнутая, с поднятым воротом, и сапоги с выглядывающим сверху краешком меховой подкладки. Мы знакомы. Она знает, кто я. Может ли быть, что она знает и то, какой сегодня день? Что она смекнула, что к чему?

Быстрый кивок-улыбка. Явно думает о другом. В руках ножницы. Скорее всего, когда я уйду, скажет девушке только: "Частный детектив — и покупает цветы". Или что-нибудь вроде.

Розы, кроваво-красные розы. Такие же, как в прошлом году. Что еще может быть?

Девушка протягивает мне букет, я лезу за бумажником. Пол-одиннадцатого. Ехать недалеко. Вдруг во рту черная горечь.

В фотоателье отца всегда стояла большая ваза со свежими цветами. Элемент декораций, если нужно, а то просто клиентам для настроения, чтобы лучше выглядеть на снимке. Так и слышу его присказку (одну из многих):

"На цветочки... Теперь в окошко... Но думаем о цветочках. Улыбочка!"

4

Два года с небольшим назад. Еще октябрь, но день как сегодня — голубой, ясный, холодный. Рита открыла мою дверь: "Миссис Нэш".

Я уже был на ногах и застегивал пиджак. Чаще всего это у них первый раз и сравнивать не с чем. Ощущение, наверно, как при визите к врачу. И ждут чего-то более убогого, сомнительного, постыдного. Приличная обстановка — Ритиных рук дело — и удивляет их, и успокаивает. Ваза с цветами.

Белые хризантемы, как мне помнится.

"Садитесь, пожалуйста, миссис Нэш".

Я мог бы сойти за респектабельного адвоката. Хорошая авторучка. Врач, адвокат — и консультант по семейным делам. Надо быть помаленьку и тем, и другим, и третьим.

Обычный вид собранной в кулак храбрости, проглоченных сомнений. Пришла туда, где ей быть не хочется.

"Мой муж встречается с другой женщиной".

Не так уж много способов об этом сказать — но ты должен выглядеть так, будто не слышал этого во всех мыслимых вариантах. Будто это редкая жалоба, уникальный случай в твоей медицинской практике.

"Понятно. Сочувствую вам. Может быть, кофе — или чаю?"

Врач-специалист. Уже приглядываешься к симптомам. В любой момент могут быть слезы, проклятия, взрывы, фонтаны. Все приходят с заготовленными и отрепетированными текстами, и все в какой-то момент о них забывают.

Вот уж не ожидал: самая трудная, увлекательная, вознаграждающая часть работы. То, чему не учат в полиции.

Отказалась и от кофе, и от чая. Но Рита, я знал, дежурила за дверью, как вышколенная медсестра с тележкой первой помощи, уши навострены, чайник только вскипел, готовая, чуть что, поспешить сюда с подносом.

И как последний резерв — бутылка шотландского виски в шкафчике в углу. Только для клиентов, строжайшим образом. Хотя поразительно, как часто они спрашивают: "А вы со мной не будете?"

"Вы знаете или предполагаете?"

"Знаю".

На этот счет никаких сомнений. Глаза переменчивые — то черные, то карие, зыбкие под налетом льда. Черепаховые. Волосы тоже. Черные, казалось бы, но когда на них упадет прямое солнце, вдруг темно-коричневые.

Еще одно, чего я не ожидал, — хотя, если подумать, это очевидно заранее. Большей частью женщины. Процентов шестьдесят.

Когда я сказал об этом своей дочери Элен, она спросила: "Это что, плохо?"

И некоторые приходят не просто с затверженным текстом, они приходят как на настоящую кинопробу, и кажется, что минимум два часа провели сегодня перед зеркалом (Рита, например). Одетые, чтобы сразить наповал. Волны аромата. Им не хочется, чтобы причиной считали небрежение по *этой* части. Они решились, но у них есть гордость.

Врач, адвокат, специалист по кастингу...

Но она, хоть и была недешево одета, не казалась одной из кандидаток в звезды. Черная куртка — чистый кашемир. Косметика есть, но, можно догадаться, наложена машинально, торопливой рукой, не так, как мажутся иные. Ей не требовалась боевая раскраска, хотя, возможно, именно в бой-то она и шла.

На ум, конечно, всякий раз приходит муж. Думаешь: что тут может быть? Ставишь себя на его место (и они заранее знают, что так будешь делать).

Сорок с небольшим – сорок два, сорок три – и в хорошей форме. Чуть подернутые льдом глаза. Умные, быстрые глаза – лед придает им суровости. Но кажется, что может и растаять.

Выясняется – преподавательница колледжа. Привыкла быть среди собравшихся главной.

Педагоги, даже на учебе от полиции, всегда нагоняли на меня страху.

Умная, и хорошо обеспечена: куртка. До сих пор жила, похоже, без особых забот. Суровость поэтому лежит тонким слоем. Из тех, в ком налет суховатой профессиональной жесткости не мешает увидеть женщину вдвое моложе. Даже девушку.

"Понятно. И вы знаете, кто эта особа?"

Куртку расстегнула, но не сняла, и у нее была черная сумочка из мягкой кожи, которой она дала соскользнуть с плеча на пол. Под курткой черная юбка из чего-то похожего на бархат и кофточка песочного цвета, надетая на белую блузку. В полосе солнца между нами ее колени искрились почти как мишура. Вид не такой, как у обычных женских колен, которые могут показываться из-под юбки под тем или другим углом, с тем или другим смыслом. Нет – просто освещенные солнцем колени.

Может, в них-то все и дело.

"Да. Ее зовут Кристина Лазич".

"Иностранка?"

"Она из Хорватии".

"Дайте запишу".

Я придвинул к себе блокнот. В какой-то момент полезна деловитость.

"И вы знаете, где ваш муж и мисс Лазич – если она мисс – встречаются?"

"Мисс. Да, я могу дать адрес. Это квартира в Фулеме. Второй этаж. Мы ей снимаем – я хотела сказать, мой муж снимает".

"Понятно".

"До этого – в смысле, до того, как переехала на квартиру, – она жила у нас".

"Понятно".

Я чувствовал, что она смотрит, как я вожу пером по бумаге, точно досадует на мою медлительность. Авторучку купила мне Рита, когда выведала мой день рождения. "Это стильно, Джордж, это выглядит как надо. Именно авторучка, а не какая-нибудь шариковая дрянь".

Авторучка. Черепаховая. Слово употребила опять-таки Рита.

"Понятно. И вы хотите, чтобы я... взял вашего мужа и мисс Лазич под наблюдение? Чтобы предоставил улики?"

"Нет".

"Нет?"

"Нет. Все это уже кончено. Кончено. Кристина возвращается в Хорватию – видимо, через три-четыре недели. Вы не следите за новостями? В общем, это дело решенное. Она летит домой. Я хочу, чтобы вы поехали за ними в аэропорт и посмотрели. Больше ничего".

"Правильно ли я вас понял? Все уже кончено – в смысле, между вашим мужем и мисс Лазич?"

"Да".

"Но вы сказали – за ними. За ними в аэропорт. Ваш муж будет провожать мисс Лазич?"

"Да. Провожать и прощаться. Это... последняя уступка. Его последние три недели".

"Но... если все позади, если она уезжает, почему вы хотите, чтобы я за ними следил?"

Первая настоящая пауза. Первое подрагивание губ. Вид такой, словно вот-вот в чем-то сознáется.

"Хочу убедиться, что она действительно улетела. Что они действительно поехали в аэропорт. И если поехали, что она действительно села на самолет – в смысле, одна и на этот. Что они не улетели вдвоем. Куда-нибудь, каким-нибудь рейсом. Сделаете это для меня? Поехать, проследить за ними и рассказать мне, как все было".

Вдруг что-то умоляющее – как будто просит друга об одолжении.

"Конечно".

Я подумал: работа – легче легкого. Деньги за так. Можно Рите перепоручить.

Но я увидел блеск в ее глазах. Тающий лед. У иных – извержение, наводнение. А у иных просто в глазах стоит влага. Не факт, что этим все ограничится, но пока лучше притвориться, что ничего не вижу.

И все время держалась за ремешок сумочки, крутила между пальцев, как поводок собачки.

"Конечно, я все сделаю, миссис Нэш, никаких затруднений. Но нужны кое-какие сведения. Дата и время вылета – предполагаемого вылета. Номер рейса. Это будет Хитроу? Они поедут из квартиры, о которой вы сказали? В машине вашего мужа? Да? Какая у него машина?"

Слезы и не текли, и не высыхали.

"И хорошо бы фотографии их обоих, если сможете. Для идентификации. Кстати, а кто ваш муж по профессии?"

5

Перехожу Бродвей обратно и сворачиваю в переулок, где всегда ставлю машину. Если Рита смотрит, сейчас потеряет меня из виду. Впрочем, захочет – может запереть офис, выскользнуть наружу и следовать за мной хоть весь день. Сработает аккуратно – я и знать ничего не буду. Под надзором своих подчиненных – своего единственного. Вот оно как может обернуться. Учишь их...

Машина, которую по давнему соглашению, подкрепленному арендной платой, я оставляю у боковой стены склада Ли, за какие-нибудь два часа превратилась в холодильник. На крыше – овал нерастаявшего инея.

Кладу цветы на заднее сиденье. Обертка (серебристые и белые полосы) почти что и не нужна: все равно разверну и положу их так. Там можно брать специальные маленькие горшочки – не знаю, откуда их привозят. Может быть, из цветочных магазинов. И на кладбище наверняка есть водопроводные краны. Но сейчас ноябрь, холодно – все равно цветы долго не протянут. Они, честно говоря, тоже не очень-то и нужны. Мысли – вот все ради чего.

"Сделаешь это за меня, Джордж?"

"Конечно".

Не знаю, как она переживет этот день. Этот вечер. Двадцатое ноября. Второй год – легче ли он первого? Отбытое время – помогает? Лечит? Приближает к тому, чтобы ты мог сказать (хотя разве такое мыслимо?): это был другой человек, не я?

Как твоя детская фотография, которая смотрит на тебя из другого мира, с другой планеты. Неужели это и вправду я? А ребенок глазеет на тебя так, словно тоже знать тебя не знает, видит первый раз в жизни.

Время – на тебя ли оно работает?

Запускаю мотор. Опять во рту этот темный привкус. На стене блеклая старая надпись: "Сантехника Ли". Выруливаю из полутьмы на яркий свет переулка, забирая себе весь мрак с приборного щитка.

"Конечно сделаю. Съезжу и цветы положу".

И расскажу потом.

Сегодня впервые так вышло (хотя всего из двух раз), что этот день и мой визит совпали. Может, такого больше и не случится. Каждые две недели (и это не всегда четверг). Два года сегодня, и мы не знаем точно, сколько осталось. Восемь, если повезет. Может быть, девять. Пять до тех пор, пока мы будем знать наши шансы. К тому времени ее опять куда-нибудь переведут. Обойдет всё по кругу. Но за два года ей (нам) одно стало известно точно, и думать об этом больше не надо: я буду с ней до конца, буду приезжать сколько понадобится.

И где бы она ни оказалась...

Позади то время, когда она смотрела на меня холодно, чуть ли не с ненавистью. (Это было ей нужно, я знал, – обратить себя в лед.) Вы не выдержите, Джордж, отступитесь, вот увидите. Давно позади тот день, когда она в первый раз позволила взгляду измениться – пусть и без слов. Пожалуйста, придите еще. Пожалуйста, через две недели.

Теперь это уже опять другой взгляд. Всего лишь взгляд, обращенный ко мне, взгляд, который мог бы пройти сквозь стену.

Что бы я без тебя делала, Джордж?

В тюрьме бы сидела, что же еще.

Еще восемь лет. Может быть. Пять, пока мы получим хоть какое-то представление.

Фотография пятилетней Сары. Я хотел иметь ее детский снимок, сам не знаю зачем. Она сказала мне, где найти альбомы, отдельные карточки, всю коллекцию разных вещиц, памяток, которые сохранили ее родители. (Слава Богу, сказала она, что они оба умерли.) Сокровища из другой жизни.

"Сожги все это, Джордж. Сожги к чертям".

Но я не стал. Я теперь тайный хранитель этого музея (думаю, она знает).

И там – хотите верьте, хотите нет – в белом рельефном паспарту, за листком тонкой матовой бумаги обнаружилась ее фотография в возрасте примерно пяти лет. И сделана она была в ателье моего отца – его штамп на обороте – на Чизлхерст-Хай-стрит в пятьдесят каком-то году (она жила тогда совсем рядом – в Петтс-вуде).

Надо же, что лежит и ждет своего часа.

Солнце ощутимо греет через ветровое стекло, но на улице все ежатся в куртках и пальто, кутают подбородки в шарфы. Я еду по Бродвею, минную железнодорожную станцию и попадаю на Уимблдон-хилл. Из моей

части Уимблдона, из нижней, — в изысканную часть, в ту, что на холме. Проезжаю Уорпл-роуд, потом направо по Вудсайду, потом налево по Сент-Мэриз-роуд и оказываюсь в богатой деревьями, ухоженной, тихой зоне с далеко отстоящими от улицы домами, с лужайками, подъездными дорожками, живыми изгородями и сигнализацией против взломщиков. С осененными листвой крышами.

Я должен это сделать. Хотя ни я об этом не сказал, ни она. Но все равно должен. Сегодня. Бичем-клоуз, четырнадцать. Теперь там живут новые люди. Другой мир, другая планета. Я мог бы все про них узнать, проверить от и до. Мой хлеб, если на то пошло.

Здесь, на холме, — зона травянистых бордюров, двойных гаражей, железных оград, "лежачих полицейских", частных детских садов. Но не сбрасывайте ее со счета. Если вы зарабатываете тем же, что и я, зарабатывайте там, где людям есть чем платить и где они, несмотря на все, что имеют, способны (вы будете удивлены!) вытворять страннейшие вещи.

Повторяю: не сбрасывайте со счета эту зону обсаженных деревьями домов, этот обетованный край, где мало что, как считается, должно происходить. Все эти благополучные — на что иначе цивилизация? — Уимблдоны и Чизлхерсты.

6

Деньги за так. Можно было Рите перепоручить.

"Вот мои условия, миссис Нэш. — Я подал ей листок. — В таком деле я не прошу клиента ничего подписывать и не считаю, что нанят, пока не получу точных данных. Правило, по очевидным причинам, такое: не я связываюсь с вами, а вы со мной".

Тут они обычно хлопают глазами — легкое замешательство. Уже, значит, заговор, тайное соглашение.

Солнце лилось между нами потоком. Клейкость исчезла из ее глаз, и какое-то время она выглядела просто потерянной. Но так у них и бывает: пришли с решимостью, а теперь им кажется, что оказались здесь ненароком. Ошибка, не та дверь — хотели в "Центр загара". Пришли как обиженная сторона, а уходят в каком-то дурмане, с ощущением вины.

Вот почему я всем, кроме женщин определенного сорта, оставляю выход, лазейку. Возможность отменяющего звонка, скажем, на следующее утро или даже в тот же день. Всё заново взвесили и решили, что мои услуги не требуются. И хотя я вслух такого не говорю и не люблю терять заработок, случается, что думаю: и правильно, это самое для тебя лучшее.

Рита могла бы войти ко мне и небрежно сообщить: "Миссис Нэш — вчерашняя, утренняя. Можно вычеркнуть".

Я сказал:

"Фотографии либо пришлите, либо сами привезите".

Казалось, она приросла к стулу. И по-прежнему крепко, до белизны в костяшках, сжимала ремешок сумочки.

Может, когда-нибудь напишут книгу о дамских сумочках, ручных и наплечных. Если уже не написали. Про то, как они за них держатся, точно за лучших друзей. Когда все остальное рушится. И чего в них только нет. (Сколько я их обшарил — поди сочти.)

Там, где она сейчас, сумочки запрещены. Ремешки.

И теперь, конечно, эта сумочка у меня — наряду со всем прочим. На хранении. И впрямь как собачка. Я с ней разговариваю, глажу ее. Внут-

ри то, что в ней было в определенный день – двадцатого ноября 1995 года. Два года назад. Бумажка с моими условиями, сложенная вчетверо.

Трактат о ручных сумочках.

"Пиши, Джордж, записывай все. Для меня".

Моя учительница.

Она так держала этот ремешок, словно ждала, что сумочка двинется первой.

"Ну что ж, – сказал я. – Если ничего больше..."

Больше – это весь рассказ, к примеру. Вся история. Но они не обязаны с тобой делиться. Можешь работать и не зная.

Я протянул ей руку сквозь солнечный барьер. Она смогла-таки подняться на ноги.

Чуть погодя я подошел к окну – может, увижу, как она переходит улицу. Словно простым взглядом рассчитывал уберечь от того, чтобы слепо сунуться под чьи-нибудь колеса. И вот она – стоит посреди улицы, застряла на островке безопасности. Солнце освещает голову. Перешла на ту сторону и двинулась налево, мимо цветочного магазина Джексона, крепко сжимая ремешок сумочки.

Рита вошла и увидела, куда я смотрю. Ей всякий раз есть что сказать о клиентке (в свое время побывала в их шкуре). Но никогда раньше я такого не делал – никогда не смотрел на них в окно. Она это отметила, голову даю на отсечение. Она хороший детектив, ничего не упустит. Потом, меньше недели спустя, сказала мне: "Что-то на тебя нашло, Джордж".

Когда она застала меня у окна, я повернулся к ней и сказал, точно оправдываясь: "Красиво. Хороший день".

"Для кого-то – может быть", – отозвалась она.

Принесла кофе. Поставила и невинно кивнула словно бы в сторону третьего лица, еще находящегося в комнате.

"Думаю, не для нее".

Солнце вспышками выхватывает замерзший огонь. Рябина, пираканта, плющ во всем их багрянце. Край, где кругом полная гарантия, где ничто не должно нарушать спокойствия.

*

Рита, тебе работенка.

А то и вовсе никакой работы. Я, может, никогда бы ее больше не увидел, никогда бы не узнал всю историю и не стал бы ее частью, если бы не маленькая моя персональная страсть (и вдруг открывшийся талант). Не только острый глаз и тонкий нюх – еще и разборчивый вкус. Я неплохо готовлю. Даже самому себе.

Супермаркет вечером следующего дня. В пятницу. Совпадения, конечно, бывают. Но я только наполовину в них верю. Я детектив. Мы видим то, что готовы видеть.

Она была там. Я огибал полки с продуктами. Она стояла в проходе. Я сделал шаг назад. Она держала банку и читала наклейку – казалось, бесцельно, точно задержалась у стеллажа в книжном магазине.

Взглянул и отступил за полки. Нужды в этом не было никакой, но что делать – привычка. Профессиональный рефлекс. И что-то к тому же в нем всегда есть – в этом моменте, который ты можешь продлить. Ты видишь, а тебя нет. Странное побуждение взять под охрану.

Ха! магазинный детектив. (Кстати, мог в свое время им стать.) Как будто она способна была вдруг сунуть эту банку в карман. А что, почему нет? Женщины в кашемировых куртках иногда вытворяют страннейшие вещи. Бесцельно расхаживают как во сне, а потом хвать что-то с полки. А когда наступает неприятная минута, оправдываются тем, что муж, мол, меня больше не любит.

Мадам, пройдемте-ка.

Но мне кажется, я понял, глядя из-за угла, каково ей сейчас. Что ты делаешь, когда твой муж встречается с кем-то еще? Когда жизнь течет своим чередом, но омывает этот новый и не особенно даже скрытый факт. Ты идешь, останавливаешься у отдела деликатесов и смотришь на коробки и банки как на запретные плоды.

Мне кажется, я понял. Готовка. Для нее тоже это много значило — важное занятие, страсть. Раньше, может быть, ее жизнь была бесконечным пиршеством. Я понял это, хотя в моей жизни ничего такого не было. Званые обеды, хлопанье пробок. Яркий свет окон из-за ветвей.

Но что ты делаешь, когда все это рушится? Есть-то все равно надо. (И это хорошо известный заменитель.) Причем не только самой, но и *его* кормить. И ты продолжаешь готовить. Готовишь даже усердней прежнего, потому что — а вдруг? — цепляешься за слабенькую, жалкую надежду, что этим приманишь его обратно.

"Наверняка, — говорят они себе (но Рита не могла себя так утешать), — наверняка *она* не умеет так готовить..."

Я шагнул вперед (смотришь, ждешь, вмешиваешься). Решающее совпадение. Она приходила ко мне, но могла еще все отменить. А теперь уже не отменит.

К тому же ты чувствуешь момент, когда открывается дверь. Входишь в чью-то жизнь.

Я сказал: "Неплохая штука — тапенад[1] с красным перцем".

Она подскочила — не в последнюю очередь, думаю, из-за французского словечка. Тапенад. От меня-то. (Но я умею по-французски, как же: ресторан, рандеву, парле-ву.)

Мы все, считается, должны сидеть по особым клеточкам — пациент не сталкивается со своим врачом на улице. А я так и вообще должен быть мистером Невидимкой — смотреть в оба, но не показываться.

"Покупаю продукты, — сказал я. — Тоже кулинар".

Она пялилась на меня, все еще держа банку, — вид был отчасти такой, точно держит камень. Но у меня, наверно, было правильное выражение лица, я задел, похоже, какую-то струнку. Детектив-кулинар. Не такой уж зловещий тип. Может быть, и вся эта затея — не такой уж идиотизм?..

Я не соврал. За последние годы — много позже я рассказал ей всю историю — я научился готовить. Можно сказать, обнаружил в себе склонность. Я не ленюсь. Пускаю в ход мясорубку, миксер. Читаю рецепты. Разборчив по части ингредиентов. Даже если приехал за основными продуктами, заглядываю в отдел деликатесов.

Пища — она имеет значение, за это я ручаюсь. Когда приходится туго, кушай хорошо, не маши на еду рукой. Заботься о себе. Не питайся из микроволновки. Побольше любви и заботы. Именно потому, что никого рядом.

1. Паста из маслин.

Тут можете на меня положиться – на себе испытал. Что вы хотите, бывший полицейский – двадцать четыре года пробавлялся столовской жратвой и тем, что перехватывал на ходу.

А сейчас даже во время ночной работы я не позволяю себе распуститься. Термос хорошего кофе – или моего супа с помидорами и базиликом (и чуточку перца чили). А что до сандвичей, итальянская булочка с ветчиной серрано и тонко нарезанным эмментальским сыром плюс несколько листочков салата и немножко дижонской горчицы, куда лучше обычного хлеба с сыром и соленьями.

"Кроме шуток, – сказал я. – Я не худший повар".

Я не знал тогда про кухню с медными сковородами и вытяжным колпаком. Про кухню, за которую полжизни отдать не жалко. Я не догадывался, что даже в тот самый момент она думала про ужин, которым его встретит.

"Это я всего-навсего, – сказал я, – но я тоже готовлю".

"Ну и что сегодня?"

Ее лоб пересекла морщина – но не хмурая, а смеховая. Губы по-прежнему чуть раздвинуты. Слегка трунит – и только.

"Ризотто с белыми грибами и вермутом".

"С вермутом?"

"Конечно".

Сейчас – там, где она может есть только то, что дают, – мы по-прежнему говорим о еде. Я каждый раз описываю свой вчерашний ужин. Это был хороший момент, хороший знак, когда она, как привередливая постоялица отеля, сказала: "Здешняя еда, Джордж, – это ужас". И до сих пор спрашивает меня: "Ну, что сегодня?"

Кушай хорошо. И за себя, и за меня, пока я не выйду.

Все эти столы, по-прежнему накрываемые на двоих, хотя второй персоны уже нет как нет.

Но это имеет значение – можете мне поверить. Желудок совсем недалеко от сердца. Я знаю, видал в моргах, где вскрывают трупы, – а оттуда, случалось, вел напарника из молодых-зеленых в ближнюю забегаловку. Чтоб служба медом не казалась. Мутный чай, яичница с чипсами.

Я взял с полки и положил в свою тележку пакетик сушеных белых грибов.

Если бы мы не виделись накануне, она, думаю, приняла бы меня за одного из жалких типов, которые по долгу службы ошиваются в супермаркетах и смотрят, что люди берут и куда кладут. (В свое время я мог бы таким стать, не исключаю.)

Я сказал: "Насчет фотографий. Самое лучшее, чтобы вы сами их привезли – если найдете время. Я посмотрю, и всё, вам даже из рук не надо будет их выпускать".

Кажется, она оглянулась – точно кто-то за макаронными полками мог подслушивать.

"Что, раз посмотрите и запомните?"

"Работа научила. Архив в голове. Но нужна какая-то история – физиономия плюс история. Тогда запоминаешь физиономию".

Она отвела взгляд. Банку еще держала – внутри что-то темное с красноватым оттенком. Не встреть меня, положила бы обратно на полку.

"Вы правда это рекомендуете?"

Мимо шли люди, проталкивались тележки. Пятница, после рабочего дня. В супермаркете по лицам не поймешь, кому хорошо, кому хуже, кто уже совсем готов. Вынужденная общность выражения. Есть-то надо.

Я бросил взгляд в ее тележку.

"Уже почти все? У меня тоже. Знаете что? Тут есть кафе 'Рио', новое, на той стороне улицы. Там не очень людно сейчас. Если у вас найдется — ну, минут десять. Да, тапенад очень даже ничего".

7

Солнце отсвечивает с дороги, где иней стал черной росой. Я подкатываю к углу Бичем-клоуз, как будто меня тянет магнитом. Я ей не говорил, что заеду, она меня не просила, и я ей не скажу. Хотя это даже, в общем, и не крюк. Это кратчайший путь от уимблдонского Бродвея до Патни-вейл. Уимблдон-виллидж остается чуть в стороне.

Но, почти уже у цели, я вынужден затормозить. Опять темный вкус — как нефтяная скважина в горле. Не могу. Даже смотреть глаза не хотят.

Два года — и все здесь спокойно. Заморожено. Простой поворот на тихую улочку. В тупичок с травянистыми бордюрами, цепными оградами и домами, проглядывающими сквозь осеннюю листву. Почти что частная дорога. Личное владение, чужим вход воспрещен.

Затормозил и стою у самого поворота — мотор работает. Два года — и как тут с этим справляются? Помнят дату? Или решили забыть? День выдался — красота.

В доме номер четырнадцать уже, наверно, устроились, обжились. Я даже знаю фамилию: Робинсоны. Хотя никогда, конечно, их не видел. Работа риэлтора, его проблема. Необычная в данном случае. Правда, дом к тому времени уже не один месяц пустовал.

К чертям все это, Джордж. Продавай. И как будто хотела добавить: деньги возьми себе.

Хорошо, что я частный детектив и имею опыт по части хитрых ситуаций.

Робинсоны, скорее всего, знали. Но с какой стати должны были беспокоиться? Что это им? Кухня — полжизни не жалко. По очень даже низкой цене. А теперь уже, может, опять продали, да с наваром, кому-нибудь, кто не знает. Пока сорока на хвосте не принесет. Дело Нэшей — не слыхали?

И что тогда? Снова потянет переезжать?

Отсюда, из-за угла, дома не видно. Ржаво-золотой лиственный камуфляж. Тишина, хрустальный свет.

Нет, не могу. Точно поперек натянута полосатая лента из тех, которые в былые годы я спокойно приподнимал, чтобы пройти. Полицейские дела, но я и был полицейским. Разумеется, *тогда* тут действительно висела лента, и был полицейский, который ее приподнимал и проходил, который вел дело. Детектив-инспектор Марш. Дело Нэшей.

Когда он узнал о моем прошлом, в его лице что-то сдвинулось. Комната для допросов, мои показания. Я, так или иначе, был главным свидетелем — и единственной загвоздкой в ясном вообще-то деле. Ясном как дважды два. Очень странно это — сидеть в комнате для допросов по ту сторону стола. По ту сторону закона.

Виды и звуки полицейского участка. Запашок из камер.

Когда он узнал о моем прошлом, мог хорошо на меня надавить. Почему не стал — объясняет маленькое признание, которое он сделал почти что в обмен, так мне показалось. Что через месяц уходит на пенсию, это последнее его настоящее дело. На которое его поставили потому, что тут все проще простого. Никаких осложнений — кроме меня, так вы-

глядело. Он мог хорошо на меня надавить, и начал было. Серые уклончивые глаза. Но пока он держал меня там, по ту сторону стола, и вгонял в пот, он тоже словно бы находился на краю какой-то пугающей расселины, и не кто иной, как я, протягивал ему руку со словами: смелей, вы можете, прыгайте. Я подстрахую.

Я видел на его лице вопрос, которого он вслух так и не задал — и который от встречи со мной только усложнился.

Каково это, а? Каково это — не быть полицейским?

Дело Нэшей. Кто о нем помнит? Не всякое дело, отраженное в полицейских архивах, попадает еще и в газеты. Это чего-то требует. Но даже пусть и попало — все равно скоро забудут. Даже здесь, куда я приехал, могли забыть. Здесь в особенности.

Нет, не могу. Как будто сама машина не желает поворачивать. Тоже хочет забыть. Даю газ. Холодное тошнотворное чувство предательства. Как будто Сара по-прежнему в этом доме, заперта в нем — вот где ее настоящая тюрьма, — а я от нее уезжаю.

Но как я могу приблизиться к этому дому, не переживая заново то, как дважды побывал здесь два года назад? Когда первый раз уезжал, вдруг этот черный вкус. И я знал, что он означает. Иначе почему повернул и поехал обратно?

Я должен был понять раньше, ощутить этот вкус раньше. Должен был остановить ее мужа, обогнать и остановить — может быть, прямо здесь, у поворота на его улицу. Преградить ему путь. "Мистер Нэш? Мистер Роберт Нэш? Я из полиции..."

Или опередить его задолго до этого. Приехать туда первым. "Сара! Это не Боб, это я".

А я просто следовал за ним до угла, смотрел, потом уехал.

Он не был бы там, где сейчас. И она бы не была.

8

Кафе "Рио". По всей стене фреска, сделанная по трафарету: гора Пан-ди-Асукар[1], попугаи, пальмы, девушки на пляже. Самое оно для Уимблдона в дохлые последние дни октября. Мягкие, льнущие звуки самбы.

Наши машины дожидались на стоянке у супермаркета. Вначале надо было разобраться с покупками. Я сказал: "Моя вон там, — и показал на дальний угол площадки. — Я через минуту". Она могла запросто уехать.

Конец октября. Скоро переведут часы. Теперь больше всякой всячины может происходить в темноте.

Я подумал: нет, работа будет моя. Не отдам Рите.

Ей тоже кое-что обломилось, подумал я, и она об этом знает: не просто то-то и то-то за такие-то деньги. Не просто наемный глаз, наемное ухо. Я сходил за кофе. Всего этого могло и не быть, дело могло ограничиться отменяющим звонком.

Врачи и пациенты не должны, считается, встречаться случайно, но это происходит, и льются раскрепощающие, развязывающие язык латиноамериканские ритмы.

1. Гора Пан-ди-Асукар ("Сахарная голова") находится у входа в бухту Гуанабара, на которой стоит Рио-де-Жанейро.

"Значит, хотите услышать историю?" – спросила она.

Я не сказал, что хочу. Если и кивнул, то еле заметно. Но когда тебе надо выговориться и нужен слушатель, очень кстати приходится незнакомый человек, нейтральная сторона – ты почти что обращаешься к стене.

И очень кстати, если вы не лицом к лицу сидите, а бок о бок за одной из этих узеньких стоек у окна, сидите и смотрите, как течет мимо остальная жизнь. Поток транспорта на Уорпл-роуд – люди торопятся по домам. Вот почему все помещения, специально оборудованные для этой цели – стол и два стула один напротив другого, – устроены неправильно. Все врачебные кабинеты. Не говоря уже о комнатах для допросов с включенными на запись магнитофонами на столах. Если хочешь, чтобы человек говорил, хуже и выдумать ничего нельзя.

Пялиться им в глаза – это никогда успеха не приносило. Встань, пройдись по комнате, пусть он лучше обращается к твоей спине. А еще лучше – две табуретки в баре и две порции чего-нибудь жидкого. Человек колется в два счета (хотя вряд ли это сгодится в юридическом смысле).

Марш, мне кажется, думал (и не ошибался), что я невысокого мнения о его технике допроса.

Комнаты для допросов. Серые обшарпанные стены. Пепельницы, которые никто не опорожняет.

Она прихлебывала капучино и смотрела прямо перед собой. Линия щеки, загибающаяся к глазнице. Я знаю, когда прикинуться, что меня нет.

"Я преподавательница языков, – начала она. – Работаю в Роугемптоне. Французский, испанский..."

На миг я представил ее себе стоящей в классе и рассказывающей им то, что собиралась рассказать мне. Сегодня у нас необычный урок. Я вообразил себя за партой в первом ряду.

Десять минут... Может, двадцать или чуть побольше. Я помалкивал. Преподавательница языков.

"Это я во всем виновата..." – сказала она.

Я, конечно, и теперь там бываю. Заведение работает, хотя новым его уже не назовешь. Сажусь, если свободно, где мы тогда сидели. Теперь ее очередь быть невидимой – настолько невидимой, что ее словно бы никогда здесь и не было.

Можно с воздухом поговорить. Сколько мы провели вместе на свободе? Часа два в общей сложности. А если бы я не сказал, что тоже готовлю...

Смотрю на стену – туда, где пальмы, девушки. Как будто кругом тюрьма и нам нужно выглянуть в другой мир. В Рио-де-Жанейро, может быть, есть кафе "Уимблдон", где мечтают о прохладных зеленых лужайках.

"Это я во всем виновата..."

О чем я тогда не знал, о чем она не сочла нужным говорить – что в ту самую минуту Боб и Кристина (мистер Нэш и мисс Лазич) были вдвоем в фулемской квартире. Так что миссис Нэш незачем было торопиться домой.

Потом мы пошли к нашим машинам. Люди торопятся по домам – хотя к ней (и к нему) это не относится. Супермаркет работает на всю катушку.

Мы остановились у ее серебристого "пежо". У мужа — черный "сааб". Машина, за которой я должен буду следовать.

Она сказала: "Ладно. Фотографии я привезу".

Так что это было решено.

"Хорошо. Позвоните сначала".

Возбуждающий элемент подпольности, конспирации — встречи на автостоянках. Волнение, которым, вопреки всему, они заражаются. Азарт погони.

Она отперла машину. Потом, точно оправдываясь за нарушение правил хорошего тона — как будто мы случайно познакомились на каком-нибудь сборище, например, на съезде преподавателей языков (хотя что бы я на нем делал?), — сказала: "Я только о себе говорила. А про вас ничего не знаю".

В темноте ее лицо даже выглядело немного виноватым.

На стоянке все ходило ходуном. Неслись тележки, зияли открытые багажники — сцена разграбления.

"Ничего страшного, — сказал я. — Это не обязательно".

9

Еду быстро, забывая про "лежачих полицейских". Машину вскидывает. Цветы чуть не падают с заднего сиденья.

Она во всем виновата? Да, в том смысле, что если бы не пустила эту девушку под свою крышу... Если бы не пыталась быть для нее больше чем учительницей... Должна была думать, должна была предвидеть: вина жены, подсовывающей соблазн мужу под нос.

Но разве это первое, о чем ей следовало думать? И разве следовало ему выставить ладонь и все запретить на том основании, что вдруг — все бывает — он возьмет да и соблазнится?

К тому же раньше ничего такого не случалось. Он не был "бабником". Только профессионально. Не было никакой истории измен. Была только история счастливой семейной пары: хорошие карьеры у обоих, взрослый сын, который уже покинул гнездо, и (ее собственные горькие слова) "едва ли не все, чего мы могли пожелать..."

Она помешивала ложечкой свой капучино. За окном двигался транспорт.

"Помимо прочего, когда я ее первый раз увидела, она выглядела... ну, мягко говоря, не очень. Понимаете? Так, будто ей все равно, как она выглядит..."

Если у людей есть все, зачем они берут и ставят все под удар? Хорошую жизнь. Дом в благословенном краю деревьев и сигнализации. Зачем напрашиваются на неприятности? Она, она во всем виновата.

Зачем? Да просто из жалости. Из любви к ближнему. Разве нет? Если у тебя есть все, почему не поделиться? Почему не посмотреть иной раз из окна на большой мир? Почему люди тратят деньги на цветы?

"Вы не следите за новостями?.."

Это, в общем-то, не был вопрос, и я ничего не ответил. Пил помаленьку кофе. Я слежу за людьми, за запахами — это мой заработок. И как бы я жил, если бы обеспеченные люди не напрашивались время от времени на неприятности, размахивая перед лицом беды чековыми книжками?

Черный кашемир — в супермаркет. Сколько же зашибает этот гинеколог?

И подумала, что вермут не годится.

Преподавательница. Французский, испанский. Изредка еще переводы. И курсы английского.

Я пил помаленьку кофе. Ох уж эти мне всезнайки преподавательницы — всегда-то они нагоняли на меня тоску и злость. Но я этого, конечно, не сказал. К тому же что-то, видно, в них... Я ведь был на одной женат.

Она смотрела вперед, в окно, но я видел ее отражение в стекле.

Преподавательница. Педагог. Два раза в неделю, по вторникам и пятницам (значит, скорее всего, сейчас как раз оттуда) ведет курсы английского, открытые для всех, но главным образом предназначенные иностранным студентам. Подтянуться по этой части. И в один из вторников в ее класс вошла Кристина Лазич из хорватского города Дубровника.

Я посмотрел, где это, — так не помнил. Моя область деятельности — можно сказать, дела внутренние.

Теперь хорватского, а раньше (и по моему устарелому атласу) югославского. В "бывшей Югославии", так сейчас говорят.

"Дело в том, что они победили. Хорваты прогнали сербов".

Какое это имеет отношение к фулемской квартире?

А Дубровник, югославский Дубровник, раньше попадался мне в курортных брошюрах. Нагретые солнцем старые стены, синее море. Приманка для туристов. "Далматинское побережье". Так было до того, как она, эта Кристина, пять лет назад оттуда уехала.

Она заслужила студенческую стипендию и прилетела в Лондон всего за несколько месяцев до начала серьезных событий. Наверняка не обошлось без расчетов, долгих раздумий, разговоров со своей совестью. Восемнадцать лет — ее большой прорыв. А потом мир, который она оставила за спиной, разлетелся на куски.

Но не только это. Гораздо хуже.

"Такое трудно даже представить... Вы, может, слышали..."

Сначала ее брат, а потом отец и мать были убиты. Две страшные вести с очень маленьким промежутком. Брат взял в руки оружие — но провоевал недолго. Родителей ждала еще более злая судьба. Они поехали туда, где, думали, будет безопаснее. Ошибка. Не то место, не то время. И не для них одних.

"Представляете себе..."

Я кашлянул, как слушатель на лекции. Самба, покачиваясь, плыла дальше.

Разумеется, она перестала ходить на занятия. Какой теперь смысл? Но стипендию ей продлили, возможность консультироваться оставалась, и мало-помалу она начала склеивать себя по кусочкам, наверстывать упущенное время. Но даже в тот вторник, когда она вошла к Саре в класс, она была, казалось, "только наполовину здесь — как будто едва оправилась от болезни".

И Сара взяла ее под крыло.

Это было в конце девяносто третьего. Потом приблизилось лето, когда срок стипендии, как и визы, истекал, и единственным, что оставалось, было подать на политическое убежище.

"Понимаете, что это значит?"

Я кивнул. Работа много с кем меня сводила. Это значит самый-самый низ.

Итак, с одной стороны, Кристина Лазич, без пяти минут беженка, с другой — Сара и Боб Нэши вдвоем в отличном уимблдонском доме, где недавно — после того как сын уехал жить и работать в Штаты — из двух комнат были сооружены "гостевые апартаменты".

"Он в Сиэтле. Компьютеры. Зарабатывает кучу денег. Про это ничего не знает. В смысле, про Боба и Кристину. Надеюсь, и не узнает".

На миг повернулась и посмотрела мне прямо в глаза.

Кажется, я отвел взгляд.

Любовь к ближнему хороша, если у тебя есть деньги и помещение. Хороша для некоторых. Роскошь, можно сказать. И была ли это, если разобраться, такая уж бескорыстная благотворительность? А бесплатная помощь по дому? А удовлетворенность собственной добротой? Смотрите, у нас есть все — в том числе наша любимая обласканная хорватская сирота. Смотрите, какую образцовую жизнь мы ведем.

Да брось ты. Помилосердствуй. Неужели добрый поступок не может быть просто добрым поступком? И кто знает наперед, когда оно накатит — желание совершить что-нибудь в этом роде? Ничего нельзя предвидеть. Кто-то вдруг входит в твою жизнь, и ты относишься к этому человеку по-особенному, берешь его под защиту. Ты знаешь, что готов ради него на многое, сколько бы ни было кругом других случаев, пусть даже тысячи и тысячи. Этот случай — твой.

Несчастная девушка. Помилосердствуй.

Кристина. Не имя, а хрупкое стекло.

Девушка? Но ей было почти двадцать два — женщина, пусть даже от ее жизни откололся кусок. Несчастная? Но она приземлилась на обе ноги. Раненая душа, едва оправившаяся от болезни. Поврежденный цветок. Но, пересаженная в новую почву — я пока еще не видел фотографий, — она расцвела.

10

Выезжаю на Парксайд. По другую сторону — парк Уимблдон-коммон: море сияющей желтой листвы.

Ну, а о нем что думать? О муже, о Роберте — о Бобе? Почему и сейчас мне с моим грубым, неотесанным умом частного сыщика это кажется какой-то дурацкой шуткой? Гинеколог женился. Гинеколог крутит роман. Может ли женщина полюбить гинеколога? Но полюбила ведь. Правда, он им еще не был, когда они познакомились. Просто студент, и она была студентка, и летом он предложил ей попутешествовать с ним на его темно-красном "мини-купере" по югу Франции.

"У меня французский язык, у него машина..."

Такая поездка либо оборачивается бедствием — бедствием, заключенным в темно-красный пузырь на колесах, — либо дарит успех на долгие времена. В их случае — успех.

Если есть дипломатический иммунитет, то не должен ли быть и гинекологический? Своего рода защита. И как это действует на женщин? "Я гинеколог". Отвращение или возбуждение?

А я частный сыщик.

Ясно, что у него не было иммунитета. Девушка под его крышей. Хотя такое произошло у него впервые — тут Сара не сомневалась, она точно знала. И раз так, то́ когда это случилось — как бы оно ни случилось, — на него точно поезд налетел. Под своей собственной крышей, с *беженкой*, взятой из жалости. Разумеется, эта-то самая жалость...

Еще к тому же и гинеколог.

Да, наверняка это сшибло его с ног.

Переехала она к ним в одну сентябрьскую субботу три года назад. Вошла в номере четырнадцатом по Бичем-клоуз в число домочадцев. Конечно, она побывала там и раньше — посмотреть, познакомиться. Встретилась с мистером Нэшем. "Боб — Кристина".

Как, интересно, они с этим обходятся — с профессиональным ярлыком, который на них висит, — когда протягивают для знакомства руку? Не берут ли на вооружение специальную улыбку — чуть извиняющуюся, чуть детскую? Или предпочитают живость, открытость?

Я частный детектив. Можете звать меня Диком...

"Он работает в Фулеме, в больнице Чаринг-Кросс — плюс, конечно, частная практика. Один день в неделю в Парксайдской больнице. Только на холм подняться. Удобно".

Окна выходят на Уимблдон-коммон.

Все это, разумеется, в порядке пробы. Может быть, и ненадолго — "пока все как-нибудь не образуется". Она не имела права работать за вознаграждение, но получать благотворительную помощь закон не запрещает. И если ей было неловко, она могла считать себя их неоплачиваемой квартиранткой-помощницей. Своего рода шутка, конечно, но оказалось, что это именно так — по крайней мере поначалу. Она хотела что-то *делать* – это было не обязательно, но она делала. Чистила, убирала, ходила за покупками. Служанка из благодарности. Первоначальная вежливая, прохладная, послушная стадия.

И готовка. Я задумался: готовила она или нет? Вряд ли — наверно, это была Сарина прерогатива. Но, возможно, помогала — стала, так сказать, младшим поваром. И действительно (я правильно угадал) именно так они познакомились по-настоящему. За стряпней. Не худший способ. Вот как прохладная и неловкая фаза переросла в нечто другое. Своя, домашняя девушка. Кухонное тепло. Хорошая еда, зимние вечера. Добрые, щекочущие ноздри запахи.

Может быть, Сара даже узнала от нее что-нибудь новое? Что́ они там, в Хорватии, едят?

В те дни они вряд ли там особенно разъедались. Чем кормят беженцев в лагерях?

Кухонный "след", оказалось, все-таки был. Подле девушки, готовой исполнять роль служанки, у Сариной плиты стоял призрак. Всего призраков было три, но брат, провоевавший всего несколько недель, — звали его Милош — в свое время работал в ресторане, сначала на кухне, потом официантом. Слишком красивый, сказала Кристина, чтобы его долго держать на кухне. Это было летом, до всех событий, в разгар туристского сезона. Прибрежный ресторан в Дубровнике. Славное горячее времечко — богатейший урожай иностранных девиц.

Никогда не знаешь, что тебя ждет.

Но та первая сентябрьская суббота — Сара потом мне рассказала — обернулась чуть ли не катастрофой. Она чуть ли не готова была сказать себе, что все это ужасная ошибка.

Что она сама во всем виновата.

Они заехали за Кристиной (на его "саабе") и погрузили в машину несколько ее коробок и сумок. Все было обсуждено, согласовано, устроено. Но, к их удивлению, она сидела в машине молча, даже не глядя на них, как будто не была с ними знакома, как будто находилась под арестом. Казалось, в любой момент, на любом светофоре может внезапно выскочить.

Когда приехали, она просто сидела, жестко выпрямившись, у их кухонного стола, а Боб молча носил в ее комнату коробки. Теперь это был ее дом, ее пристанище, но она словно бы старалась здесь не быть. Что-то произносила, бормотала про себя, но не по-английски и не на каком-либо другом из понятных Саре языков.

Просто сидела в доме на Бичем-клоуз как арестантка.

А потом — "слава Богу" — потекли слезы, ручьями, потоками, минута за минутой, и Сара просто обняла ее, рыдающую и стонущую, и знала при этом, что все будет хорошо, что, когда слезы прекратятся, можно будет что-то начать.

Она никогда раньше не видела Кристину в слезах. Видела студентку с хмурой складкой меж бровей, с темными глазами, где стояла какая-то еще другая темнота, — но в слезах никогда.

Я могу себе это представить. Помещаешь туда себя. Они вдвоем в этой кухне. Девушка рыдает, Сара держит ее в объятиях, как будто нет сомнений в том, кто из них нуждается в защите.

А он? Он-то что? Как ему быть, когда они слеплены воедино у кухонного стола? Он таскает наверх коробки — носильщик, и только. Снует между машиной и домом, хрустит гравием дорожки.

Он тоже это чувствовал. Облегчение. Что после рыданий станет лучше. Может быть, и в его горле взбух комок — хотя ему-то, с его профессией, к женским слезам было не привыкать. Не такая уж безумная затея, в конце концов. Они поступили правильно. Но сейчас, стоя с пустыми руками в дверях кухни, как ему быть?

Гинеколог. Но тут нужны женские руки.

Он, должно быть, благоразумно вышел, оставил их одних. Сентябрь, свежо. Но он ходит около дома, разогретый таскaнием коробок, ходит туда-сюда, как человек, чья жена мучится родами. Старается, должно быть, думать о другом — например, об уехавшем в Сиэтл сыне, который и знать не знает (узнает ли вообще?), что в его кровати будет спать хорватская беженка.

Смотрит, должно быть, на свой сад, на соседские сады, на деревья, которыми окружены дома. Первые осенние ягоды. Отсвечивающие паутинки. Но даже туда, может быть, доносились рыдания, отдававшиеся у него в груди, и, расхаживая, он мог даже заглянуть в кухонное окно и встретиться глазами с женой (голова Кристины у нее на груди), ровно глядящей ему навстречу.

Я знаю, какая мысль должна была прийти ему в голову — новая для него мысль. Затылок Кристины, содрогающаяся шея. Что он не может этого, разве не так? Это ему возбраняется, верно ведь? То простое, очевидное и целительное, что сделала Сара. Обнять ее.

11

Фотографии она привезла во вторник. Так действительно лучше. Архив в голове. Чем меньше такое гуляет по почте, тем лучше. Предположим, все вышло, как она хотела, — а потом он узнал, что за ним была слежка.

Черта, которую они переступают, — не простая черта. Хоть и обиженная сторона, но шпионят за мужьями. Тоже кое-чего требует.

Своя маленькая сеть обмана.

Сказать по правде, мне не нужны были эти фотографии. Я должен был следовать за машиной, где едут мужчина и женщина. Но это добавляло скрупулезности. И означало, что она, может быть, опять ко мне придет.

Все это она теперь знает. Дни, когда не я ее посещал, а она меня.

Приехала довольно поздно, сразу после занятий. Вторники и пятницы — дни курсов английского. И не происходило ли опять что-нибудь тогда, в то самое время, в фулемской квартире?

Почти полшестого. Снаружи темень. Вторая, третья встреча — и люди меняются, как будто сам воздух вокруг них делается другой. Она, наверно, весь день носила с собой эти снимки — муж и его любовница, притиснутые друг к другу в сумочке.

Если бы я был идиотом, сказал бы Рите: "Знаешь что — поезжай уж, на сегодня все..."

У нее были не только фотографии — еще дата и номер рейса (так что работу я получил). Когда она мне их сообщала, в ее глазах что-то зажглось. Короткая вспышка, проблеск. Я понял, как она может выглядеть — в свое время такое, наверно, бывало нередко, — когда по ее лицу прокатывается настоящая радость. Ее взгляд у отдела деликатесов: "Ну, и что сегодня?"

Кажется, я подумал: она выглядит так, будто вот-вот выйдет на свободу.

Это должно было произойти вечером двадцатого ноября, в понедельник — то есть через три недели. Сначала в Женеву — официально зарегистрироваться как возвращающаяся беженка. Оттуда в Загреб.

Я задумался о процедуре. Зарегистрироваться. Что, все это было проделано открыто? Что, муж и билет ей показал — как доказательство, как обещание? Или просто сообщил на словах? Это не был, конечно, его билет. Но их могло быть и два — или ни одного.

Женева. Это могло означать любое место на свете.

Но все это она, должно быть, прокрутила в голове сама. Иначе почему здесь сидит? Будь тут что-нибудь наверняка, разве пришла бы ко мне опять?

Я спросил:

"Вы видели билет?"

"Она его купила".

Я посмотрел на нее. Да, есть способы проверить, включено ли то или иное лицо в список пассажиров.

"Такой рейс существует. В семь тридцать вечера. И я проверила — она в списке. Только она".

Тоже, значит, детектив. Сыщицкий огонь в глазах. Но он может купить себе билет в любое время. И если ты хочешь сбежать, скрыться, сделать ноги, ты можешь принять кое-какие конспиративные меры. Скажем, купить билет, которым не собираешься воспользоваться.

Все эти возможности она видела. И все равно чем-то таким светилась. Это происходило, происходило на самом деле. Освобождение? По крайней мере тот или иной вердикт. Вид способной, прилежной студентки в ожидании оценки за проделанную работу. На мгновение я почувствовал себя ее преподавателем.

Я вспомнил Элен в подростковые годы. Ее ненависть ко мне.

"А фотографии принесли?"

"Да".

Расстегнула сумочку. Домашнее задание, готовое к сдаче на проверку.

Вынула жесткий конверт, достала фотографии и положила на стол. Наклонилась над ними с таким же заботливым видом, как если бы показывала снимки своих детей.

"Для идентификации". Что она выбрала? Как мы выбираем? На одной карточке — Боб в вольготной позе. День явно нерабочий. Свободная рубашка с закатанными рукавами, в нагрудном кармане солнечные очки, на плечи накинут пуловер. Едва возникшая улыбка. Обаятельный мужчина лет сорока пяти. Как должен выглядеть гинеколог? Каковы характерные признаки? Он казался худощавым, ладным крикетистом: верный глаз, меткая бита. Лоб завешивает прядь темных волос. Можно вообразить, как он отводит их назад.

Что говорить в таких случаях? Какие-нибудь пустые слова? Одобрять их выбор мужа? Мне не надо было спрашивать: снимок был сделан позапрошлым летом — до появления Кристины.

Фотография Боба, которую дали потом в газетах, была, видимо, добыта по профессиональной линии. Предназначалась для какого-нибудь медицинского издания. Только лицо и плечи. Вид подтянутой, приятной надежности. Снято в фотоателье.

Кристина вышла хуже — снимок был даже чуть мутноват. (Не потому ли Сара его выбрала? Но много ли было, из чего выбирать?) Стройная девушка в джинсах, свитере и старой куртке — такое впечатление, что с чужого плеча. Кто ее раньше носил — Сара? Боб? Кристина была снята в саду дома номер четырнадцать за каким-то делом — может быть, сгребала листья. В руках черенок грабель или метлы. Вид при этом такой, словно фотоаппарат смутил ее, и она изобразила на лице нечто не вполне удавшееся, — выглядела бы лучше, если бы ее щелкнули исподтишка.

Та первая осень (догадался я, и был прав), когда ничего еще не началось.

Я снова увидел эти снимки, когда перебирал все, чего не захотел сжигать. Ее карточка — бóльшая тайна из двух. Неважная фотография или что-то смазанное в ней самой? Кто снимал и зачем? (Боб снимал. Куртка была его.) Могла бы сойти за итальянку — кому придет в голову Хорватия?

Ей можно было дать и восемнадцать, и двадцать пять. Она не похожа была на женщину, которую я увидел три недели спустя — мельком, конечно, и самое близкое с расстояния в несколько шагов. Сначала садящуюся в черный "сааб", потом выходящую из него.

Но это уже было после того, как она расцвела.

И в любом случае (поверьте детективу) люди не всегда выглядят так, как они выглядят.

Я рассмотрел фотографию и кивнул. Что я, опять же, мог сказать? Что она выглядит как бедствие, как разрушительница браков? Или как потерянная душа, которую всякий захотел бы взять под опеку?

Но я знал (я так думаю), что на уме у нас обоих. Вот они на моем столе — как отобранная пара. А мы с ней арбитры. Подходят они друг другу? Чета? Так ли предопределено?

Поворачиваю и еду вдоль парка Уимблдон-коммон. Свет между деревьями как между спицами колеса.

Как люди выбирают? Как происходят такие вещи? Может быть, Рита теперь откроет брачное агентство? Моя фантазия всего-навсего. Та же работа, но в обратную сторону. Досконально все изучить и в один прекрасный день сказать клиенту: "Я нашла вашу другую половину".

В тот день я услышал, как Рита за дверью кашлянула. Ей не слышно, какие слова звучат у меня в кабинете, как и мне не слышно, что она говорит по телефону. Но она чувствует, когда тон становится разгоряченным, отчаянным, истерическим. Медсестра Рита. Или когда ничего не говорится вообще.

Я буднично положил одну фотографию на другую. Может быть, и сам кашлянул.

"Хорошо, — сказал я. — Теперь я их видел. И теперь у нас есть дата и время. — Может быть, она обратила внимание на это "у нас". — Если вылет в семь тридцать, а регистрация за час... Из Фулема в аэропорт прямой путь — но в это время дня... Будет ли у вас возможность дать мне знать, когда мистер Нэш поедет за мисс Лазич?"

Поглядела на меня как на тупицу.

"Он за ней не поедет. Он там и будет".

"Понятно".

Взяла фотографии и бережно положила, как драгоценность, обратно в конверт. Потом в сумочку. Там им и место — в родном гнездышке.

"Да, теперь вы их видели".

Странный взгляд — будто совершился какой-то акт эксгибиционизма.

А я только и видел, что ее колени.

Застегнула сумочку. Я сказал:

"Я так и так сейчас кончаю рабочий день. — (Рита не только отпирает, но и запирает иногда. И пусть себе думает что угодно.) — Хотите чего-нибудь выпить?"

12

И еще одно, чего я не ожидал: они благодарят тебя за это, чуть ли не любить начинают, хотя должны, казалось бы, ненавидеть. Ведь от тебя они узнают о плохом, ты тот вестник, которого надо казнить.

Да, все обстоит примерно так, как вы думали, да, ваш брак, похоже, летит к черту...

И вдобавок ты мужчина. Из них, из подлецов.

Но хоть ты и начинаешь как ее враг, как враг за ее же деньги, мало-помалу ты становишься ее союзником, даже другом — бывает, по крайней мере, такое. Вместе в этом, это между вами двумя. Разве кто другой сказал бы ей эту болезненную, интимную правду?

Иные, само собой, до конца остаются настороже. С ними все время надо смотреть в оба.

Учишься делать скидки, говорить с ними как с больными (полицейский опыт тут мало помогает). Полуконсультант, полуутешитель. Им

всем надо набираться решимости, они все считают себя неповторимыми, и не годится устраивать им холодный душ: сердце мое, хлеб мой, масло мое, не ты первая, не ты последняя...

"Не спешите... Своими словами..."

(Чьими же еще, интересно?)

Союзник, а бывает, и сообщник. Это превращается почти в приключение. И бывает, что в тот самый момент, когда она узнаёт худшее, между вами возникает дружба. Она благодарна тебе за это — даже платит тебе за это. Кто еще мог бы сказать ей обо всем так прямо? Ты видишь ее в унижении, в гневе, в первом запале мести. Она ищет компенсации. И ты глазом моргнуть не успел — хотя у тебя наготове бумажная салфеточка, бутылка виски, хорошо обкатанные слова, — как она, а не ты, протягивает руку (тебе, впрочем, это тоже было бы простительно, это даже лучшее, что ты мог бы сделать). Пришла нанять тебя в ищейки, поручить тебе разузнать то и это, но ты глазом моргнуть не успел, как она больше всего хочет, чтобы ты ее обнял.

"Большей частью женщины, Элен..."

Когда, давно уже, я пережил позор и впал в немилость — когда я ушел из полиции и Рейчел ушла от меня, — Элен, вот кто меня поддержал. Не то чтобы считала меня безгрешным — но поддержала, факт. Очень странно, после такой вражды. Скорей можно было подумать, что станет злорадствовать. По крайней мере возьмет сторону матери.

Но она взяла мою сторону.

Очень странно. Ей уже почти тридцать, мне за пятьдесят. Возрастной разрыв между нами не изменился, но когда мы сейчас видимся, кажется, что мы чуть ли не сверстники, просто двое взрослых. Совсем не то что, скажем, когда мне было под сорок, а ей пятнадцать. Она устраивала мне веселую жизнь — мало мне было полицейской работы, еще и дома ад кромешный.

Думаю, она меня ненавидела. Мать, может быть, тоже, но меня точно, особенно за то, что я полицейский. "Мой папа работает в полиции" — такое в те дни подростку нелегко было выговорить. Не модно, гниляк. Даже если я хожу в штатском, даже если это не так бросается в глаза. Мой папа работает в полиции и, значит, не на нашей стороне. Мой папа фараон, легавый, мусор.

Я иногда думал — слабое, впрочем, утешение, — что, родись у меня сын, было бы, может, еще хуже. С другой стороны, иногда жалел, что у меня нет, помимо дочери, еще и сына. Элен направляла бы на него часть своей злости.

Хандра, вспышки, заряженное гневом молчание. Откуда все это берется? И Рейчел, учительница в начальных классах, которой не привыкать к выходкам маленьких сволочей. Но между Рейчел и Элен была, чудилось, какая-то непонятная связь. Дочь полицейского, жена полицейского — что из этого выходит? Мне всегда казалось, что они союзницы.

Может, и не в профессии моей было дело. Может, это и не главное.

И не в том только, что ей на мне хотелось сорвать злость. Она и на себе ее срывала — так мне казалось. Срывала на себе, чтобы сорвать на мне. Носила эту жуткую одежду, волосы раз в месяц перекрашивала в другой цвет, заставляла их топорщиться на манер старой щетки. Как ее в школе терпели, не понимаю, — правда, мы получали оттуда письма на-

счет приличий по части одежды и внешности. А я-то ведь был полицейский. Блюститель порядка. А Рейчел прочили в заместители директора. Что странно, училась Элен совсем даже неплохо.

Чего не скажешь обо мне в школьные годы. Оценки хуже некуда.

(Я, конечно, рассказал сейчас Элен бóльшую часть, почти все рассказал.)

Потом воткнула себе сбоку в ноздрю украшение. Потом другое в другую ноздрю. Тогда это еще не стало чем-то вроде униформы.

Ее нос, ее дело. Но по выходным отправлялась гулять с какой-то девчоночьей компанией — кто они такие, мы не знали — и, случалось, не ночевала дома. Полицейская должность не избавляет от беспокойства — добавляет, если уж на то пошло. И я, случалось, думал, что рано или поздно мне придется вызволять ее из какой-нибудь каталажки. Я в полиции, она в каталажке. Наркотики, что хотите. И это будет для нее самое клевое, ее день. Наилучшее воздаяние.

Поэтому, когда оскандалился я, а не она, когда меня выгнали со службы, когда я оказался на поверку недобросовестным полицейским, плохим полицейским (хотя в чем-то плохим, а в чем-то и нет — ведь дослужился же до детектива-инспектора), от нее можно было ждать торжества, злорадства.

Но поди угадай, чем такое отзовется. Если полицейский — это плохо, то плохой полицейский... Минус на минус — что в итоге?

Мы оба знали, чем это отозвалось в ее матери. Почти мгновенно Рейчел решила, что я не просто плохой полицейский — что я еще и плохой муж, что я вообще плохой. Решила, что больше я ей не нужен, и пошла отдельным путем. Вот чем в ней отозвалось. И можно было подумать, что Элен от нее не отстанет.

Но к тому времени она кончила школу и перестала жить дома. Уже пошла своим особым путем (что, откровенно говоря, принесло некоторое облегчение). Училась теперь в колледже, в художественном колледже — не такая уж, значит, сорвиголова. Под вызывающим наружным слоем — прилежная ученица, которой особенно хорошо давались теория и история искусств.

Впрочем, даже это она превращала в палку, чтобы при случае меня ударить. Меня, безмозглого тупицу из полиции.

(Хотя я тоже в свое время учился в колледже — в полицейском, с освобождением от работы на учебные дни. Потел на полицейских экзаменах.)

В искусстве, каюсь, я мало что понимал и невысоко его ставил. В разглядывании картин большого смысла не видел. Как и в том, чтобы их малевать. Хотя, если бы дошло до такого разговора, я сказал бы Элен, что затем-то полицейские и нужны: чтобы законопослушные люди могли спокойно ходить в картинные галереи и разглядывать, что там висит. И всем остальным заниматься. Втыкать себе в носы булавки. На что иначе цивилизация?

Но ничего такого я, конечно, не сказал. Красная тряпка для быка. Я даже пробовал ради нее заинтересоваться искусством.

“Ты детектив, папа, но ты глядишь и не видишь. Глядишь и не замечаешь”.

Я даже ходил в картинные галереи, смотрел — и зевал. Даже поднатаскал себя по части Караваджо, ее любимого художника (хотя, по мне, все это смахивает на восковые фигуры). Оказалось, он тоже немножко

сорвиголова — беззаконник по совместительству. (Был тут для меня какой-нибудь знак или нет?) И немножко голубой вдобавок.

Потом она перестала жить дома. Потом — через два года — я перестал работать в полиции. Потом Рейчел перестала быть моей женой. Потом Элен вернулась домой. В смысле, пришла меня навестить, пришла показать, что взяла мою сторону против Рейчел, которая тем, что повернулась ко мне спиной, сделала себя в глазах Элен главным источником зла.

"Нельзя так говорить про мать, Элен".

"Какая она мне мать".

Рейчел она так и не простила — но, похоже, простила меня, причем довольно быстро, не успел я даже выставить руку и сказать, что сам во всем виноват, что не должен был так вести себя, что раскаиваюсь.

Я и сейчас вижу лицо Рейчел (оно сделалось, правда, смутным, странным и зыбким, лицом женщины, которую я, может, толком и не знал), когда она сказала мне: "Я не могу с тобой оставаться, Джордж. Ты понимаешь, что я говорю?"

В лице больше осуждения, чем у любого из судей, каких я видал на процессах.

"Я не могу оставаться твоей женой".

И ощущение помню — до той поры его ни разу у меня не было, хоть земля разверзнись у ног, — что я падаю. Просто падаю, как падаешь, когда знаешь, что приземляться некуда, бесконечно, будто в космосе.

Я и сейчас, бывает, падаю во сне, как тогда. Может быть, у всех случаются такие сны. А Саре что теперь снится?

Падаю. С обрыва, с утеса жизни. Но в этих падающих снах всякий раз вижу над собой точку, с которой упал, и чувствую наплыв тошноты от первого рывка. А там, на самом верху утеса, — Дайсон, стоит и глядит вниз и смеется надо мной. Хохочет до колик. Ржет, черт его раздери. Надо же, даже толкать не пришлось.

А иной раз там стоит не Дайсон, а Рейчел, которая никогда не смеется.

Но Элен — та пришла меня навестить, когда Рейчел уехала, когда я остался в доме один. В нашем доме до тех пор, пока мы не разобрались, что кому, и я не переместился в Уимблдон. Один и без работы. Элен пришла просто взглянуть, все ли со мной в порядке, убедиться, что я держу себя в руках. Посмотрела на меня, потом обвела все глазами, как будто искала трещины в стенах.

Очень странно. Эта отбившаяся от рук девчонка, которая раньше не упускала случая мне насолить, теперь превратилась в милую маленькую (впрочем, не такую уж маленькую) маму-дочку, которой никогда не была. Цвет волос даже приглушила, даже оделась поскромней. К тому времени она уже кончила колледж и работала где-то дизайнером. Двадцать лет, малюткой не назовешь.

Когда она уезжала после тех визитов, я стоял в дверях (соседи, конечно, знали: в доме номер три не все по-старому), смотрел, как она садится в старый "рено", который купила, как выжимает сцепление, как машет на прощанье рукой, — смотрел и думал простую, очевидную вещь: она взрослая женщина, у нее своя жизнь. Но моя ей не безразлична.

Смотрел, пока не исчезали ее задние огни, потом шел в дом. Осенние вечера, сырые и холодные. Дымный воздух. "Глядишь и не видишь".

Соседи знали, что я был сыщиком (кто обрадуется такому соседству?), но уже не сыщик. Так что теперь *они* за мной шпионили.

Чувство, что ты опять один в доме. Точно вода льется в корабельный трюм.

Она даже мне готовила — и совсем неплохо готовила, — как будто я вдруг перестал есть. (Я пил — это она заметила.) Старая мудрость на случай беды: не забывай питаться. Элен, моя дочь. Вот как это началось. Моя кулинария, мое самообразование по этой части. (Изобразительное искусство тоже, но главным образом еда.) Этому тоже в полиции не учат.

Я освоил готовку. Сперва простые вещи, под присмотром Элен (а она-то где научилась?), потом уже сам, в долгие пустые часы, с помощью кулинарных книг, в их компании. Цветные соблазнительные фотографии блюд. Я почувствовал, что у меня есть жилка. Перешел к довольно сложным рецептам.

Хотя, если честно, все это для того только, чтобы жизнь не рассыпалась. Целый день можно нанизать на приготовление и прием пищи. И для того, чтобы порадовать Элен. Доказать, что и впрямь держу себя в руках.

Вот как у нас возник этот порядок. Элен приезжала вечером раз в неделю, и я готовил к ее приезду ужин. Из трех блюд, по полной программе. И стол накрывал не абы как: свечи, салфетки, винные бокалы. Она была моей единственной гостьей — и дегустатором, арбитром. Мои успехи, надо сказать, произвели на нее впечатление. Я превзошел свою наставницу. Она даже одеваться стала немножко по-праздничному. Едим, разговариваем, пьем вино.

Лучший день на неделе. Дни, нанизанные на ужины, недели, нанизанные на эти дни. Я мало спал тогда — такая была полоса. А когда спал, видел сны. Падал. Бодрствуешь день и ночь во все часы, готовый делать дело, от которого отлучили. Свое привычное дело.

Это не уходит. Я сказал потом Маршу. Не прекращается. Это и не работа даже, это что-то внутри, это как ты устроен. Лучше линялый сыщик, выслеживающий неверных мужей, чем совсем не быть сыщиком...

Элен, понятно, была не в восторге. Частный детектив — это, она считала, слишком скучный, слишком очевидный ход. Все равно что нацепить значок со словами: "Полицейский-неудачник". И грязноватенько (а в полиции что, стерильная работа?). Ее старый папаша.

А кем, по-твоему, мне быть, Элен? Художником? Шеф-поваром?

Марш по-прежнему, хоть и на пенсии, просыпается рано, как на дежурство. Он сам мне сказал, когда мы играли в гольф.

Я долго об этом думал: не предложить ли ему работать у меня? Или лучше не стоит, если сам не спросит? Ведь, помимо прочего, у меня есть Рита.

Дни, когда я ждал Элен, лучшие дни на неделе. Когда единственной пищей, какой хотел мой ум, в какой он нуждался и какую мог переварить, было — планировать ужин.

Конечно, мне приходила в голову простая мысль — и ей тоже: она стала моей женщиной. Женщиной в моей жизни.

Я готовился выйти на рынок, открыть частное агентство. Но это был один вопрос, и когда он разрешился — когда я опять начал ходить по

следу, — остался другой. Думаю ли я найти себе кого-нибудь? Такое бывает. Так мужчина в моем положении обычно и делает.

Новая женщина. Не дочь. Мне было только сорок два. Только. И если я приобретал эти... навыки. Если я мог принимать, угощать... Приглашай их пробовать твою стряпню. Подливай им вина.

"Почти одни женщины, Элен..."

Но к тому времени, как я это произнес, к тому времени, как я сделал это не вполне точное замечание, Элен уже примирилась с моей работой частного детектива — ведь и сама она, если на то пошло, перекинулась с чистого искусства на интерьерный дизайн (эту тему, я чувствовал, мне не стоит очень часто затрагивать). И оказалось, что моя работа имеет одну особенность, неожиданную для нас обоих. Большие возможности для меня и источник интереса — забавы? — для нее. Ее старый папаша.

К тому времени, как я это сказал, она, думаю, знала, что я уже осваиваюсь.

"...Женщины большей частью".

"И чем это плохо?"

13

Еду мимо Парксайдской больницы. Аккуратная живая изгородь, опрятный передний двор, стеклянные двери. Можно принять за спокойный, неброский отель. Потом кольцевая развязка у Тиббетс-корнер. Выезжаю на шоссе А3 — справа Патни-хит, слева Уимблдон-коммон, чуть дальше Ричмонд-парк. Все эти куски приручeнного ландшафта, бывшие пустоши и выгоны, обильно поросшие деревьями. И жесткая, громкая, безжалостная сквозная магистраль в шесть рядов.

Не знаю, думает ли обо мне Рейчел, любопытствует ли. Два года назад, очень может быть, прочла в газетах про дело Нэшей. В некоторых заметках я был упомянут. Частный детектив, нанятый миссис Нэш...

Господи, это же Джордж. Он, точно он.

Любопытствует? Но я же "ушел из ее жизни", как и она из моей. А когда кто-то ушел из твоей жизни, он для тебя все равно что умер.

И если бы она увидела меня сейчас — если бы увидела, что я сейчас делаю, — что, спрашивается, могла бы подумать? Что я совсем спятил, рехнулся окончательно?

Дорога идет вниз. Ехать осталось всего ничего. Солнце светит почти точно в лоб, поэтому все впереди металлически блещет и сияет, как гладь огромного ледяного желоба.

Уже, конечно, директор школы. С трибуны актового зала обращается в этот прекрасный день к маленьким прекрасным личикам.

Иногда мне думается, что она и вправду меня видит, следит за мной и что воображает в свой черед, будто я слежу за ней. Такая у нас обоих способность, такое право, потому что столько прожили вместе.

Смотрит, как я скольжу.

Чушь, конечно. Не может она меня видеть. Даже Сара не может. Хотя с ней все иначе: я стараюсь ее оттуда вызволить, стараюсь быть ее глазами.

Нет, Рейчел на меня не смотрит. С какой стати? Как мы выбираем? Просто встречаемся, расходимся, идем своими дорогами. Тут ни законов, ни правил. Мы не для того здесь, чтобы следить друг за другом, оберегать друг друга издалека.

14

Сворачиваю на кладбище. Это после универмага "Асда". Здесь есть подъездной путь, кольцевая развязка, ворота. На территории — узкая прямая аллея. Знак говорит — десять миль в час, как будто тебе может прийти в голову разогнаться. Как будто контраст с бешеной A3 не всем очевиден. Здесь все движется медленно. Если движется.

Патни-вейл. В этом слепящем свете могильные камни кажутся кусками свадебного торта. Но во рту у меня по-прежнему черный вкус. На траве поблескивает паутина тающего инея.

Я помню дорогу. По аллее; машину поставить у крематория, где работа уже спорится. Одна группа прощающихся выходит, другая собирается на площадке для парковки. Люди кивают друг другу. На меня, когда подъезжаю, смотрят так, словно я могу быть одним из них. Неизбежная фраза, одна из немногих, какие приходят им сейчас на ум: хороший день для этого. Красивый. Холодный, но красивый.

Крематорий не простаивает. Но Боб не хотел, чтобы после смерти его сожгли. Судя по всему, сам сказал или написал. Надо же — ученый человек, врач. Его кусочек суеверия.

Вылезаю. Беру с заднего сиденья куртку, шарф и розы, на секунду кладу розы на крышу машины. Выходящие из крематория движутся кто куда с оглушенным, неуверенным видом, как прибывшие наконец на место участники автобусной экскурсии по не известному заранее маршруту.

Иду с цветами к могиле. Идти недалеко, но дорожки под деревьями приводят меня туда, где, кроме меня, кажется, нет ни души. Живой души по крайней мере. Листья на деревьях как нарисованы краской — такие яркие. Тронутые морозом цветы на свежих могилах кажутся остатками праздничного убранства.

Памятник у него простой — полированная гранитная плита. По-прежнему выглядит так, словно ее поставили вчера. Имя, фамилия, даты. Прочтешь и подумаешь: не очень долгая жизнь. Никаких указаний на то, что здесь лежит жертва убийства.

Я подхожу ближе — медленно, точно здесь какая-то черта, край. Хочется быть по меньшей мере спокойным, по меньшей мере пристойно-почтительным. Но чувствую, как вздымается ненависть, та же внезапная сумасшедшая ненависть, что и год назад, — может быть, даже еще неистовей.

Где иней растаял, трава кажется чистой, промытой.

Помедлив, делаю шаг вперед, вынимаю цветы из обертки, комкаю ее, сую в карман и кладу розы по-быстрому — никакой заминки. Ни жестов, ни тихих слов. Что это могут быть за слова? Но просто повернуться теперь и уйти я не могу. Какое-то время надо постоять, посмотреть. Грудь ходит ходуном, хоть я и прирос к месту.

Второй раз.

Пришел. Снова пришел. Здесь — вместо нее. Отметить годовщину.

Отдаю дань уважения (так, кажется, говорят?), хотя на самом-то деле сейчас виню его, ненавижу.

Вот что ты сделал, вот что ты с ней сделал. Позволил ей сделать *это* с тобой.

Солнце светит вовсю, а я черен от ненависти.

Может быть, через восемь лет, через девять — сколько их там окажется, — когда она отбудет срок, я приду сюда и не почувствую этого. Приду примиренный — или не приду вовсе. Мой срок тоже будет окончен.

Букет роз кажется тут недоразумением. Вспоминаю девушку в цветочном магазине. Ее улыбка.

"Перебери все случаи..."

Устроил все здесь Майкл, ее сын. Без малого два года назад. Прилетел из Сиэтла — взял "отпуск сочувствия", который продлился три месяца с лишним. Не знаю, сколько раз был у Сары. Знаю, что бывал, но думаю, что добра из этого не вышло, что сочувствия никакого не было. И знаю, что я ревновал: Сара все эти месяцы не хотела меня видеть, не черкнула мне ни строки. Впрочем, кто, собственно, я такой? Сыщик, нанятый на время. А он сын — разница.

Знаю, что он встречался с ее адвокатом. Что говорят адвокаты сыновьям в таких случаях? Знаю, что он встал на сторону отца. Ничего удивительного. Как Элен — на мою сторону.

Со мной, разумеется, встретиться не пожелал — хоть я и пытался. Но кто я такой? Наемный шпион его матери.

Ревность к сыну, который побыл и отправился восвояси, поехал к себе в Сиэтл и не стал делать того, что я делаю раз в две недели вот уже полтора года. Ничего больше от Майкла. Один я.

Второе наказание — как еще одна смерть: ты мне больше не мать. Она трудно это перенесла, знаю, догадываюсь. Скажем, если бы Элен не...

Но могла ли она, *она* его винить? И ему-то каково пришлось? Потерять разом и отца, и мать. Трудно — наверняка.

И стоять-то здесь ему наверняка было тяжело — здесь, на этом месте, две осени назад, среди потрясенных родственников отца. Тело лежало в морге почти три недели.

Сара, конечно, не могла прийти. Не была свободна.

Но я пришел. Я здесь стоял. Фокусник — возник ниоткуда, посмотрел и исчез. Потом дал отчет об увиденном.

Декабрьский день. Не такой, как сегодня. Сырой, хмурый, теплый. Мокрые комья земли, затоптанная трава.

Думаю о Рейчел, как будто ее глаза смотрят мне в спину.

Как можно ненавидеть мертвого? Нелепость. Такая же нелепость, как бояться, что после смерти будешь чувствовать огонь. Но я ненавижу — даже два года спустя. Вот что ты с ней сделал, вот куда ты ее отправил. Стою и ненавижу его. Сара не знает. "Съезжу и цветы положу". Был бы он жив, я, может, убил бы его. Нелепость — и тем не менее. Саре никогда не скажу. Убил бы — но мертвого не убьешь.

Да, я поехал. И положил цветы. Красивый день, сияющий, ясный. Деревья — как два ряда факелов.

Нет, он молчит.

А был бы у него дар речи, он, может, сказал бы: "Нет, ты не чувствуешь ко мне ненависти, какое там. Ты совсем другое чувствуешь. Ты доволен, разве не так? Я оказал тебе услугу. Ты доволен, что находишься там, а я здесь".

15

Как это началось? И когда? Даже Сара не могла сказать. Но она знала: началоеь. Почуяла, как мы всегда чуем первые веяния, носом, а видимые признаки появляются позже — следы, улики в подтверждение тому, о чем уже сказал тебе нос.

Какое-то время она была вроде меня — детектив, частный нюх, уловительница следов, запахов, — но не хотела этим быть, не хотела знать то, что уже знала.

Потом однажды бросила на него взгляд — на мужа, на Боба, — взгляд, сказала она, на который она не думала, что способна. И под этим взглядом он треснул, раскололся, вынужден был сознаться.

Что странно, вел себя так, будто он беспомощная жертва, будто его, а не кого другого, надо жалеть.

Старая уловка — очень может быть. Но не было ли такого отрезка по меньшей мере, такой начальной стадии, когда он чувствовал, что куда-то скользит, съезжает, и пытался сопротивляться? Хорошее время, время доброты — осень трехлетней давности соскальзывала в зиму, — когда для них для всех что-то переменилось. Новое существо в доме, новая мягкая атмосфера. Потребность взять под защиту. Ему, наверно, следовало быть пожестче, помозолистей — более медиком, что ли. Разве он не привык? Сочувствие и добросердечие заскользили, стали таять, превращаться во что-то другое.

Или это произошло в один миг? Могло быть и так. Один из моментов, когда все переворачивается вверх дном. Никаких предварительных петляний, никаких споров с самим собой, никаких ежедневных взглядов на нее — взглядов подставного отца и в то же время шпиона, скрывающегося в темноте. Момент, возможность. Они были в доме одни. Глухая зима. Шторы задернуты. Они метнулись друг к другу, как вспугнутые животные. Дверь осталась открытой. Их взгляд друг на друга был не двумя столкнувшимися и мгновенно отскочившими взглядами, а чем-то единым — скользящим затвором, который разом замкнулся, чем-то таким же недвусмысленным, как взгляд Сары на него несколько недель спустя.

"Я всего-навсего посмотрела на него, Джордж..."

Демонстрировать не стала, но думаю, я понял, что это был за взгляд. Как тот, которым она смотрела на меня в тюрьме во время первых свиданий. Нож, а не взгляд. Перестаньте играть со мной, Джордж. Не нужна мне ваша жалость.

Как быть, если жизнь ставит что-то на твоем пути? Отрицать? Зажмуриться, повернуться спиной? Сделать вид, что ошибся дверью? Это не мне, это кому-то еще...

Сочувствие, натолкнувшееся на что-то другое.

А потом — возможность свалить все на "приступ сумасшествия" (известный способ, избитая формулировочка) и вести себя, как будто ничего не случилось. Как будто для него (и для нее) это не инфекция, сидящая теперь внутри.

Как бы то ни было, в воздухе уже чуялось.

Началось как повод проявить добросердечие — для него, для Боба. И вдруг ударило невесть откуда. Внезапный пожар. А ведь он не хотел гореть.

А Кристина? Такая несчастная, такая беспомощная. Ей было двадцать два. Жизнь взяла и отбросила ее назад, в кратковременное новое детство (может быть) — или же заставила взрослеть быстрее других. Стать старше своих лет. А тут как раз — старший мужчина. И, так или иначе, она к тому времени расцвела. Выдернута и пересажена в комфорт и изобилие. Уимблдон.

Неудивительно, что вначале она по-детски разрыдалась. В этой кухне. Но какая ей разница сейчас, когда она так много потеряла? Что́ она должна окружающему миру? Лицо без государства, только наполовину защищаемое законом.

Все время, все эти месяцы, годы она, должно быть, крутила в голове мысль: я могла быть там, а не здесь. Я тоже могла бы погибнуть — хуже чем погибнуть. Я могла бы сначала увидеть, как убивают других — насилуют, потом убивают. Ей всегда теперь с этим жить. Но здесь, в Уимблдоне, у нее теплая постель. Лужайки, деревья. По каким теперь правилам играть? С ней тоже произошла перемена: чувство защищенности, скользя, превращалось во что-то другое.

Компенсация: была ограблена, теперь наверстываешь. И так ли уж мы в молодости ранимы? Так ли уж нежны? Взять Элен: она ведь знала, что делает мне больно. Молодость дается только раз, и в ней есть своя свирепость. Этот Кристинин брат. Погибший солдат, а до войны красивый официант. Застрелен. Но пока был жив, драл этих заграничных девиц одну за другой, как будто знал, что времени у него в обрез.

"Я спросила ее, Джордж, что она о нем думает — о брате, который так себя вел, который обращался с ними как с добычей. Знаешь, что она сказала? Что все было не так, как я вообразила, совсем не так. Сказала, не будь он ее братом, сама встала бы в очередь".

Я до сих пор обо всем этом думаю, до сих пор не закрыл дело. Работа, которая никогда не кончается. Иной раз мало смотреть и примечать. Надо поместить себя туда, влезть в их шкуру.

В шкуру того, кто лежит под этой плитой, под этим букетом роз. Я думаю о его скольжении, о его падении сквозь жизнь.

Как это началось? И как продолжалось? Когда Сара уже знала, но до того, как по молчаливому соглашению появилась квартира в Фулеме? Они — то есть она — не могли просто выставить ее за дверь. Она искала убежища и получила его у них. Правила гостеприимства. Но не нарушила ли она все мыслимые правила?

Простой вопрос. Где они — Кристина и Боб — этим занимались? Приходится им задаваться (Сара наверняка задавалась). В моем деле приходится вникать в эти простые, низменные, механические вещи. И помещать себя внутрь событий.

Под их семейной крышей? Вряд ли, после первого раза. Может быть, в его кабинете. В его гинекологической приемной. На Харли-стрит. Или в Парксайдской больнице. Записывалась как пациентка? Строжайшее уединение. Это всегда (знаю, видел) граничит с фарсом. Ученый медик со спущенными штанами.

В черном "саабе"? Боже мой, да где угодно. Хоть прямо в парке Уимблдон-коммон. Только на холм подняться. Удобно. Через дорогу от Парксайдской больницы. Места много, спрятаться есть где. Большие деревья. Своя прелесть даже, прелесть опасности — просто так, без укрытия. Добавочный восторг. Может быть, он ее брал, притиснув к стволу, как бродяга бродяжку. Отчасти она хочет именно этого, и он понимает. Сам этим упивается как сумасшедший.

Прямо в Уимблдон-коммон. А что, почему бы и нет? Тут всякое бывает — даже средь бела дня. Грабежи, изнасилования, убийства. А кто-то накачивается химикалиями. Куски ландшафта, не знаю уж, насколько приручennого.

От его могилы рукой подать — вон там, за кладбищенской оградой. Уимблдон-коммон соседствует с Патни-вейл. Эта мысль вызывает у него сейчас улыбку — *моя* мысль, он может их читать. Да, прямо там, как бешеные. В весеннем лесу. Что мне теперь твои цветочки.

Стою на кладбище и думаю про совокупляющуюся пару. Надо изобразить себе ситуацию. Даже после того как появилась квартира в Фулеме. Ради бешеного восторга. Даже той последней осенью, когда положение изменилось — когда хорваты победили. Последние лесные прогулки.

Они шуршат прошлогодними листьями. Сентябрь: листья этого года еще висят, еще дают укрытие. Он смахивает с ее спины веточки, кусочки коры. Уже ритуал своего рода. На ней все та же его старая куртка. Оба еще влажные и помятые от близости. И она уже знает, что скоро это может стать воспоминанием. Английский лес. Папоротник, куманика, береза. Для того чтобы приехать в эту страну, у нее были причины. И она до сих пор учит английские слова — его очередь быть ее педагогом.

Она задевает что-то ногой, нагибается, смотрит. Волосы свисают справа и слева, оголяя шею. Она знает слово "гриб", но забыла, если вообще знала, другое слово. "Toadstool", — говорит он. Жабья табуретка. Он еще что-то объясняет, и оба на короткое время задумываются о тайне слов. Toadstool. А есть еще foxglove. Цветок такой. Лисья варежка...

Ну и что это за грибы? Съедобные или нет? Он не знает. Она срывает несколько штук и делает вид, что кладет в рот. Потом пятится, хватается за живот, закатывает глаза — притворяется, что ей плохо. Шутка: она смеется, потом видит его лицо и умолкает. Он думает (может быть, она читает его мысль, может быть, думает одновременно с ним то же самое): а вдруг она забеременеет? Что тогда?

16

"Что вам было до всего этого?" — спросил Марш.

Может быть, он тоже что-то уже почуял. Может быть, это шло от меня волнами, наряду с "явными признаками подавленности" (я видел эти слова в его рапорте).

"...свидетель обнаруживает явные признаки подавленности..."

Комната для допросов. Застарелый запах дыма. Из дальнего конца коридора — приглушенные телефонные звонки. Надо же — опять здесь оказаться. После стольких лет.

"Довольно странно получается. Только прибыли наши люди — и тут третья сторона, человек, к полиции отношения не имеющий, в возбужденном состоянии, требует, чтобы его пропустили. Мало того — гово-

рит, что является одним из нас и поэтому, мол, имеет право. Выясняется — являлся когда-то, теперь нет".

Быстрый, жесткий взгляд.

Волосы песочного цвета, над ушами седина. Серые водянистые глаза, в которых спрятан кремень. Под пятьдесят. Из тех, что кажутся безвредными и мягкими, а потом вдруг показывают мускулы. Из тех, что хорошо подходят для этой должности, потому что не выглядят как детективы. Можно представить себе его школьным учителем. И домашнюю работу он, похоже, выполнил. Что-то припомнил, сообразил — или навел справки, зная, что я бывший сотрудник Департамента уголовного розыска.

Чуть отклонился назад. Простое, усталое выражение лица. Кончил уже с Сарой или нет? Он держался за свой галстук, как рефери на боксерском ринге за свисток.

"Наверно, это первый раз, когда два детектива-инспектора сидят друг против друга за этим столом. — Мягкость, от которой в любой момент жди укуса. — И последний — по крайней мере с моим участием. Через месяц на пенсию. Годы вышли".

Значит, последнее его существенное дело. И потому только ему поручено, что выглядит ясным как день. Признание и арест в течение нескольких минут после события. Тут и месяца-то много. И вдруг — я.

Твое последнее дело. Как это бывает? Хочешь уже расслабиться, хочешь легкой прогулки? Или хочешь сотворить из этого лакомое блюдо, смаковать каждую подробность?

И он знал про *мое* последнее дело. Я видел по глазам.

"Ну, а вы, сдается мне, — шутку сопровождает быстрая улыбка, — хотите обратно".

Кончил уже с Сарой или нет? Что *ему* до всего этого? Дело, одно из многих. Все близко к сердцу не примешь.

Но дело для него последнее. Он не обязан был мне это сообщать. Может быть, тщеславие. Последнее дело — и убийство, ни больше ни меньше. Не просто уйти, а с фанфарами.

"Вы ведь не по собственному желанию тогда ушли. Не тот случай, насколько я знаю".

Вот оно, вот. Опять проступил кремень. Он мог бы даже и больший интерес ко мне проявить — поскольку Сара была, считай, в кармане. Поиграть со мной в игры. Задаешь жару подозреваемому, который скорей всего ни при чем (помню, как же). Твое последнее дело. Смакуй, смакуй.

Серые усталые глаза. Мягкие, потом твердые, потом опять мягкие. Глянул как учитель — глянул как папаша. Семьянин. Жена, взрослые дети (догадка, но оказалась верной). Как он сам не подкачал — так и они. Дома в нем не видят полицейского — того, кто давит на подозреваемого, спокойно ходит около трупа. Умеет переключаться. Скоро ему уже домой насовсем.

Я мог бы быть на его месте. Два детектива-инспектора. Только у него служебный стаж побольше — а я все-таки *бывший* детектив-инспектор.

Если строго по правилам, он должен обращаться ко мне официально: "сэр". Должен, но...

Будь я на его месте, я бы дослужился уже до главного детектива-инспектора. Он добился того, чего добился, — не слишком многого, если честно, — большей частью за счет усердия. Я это видел. И он видел, что я это вижу. Если бы он был главным детективом-инспектором, он, может

быть, разговаривал бы со мной иначе. Как высший с низшим. И не был бы настолько тактичен, чтобы сообщить о своей скорой отставке.

"В восемьдесят девятом, если не ошибаюсь".

Я мог бы сидеть на его месте. Ворошить старое дерьмо и думать о скорой пенсии — а над кем-то тем временем висит обвинение в убийстве.

Он оставил пока эту тему (снаряд, который может пригодиться позже).

"Ну, так что же вам было до всего этого?" — повторил он.

"Миссис Нэш была моей клиенткой".

"Но вы уже выполнили поручение. Даже перевыполнили. Ваша работа была кончена, когда вы увидели, как мисс Лазик пошла к выходу на посадку, и сказали об этом по телефону миссис Нэш".

"Лазич", — поправил я. Он раз за разом произносил неправильно.

"Лазич. Ни о чем другом миссис Нэш вас не просила".

"Она сказала: следите за ними".

Следите за ними, Джордж.

"Следите за ними? И вы продолжали следить теперь уже за ним одним, так? Вы ехали за мистером Нэшем всю дорогу из аэропорта — "чтобы убедиться", так вы заявили, — до тех пор, пока он не повернул на Бичем-клоуз. После этого вы развернулись и отправились домой".

"Да".

"Но через несколько минут, еще не добравшись до дому, опять развернулись и поехали обратно".

"Все верно".

"Почему? Что вас к этому побудило?"

Опять глаза стали кремешками — можно подумать, он отрабатывал этот взгляд годы и годы. Словно на какое-то время я сделался главным подозреваемым.

А почему нет? Если бы это могло хоть вполовину уменьшить Сарину вину — почему нет? Все моя идея, мой сумасшедший смертельный план. Проводить Боба в ловушку, а самому смыться. Но потом я струхнул. Поехал обратно. И опоздал.

Это, наверно, шло от меня волнами.

"Интуиция", — сказал я.

"Интуиция?"

"Я подумал — я уже об этом говорил, — что может случиться что-то нехорошее".

"То есть вы подумали, что мистер Нэш может быть убит?"

(Предположим, я сказал бы — да.)

"Я подумал, что, может быть, сумею это предотвратить".

"Это? Но вы ничего не предотвратили".

"Как она?" — спросил я.

Я услышал трещину в своем голосе. С таким же успехом мог бы громко и ясно сказать ему: вот он, мой мотив, чего там.

"Не скажу, что счастлива. Она в шоке. — Он опустил глаза. — В рапорте констебля говорится, — он нашел пальцем нужное место, — что вы потребовали вас пропустить, потому что, цитирую, 'знаете, что делаете'. Помните такое?"

"Да, было".

(Дайте пройти, я детектив.)

"И что, вы действительно знали, что делаете? – Он продолжил почти без паузы: – Мне вот думается – не знали вы, что делаете, совсем не знали. Потому что если бы вы знали, что делаете, то получалось бы, что вы знали о случившемся в точности".

Глаза опять на мне. Плохая тактика. Отслужил свое сполна – и до сих пор не понимает, что поменьше надо налегать на взгляд в упор. Посмотри в сторону, встань, пройдись, повернись спиной, помолчи. Глядишь, язык у типчика и развяжется.

Но это не были совсем уж убийственные глаза. Кремень – еще не сталь. Не похоже, что хочет крови. Твое последнее дело: как ты его ведешь? Агрессивно, сверхжестко – или милосердно?

"Вы не знали, что делаете" – как будто протянул мне что-то и держит, покачивая в воздухе.

От того, как он напишет свой рапорт, от его оценки, к примеру, поведения арестованной – мгновенное признание (сама позвонила в полицию), беспрекословное подчинение органам правопорядка – может зависеть приговор. Может, только и всего.

Уже, наверно, было далеко за полночь.

"Вы готовы подписать ваши показания? О том, что следовали за мистером Нэшем до Бичем-клоуз, потом уехали, потом вернулись. Таковы были ваши передвижения сегодня вечером?"

"Да".

"В прошлом у вас не все гладко по части способов получения показаний. Но с моей стороны никакого принуждения к самооговору не будет".

Вот. Не удержался. Снаряд. Но пролетел выше цели.

Я мог бы ему сказать: "Сфабрикованные показания бывают и верными – даже если свидетель ничего похожего не говорил". А он мог бы ответить: "Так оправдываются все недобросовестные полицейские".

Я ничего не сказал. Буду смирным, испуганным обывателем. С явными признаками подавленности.

Может быть, и он побывал в моей шкуре: на краю, на пределе. Раньше когда-нибудь. В комнате для допросов.

"Добавить что-нибудь хотите?"

"Нет".

"Скажем, насчет интуиции..."

"Нет".

"Значит, это исчерпывающий отчет о ваших передвижениях. Вы даже точное время указали".

"Профессиональная привычка".

"Да, конечно, так сделал бы любой из нас. Строго говоря, вы совершили правонарушение, выдав себя за полицейского. Я не собираюсь давать этому ход".

(Но, назвавшись детективом, я не солгал.)

"Вы 'подумали, что может случиться что-то нехорошее'. Так и оставим?"

"Да".

"Это можно истолковать в том смысле, что вы заранее знали..."

"Тогда почему я *вдруг* поехал назад?"

"Конечно. Разумеется. И еще один не вполне ясный момент. Из сказанного вами возникает ощущение, отчетливое ощущение: что то нехорошее, чего вы вдруг испугались, должно было произойти с миссис Нэш".

"Но так ведь и получилось".

Да, это, наверно, шло от меня волнами.

17

Угловой столик у "Гладсона". Оформление здесь — отовсюду понемножку — с намеком на что-то викторианское. На стенах — афиши мюзик-холлов. В Уимблдоне можно отправиться в Рио, а можно вообразить, что рядом рыщет Джек Потрошитель.

Она попросила белого вина. Себе я взял пива. Пил медленно-медленно, следя за уровнем в ее бокале, как смотрят на песочные часы.

Есть здоровое правило: хочешь многого — довольствуйся малым. Не жди ничего сверх. Это, может быть, все, что тебе отпущено.

Она сказала:

"Он, скорее всего, там, с ней сейчас".

Могла и не говорить. Легко догадаться: вторник, шесть вечера — а у нее есть время со мной рассиживать. Они, значит, там, а мы здесь. Так или иначе, могла этого не говорить. Кажется, я подумал, что у них — у него и девушки — тоже перед глазами песочные часы. Прямо сейчас, в эту минуту. Только двадцать дней осталось — если это все правда, конечно.

"По вторникам во второй половине дня он консультирует в больнице Чаринг-Кросс. До пяти. Удобно".

Кислая улыбка. Как будто хочет сказать: вот до чего я дошла. Или как будто мы чопорные родители, неодобрительно думающие о забавах детей.

Хотя, может, детьми были как раз мы — перешептывались в углу, пока взрослые делали свое взрослое дело.

Вид у нее был — как будто девушка в ней совсем близко, под самой кожей.

Как это бывает? Жизнь сорвало с петель — и ты поэтому возвращаешься к началу. Уже не взрослая, не сорока с чем-то лет. Точно Кристина, не по своей воле опять ставшая ребенком. Но теперь-то Кристина женщина — женщина Боба. Все перевернулось. Сара девушка — девушка давних времен, у которой еще нет своего Боба. Студентка, взятая в поездку по Франции. Мелькают деревья, шоссе ведет на юг. Не делай на это ставку. Довольствуйся малым. Это, может быть, все, что тебе отпущено.

Что, так оно и бывает? Мне следовало бы знать. Катастрофа в среднем возрасте снимает с тебя годы?

Или (еще одна скороспелая, на ощупь выдвинутая теория): она верит, что получит его обратно. Считает дни. Назад к началу с ним вместе, назад к тому, какими они были.

Мелькают деревья, стекла опущены.

Да, подумал я, — она все еще его любит. И я вижу то, что видел когда-то Боб.

Или это просто была она. Какая есть сейчас. Юная — и сорокатрехлетняя. Преподавательница, может быть. Разрыв между тобой и учениками с годами все больше, но что-то от них к тебе переходит. Связь. Как у нее с Кристиной.

Да, точно. Я это увидел. "Педагог": по идее существо пожилое, сухое, строгое. Но во время занятия что-то может возникнуть. Что-то в ее лице — искра, воодушевление. Студентка, до сих пор живущая в преподава-

тельнице. И какой-нибудь угрюмый восемнадцатилетний парень в среднем ряду вдруг удивится, вдруг поймает себя на чем-то. Посмотрит на ее бедра, на колени. Вот она стоит у окна. Изгиб подмышки в рукаве блузки — как две жилы витого каната. Скрытые слои в людях. А сверстницы — это сверстницы, и только.

Какой же олух этот Боб Нэш! Не видит, что у него под носом. Позарился на молоденькую. А еще гинеколог. Женский специалист.

Но теперь он возвращается — так она верила. Было видно, бросалось в глаза. Она все еще его любила.

Это не превратилось ни во что другое.

Я смотрел на вино в ее бокале.

"Домой приедет около девяти. Ужинать. — Еще одна помятая улыбочка. — Если не решит у нее заночевать. — Взгляд. — Как я могу ему помешать?"

Как будто ждала возражения. Другая бы не так себя повела, верно? Другая давно уже затеяла бы войну. Мне ли не знать — мой хлеб, моя работа.

Сижу, молчу.

"Это уступка, понимаете? Уступка. У него осталось столько-то дней — дней и ночей. И не больше. — Она хмуро разглядывала свой бокал. — Фактически — это все было и есть уступка. — Подняла глаза. — Когда уступка превращается в капитуляцию? — Она пригубила вино. — Уступаешь, потому что хочешь сохранить, правда? А можешь при этом, наоборот, все упустить".

Девушка исчезла из ее лица. Она держала бокал у самого подбородка, как будто ловя туда свои же слова.

"Вы женаты?"

"Был".

Слабая улыбка.

"Так я и подумала. — Тоже, значит, детектив. — Как бы то ни было — я знаю ваши мысли. Что обычно делают в таких случаях? Гонят ее поганой метлой, так? Велят сгинуть. А за ним — глаз да глаз".

Я кажется, ничего лицом не выразил. Да, так делают многие — и "глаз да глаз" порой включает в себя мой глаз. Не говоря уже о тех, что не останавливаются на полдороге и гонят поганой метлой его тоже.

"Беженка, — сказала она. — Понимаете?"

Я кивнул. Да, я уже это понял, сообразил. И все равно — есть граница, за которой любые правила катятся к чертям.

"Я знаю, Джордж, что вы думаете. Если бы я ее не пригласила. Если бы не ввела бедное... создание в свой дом..."

Я разглядывал свое пиво. Назвала меня Джорджем. На ранней стадии я всегда предлагаю: "Можете называть меня Джордж". Одни этим пользуются, другие нет.

Я посмотрел на ее колени.

"Вы думаете: вот дура набитая".

А я думал, что Боб набитый дурак.

"Нет, я не думаю этого", — сказал я. Отпил глоток.

"У меня и сейчас нет к ней ненависти. Даже сейчас. — Посмотрела на меня в упор. — И я по-прежнему его люблю. Люблю и не хочу терять. Вот, — плечи еле заметно дрогнули, — вот что могу заявить".

Как будто на допросе.

"Чем она занимается? — спросил я, точно не слышал. — В смысле — если она все время в этой квартире".

"Вам интересно, на что она живет? Он и за это платит. Квартплата, все житейские нужды плюс еще что-то. В марте поступила на курсы переводчиков. Она не тупица. Я тоже когда-то на таких курсах училась — выходит, копирует меня. Учеба тоже за его счет.

Знаю, что вы думаете. Куча наших денег на нее идет. Но Боб сейчас зарабатывает очень много. 'Мы' можем себе это позволить. Ха. Для этого и слово вроде бы есть. Что, по-прежнему отказываетесь считать меня дурой? Содержанка. Вот благотворительность куда вырулила".

Глотнула вина, как будто это горькое лекарство.

"Я не хочу войны, Джордж. Не хочу воевать. Хотя знаю... считается, что мы должны, да? Кусаться, царапаться".

Она смотрела в пространство. Джордж.

"Если уж нельзя быть счастливой, лучше несчастливый мир, чем несчастливая война. — Снова взгляд на меня в упор. — Ха! Это я себя с ней сравниваю. Мы ведь тут не такие уж прямо жертвы. Посиживаем, попиваем. Потом домой — вернуться есть куда. Мы не беженцы".

Я подумал: она забыла, кто я такой. Я ведь простая наемная ищейка.

"Так или иначе, — сказала она, — *баста.* Через три недели все будет кончено. Тем или иным образом. И я делаю свое маленькое телодвижение. Не война, но... разведка. Если у них какой-то другой план, я хочу знать, вот и все. Не хочу ждать как дура и потом получить сюрприз. Моя уступка самой себе".

Еще один глоток вина — самый большой пока что. Я подумал: осушит бокал-и — на выход. Но она пристально смотрела на меня.

Потом, позже (там, где не очень-то разрешают целоваться) я сказал ей: я хотел целовать твои колени.

"По-вашему, это чушь, Джордж? Любовь — это готовность терять, разве нет? Это не значит — иметь, владеть. Это — ставить чье-то счастье выше своего. Разве не так должно быть? И если этот человек выбирает другой путь, что тут сделаешь?"

Она сморгнула. Увидела — можно ли было не увидеть? — что я не в глаза ей смотрю, а *на* них. Глаза и колени.

Говорят, такое может случиться разом, мгновенно, вспышкой — и ты думаешь, что это только разговоры, детские сказки. Но со мной, похоже, все так и было.

Может быть, это все время был я, это со мной что-то происходило, из-за чего я сумел увидеть, разглядеть в ней девушку. Может быть, это я почувствовал себя юным.

И — странные дела — чувствую до сих пор.

Что-то на тебя нашло, Джордж.

18

Рейчел сказала: "Всего хорошего. Всего хорошего". Как будто одного раза было мало.

Как будто я по ошибке мог принять это утро за обыкновенное, за одно из тех обыкновенных, но не очень частых утр, когда мне не надо было на службу и я мог позволить себе роскошь ленивого позднего завтрака, в то время как она спешила на занятия. "Нет, не вставай". Воздушный поцелуй. На секунду она, готовая к выходу, задержалась в дверях кухни,

и я подумал, что через какие-нибудь полчаса она будет входить в класс — "До-оброе у-утро, миссис Уэбб", — и никому из них в голову не придет, что чуть раньше она стояла в других дверях, смотрела на мужчину в халате, намазывающего маслом тост, и прощалась с ним перед работой навсегда.

"Всего хорошего, Джордж".

Как будто двадцать лет были всего-навсего очередным школьным днем. Одной большой контрольной, с которой я не справился. Училки — ну разве это не прелесть?

Я не двинулся с места. Она не сказала: "Не вставай". И я скорее бы сдох, чем доставил ей этот последний кусочек удовлетворения. Увидеть, как я встал и принялся умолять. Так что она еще резче могла бы повернуться на свои сто восемьдесят.

Как бы то ни было — проклят. Вот оно, слово: проклят. Осужден — дважды осужден теперь. Хуже, чем просто брошен. Или заменен. Если бы действительно кто-то другой... (Был или нет? Мне никогда не узнать.) Но быть осужденным — проклятым, — и только...

Застегнула пальто, крутанула головой и одновременно вскинула ее, чтобы волосы легли как надо. Да, она и вправду от меня уходит. Все решено. Но откуда, спрашивается, она *пришла* — эта женщина в дверях? Как это я раньше ее не видел, как это я не знал, кто со мной живет? Она явно загубила свое призвание. Ей не детишек учить — она из более жесткого материала.

Когда в прошлый раз посылала мне, завтракающему, воздушный поцелуй?

Она стояла там как некая персона, завершающая официальный визит, — словно была в моей жизни всего-навсего визитершей.

Ею даже можно было восхищаться. Твердость, решительность. Такое же невольное восхищение, какое вызывали в прошлом некоторые, что бы они там ни совершили: полное присутствие духа, даже мускул не дрогнет, когда объявляешь им, что они арестованы.

Надо же, куда загнул. Ведь это я был у нее под судом.

Так что я не шевельнулся, даже стулом не скрипнул. Кажется, даже откусил кусочек тоста. Кроха гордости, которую мы успеваем ухватить, сползая с утеса в расселину.

Так или иначе, в какой-то момент все стало зависеть от нее. У меня не было довода, не было опоры. Она даже могла сделать так, чтобы из нас двоих ушел я — ушел, не имея никакой опоры. Но ей больше хотелось уйти самой, хлопнуть дверью (этот звук я через несколько мгновений услышал), показать мне спину. Она не желала оставаться там, где был мой запах.

Весь свой запах я мог теперь забрать себе. Чтобы не примешивался ни к ее общению с рядами прекрасных маленьких лиц, ни к ее гладкому прямому пути от должности заместителя к должности директора.

Хотя двадцать лет мы худо-бедно с ним прожили — с запахом, который я приносил со службы, с этим медленно, но верно ползущим запахом. Замужем за полицией, есть такое присловье, — за полицией и всем, что с ней связано. Но ведь запах — это запах, это все-таки еще не я.

Начать с чистой доски. С чистой утренней школьной доски в этот солнечный понедельник. Свежий белый мелок и свежая отважная улыбка — а я тем временем как сидел, так и сижу на кухне. Не на службе и каменно неподвижный.

Навсегда теперь не на службе...

Странное это стало, печальное, далекое слово — служба. Служебный. Сара сейчас заставила меня задумываться о словах. А раньше это просто была часть воздуха. "В ходе несения службы", "служебный рапорт", "служебные обязанности".

Рейчел — вот кто исполнял тем утром служебные обязанности. "Дооброе у-утро, миссис Уэбб". От фамилии-то придется отказаться.

Может, я и хрустнул вызывающе тостом. Но смотрел при этом прямо на нее, прямо, как только мог, сознательно делая этот последний фотоснимок в рамке дверного проема. Нет, я видел эту женщину и раньше — конечно, видел. Узнаю эту решительность. Она уже проделала это однажды, уже кое-кого отвергла. Того, с кем мне и думать нечего было тягаться.

"Всего хорошего, Рейчел".

Что еще я мог сказать? Чего еще она ждала?

Повернулась и вышла. Светлая волна волос. Стала стуком шагов по полу прихожей, ударом хлопнувшей двери (хотя, может быть, она просто ее закрыла, может быть, я ее выдумал, эту хлопнувшую дверь). Я услышал шум отъезжающей машины. Потом почувствовал, что падаю, лечу вниз. Дважды присужден — и к двойному падению. Я падал, хотя сидел при этом за кухонным столом с застрявшим в горле куском тоста, сидел, не двигался — и падал.

19

Она еще не допила бокал. Осталось примерно на дюйм.

Я спросил:

"Вы думаете, он любит ее?"

Надо же, до каких вопросов доходишь. Каких даже близкий друг не задаст. Часть работы, о которой не подозревал.

Пригубила — едва ко рту поднесла.

"Думаю, что любит".

Вполне могла сказать: "Знаю, что любит".

"А она его?"

"Тут сложней. О, я знаю, что она *могла бы*. Ха! — Лицо просветлело, потом опять потемнело. — Ведь это она от него уезжает. Не может не вернуться. Так она говорит — Боб говорит, что она так говорит. Ее страна, ее родина. Может быть, она разрывается: страна и он. Знаете что? Я никогда так пристально не следила за новостями. Благословила день, когда хорваты начали наступать, теснить сербов, и стало похоже на то, что все скоро кончится. Я подумала, что это может решить и мою — нашу — проблему. Стала за них болеть. Не важно, что там идет убийство с обеих сторон, не важно, что они так же зверски обращаются с сербами, как сербы с ними. Я была на их стороне! Решение нашей маленькой проблемы — как бы они там ни решали свою большую, международную. Безумие, да? Желать победы одной стороне из личных интересов. А Боб... Я думаю, он молился за противоположное — за то, чтобы хорваты проиграли, за то, чтобы бойня длилась и длилась, лишь бы у Кристины не было этого выхода, этого пути. Лишь бы она всегда оставалась беженкой — *его* беженкой.

Страшновато, да? И ведь так и произошло. В смысле — как я хотела. Конечно, должна была улечься пыль, она должна была убедиться. Хорва-

ты победили в августе — теперь уже почти ноябрь. Но поставьте себя на ее место. Здесь беженка — там свободная гражданка. В своей собственной стране. Назад туда, где ее место. Ужас, правда?"

*

У "Гладсона". Угловой столик. Конечно, я по-прежнему туда хожу. Если столик занят — это для меня удар. И еще был удар, когда заменили обивку. Вместо красного плюша — дымчатая голубизна.

"Конечно, это дает ей шанс выглядеть доброй, выглядеть так, будто делает это для нас. Будто она сожалеет. Вот она отдает Боба, уходит из наших жизней. Позволяет всему вернуться в прежнее состояние. — Сухой смешок. — Ее жертва. Ее уступка. Она не хочет продолжения этой... смуты. Не знаю. Одна из возможностей. По словам Боба, говорит она именно это. Сама я этого с ней не обсуждала. За круглый стол мы не усаживались. Другая возможность — что она видит, где теперь ее жизнь, где ее будущее, и готова ради этого распрощаться с Бобом. Этого Боб мне бы не сказал, правда? Может быть, он и сам *хочет* ее отъезда. И ради нее, и ради нас. *Его* жертва. Он — миротворец. Это он тоже мне говорит. Еще одна возможность".

Посмотрела на меня долгим ровным взглядом — взглядом женщины, которая больше не доверяет мужу, но не перестала его любить. Этот взгляд для меня не новость, я отмечаю его у клиенток как симптом.

"Вы не слыхали про императрицу Евгению?"

Я уставился на нее. Вид у меня, наверно, был растерянный.

"Я не только преподаю, но еще и перевожу. Мне дали для перевода эту книгу. С французского. Биография императрицы Евгении, жены императора Наполеона III".

Вид у меня, наверно, был совсем глупый.

"Необычный факт состоит в том, что Евгения была императрицей двадцать лет, но после смерти императора прожила еще почти пятьдесят лет. Умерла в девяносто четыре года. Как будто у нее было две жизни — императорская и еще одна".

"Я знаю об императрице Евгении", — сказал я.

"Да? Откуда?"

Иной раз, похоже, в игру вступает судьба.

"Она жила в Чизлхерсте. Они с Наполеоном III жили в Чизлхерсте. Они были..."

"Богатые беженцы".

Ее глаза внезапно зажглись. Иной раз судьба вступает в игру ради тебя лично. Сидишь в классе, в первом ряду, и единственное, о чем имеешь представление, — как раз то самое, что спросил учитель.

"Там Наполеон и умер, — сказал я. — В тысяча восемьсот... семьдесят каком-то. Единственный из Наполеонов, кто окончил жизнь в Чизлхерсте".

Не только, значит, сыщик, не только собачий нюх.

"Я жил в Чизлхерсте — вырос там. Вот откуда я знаю. Иначе понятия бы не имел".

"Джордж, я *тоже* в детстве жила в Чизлхерсте — ну, в Петтс-вуде, если совсем точно".

Иной раз судьба подойдет и похлопает тебя по спине.

"Они жили там, где сейчас играют в гольф, — сказал я. — Чизлхерстский гольф-клуб. Их дом стал клубным зданием. Мой отец там играл. Император и императрица, которые жили на поле для гольфа".

Она засмеялась по-настоящему. Все лицо осветилось. Смеющаяся женщина с бокалом вина в руке. На мгновение почудилось, что ничего другого и нет. Сидим в уимблдонском ресторане во вторник вечерком и обмениваемся шуточками насчет императора и императрицы, которые жили сто с лишним лет назад. Вот как могло бы у нас быть.

На мгновение в голове у меня возникла картинка их с Бобом прежней жизни. Конец дня, кухня. Он откупорил бутылку вина, отвернул манжеты рубашки. От плиты тянет чем-то вкусным. Она рассказывает ему про книжку, которую взялась переводить. Биография императрицы Евгении. Знает этот гинеколог об императрице Евгении или нет?

Вот какой ей полагалось быть — их жизни.

Я увидел, как ее глаза возвращаются в нынешнее.

"И другая возможность... или просто мое воображение. Что это их общий выход. Их дорога к избавлению, их план. Все остальное — прикрытие. Они уедут или улетят куда-нибудь вместе, и домой он больше не вернется. Я не знаю, я правда не знаю — иначе не сидела бы здесь с вами".

Улыбнулась так, словно знает меня давно. Допила остатки вина.

"Значит, вы родились в Чизлхерсте?"

"Не родился, но жил мальчиком. Там на стене гольф-клуба есть табличка. Я думал, что Наполеон был только один и что это он и есть".

Поставила пустой бокал. Я быстро его взял и наклонил к ней. Она, не колеблясь, кивнула, но ее глаза удерживали меня на месте. Рядом с ней, на красном плюше сиденья, — черная кожаная сумочка. В сумочке он и она.

"И еще одна возможность — что они ничего про себя не знают. Сами не знают, что делают и что будут делать. Поймут только в аэропорту. Так что, даже если он и вправду с ней распрощается, если они действительно будут там прощаться, я хочу знать, как он это сделает. Как они это сделают. Для этого мне надо там быть — но невидимо. Понимаете?"

Наверно, я кивнул.

"Следите за ними, Джордж. Глаз с него не спускайте".

20

Как это бывает? Как мы выбираем? Кто-то входит в нашу жизнь, и мы уже не можем жить без. Но жили же раньше...

Императрица Евгения. Полсотни лет впереди.

Как будто мы, сами того не зная, были собой только наполовину. И, может быть, лучше нам не знать. Не об этом ли думала Рейчел, стоя в дверях кухни перед тем как уйти из моей жизни? Что я только наполовину тот, кем она меня считала.

И вот я опять только наполовину я. Или меньше.

Но как это бывает? Мы говорим: созданы друг для друга, предназначены друг для друга. Когда я был мальчиком, еще до того как мы переехали в Чизлхерст, моя бабушка Нора часто говорила: "Для каждого мальчонки есть своя девчонка". Может быть, это обычное присловье бабушек. Но разве ее собственный мальчонка — мой отец — не доказал

это? Не только женитьбой на моей маме, но и тем, как он зарабатывал. Его хлеб, его масло: свадебные фотографии.

Мой дедушка Тед умер давно. Я его не знал. Бабушкина вторая половина: Нора и Тед. Бабушка не прожила столько, чтобы узнать о своем мальчонке — моем отце — то, что узнал о нем я.

Супружество. Я постоянно гляжу на него с другого конца, с плохого.

По воскресеньям я с утра ходил с ним в гольф-клуб. Это продлилось у меня недолго — каких-нибудь три месяца. Я не очень усердствовал, но основы понял. Мне было только тринадцать. Главным образом носил его и чужие клюшки и разыскивал мячи — был "кэдди". До той поры это слово означало для меня банку, где держат чайную заварку. Ходил я большей частью для того, чтобы сделать отцу приятное. Потому что членство в гольф-клубе — это была его высшая точка, его триумф. Я уже тогда это понимал. Играл он так себе — научился как посетитель, как гость, приходивший с членами клуба. Но теперь получил все права, клуб его принял. И он хотел, чтобы я оценил его успех.

Теперь мне понятно, что я не был бунтарем, какими даже в тринадцать лет могут быть мальчики и девочки. Какой на свой лад была Рейчел. И Элен, разумеется. Мне не нужно было отцовской крови.

Разве что в школе бунтовал. Да и там в меру. Просто лодырничал — лодырничал из принципа. Просто ненавидел учителей, классную работу, домашнюю работу, вообще всякую работу за письменным столом. Человек действия. Мама пыталась на меня повлиять: "Джорджи, у тебя же есть голова на плечах". Но папа-то, я знал, сам себя вывел в люди, начал с нуля. Чем ему школа помогла? И ведь маме он понравился — так или нет? Она не послала его подальше.

Гольф — не такое уж действие, конечно, но это и не сидеть сиднем. И я взаправду был рад за него, я был на его стороне.

Фотограф на главной улице. Чизлхерст-Хай-стрит. Фрэнк Уэбб. Скромный, но столп местного сообщества (к тому времени), не хуже любого юриста или управляющего банком. А теперь ему позволили вступить в гольф-клуб.

Но я знал, что раньше, когда меня еще не было на свете, он был пляжным фотографом. 1946 год, Бродстэрс, после армии. Все лето прожил в дешевой задней комнатушке со старым чуланом, где оборудовал себе темную комнату. Днем трудился на пляже, ночью в чулане. Как белка в колесе — зато быстро освоил ремесло. Залихватски щелкнуть, заставить их улыбнуться. Аппарат плюс чуток армейской смекалки. К тому же именно так он познакомился с моей мамой.

Я привык думать, что для этого все и делалось. Что он поселился в Бродстэрсе, уже имея этот план в голове. Что он тщательно выбрал ее из многих. Но вначале собрал свой каталог — девушки на пляже, сотни снимков. И каждая побывала с ним в темноте, в его чуланчике. Вот как он сделал свой выбор.

Мама ни разу не сказала, что было иначе. Ведь это, как ни поверни, был ее успех. "Я оказалась той самой", — говорила она. Тем летом, тем первым настоящим послевоенным летом было множество других, в летних платьях и купальных костюмах, но ее он предпочел всем.

Время от времени то он, то она с какой-то особой искрой в глазах поминали "комнату у миссис Баррет в Бродстэрсе". Можно подумать, миссис Баррет была сторожевой собакой, мимо которой они не раз и не два прокрадывались на цыпочках.

"Я оказалась той самой", — повторяла она.

Поженились они в конце 1946 года. Я появился на свет год спустя. Так мой отец, имея маму подле себя, начал свой путь в люди — от пляжного фотографа до фотографа на главной улице, и в 1952 году мы переехали из Луишема в Чизлхерст. На сколько-то делений вверх и к более состоятельной клиентуре. Опять-таки, как и в Бродстэрсе, он хорошо выбрал точку.

Столп местного сообщества. Даже больше: его архивариус, его музейный хранитель. Свадьбы, крещения, победы спортивных команд, ежегодные обеды, целые школы, расположившиеся в три ряда. Не говоря уже о бесчисленных портретах, сделанных по бесчисленным гордым и любовным поводам. "Давай Уэббу закажем".

И даже больше. Была у него одна способность — пусть даже настроение напрочь этому противоречило, пусть даже ребенка притащили в слезах или пожелавшая сняться пара сегодня разругалась. Добивался он этого по-разному, но главным было что-то в нем самом, в лице, в глазах, как будто стоило ему сказать слово — и результат обеспечен. Как будто дело и сейчас происходит в выходной день на пляже, где у всех это и так получается.

"Улыбочка!"

И на каждой карточке стояла его фамилия — либо штамп на обороте, либо тиснение на полях, смотря по тому, что заказано. "Уэбб, Чизлхерст". Его мета на всех этих памятках.

Странно было иной раз видеть эти снимки в совсем не праздничных ситуациях. Когда по полицейской надобности требовалось фото, довольно часто давали фирменную карточку, давнюю, но высококачественную, и в голосе звучало маленькое гордое эхо ее прежнего назначения: "Правда же, хорошая фотография?"

(Я смотрел, что на обороте. Если оказывалась отцовская, никогда этого не говорил.)

Исчезнувшие люди... Тиражировались копии — человека нет, а снимок множился. И каков бы ни был итог — труп, арест, неизвестность, — улыбка на карточке оставалась прежней.

Или местные газеты. Репортеры задавали тот же вопрос: нет ли фотографии? Та же странная гордость. Из-за несчастного случая погиб мальчик — и вот он позирует в новенькой школьной форме с ангельской улыбкой (хотя час назад бился в истерике). Насильник, который в свое время успешно окончил колледж...

Снимок Боба чуть пониже заголовка.

В моем деле (еще один вид бизнеса на главной улице) то же самое. Нет ли у вас фотографии?..

Иной раз есть, кажется, только одна. Та, где они сняты вдвоем, сияющие, неразлучные.

Мы грузили клюшки в машину. Воскресное утро в Чизлхерсте. Я знал, что оно для него означает: гольф-клуб. Я не хотел шутить на этот счет, не хотел издеваться. Отчасти я даже считал его "мистером Волшебником", который явился ниоткуда с фотоаппаратом вместо волшебной палочки. И нашел мою маму.

Я трусил за ним от лунки к лунке. Там были, конечно, его дружки, его партнеры по гольфу. Я слушал их треп. Даже тогда ушки на макушке. Примерно на полпути, под соснами, стояла скамейка — как раз передох-

нуть, сделать паузу. Бурый игольник под ногами был весь усыпан окурками — так гильзы усеивают землю вокруг огневой точки.

Этого, кажется, звали Дональд — фамилию забыл, хотя он до сих пор у меня перед глазами, курчавый, самоуверенный. Тоже, наверно, кто-то на главной улице, или, может быть, у него был какой-то бизнес на территории фабрики у Сидкап-байпасс.

Его фамилии не помню, зато помню фамилию, которую он назвал, — Фримен, Кэрол Фримен, и я сразу понял, кто это.

Полина Фримен училась со мной в одной школе. Правду сказать, я был к ней неравнодушен по-детски, по-одиннадцатилетнему (тогда это еще была начальная школа), и мне казалось, что это у нас пусть капельку, но взаимное, а потом ни с того ни с сего она перестала со мной знаться. Вот они вам, девчонки. (Хотя теперь, может быть, мне и ясно стало почему.) Но пока это у нас длилось, я узнал, что маму ее зовут Кэрол, а отца — Рой. Я даже увидел как-то мать Полины у школьных ворот. Она выглядела как женщина — мама, но женщина. Улыбнулась мне, помахала. Я даже узнал, где Полина живет: на Гиффорд-роуд.

Наверно, они думали, что я далеко и не слышу. Я искал мяч, который этот Дональд запульнул в высокую траву.

Он спросил: "Что, все еще встречаешься с Кэрол Фримен? Все еще делаешь ее фотки?" Папа поднял голову посмотреть, услышал я или нет, — не следовало ему этого делать, — и я как следует притворился, будто продолжаю прочесывать траву. Он быстренько заговорил о другом. И все стало как оно было — но не вполне. Яркий голубой майский день, в какой гольфисту нужна кепка с козырьком. Но теперь солнце зашло за тучу.

А до той поры я думал, что все у него в ажуре, что он знал, чего хочет и как это получить. Он, мама, я — и только, потому что этого достаточно. Счастливый треугольник.

Кэдди. И немножко ученик. Уроки гольфа. Теперь я знал — продолжая тем временем шарить в траве, — что притворяться надо будет и дальше.

Уроки гольфа. Глаза на мяч, широкое винтовое движение. Но в первый наш приход, несколько недель назад, еще и маленький урок истории плюс даже урок французского. Табличка на стене гольф-клуба. Надпись по-французски, так что папа мог прикинуться, будто переводит. Скрытый талант. "Здесь умер Наполеон III, император Франции".

Наполеон? А разве он не на южном острове умер?

"Другой Наполеон, Джордж". (Их что, было несколько?)

Все это вернулось ко мне там, у "Гладстона", единым махом.

Не просто какой-то старый гольф-клуб, не просто какая-то ступенька в этом мире. Я чуть ли не глазами видел, как эта сумасшедшая мысль крутится у него в голове: ну и фотография бы вышла! Жить бы в эпоху, когда была такая клиентура!

Вот был бы вызов, вот была бы проверка! Император и императрица в изгнании, нашедшие убежище в Чизлхерсте. Он лишился империи и скоро умрет, она (сама того не зная) имеет еще полвека в запасе.

"Готовы? Смотрите в окошко. Улыбочка!"

Как мы выбираем? Наполеон и Евгения. Она была резвая испанская красотка — это сказала мне Сара, — а он, может быть, был угрюмый старый хрыч.

Нора и Тед.

А мама, даже после смерти отца, часто говорила: “Сколько их через него прошло, сколько фотографий сделал... Но главное, *меня* умел заставить улыбнуться. Видит Бог, умел, и еще как”.

21

Листья на деревьях по сторонам кладбищенских дорожек желтые, как лимонная кожура. Замерли, не шелохнутся, как будто висят только чудом. Первый же ветерок, первое же движение воздуха даст им всем свободу.

Что даст здесь свободу мне — не знаю. Стою, смотрю. Ногам холодно. Сколько еще? Минуту? Пять? Я сказал себе: сделай это — и все, цветы положи — и пошел. Но не так это просто. Сколько будет правильно, сколько будет честно, если приходишь всего раз в год?

Положил цветы — и иди, пока не поднялась ненависть или еще что-нибудь. Кипение в горле. Но, как бы то ни было, я тут не решаю. Я здесь вместо нее, по ее поручению. Ее агент, представитель. Сколько бы она простояла, окажись она здесь? Вечность? Перед тем как повернуться спиной, закрыть глаза, уйти. Предположим, ее выпустили бы ради этого, на один этот день. Вкус свободы. Лимонный свет. Холодный воздух во рту. Свобода кладбища, откуда вообще не выпускают.

Но я должен сделать это за нее, почувствовать вкус вместо нее. Вкус жизни, за которую мы цепляемся. Точно она стоит рядом со мной, опирается на мою руку. Оба смотрим вниз. Своя наглость здесь, свое нахальство.

Я должен тут стоять вместо нее. Чтобы уловить знак, если он будет. А знака, вполне возможно, придется ждать долго — может быть, и века. Пока что-то поднимется из холодной жесткой земли.

Ни слова. Сегодня уж точно.

Я тут не решаю. И пока стою здесь, не зная, как уйти, не зная, когда уйти, у меня то же самое ощущение, что и в прошлый раз. *Он* решает. Я сейчас в его власти. Это его единственный шанс. Я попался в его капкан.

Радуешься ведь, да? Радуешься, что жив. Улыбается мне оттуда холодной улыбкой. Милые цветы. Красивый день.

Он не даст мне убежать, не даст легко отделаться. Вот чужак, которого он не знал, который пова́дился теперь ходить как фальшивый друг, как ложный доброжелатель. Чужак, который следовал за ним, сидел у него на хвосте без его ведома, когда он был жив. Шпионил за ним в его боли, в его несчастье. А теперь шпионит и в смерти.

22

Рейчел сама меня выбрала, так я теперь думаю. Сама выбрала — сама потом и отвергла. Хотя я-то считал, что весь выбор был мой: ведь это я сделал движение, оценил ситуацию и вмешался — грамотный, знающий свое дело полицейский.

Хотя я уже был и чем-то бо́льшим: сотрудник уголовного розыска, пусть и совсем недавно. Детектив-констебль. В штатском. Так что она ничего не знала — одежда сработала. И это был первый и самый красивый случай, когда я использовал должность к собственной выгоде. Волшебная маска, невидимый бронежилет.

Я спросил:

"В чем тут у вас дело?.."

Полицейская выучка. Немножко весомости и властности. Можешь разнимать драчунов (даст сдачи – заплатит штраф), останавливать машины, действовать как маленький бог – если на тебе форма.

Но она не догадалась – думала, это я, и только.

Вот как я в молодости познакомился с твоей мамой, Элен. Я был детектив-констебль Джордж Уэбб – но не просто Джордж. Георгий – уж не знаю, насколько святой. Поскакал избавлять девушку от дракона.

Я сказал: "Эта дама хочет выпить чашечку кофе". ("Эта дама", надо же!) И уселся за тот же столик. По-наглому.

Заведение называлось у "Марко". Новое и недалеко от здания суда Лондонского графства. Я вполне мог отправиться в забегаловку на Ньюстрит, куда заходили в свободную минуту все полицейские, занятые на процессах. Мог в какой-нибудь паб. Но я по случаю был рядом, с неба закапало, и я нырнул к этому "Марко".

Одиннадцать тридцать утра, пятница, впереди два выходных, и судья вдруг отложил заседание. Моя маленькая удача. Сержант, когда я позвонил, сказал: "Ну и ладно, отдыхай давай. До понедельничка".

Да, судьба иной раз играет тебе на руку.

Запашок чуешь с ходу – если что не так, сразу понятно. Не при исполнении? Кто знает, кто знает. Я сел за столик у окна. На улице полило как из ведра. Официантка странного, затравленного вида обрадовалась мне, казалось, как сыну родному. За три столика от меня стоял крупный мужчина (Марко? Не знаю и никогда уже не узнаю.) Девушка, над которой он возвышался, сидела лицом ко мне, но на меня не смотрела – она пристально разглядывала свои пальцы. В них дымилась только что зажженная сигарета. Мужчина что-то говорил сквозь зубы – видно было, что в любой момент может взреветь, – а она на него ноль внимания. Он тыкал пальцем в сторону двери. Она была в плаще – расстегнутом, сухом, – но, судя по всему, не собиралась двигаться с места. На нем была грязноватая футболка, за пояс заткнуто чайное полотенце.

Она затянулась сигаретой и выпустила дым быстро и прямо вверх, задрав подбородок.

Я понял все с налета. Работа детектива в чистом виде. (Плюс то, что иногда в нее входит. Интуиция.) Тоже официантка. Но ей сейчас было велено катиться куда подальше. За что-то, что она сделала, на кухне или еще где-нибудь, чуть раньше, минуту назад, – или за то, чего она *не* сделала. Он чего-то от нее хотел (подробности выяснились позже), а она не согласилась. Надо поместить себя туда.

С одного из крючков у входа на кухню неряшливо свисал передник официантки – его, похоже, кинули туда на ходу. Итак, готова была метнуться прочь. Послать эту работу к чертям. Но тут полил дождь, и ей пришла в голову другая мысль – злей, храбрей, интересней. Она села за столик.

Если она здесь больше не работает, она может быть посетительницей, не так ли? Может и кофе заказать. А он как миленький должен принести.

Отважная, злая девушка. Смотрела теперь на меня, но не видела. Отважная, злая блондинка.

Он навис над ней, повысил голос. Лапы ухватились за край стола — казалось, вот-вот перевернет. Я не помню *своего* решения, не помню, как встал, но в какую-то секунду я еще сидел на своем стуле, а в следующую стоял около нее. "В чем тут у вас дело?" И еще секунду спустя я сидел напротив нее, но глядел на него и говорил ему: "Мне думается, эта дама хочет выпить чашечку кофе..."

По-наглому. Но кто знает, как бы я поступил, не будь у меня этого резерва, этого невидимого щита? Удостоверение в нагрудном кармане и магическое слово, которое в данном случае мне не понадобилось: "Полиция".

"...и я бы не прочь ее этим кофе угостить".

Она смотрела на меня. Я почти слышал, как она думает: это еще что такое? Откуда взялся этот тип?

Он свирепо уставился. На секунду — мертвая точка. Потом повернулся (моя заслуга!), выдернул из-за пояса полотенце и потопал на кухню. По пути что-то еще цедил сквозь зубы.

Во мне внезапная уверенность.

Она смотрела на меня. Изучала как что-то упавшее с небес. За окнами вовсю шпарил дождь. Апрель, скоро Пасха. Мой ход — и моя кинопроба, вроде того. Она опять затянулась и опять пустила дым вверх.

Я сказал:

"Самое лучшее, когда он принесет, не пить. Оставить как есть и уйти".

"Так я и собиралась сделать".

Кофе он принес, но без особой любезности. Половина уже была на блюдце, а когда он брякнул его на стол, выплеснулось еще больше.

Мы встали разом, стулья под нами скрипнули. "Шиллинг", — сказал он и скрестил руки. Она погасила окурок. Я вынул из кармана монету, хлопнул ею по столу. Мы протиснулись мимо него — он врос в пол как дерево. Как вышли на улицу, дождь вдруг кончился, точно наверху повернули кран. В небе просветлело. Можно подумать, это тоже входило в план.

Я все помню — все, Элен. Как она сразу схватила меня под руку. Блеск мокрого тротуара. Пленки бензина на воде в желобах — маленькие извивающиеся радуги. Лужи, которые она обходила, веснушки у нее на запястьях.

Ты, папа, глядишь и не видишь.

Позже я сказал ей:

"Только женщины так курят — дым прямо над собой. Сердитые женщины. Как чайник на огне".

Она посмотрела на меня:

"А ты наблюдательный".

"Работа такая. — Рано или поздно это должно было выйти наружу. — Я полицейский".

Но она не отступилась, не передумала.

А сама была педагогом-стажером. (А я же ненавидел училок!) Но я еще этого не знал.

"В штатском", — уточнил я.

"А то и голышом", — сказала она.

Снаружи опять льет. Шипение дождя. Чайник на огне. Наблюдательный — гляжу и вижу.

Она жила на втором этаже, и в ее комнате к двери шкафа был приклеен плакат. Фотография: мужчина в майке, из широкого рта торчит сигарета, руку поднял, в ней пистолет дулом вверх. Эдакий красавчик-негодяй. Каждый вечер смотрел, как она раздевается.

"Кто это?" – спросил я.

"Жан-Поль Бельмондо".

"Кто он такой?"

Я остался на оба выходных. Еще до того как я ушел, она сняла плакат.

Вот как я познакомился с твоей мамой, Элен. Как тебе мой шоколадный рулет? В комнате с нами был еще один мужчина – француз с пистолетом.

Педагог-стажер. Вот уж не думал – не гадал. Нагота – хороший камуфляж. Последний год учебы. В пасхальные каникулы решила подработать официанткой. Но теперь уже не работает. Пройдет время, и станет директрисой, целой школой будет руководить. Ну а сейчас держит в руке, сложив ее чашечкой, мое мужское хозяйство.

Да, не думал – не гадал. Но не только этого я в ней не увидел. Не увидел и девушку, которая три года назад ушла от родителей. Да, Элен, именно так она поступила – и они отреклись от нее.

Прошли месяцы, прежде чем она мне это рассказала. Может, боялась, что *я* от нее отступлюсь. Дело в том, что они, вся семья, были религиозные – строгие-престрогие, чудаки такие. В спальне у нее висело изображение Христа.

А она взяла и восстала (тоже мятежница, мама твоя). В семнадцать лет объявила им, что больше в это не верит.

Наглость, отвага. Даже теперь, спустя годы после того как она ушла от меня, я пытаюсь себе это представить. Отважная, своенравная девка. Я и теперь представляю ее себе семнадцатилетней, такой, какой я ее никогда не знал, совершающей свой первый отважный поступок. Как будто стоит наверху, впереди проволока, и она вот-вот на эту проволоку шагнет. А Бог – тот еще выше, гневно смотрит на нее вниз.

Великая специалистка по уходам.

Но я что, действительно этого не знал? Разве я не увидел этого там, у "Марко"? Ушла от Бога. Дальше – компенсация, долгая медленная компенсация. Сначала Жан-Поль Бельмондо, потом я.

Как мы выбираем? Мне полагалось быть в суде. Если бы судья, а за ним сержант не отпустили меня гулять...

В те давние времена мне даже нравилось выступать свидетелем на процессах. Странно – ведь в словах я не был силен. Действие – дело другое. Ведь стоишь там иной раз как дурак и слушаешь, как твои показания разносят в пух и прах. Видишь, как люди выходят сухими из воды. И все же я считал это подспорьем чему-то. Тому, ради чего, собственно, мы стараемся. Казалось бы, всего-навсего слова – но и часть какой-то ткани, системы: право, закон.

Шестьдесят восьмой год. Поженились мы в начале следующего. Мне тогда светила должность детектива-сержанта, она была дипломированной учительницей. Образцовые граждане. Тем не менее ее родители не пришли (я, помнится, был этому рад). Мои, конечно, дело другое.

Джорджи берет в жены учительницу! Он, который так ненавидел школу!

Они стояли бок о бок, взяв друг друга под руку, и, наверно, вспоминали свою свадьбу.

Бюро записей. Гражданская процедура — что еще могло быть? Но с конфетти и цветами. И с фотографиями, конечно. Кто их делал? Известно кто.

На минутку ему пришлось отделиться.

"Улыбочка!"

Как мы выбираем? Мой отец подошел к делу со всей серьезностью — так, во всяком случае, гласит легенда. С серьезностью полицейского. Шел с фотоаппаратом и прочесывал пляж.

Но в той однокомнатной квартирке в тот дождливый день мне вспомнилось другое — беглая фраза, которую сопровождало подталкивание локтем:

"Комната у миссис Баррет. Комната у миссис Баррет в Бродстэрсе".

Дождь, по-моему, шел весь тот уикенд. Апрельские ливни. Мокрый, брызжущий шум машин. Мимо проезжали автобусы — вторые этажи наравне с нашим окном. То ли субботним, то ли воскресным утром, совсем голая, она встала, чуть отвела штору и выглянула. Как раз ехал автобус, и просто ради остроты ощущения она раздернула шторы совсем, выставилась перед ними и задернула обратно. Им — вид спереди, мне — вид сзади.

Вот как, Элен, мы познакомились. Еще рулета?

А теперь, когда я про это думаю, мне кажется, что Рейчел так и не отказалась по-настоящему от своего бога. Отказалась, но что-то связанное с ним, как его понимали в ее семье, осталось. Правильность — вот, наверно, самое подходящее слово. Представление о том, что хорошо, а что нет. Полицейский. Она тоже ведь не думала — не гадала. Полицейский. Рыцарь-избавитель оказался всего-навсего легавым — но это ничего, с этим был порядок.

Она меня выбрала — и с тех пор я всегда был в зале суда.

Мне следовало бы это увидеть уже там, у "Марко". Хладнокровие, неуступчивость. Нет, не просто храбрая девушка, которая велела поганцу убрать свои грязные лапищи. Двадцать лет спустя, когда она опять ушла — на этот раз от меня, — я не должен был удивляться. Уже мои лапищи сделались грязными. Сама выбрала — сама и отвергла. Отцепила руку от моей, как отвязывают причальный канат. И поплыла дальше.

Что хорошо, а что нет. Я поступил нехорошо.

Как бы ни поступил Дайсон.

23

Наконец поворачиваюсь и иду. Не смог бы, если бы не густой вкус ненависти. Как будто надо отойти и сблевать.

Посмотри, что ты с ней сделал, на что ты ее толкнул.

Иду — и чувствую, как меня тянет обратно, дергает сзади за одежду.

Но не будь дураком. Всего-навсего могила. Не оборачивайся, не бросай последний взгляд, как на беззащитную покинутую жертву. Розы — точно кровавое пятно.

Не будь дураком, не верь, что и вправду слышишь эти слова, этот ледяной шепот:

"Иди себе, иди. Можешь, конечно. Ты свободен, доволен. Но разве ты ее уже получил? Не спеши, восемь лет еще, если тебе повезет..."

Не останавливаться, заткнуть уши.

И как бы то ни было, разве он *там*? Разве он под этим камнем у тебя за спиной? Разве там пребывают мертвые, разве они заперты в могилах, как она в своей камере? Разве они не свободней всех? Может быть, глядят на нас, как детективы-невидимки, куда бы мы ни пошли, — а мы-то думаем, что сами к ним приходим, сами на них смотрим?

"Так что не можешь ты от меня уйти, так-то, друг. И ее ты пока что не получил. Восемь лет еще... Несчастная ты жалкота".

Но дойдя до деревьев, чувствую себя в безопасности. В укрытии, вне досягаемости. Всего-навсего могила, всего-навсего каменная плита.

Со стороны крематория — хлопанье автомобильных дверей. Одна группа уезжает, другая приезжает — и все за то время, пока я там стоял.

По существу, тот же самый старый-престарый вопрос. Сколько нам осталось? Какой у нас срок? Восемь лет, девять...

Господи, было время, когда год тянулся вечно — трать из него сколько хочешь. Теперь палка о двух концах: *всего* восемь лет.

"Когда я выйду, Джордж, я тебе буду не нужна. Я буду еще намного старше, зачем я тебе".

"Нет, тут все не так, тут по-другому".

(Иначе вышло бы по-его.)

Дышу глубоко, и черный вкус уходит — спасибо холодному, ясному воздуху. Теперь, когда уже близко полдень, можно, если поднимешь лицо к солнцу, даже почувствовать намек на тепло — как подогретая вода в холодном стакане.

Иду дальше. Без двадцати двенадцать. Время в запасе есть, даже с учетом предстоящей езды. Вижу урну и выбрасываю комок оберточной бумаги. Кладбище — густая сеть дорожек и участков, которые кто-то когда-то, видимо, распланировал, как планируют город. А около крематория разбит настоящий сад. По его северному краю идет стена, глядящая на солнце, а под ней площадка со скамейками. Наверно, летом вся эта стена скрыта под листвой ползучих растений. Даже сегодня кажется, что у нее краткий полуденный сеанс блаженного тепла.

В "Центре загара" женщины облучаются и спереди, и сзади. В моем пустом кабинете солнце легло на письменный стол.

Сижу на одной из скамеек, спрятав руки в карманы. Кладбищенский бродяга. За цветочными клумбами, за рядами деревьев — шеренги могил. Но на таком расстоянии, когда видишь их вместе, в них нет ничего страшного: безобидные плиты греются на солнышке. Их вид чуть ли не успокаивает. Учтивые гости, которым мир живых выделил здесь подобающее место.

Кто они все такие, а?

24

Но Элен — та не бросила меня. Что хорошо, а что нет. Раз в неделю была тут как тут: моя дочь, моя гостья к ужину, моя дегустаторша.

"Что сегодня?"

"Увидишь".

Курица "марсала" (хотя я использую херес). Секрет – в том, что соскабливается со сковороды.

"Позволь налить тебе вина".

Горящие свечи. Вазочка с цветами. На мне хорошая рубашка. Не просто стряпня – еще и обстановка.

Когда у нас с Рейчел в последний раз такое было? Когда мы находили на это время?

Торжественно вношу сервировочное блюдо. "Вуаля!" (Я и по-французски умею.)

"Папа! Это очень-очень вкусно".

Но если Элен стала женщиной в моей жизни (хоть и невысказанный, но факт) – то кто был мужчиной в ее жизни? Законный вопрос. Еще один невысказанный факт.

"Послушай-ка... Если когда-нибудь ты захочешь... привести кого-нибудь. Думаю, я и на троих смогу приготовить".

Неуклюже, наверно. У Элен своя жизнь, при чем тут я? И зачем, спрашивается, мне вносить расстройство в драгоценный еженедельный распорядок? Для меня – как спасательный круг: ее визиты держат меня на плаву. Благодать, чудо: после всего мы с ней подружились.

"Если, конечно... у тебя есть сейчас кто-нибудь".

Но она как будто ждала, что я затрону эту тему.

Положила нож и вилку. Быстрый, резкий вдох. Подбородок чуть дрогнул.

"Да, кое-кто есть. Кое-кто есть. Ее зовут Клэр. Мы живем вместе уже больше года".

Что полагается говорить, когда слышишь такое? Если по правде, то когда она это сказала – она очень отчетливо это произнесла, – я мало что почувствовал. Ни толчка, ни шока, ни мгновенной вспышки, неожиданной для меня самого. Может быть, я в то время был весь какой-то онемелый. Но вообще-то – разве меня такое может шокировать? Слава богу, полицейский. Бывший полицейский. Видел всякое.

Мне кажется, что́ я почувствовал – это величину моего неведения. Моей слепоты. Огромная зияющая пропасть. "Глядишь и не видишь". Это твоя дочь Элен, которую ты очень мало знаешь.

А потом, внезапно и стремительно начав прокручивать назад годы, я подумал вот что: это не имеет значения (я не упал со стула) – и в то же время имеет. Потому что Элен все это время не решалась мне признаться, таилась от меня из страха перед моей реакцией. И если я теперь *не* отреагирую, это будет для нее разочарованием, унижением, будет означать, что все годы враждебности ко мне были потрачены впустую.

Она бы *хотела* видеть меня бушующим, гневно ораторствующим отцом.

Мне кажется, я подумал вот что: моя родная дочь большую часть жизни меня боялась.

А теперь я потерпел крах, теперь не представляю угрозы... Я уже не детектив-инспектор и даже не муж.

Если только она не Рейчел боялась.

Не знаю, как долго я просто на нее смотрел.

"Сердце мое", – сказал я.

Чтобы я подыскивал слова – не помню. Просто слетело птицей с губ: "Сердце мое". Слова, которых Элен никогда от меня не слышала.

У нее навернулись слезы — блеснуло в глазах, и только. Как блестит у моих клиенток.

Я, наверно, ей улыбнулся — по ее лицу пошла ответная улыбка. А подбородок дрожал. Нешуточная храбрость.

"А я и не знал", — сказал я.

"Теперь знаешь", — сказала она.

Я не взял бы ее за руку — не знал бы, стоит ли, следует ли, — если бы она первая не подвинула ее ко мне через стол.

И тогда (тогда и потом) мне в голову пришли все мысли, какие приходят в таких случаях. Когда она *сама* поняла? Если это так происходит. Если есть момент, когда ты понимаешь. Может быть — долгий ужасный промежуток непонимания. Незнания, по какую сторону черты находишься.

"Что ж, — сказал я наконец. — Это не отменяет моего предложения. Приводи ее".

Она серьезно, задумчиво на меня смотрела.

"Может быть, не стоит. Не сейчас".

"Расскажи мне о ней хотя бы".

Вдруг сделалась взволнованной, неловкой — точно мальчик, которому задала вопрос мать.

"Она... Она... дока по части интерьерного дизайна. — Невольно обвела взглядом комнату, как нередко делала. — Мы думаем затеять совместный бизнес... в смысле, дизайнерский. Стать партнершами..."

Ей самой сделалось смешно. Я тоже засмеялся.

Я подумал: все довольно просто. Твоя великая любовь — Искусство. Большие картины в рамах. Но ты готова согласиться на интерьерный дизайн: вот теперь какая она, твоя великая любовь.

Может быть, она прочла мои мысли. Опустила глаза в тарелку.

Все эти годы, думал я, все эти годы скрывала. А теперь пара секунд — и сказано. Не в том, значит, дело, что я был полицейским, — хотя она, конечно, не была от этого в восторге.

А потом я с каким-то вороватым, виноватым возбуждением подумал про Элен и ту, другую, в постели. Клэр. Примерно так же, видимо, Элен думала в свое время про меня и Рейчел, как мы лежим вместе.

"Объедение", — сказала она. В смысле, моя курица "марсала".

Я должен ей рассказать, подумал я, должен ей рассказать про нас с Рейчел.

Но, может быть, она перестанет теперь ко мне ездить. Теперь, когда я узнал. Может быть, вокруг этого все и крутилось — все ее приходы. Не в готовке моей было дело и не в том, как я справляюсь один.

Но нет, не перестала. Со временем я даже с Клэр познакомился.

Правда, с того вечера она стала более прямо и настырно, бесцеремонно как-то даже, чтоб ее, закидывать удочку насчет кого-нибудь еще, кого-нибудь помимо нее.

Курсы кулинарии по выходным. Это она меня подбила. У меня настоящий талант, неужели я не понимаю? Погребенный под двадцатью четырьмя годами в полиции. Пора выпустить его на волю.

Впрочем, меня не надо было особенно подбивать, я сам хотел. Новое мое "я", неожиданное, кухонное.

"Как оно там было?" — спросила она.

"Замечательно. Куча рецептов".

"Больше ничего замечательного?"

Я не стал разыгрывать дурачка.

"Я был там как петух в курятнике, если ты об этом... Они все пришли в восторг от моей выпечки".

Но только после того, как я подался в частные детективы (на что она не подбивала меня вовсе), жизнь оставила позади ее поддразнивающие мыслишки.

Думаю, она была за меня рада. И думаю даже — как все повернулось! — кто из нас кого шокировал? Надо же, каков папочка. Нашел не просто другую "женщину в своей жизни", а неиссякаемый кладезь. Так, по крайней мере, могло показаться. Но моя жизнь — моя жизнь, как ее — ее. Баш на баш, и если начистоту (а она бы почувствовала, если бы папа стал пудрить ей мозги), я спал с клиентками. Да, случилось пару-тройку раз. Трудно было без этого обойтись. Спал, нарушая все профессиональные нормы. Но разве я только теперь стал нарушителем? Горбатого...

Испорчен, насквозь испорчен.

Думаю, она не знала, как к этому отнестись, и ей было немножко за меня стыдно. А помнишь, Элен, как *ты* была мятежницей? Как с тобой не было сладу? Но еще ей, думаю, было занятно. Она, оказывается, не знала раньше (как и я) этого человека, этого... бабника, так выходит. Была, наверно, слегка огорошена, но в целом, думаю, нашла поворот комичным. Таким он, наверно, в целом и был.

Может быть, и вообще жизнь, по большому счету, комедия. Вопреки всему этому их подростковому трагизму. Вопреки всему мраку, которым полны полицейские архивы.

*

"Это просто объедение".

Грациозно поднося вилку ко рту. Снова как женщина на свидании, как женщина, приглашенная мужчиной. Милые завлекающие слова, проба почвы. Но и не сказать, что лукавила, хваля. А я припомнил тяжкие месяцы, когда в свободное от полицейской службы время таскался по картинным галереям и пялился на полотна в поисках ключа, путеводной нити к собственной дочери.

Курица "марсала", а на десерт лимонный пирог. Бутылка вина. Мужчина и женщина за столом, освещенным свечами. Интерьерный дизайн. Не сбрасывайте это со счета — на что иначе цивилизация?

Окно выходит в темный сад, упрятанный позади дома. Мои последние дни в старом жилище. Рейчел, Элен, я. Я повернулся и показал на стекло: два наши лица в световом пятне.

"Караваджо", — сказал я.

25

Я так и не нашел этот угодивший в высокую траву мяч для гольфа. И вдобавок теперь еще кое-чему суждено было оставаться невидимым — маленькому шальному черному мячику услышанного, который, срезавшись с клюшки, прилетел ко мне со свистом. Я поймал его и сунул в карман — там ему теперь и лежать.

Мне жаль того пропавшего мяча — белого, правильного. Можно подумать, отыскал бы, подал бы его с улыбкой — и все вернулось бы на свои места.

Но всегда знаешь, когда переступил черту.

"Ничего страшного. Подумаешь, мячик..."

Они встали со скамейки. Мы перешли к следующей лунке – я чуть позади, с их клюшками на тележке. Еще не добравшись до отметки для мяча, принял решение: буду притворяться, чтобы мама не узнала. Беречь мать. Вот какая у меня теперь задача.

Раньше со мной никогда такого не бывало. Чтобы слова – казалось бы, воздух, и только – становились пугающими, черными, твердыми. Например, слово "нехорошо". В детей оно летит то и дело – в школе хотя бы. Но раньше я никогда не клал это "нехорошо" в карман, не ощущал его веса.

Мы подошли к отметке. Он бил первым, и я подал ему клюшку. Я рукой почувствовал вес этого слова – "клюшка".

Притворяться, молчать. Я не мог даже сказать Полине Фримен, которая, должно быть, уже знала – потому-то и дала мне отставку. Сказать ей, что тоже знаю. Хотя это могло бы стать способом снова завязать отношения. Совладельцы тайны. Как ее мать и мой отец...

Я думал о маленьком черном мячике знания, который Полина носила с собой уже не один месяц. Который ей еще носить и носить. Потому что нельзя знать и потом перестать.

И еще одно решение, которое я принял уже тогда, следуя за отцом к очередной лунке: что я должен следовать за ним и по-другому. Следить, наблюдать, шпионить. Потому что, если ты знаешь что-то, ты должен это *знать*. Иметь доказательство. Иначе есть искушение свалить все на ошибку, считать, что ничего не изменилось.

Но за *ним* я следовать не стал – как я мог? Он бы повернулся и тут же меня узнал. Следовать, так за ней, за миссис Фримен. Хотя она тоже могла меня узнать. Ведь улыбнулась тогда, помахала мне у школьных ворот. (Было уже между ними что-то или нет?) И однажды, позже, я проходил мимо агентства по недвижимости Мейнарда на Хай-стрит, где она работала неполную неделю (так Полина мне сказала), и я заглянул в их окно, где были выставлены снимки домов, и увидел ее, миссис Фримен, одетую как секретарша, и она тоже увидела меня, только увидела, но не помахала и не улыбнулась. Я решил – потому, что мы с Полиной разругались.

Вот как это ко мне пришло, вот как меня захлестнул этот поток. Неполную неделю в агентстве по недвижимости – так Полина мне сказала. А папино ателье от агентства всего шагах в пятидесяти, через улицу. Так что эти три дня каждый из них знает, что другой на той стороне улицы, и близко и далеко. Не так ли у них началось? С того, что он пригласил ее в ателье. "Делать фотки". Что за фотки? Бывший пляжный фотограф. Может быть, после рабочего дня. Но долго так продолжаться не могло (если уж надо было этому продолжаться).

Значит... За вычетом трех дней у Мейнарда остается два дня в неделю, когда она просто домохозяйка. Может уходить и приходить когда хочет. Мистер Фримен весь день на службе. Папа, конечно, большей частью работает в ателье, но по-прежнему нередко ездит исполнять заказы, хоть у него и есть ассистенты. Вот и прикрытие. Правда, он вряд ли может отправиться к ней домой, на Гиффорд-роуд.

Но она ведь работает у Мейнарда, в агентстве по недвижимости, и наверняка знает дома, которые временно пустуют в ожидании покупателей или съемщиков. Может, наверно, и ключ взять или дубликат...

Всегда есть простые технические вопросы. Где? Когда? Как? Часто в этом — половина дела. И для них, и для тебя.

"Супружеские проблемы, Элен. Вот какое у меня поле деятельности".

Я заглянул в его ежедневник. Дело нехитрое. Один лежал на столе у него в ателье, другой, карманный, он носил с собой и часто, чтобы в случае чего был под рукой, оставлял у телефона в прихожей. Ничего подозрительного вроде бы — но, поскольку у тебя есть в голове теория, ты замечаешь дырки в два ближайших понедельника с часу до четырех. И один раз во вторник.

Вот она, работа детектива. Большей частью нудятина и пот, но иной раз в голове точно свет вспыхивает.

Ему на хвост не сядешь — он на машине. Я сел на хвост ей. У нее машины не было, и я был уверен, что они добираются до места по отдельности. Подвозить он ее не станет — рискованно. Гиффорд-роуд ответвляется от Уайт-Хорс-хилла, там автобус, поэтому я стал ее ждать у автобусной остановки, рассчитав, что если свидание в начале второго, то я должен встать на дежурство примерно в четверть первого.

Лето, каникулы: я тоже был свободен. Лето, но дождливый день. Впрочем, это было очень даже кстати. Я мог поднять капюшон куртки. Мог стоять, как будто пережидал дождь, под навесом газетного киоска шагах в двадцати от остановки. И когда она показалась из-за угла Гиффорд-роуд, она была под зонтиком — тоже колпак, тоже помеха для обзора, облегчающая скрытное наблюдение. Дождь — друг детектива.

Она могла перейти улицу и сесть на автобус в другую сторону. Я бы тоже тогда перешел. Но она осталась на моей стороне. Подъехал автобус. Я выждал, бросился и вскочил в последний момент. Потом весь фокус был в том, чтобы сидеть и большую часть времени смотреть в окно. А если бы даже она меня и увидела — мало ли, бывает, случайная встреча. Мне пришлось бы довольствоваться изучением ее лица.

Нет, не увидела. Сошла у паба "Герб Спенсеров". Я аккуратно выдержал паузу — не выходил, пока она не двинулась по тротуару. Потом за ней — один поворот, другой, — запоминая названия улиц.

В любой момент, конечно, мог подъехать папа и засечь меня, несмотря на капюшон. Но мне и в этом повезло. Она здорово его опередила.

Коллингвуд-роуд. Повернула к дому номер двадцать. Да, на нем висел плакат, что дом продается. Да, у нее был ключ. Я быстро пересек улицу и немного прошел по ней, приглядываясь к каждой стоящей машине. Это был непростой момент. Одни жилые дома — где спрятаться? Но впереди был небольшой парк с детской площадкой, безлюдный из-за дождя. Я пристроился у ворот под каштаном.

Оттуда-то я и увидел папин "вулзли". Машина остановилась поодаль от двадцатого дома, хотя к нему можно было подъехать, и я увидел отца, не совсем отчетливо из-за дождя и тоже наполовину закрытого зонтом, — но это несомненно был он. Торопливо пошел к дому. Долго ждать, чтобы открыли, ему не пришлось.

Я стоял под деревом и не двигался. Всегда знаешь, когда ввязался, когда нет дороги назад.

Кажется, подумал: теперь можно нанести удар. Пойти к двадцатому дому и забарабанить в дверь. Откройте немедленно! Он — они — были у меня в руках. Может быть, так и нужно было сделать.

Но я не двигался, как будто стоял на часах. Таинственное побуждение оберегать. Взять кого-то под охрану. Ноги у меня были мокрые, по шее текло. Я представил себе шум дождя, как он слышится изнутри. Журчание воды в желобах и трубах, запах чужого жилья. Особое чувство убежища, какое испытываешь, когда укрываешься где можешь.

Было ли это убежище, на Коллингвуд-роуд, у них единственным? Не обзавелись ли они, действуя согласно своей стратегии, пользуясь состоянием рынка жилья, целой сетью временных убежищ в Чизлхерсте, в Петтс-вуде, в Бромли и других пригородах?

Кажется, я вот что почувствовал, стоя под каштаном: что у меня нет больше убежища, настоящего убежища. Почувствовал себя бесприютным. С листьев капало.

Я мог теперь отправиться домой, но у меня больше не было настоящего дома, только поддельный, и мне надо было очень стараться — в одиночку и столько времени, сколько потребуется, — чтобы поддельные стены и поддельная крыша не рухнули.

Пока тому, что делается в доме номер двадцать, не придет конец. Когда бы он ни пришел. Но даже тогда — потому что я всю жизнь буду *знать* – мне надо будет притворяться, даже после того, как этому придет конец.

26

А Кристина? Чего она хотела? Любила ли она его — этого человека под плитой, под розами? И действительно ли это была ее жертва? Уехать. Не губить его — его и Сару. Исчезнуть из их жизни.

Уже, впрочем, погубив.

Все это мне пришлось складывать из кусочков постепенно, от свидания к свиданию. В зависимости от ее желания говорить, рассказывать. Для разговоров там специальное помещение, похожее на комнату для допросов, на несколько таких комнат, соединенных вместе. Не бог весть что, не отгородишься, но что есть, то есть. Ты пока что ее не получил.

И еще мы пишем. Я ей пишу. Мои "уроки английского". А началось все с Кристининых уроков. Не вошла бы она тогда к Саре в класс...

Вначале, когда она не хотела меня видеть, не хотела со мной говорить (нет заявки заключенного на свидание — нет свидания), к этому вдруг все свелось. К писанию писем. Раньше я никогда этого не делал, никогда не выводил такое на бумаге.

Прошу Вас, позвоните мне... Прошу Вас, давайте встретимся... Прошу Вас, ответьте на это письмо...

Как будто я, а не она, ждал решения своего дела.

Много ли я мог тогда узнать — в кафе "Рио", у "Гладстона"? Наши считанные разговоры вне тюрьмы. Ты еще ее не получил. Но хочешь много — довольствуйся малым. Главное правило в этом мире.

Может быть, Боб тоже им руководствовался. Тоже ждал решения своего дела. Это не может продолжаться долго, кончится бедой — но со мной навсегда останется память об этом безумии.

И даже тогда, у "Гладстона", пытаясь растянуть стакан пива на веки вечные, я думал скорее о другом, не о том, что она мне рассказывала. Профессиональная собранность дала осечку. Я думал: я, может быть, не

увижу ее больше, не увижу вот так. Эта работа — эта легкая работенка, — а потом?

Я желал, чтобы все получилось, — в смысле, чтобы все получилось как она хотела. Желал увидеть, как она получает мужа обратно, желал быть этому свидетелем. Тогда я, по крайней мере, увидел бы ее счастливой.

Уплатила бы по счету, сказала бы мне спасибо. Точно какому-нибудь доброму дядюшке.

А потом? Я запросто мог никогда больше с ней не встретиться. Разве что постоянно торчал бы в отделе деликатесов. Разве что — смешные, сумасшедшие мысли — она пригласила бы меня поужинать, попробовать ее стряпню, познакомиться с мужем. "Боб, это Джордж, тот самый, кого я наняла проследить за тобой. За тобой и Кристиной, на всякий случай. Джордж, это Боб, он очень хотел с вами познакомиться..."

Сумасшедшие мысли.

Но я же как-никак детектив. Всегда могу, если мне надо, выследить человека, оказаться поблизости, понаблюдать за ним. Я мог шпионить за ней, как за Бобом и Кристиной. Примерно так же годы тому назад во время наших с Рейчел бракоразводных дел я думал о слежке за ней, о том, чтобы увидеть немыслимое — Рейчел в другой жизни, в своей собственной, без меня. Рейчел, какой она, наверно, была раньше, до нашего знакомства. Рейчел с кем-то другим.

Как мы выбираем?

У нее, скорее всего, кто-то есть — был, по крайней мере. Так что вся эта ее судейская надменность...

Я мог даже вмешаться — понаблюдать и потом вмешаться.

Детектив как-никак. Был и остался.

"Это мой выбор, Элен, так я решил..."

Выбор? Да нет, это в крови. То, что я делаю, то, чем являюсь.

Я даже думаю, мы все это делаем, каждый по-своему. Что-то в крови, в обонянии. Клейкое дыхание летнего дождя под каштаном. Мы охотники, вот мы кто, вечно выслеживаем, высматриваем недостающее. Недостающую часть нашей жизни.

Я мог никогда больше не увидеть Сару по-человечески. Только следил бы, наблюдал, шпионил. Правда, это не значило бы вести себя как детектив. Это значило бы другое.

27

А Кристина? Исчезла, конечно, ушла со сцены. Стала отсутствующей свидетельницей. Марш не собирался ее искать. Хлопоты, расходы. Нет смысла в ясном как день деле. (Разве что несколько облачков на ясном небе.) Нет смысла в оставшееся ему время. До пенсии рукой подать. Так или иначе, если особенно не умствовать, при чем здесь она? В момент преступления она была в воздухе — или в швейцарском аэропорту. На нейтральной территории.

Пытаюсь представить ее себе в тот вечер в самолете. Слезы всю дорогу, платок, сочувствие соседа? Или сухие глаза, спокойные, безжалостные? Сидит и потягивает бесплатное питье?

Думает о том, что оставлено, или о том, что ждет впереди?

Сходит в Женеве, предъявляет все документы, объясняющие, кто она такая. Паспорт страны, которой больше нет.

И не знает – откуда ей знать? – что Боба тоже больше нет. Ни для нее, ни для другой. Огни аэропорта, звуковые объявления, людской поток. Не знает (цель была – положить конец разрушению), какие разрушения оставила за спиной.

Впрочем, ей уже приходилось оставлять за спиной разрушения. История ее жизни. Пять лет в Англии – а тем временем все, что она знала, превращалось в руины. Теперь ехала обратно посмотреть, что осталось.

Ожесточившаяся, с безжалостными глазами? Но и расцветшая, женственная, красивая. Объятия чужого мужа еще при ней, как прикосновение призрака.

Швейцария. Магазины в аэропорту полны часов и шоколада.

Раз за разом ко мне возвращалась мысль: она могла так и не узнать, она и сейчас, может быть, не знает. Заглядывала ли в английские газеты? А если даже заглядывала – увидела ли небольшую заметку (всего-навсего убийство, простое убийство) далеко не на первой странице? С какой статьи стала бы интересоваться? Прочь из их жизни – не так ли было условлено? А значит, никаких постскриптумов, взглядов назад, звонков и тому подобного. Мертвы друг для друга.

В Швейцарии, в Хорватии – кто там будет думать об улице, о доме в Уимблдоне? Точно так же, как в Уимблдоне не будут задумываться об улице, о доме (о разрушенной улице, о сгоревшем доме) в бывшей Югославии.

Есть вещи, которых лучше не знать. И если *все-таки* она знает, если поинтересовалась и выяснила, то решила не заявлять о себе. Живет – где бы она ни жила – как изгнанница с грузом знания.

И ни разу не появилась здесь, на этом кладбище, не сочла нужным приехать, потратить время, деньги – ради того, чтобы постоять. Может быть, поплакать. Положить цветы.

Хотя откуда я знаю? Никто не держит могилу под постоянным надзором.

Солнце здесь, у этой стены, греет, но слой тепла тонок, как бумага. Небо синее-синее, как летнее море. Курортные проспекты. Дубровник...

Вижу ее тоже сидящей, в кафе на открытом воздухе. Женева? Загреб? Дубровник? Зимнее солнце. Дымящийся кофе, блестящие столешницы. Глаз не видно – солнечные очки. Проследить за ее взглядом невозможно. Посмотришь и подумаешь: не ребенок. Кое-где побывала, кое-что повидала.

Чего она хотела? Очень легко сказать, что получила желаемое. Как будто это вопрос арифметики – убыток и прибыль. Девушка с блестящими глазами, приехавшая в Лондон учиться, жить. Что ж, она не осталась без компенсации. Беженка? Но как-никак с крышей над головой. Пожила и в комфортабельном Уимблдоне, и в комфортабельном Фулеме. О да, сумела перевернуть там все вверх дном. Компенсация? Более чем. Ведь она, может быть, все эти годы шла через войну. Жестокость с обеих сторон. Честно в своем роде.

А когда наконец у нее появилась своя страна, куда можно вернуться, она вернулась с добычей, с послужным списком – ветеран лондонских пригородов.

Как такое могло случиться? Тепло его последнего объятия еще было при ней.

Она тоже была охотницей — там, в Уимблдоне. Недостающая часть нашей жизни. Она смотрела на него, он на нее. Чей взгляд сработал? Настал, должно быть, некий момент. И когда он настал, уж она-то знала — по крайней мере одна из двоих, — что правил нет. Жизнь совершается за чертой закона.

Любила ли она его — как бы у них ни началось? А он ее? Здесь нет рецепта, это не кулинария. Может длиться всю жизнь, может выгореть дотла за месяцы. Он, конечно, не хотел дотла.

Они гуляют среди деревьев в парке Уимблдон-коммон. Он берет ее, притиснув к стволу. Но она по-прежнему учит английский, учит слова.

Лучшее время, сказала Сара, было, когда они начали обучать одна другую: английский в обмен на сербохорватский. Учительница стала ученицей, начальный уровень — нулевой. На кухне (как будет "мускатный орех", как будет "тыква"?) или у Сары в кабинете с окном, выходящим в сад. Лучшее время: каждая учит другую своему языку. Пусть даже чувствовалось, что Кристина ей завидует. Что в этом странного? Ее кабинет, спокойное место, безопасное. Перевод текстов. Снаружи сад, зимний, усыпанный сухими листьями. Чувствовалось — Сара была тем, чем хотела быть Кристина.

Что ж — это желание сбылось. Насколько могло сбыться. Английский она выучила в совершенстве. Получила диплом. Тоже переводчица. Квалификация приобретена и удостоверена.

И даже мужчина у них был общий.

"Toadstool. Жабья табуретка", — говорит она. Сумасшедшее слово.

Нагибается (так я себе это представляю — детектив, наблюдаю за ними из-за деревьев), делает вид, что кладет в рот и ест, притворяется, что ей плохо. Чем все кончится? Вдруг она забеременеет — у них у обоих это на уме. Но не только это. Чем все кончится? Может, к примеру, чем-нибудь в подобном роде. Ядом, смертью.

Смотрят друг на друга так, словно оба взаправду что-то съели.

Любовь — это готовность терять, это не значит — иметь, владеть.

Выходит — она принесла жертву? Опять оказалась той, кто теряет все? Снова обездоленная — в нейтральной Швейцарии.

Что с ней было дальше? Куда она отправилась? Я мог бы ее найти, выследить. Командировать себя за границу. Выяснить — знает ли она.

Но это не моя забота, я тут ни при чем. Это его забота — того, кто здесь лежит. Боба.

28

Дайсон это сделал. Дайсон. И если бы в мире была хоть какая-то справедливость...

Я до сих пор потрясен — большей частью, правда, не тем, чем другие, не тем, чем была потрясена Рейчел. Скорее противоположным — тем, что эта история вдруг стала моей, стала историей недобросовестного полицейского, которого надо было примерно наказать. Чуть ли не преступление стало моим — преступление Ли Дайсона, который трижды пырнул ножом Ранджита Пателя в его магазинчике на Дэвис-роуд. Только что не убил человека (не впервой ему было убивать), но никак за это не поплатился.

Но я и своим поведением потрясен, не отрицаю.

Воскресный вечер. Экстренный вызов. Сентябрь восемьдесят девятого. Элен дома не было, так что я не могу свалить все на нее. На ее шпильки, на выводящие из себя замечания. "Глядишь и не видишь".

Да о чем это я? Как могла Элен быть виновата?

Три свидетеля — или не одного, как суд посмотрит, если дойдет, конечно, до суда. Но Дайсон это, его работа, его почерк, и он сидел теперь у меня в участке. Шанс сделать все ясным как дважды два.

Ранджит Патель. Но он через несколько секунд вырубился и двое суток потом не мог говорить. Чудом остался жив. А двое суток — это немало... Любой адвокат защиты убедит суд, что на память потерпевшего нельзя положиться. К тому же Дайсон есть Дайсон, и значит, Патель запросто может испугаться и сказать, что ничего не помнит.

Мира Патель, его жена. Но она выскочила из заднего помещения магазина чуть поздновато и не успела увидеть Дайсона (если это был он). Увидела только мужа, лежащего в страшной луже крови, и, смутно, чью-то фигуру (Дайсона, Дайсона), метнувшуюся за дверь. Первым делом кинулась, конечно, к мужу, а не оглядывать улицу, которая, судя по всему, была на удивление безлюдна, и проулок, ведущий к жилому массиву Каллаган-эстейт. Но теперь готова была заявить под присягой, что Дайсон — она знала это имя — до покушения на убийство несколько раз грубо угрожал и мужу, и ей. Однажды даже — правда, в ее отсутствие — показал мужу нож. Она была так же решительно, как я, настроена упечь Дайсона за решетку, и она полагалась на меня.

Помимо этого — Кенни Миллс, и только. Вещественных доказательств никаких. Нож (не маленький, лезвие — четыре дюйма минимум) найти не удалось, Дайсон (если это был он) очень ловко его потерял и за те минуты, что к месту преступления ехали полиция и "скорая помощь", успел (предположительно) вернуться в Каллаган-эстейт к себе на квартиру, снять всю одежду, сунуть в стиральную машину ("Ну и что? День стирки"), избавиться каким-то образом от окровавленных кроссовок, одеться в чистое и отправиться в другой конец жилого массива к Мику Уоррену, у которого, по словам Уоррена, они сидели с семи часов и смотрели футбол.

И все это, спросил бы адвокат защиты, *все это* за те минуты, что к месту преступления ехали полиция и "скорая"?..

Да. Если это был Дайсон — да.

И еще только Кенни Миллс в комнате номер один. Которому приходилось сейчас несладко. Который сказал, что пошел в магазин Пателя за пивом и сигаретами. Да, по проулку из жилого массива, и по дороге не встретил ни души, а в магазине увидел миссис Патель и ее мужа, лежащего без сознания в луже крови.

Я сказал, что он лжет, а он сказал, что нет. Так или иначе, выглядел испуганным.

Не из отпетых, не из непрошибаемых. Не из узкого кружка Дайсона. С периферии — возможно, хотел, чтобы впустили. Теперь, скорее всего, расхотел.

За пивом и сигаретами, которых он так и не купил. И этот невинный маленький поход обернулся для него — хотя Мира Патель показала, что он вошел *после* ее звонка в полицию, спустя примерно минуту после того, как она сама появилась из заднего помещения, — тем, что его сцапали и обыскали с раздеванием, как будто четырехдюймовый нож мог

быть спрятан у него в прямой кишке. Потом долгий поздний допрос, в том числе и детективом-инспектором Уэббом, который приехал из магазина Пателя в девять пятнадцать.

Бросил взгляд на Миллса и велел арестовать еще и Дайсона.

Хорошо известная игра. Двое по разным комнатам, и ты в надежде на быстрый результат пытаешься настроить их друг против друга. Особенно в те драгоценные минуты, пока рядом с ними еще не сидят адвокаты и не подсказывают им, что пора заткнуться.

Не столько допрос, сколько цирковой номер с вращающимися тарелочками. Пока одна из двух не разобьется. Но иногда тебе самому изменяет выдержка. Горячишься, можешь сорваться. Ноздри щекочет запах близкой добычи.

Я знал, что это сделал Дайсон, не Миллс. Но я не обязан был докладывать об этом Кенни. Я даже верил насчет пива и сигарет. Я одному не верил — что он, идя по проулку в то самое время, не встретил Дайсона.

У него была не одна причина выглядеть испуганным.

"Когда ты шел в магазин, тебе никто не попался навстречу?"

"Никто".

"Ли Дайсон, к примеру".

"Нет".

"Жаль-жаль".

"А что?"

"А то, что, если ты не видел Дайсона, ты главный подозреваемый".

"Я пришел после. Та женщина..."

"Миссис Патель? Да, так она *сказала*. Но, может, она спутала. Она ведь думала, что муж умирает. Еще неизвестно, выживет ли. А может быть, она *тебя* испугалась?"

"Меня?"

"Тебя. Разве не так было задумано? Пугнуть их. Старый прием. Посмотреть, как далеко можно зайти. Ты, Дайсон и вся компания. Решили: пугнем слегка — и будут как шелковые. А сейчас, Кенни, у тебя у самого что-то испуганный вид".

"Иди в задницу".

"Нет, сам бы ты Ранджиту Пателю кровь пускать не стал. В одиночку — вряд ли. Но ты был там, когда это сделал Дайсон. Очень даже допускаю. И ты вляпался. Ушел. Но потом вернулся обратно. Хитро — да не слишком. Думал замести следы: вот он я, только явился, знать ничего не знаю..."

"Не так было..."

"А как? Как было, Кенни? Что ты хочешь сказать? Что сам это сделал?"

"А ну тебя к дьяволу".

"Кто же тогда? Если не ты — почему вид такой испуганный?"

"А ну тебя".

Комнаты для допросов. Серые коробки. Но бывает, что превращаются в лесные прогалины. И тогда в ход идут когти, зубы. Магнитофон включен на запись, сидит детектив-констебль, но это дела не меняет.

"К твоему сведению, у нас здесь и Дайсон. Только что взяли. Прихватили по дороге".

Пристально смотришь им в глаза.

"Но... держать вас будем раздельно".

"Иди в задницу".

"Боишься Дайсона? Правильно делаешь. Страшный он человек. Я и сам бы боялся, не будь я полицейским. У тебя есть шанс, Кенни. Пока вы тут оба. Ты его или он тебя. Одному гулять, другому сидеть".

Вот что я ему сказал. При магнитофоне.

"Ведь он, он это сделал. А ты там был и видел".

"Нет".

"Ты был с ним".

"Иди в задницу".

"Ладно, хорошо. Тебя с ним не было. Допустим. Но вот тебе другая версия – скажешь, лучше она или хуже. Да, ты пошел за пивом и сигаретами. Ничего плохого не хотел сделать и не сделал. Просто решил купить пива и сигарет. Но повстречал в этом проулке Дайсона. Несчастливая случайность – или счастливая, как посмотреть. Он был здорово на взводе, и деться тебе от него было некуда, верно? А ему – от тебя. Вы двое, больше никого. Он тебя останавливает и *рассказывает*, что сделал. Из него через край бьет. Могу поспорить даже, что он помахал перед тобой ножом. Он же псих – правда, Кенни? Совсем чокнутый, гад. И говорит тебе, что ты его не видел. Не видел и знать ничего не знаешь. Сказал – и пошел, и нет его.

И теперь у тебя был выбор – так, Кенни? Серьезный выбор. Самое простое – самому исчезнуть. Но ты сообразил, умно сообразил, что если повернуть назад и про это узнают, то ты сообщник. И ты двинул дальше. Двинул, чтобы себя обезопасить, но не только для этого – будем надеяться. Хорошо, Дайсона закладывать ты не хотел, но ты пошел туда по другой причине. В двух шагах – истекающий кровью человек. Может быть, еще живой. Ты правильно поступил, Кенни. Не смылся. Ты не из таких. Повел себя как сознательный гражданин. Это тебе зачтется. Не жди юриста, Кенни. Юристы иногда приходят очень нескоро..."

Я смотрел ему в глаза. Понятно бывает. Знаешь с вероятностью девяносто пять процентов. Иной раз это совсем не похоже на допрос. Это – поместить себя туда, в ситуацию. Как будто я стоял там все время, в этом проулке, стоял и наблюдал.

"Неплохо звучит? Ты ничего пока не сказал. Хочешь – так и оформим. Будут твои показания, подпишешь. И могу поспорить. Если не надумаешь ничего лучшего и Дайсон узнает, что ты был в магазине, он тобой прикроется, будь уверен".

Комнаты для допросов. Бывает, становятся как другой мир. Я встал, повернулся спиной, руки в карманах, разглядываю стену. Как учитель, когда класс пишет контрольную. Но сердце, помню, стучало, мерило тишину. Первые часы после задержания. Дайсон – наконец-то.

Если смотришь в сторону, они скорей колются. Но тишина тянулась. Кенни усиленно мозговал.

Наконец я сказал:

"Ладно, я пошел к Дайсону".

"Погодите", – сказал Кенни.

29

Сижу на скамейке. Еще нет и двенадцати. Надо убить время. Впрочем, если не спеша, можно и поехать... Я всегда приезжаю с запасом, никогда не опаздываю. Как будто сам рассчитываю чего-то добиться хорошим поведением.

Каждый раз одно и то же: оставляю машину на боковой улочке, иду сначала в другую сторону. Нет, не потому, что стыжусь, не потому, что скрываю, куда мне надо. Не первое мое посещение, слава богу.

Так или иначе — самые драгоценные минуты моей жизни.

Два раза в месяц меня тут видят. Завсегдатай. Второй дом, считай, у него здесь. Женская тюрьма. Что-то его заставляет сюда мотаться. Только одно и может быть, если подумать...

И при этом не муж он ей никакой.

Они называют меня Джордж. Или Джорджи-Порджи. А иногда еще — из-за "домашних работ", которые я сдаю и принимаю, — Ученичок или Училкин Любимчик. И все до одной, что тут дежурят и меня обыскивают (они не во всех местах могут тебя трогать, для этого нужен был бы надзиратель-мужчина), знают, что я раньше был полицейским, детективом-инспектором. Теперь у него частная лавочка.

Завсегдатай. Раз в две недели как штык.

Поначалу я страшно волновался, что опоздаю. Вдруг она подумает... Что подумает? Что я ее обманул, предал? Впрочем, она не очень много думала тогда — хотела быть как лед.

Из-за этой нервозности я давно уже завел привычку приезжать рано. Успеваю подкрепиться. Для этого иду в другую сторону, к большой улице. Там есть закусочная "Ланчетерий" — вывеска непритязательная, а готовят прилично.

"С чем сегодня был сандвич, Джордж? С овощами и сыром моццарелла? Или с острой ветчиной?"

Она хочет знать такие вещи. До мелочей, до последней крошки. Жизнь снаружи — как будто я могу и за себя, и за нее. Блаженная повседневность. Запах хорошего кофе. Час ланча с его суетой. Толково приготовленный сандвич.

Это был хороший знак, когда она начала спрашивать (немножко в духе Элен): что я себе готовлю, что ем? Хороший знак, когда она сказала: "Здешняя еда — дерьмо".

Тут тоже, между прочим, неплохое место, чтобы сидеть и жевать сандвич. Скамейка у нагретой солнцем стены. Для этого, собственно, скамейки и существуют: присесть, перекусить. Но можно ли на кладбище, разрешено ли? Крошки — мертвецам.

Чего им больше всего не хватает — если они смотрят сюда? Ноябрьского солнца на опущенных веках, невесомого тепла? Вкуса свежего хлеба?

Боб мог бы сказать. Но как спросишь?

Пателю повезло. Тяжелые раны, долгое выздоровление, шрамы — но он выжил. Вот кто, считай, воскрес из мертвых.

Повезло? И да, и нет. Выжил, и поэтому в сторону отошло другое: никто не понес наказания. Закон предал Пателя. И в конце концов им с женой пришлось продать магазин — отчасти магазин, отчасти форт, факторию и форт на вражеской земле.

А он готов был заявить, что это точно был Дайсон. Успел увидеть.

Я допрашивал его, мистер Патель, он был у нас — но пришлось отпустить. Полицейская промашка. Нарушение норм. Неправомерные действия...

Я пошел его навестить. С большим букетом. Не удивился бы, если бы он в меня плюнул.

Полицейскому — расчет, Дайсону — свобода, Пателю — шрамы и ночные кошмары.

Так уж получилось, мистер Патель, что моя жизнь тоже пошла наперекосяк. Не знаю, утешит ли это вас.

Но я не мог ему этого сказать. Не мог сказать и другого: был момент, мистер Патель, сумасшедший кровожадный момент, когда я хотел — чтобы хуже было Дайсону — вашей смерти.

30

Я пошел к Дайсону. Комната номер два. Ему полагалось бы мандражировать, но Дайсон не из тех. Лицо каменное. Мягкий камень.

С ним уже сидел дежурный адвокат. Что за фрукт, интересно?

Я сказал: "У нас тут и Кенни Миллс".

И бровью не ведет.

"А, мудак этот".

"Да, пришлось его забрать. Дело в том, что он там был. Пришел в магазин сразу после того, как это случилось".

Я не спускал с Дайсона глаз.

"И вы взяли этого мудака".

"Я с ним только что беседовал. Говорит, встретил Дайсона по дороге туда. Говорит, Дайсон шел из магазина Пателя".

И опять на лице ничего. Только что-то переключилось внутри глаз, как будто смотрит теперь не на меня, а на Кенни.

"Как он мог меня встретить, если я был у Мика Уоррена и смотрел футбол?"

В квартире Уоррена еще шел обыск. Как будто у него в диване мог быть спрятан окровавленный нож.

Адвокат отреагировал быстро: "Я правильно вас понял? Свидетель дал такие показания? Официально?"

"Да".

Маленькое словечко, но магнитофон записал.

"Мы с клиентом должны посовещаться".

Я вернулся в первую комнату. Иногда, если повезет, ловля может начаться и кончиться в четырех стенах. Но бывает, что пойман оказываешься ты.

Там уже юрист. Мне он не понравился.

Я включил магнитофон.

"Ну что ж, Кенни, ты свое дело сделал хорошо..."

Адвокат сказал: "Мистер Миллс хочет изменить свои показания".

Я перевел взгляд на Кенни. Кенни смотрел на стол. Все-таки больше боится Дайсона, чем меня. Может, и прав.

"Мистер Миллс сообщил мне, что дал эти показания под вашим давлением".

Я посмотрел на юриста. Ах ты сука.

"Они не добровольно были даны. Мистер Миллс заявляет, что вы принудили его к этому запугиваниями и обманом".

И не возразишь. Послушать запись — так и получится.

"Кенни..." — сказал я.

Он бросил на меня быстрый взгляд. Храбрый взгляд в своем роде. Храбро-трусливый.

Я и сейчас голову отдам на отсечение. Все так и произошло. С вероятностью девяносто пять процентов. Ручаюсь даже за окровавленный нож, которым Дайсон перед ним помахал.

Как бы то ни было, взглядов лента не фиксирует.

Я не мог ему сказать при адвокате и магнитофоне: он все равно тебе припомнит, Кенни.

Нет, не припомнит. Потому что Кенни отмажет Дайсона. Вдвоем они будут ржать насчет того, как доконали меня. Кенни войдет теперь в кружок больших ребят.

Юрист, думаю, увидел. И детектив-констебль Росс, думаю, тоже. Что я на грани, вот-вот сорвусь. Лента таких вещей тоже не фиксирует.

И все-таки надежда — безнадежная надежда, — что Дайсон как-нибудь даст слабину.

Комнаты для допросов. Запах — как в заразных изоляторах.

Я пошел с Россом во вторую. О чем говорили Дайсон и юрист, пока меня не было? Суть я знал. Легавый блефует — не поддаваться, стоять на своем.

А теперь он даже мог заявить — и заявил, — что стал жертвой незаконных действий полиции.

Но Дайсон никакая не жертва — поверьте видавшему виды детективу-инспектору. Не жертва, а палач из палачей. Побоку все эти душещипательные байки, какими палачей перекрашивают в жертв: трудное детство и так далее и тому подобное. Он пустил Пателю кровь, потому что так хотел. Хотел и сделал.

Он молчал. Заговорил юрист. “Мой клиент не может ничего добавить к сказанному...”

Дайсон глядел на меня, и только. Теперь, когда я это вспоминаю, мне кажется, что он уже тогда там стоял, наверху, стоял и смотрел, как я падаю.

Потом Гиббс, новый суперинтендант, сказал, что ничем не может мне помочь. Никакого прикрытия не будет. Обстоятельства не позволяют. Полицию сейчас костерят все кому не лень. “Злостный нарушитель” — вот как он меня припечатал. Ему тоже понадобилось столкнуть меня вниз. Он не меньше моего хотел упрятать Дайсона, но вместо этого решил столкнуть меня вниз, в глубокую расселину.

Запах полицейских участков — даже в кабинете суперинтенданта. Кому захочется работать в таком месте?

А я надеялся — было, было, — что Патель не выкарабкается.

Юрист говорил. Дайсон глядел на меня. Глядел так, словно и передо мной помахал в проулке этим ножом. Попробуй выхвати, если сможешь.

Я опять пошел в первую.

Адвокат Кенни сказал: “Мистер Миллс подтверждает свои первоначальные показания”.

Пиво и сигареты.

Я сказал: “Подумай еще, Кенни”.

Он смотрел на стол.

“Мистер Миллс...”

Иной раз говорят: света невзвидел. Да, что-то в этом роде. Что-то на меня нашло. Я видел только свои руки на горле у Кенни.

Я набросился на него при свидетелях — при адвокате и Россе, — так что адвокату пришлось вмешаться. На Кенни, на невиновного. Не на Дайсона даже.

31

Этому пришел-таки конец — так, по крайней мере, я считал. В том самом шестьдесят пятом, когда я поступил в полицию, Фримены переехали в Бристоль, и я подумал, что, если даже это не прекратилось раньше, теперь уж черта подведена. Хотя факт, секрет никуда не исчез. Тайно присутствовал.

Я искал на его лице признаки — сам не знаю чего. Грусти, тоски. Того, что могла бы заметить мама. Что с тобой, Фрэнк? Теперь-то я, конечно, понимаю, что препятствия, расстояния (Лондон — Бристоль) не обязательно означают конец того, что было.

Так или иначе, он всегда улыбался, всегда был весел. "Всех прошу улыбнуться". Так что как по нему поймешь?

В прошлом время от времени, большей частью по понедельникам, встречался с Кэрол Фримен. Ничего особенно серьезного. Лучше от этого или хуже?

А потом — двадцать один год спустя — он умер. Двадцать один год секрет тайно присутствовал, не выходя на поверхность, а за это время я стал сначала простым полицейским, а потом и детективом, женился, у меня родилась Элен, и я регулярно бывал у родителей по воскресеньям (родители Рейчел — случай особый). Я даже нет-нет да находил время сыграть с отцом в гольф, даже сидел с ним на той самой скамейке, под которой было много окурков. Тайное прибежище курильщиков. Мужей, которые вроде бы подвели черту, живущих с женами, которые никогда не узнáют.

Он умер в восемьдесят шестом. Ему было лишь немного за шестьдесят. Но мне казалось, что они уже достигли точки, когда в них реально поселилась мысль: кому-то из нас уходить первым. И мама, видимо, понимала, как понимают, исходя из статистики, многие женщины, что вдовство, скорее всего, предстоит ей. Но не думала, что так скоро.

Апрель восемьдесят шестого. Я невольно, помимо всего прочего, думал вот о чем: по крайней мере они теперь будут в безопасности, и я тоже — мой секрет будет в безопасности. Ее воспоминания будут чистыми, без рубцов. Единственный рубец — кровать и он на ней, а казалось, будет жив-здоров еще лет двадцать, если не больше. Кровать и его смертные труды.

Мы дежурили по очереди, его грудь вздымалась и опадала, он то отплывал далеко, то возвращался — знал ли он, что мы рядом, понять было невозможно. Иногда что-то бормотал, иногда просто стонал и хрипел.

А потом он сказал (жить оставалось всего несколько часов): "Кэрол..." Глаза были закрыты, и бог знает, где он в этот момент находился, но сказал он это отчетливо и повторил еще и еще раз: "Кэрол... Кэрол..."

Просто блаженство здесь, на этой скамейке. Поднять лицо, прикрыть глаза, почувствовать на веках ласковое солнце и думать, что весна.

Не расслышать, принять за что-то другое было невозможно. "Кэрол..." Смысл был очевиден.

Я подумал: теперь опять надо будет притворяться, но уже по-другому. Ради нее — притворяться ошеломленным, шокированным, как она.

Но без разбитого сердца. Это ей одной.

Ошибиться было невозможно. Мы находились там оба. Я — свидетель. А не будь нас там — или умри он раньше, без этой долгой и трудной агонии, без бреда, не успей он прийти в это состояние...

"Кэрол..."

Разумеется, я сказал, обязан был: это бред, бессмысленный бред. Но в ее лице читалось: нет, Джордж, черта с два.

Бред, бессмысленный бред. Каштан у ворот парка. Отец торопится сквозь дождь, исчезает за дверью, как птица, впархивающая в гнездо.

Несколько часов всего-навсего. Подвели несколько последних часов.

Я думаю, она настроила себя так: могла и не узнать. Запросто могла остаться в неведении. Если бы можно было отыграть все назад — не факт отыграть, а только знание, необходимость знать, — она бы согласилась. Я ведь словом не обмолвился за долгие годы.

Теперь ей тоже надо было притворяться. Мужественная вдова, стойко переносящая горе, хранящая драгоценную память. Все эти фотографии.

Но такое ли уж это было притворство?

"Он умел заставить меня улыбнуться — видит Бог, умел, и еще как".

Она сказала это несколько недель спустя. За время, прошедшее после похорон, что-то в ней сдвинулось — какое-то решение, компромисс. Мы уже перестали не только говорить на скользкую тему, но и обходить ее стороной.

"У меня возникла мысль, Джордж. Поможешь мне?"

Ей захотелось купить и поставить деревянную скамейку с надписью или табличкой. Подобные скамейки можно увидеть повсюду: "В память такого-то". Ей захотелось поставить скамейку в его память в парке Чизлхерст-коммон, поблизости от Хай-стрит. Ведь он, так или иначе, был в некотором роде общественным лицом. Местным фотографом.

Это будет жест. Скамейка в общественном месте, для всех. Разумеется, когда она захочет, она и сама сможет посидеть — если скамейка будет свободна. "Здравствуй, Фрэнк".

Она, как и я, не знала, куда по этому поводу обратиться. Должна быть какая-то процедура. Конечно, я пообещал заняться.

"Спасибо, Джордж. Я тебя еще кое о чем хочу попросить", — сказала она.

Смотрела на меня некоторое время. "Когда я... уйду, сделаешь так, чтобы и мое имя там было? Фрэнк и Джейн".

Само собой, я сказал, что сделаю.

Я сдержал слово. Обращаться надо в Управление паркового хозяйства. Солидного вида деревянная скамейка из отличного тика, тогда темно-коричневая с шелковистым блеском, теперь посеревшая от времени. Помню простой, будничный момент, когда ее установили в нужном месте и мама села на нее первая.

Я до сих пор время от времени там бываю, когда накатывает настроение. Просто сижу. Уимблдон — Чизлхерст. Точки на твоей карте, полюсы твоего мира.

Там хорошо сидится. Это хороший был поступок, верный.

На дальней стороне Чизлхерст-коммон — церковь Сент-Мэри, где первое время лежал Наполеон III, умерший в 1873 году. Его жена Евгения пережила его почти на пятьдесят лет.

А вот моей маме не суждено было долгое вдовство. Никакой второй жизни. Это меня удивило: я думал, она с ее покорной, терпеливой надежностью продержится еще немало лет. К тому же теория вероятностей: отец умер рано... Но она умерла всего три года спустя, за несколько месяцев до того, как меня выгнали из полиции.

Прожила бы она дольше, если бы не услышала имя Кэрол? Стало ли оно для нее приговором к тюремному сроку, который стремишься сократить? Не знаю. Не разбираюсь в таких вещах.

Но она не узнала, что я проник в отцовский секрет. Могу гордиться. И, разумеется, я исполнил ее желание в точности.

"Фрэнк и Джейн".

Если кто-то на ней уже сидит, я поначалу досадую, чуть ли не обижаюсь. Но потом это проходит, и мне почему-то даже приятно. Они не знают, кто я, — откуда им знать? Я смотрю на них, не знающих, кто я. Брожу вокруг, жду своей очереди.

Тут хорошо сидится. Я правильно делаю, что приезжаю. Несмотря на все, что происходит с общественными скамейками. Псы их метят, да и люди используют их по-разному. Общественные скамейки, поля для гольфа. На что иначе цивилизация?

И, сидя тут, я ничего не могу с собой поделать: радуюсь, что они умерли. Радуюсь, что они умерли именно тогда. И не узнали, ни он, ни она, про *мое* бесчестье, про *мое* скандальное поведение. Их мальчик служит в полиции — хорошая работа, сколько бы грязи ни швыряли сейчас в полицейских. Сколько бы ни говорили о коррупции, о злоупотреблениях.

Не узнали и не узнают. И про нас с Рейчел тоже. Про то, что Рейчел и я — это уже не Рейчел и я. Про то, что моя жизнь развалилась.

Не говоря уже о теперешнем. Этот... посетитель, присевший на скамейку по дороге в тюрьму, — их сын? Как бы они могли это объяснить?

32

Я поехал в Фулем. Пробный выстрел — посмотреть, что там и как с этой квартирой. Парковка, обзор.

Квартира на втором этаже с эркером. Внизу полуподвал, крыльцо с аркой, ступеньки к нему.

Могла ли она у себя в Дубровнике предвидеть такое? Точки на твоей карте.

Перед домом — маленький садик. Увядшие розы. Куст лавра, живая изгородь. Калитка, дорожка, небольшой увитый плющом отсек для мусорных бачков. На калитке номер дома: 41.

Двадцатого ноября, в понедельник, я приехал туда в четыре часа. Отправиться они должны были самое раннее около пяти. Но надо занять позицию, приготовиться. Работа детектива — на пятьдесят процентов ожидание.

Около дома уже стоял черный "сааб".

Сырой промозглый денек. Четыре, а уже почти темно. На втором этаже, за шторами, горит свет.

Уступка, сказала Сара, и, похоже, сейчас, в ноябрьских сумерках, срок уступки истекает.

Что ж, пусть пользуются последними, нелегко доставшимися минутами, пусть добирают уступку до конца. А потом расстанутся навсегда. Если расстанутся.

Или исчезнут вдвоем, растворятся в ночи.

Как понять по освещенному окну, что у них на уме? Ряды ничего не говорящих окон, свет включается, выключается. Ряды домов, глядящих друг на друга через улицу. Попробуй угадай по моему фасаду, что у меня внутри.

Уличные фонари изменили цвет — был красноватый, стал янтарный.

В пять пятнадцать (я всегда точно записываю) дверь дома открылась и появился Боб Нэш. Он нес два чемодана, один большой, другой поменьше, и вид у него был сосредоточенный. Вид человека, исполняющего какое-то опасное задание, — можно подумать, в чемоданах лежала взрывчатка. Мне вспомнился рассказ Сары о том, как он носил в дом коробки, а Кристина сидела на кухне и силилась не разреветься.

Он был в костюме, но без галстука. На лоб упала темная прядь, которую он не мог отвести — обе руки были заняты. Чемоданы выглядели новыми. Он захлопнул за собой дверь и понес их к машине. Откуда я смотрел, не видно было, есть ли там уже какой-нибудь багаж (его собственный). Он запер багажник и двинулся обратно. На крыльце приостановился и глубоко вздохнул — но он же тащил чемоданы. Открыл дверь ключом и закрыл за собой.

Прошло минут пять — может, чуть больше.

Оглядываешь все, запоминаешь. Мысленно в последний раз фотографируешь. Родные стены — и в то же время не родные.

Свет наверху погас. Потом оба вышли. Он уже при галстуке. А она — можно подумать, предстояла ответственная встреча и надо было произвести впечатление, выступить в какой-то роли — была в строгом элегантном темном костюме. Под ним — светлая блузка с круглым вырезом.

Я видел ее первый раз, если не считать той фотографии. Совсем другая женщина, ничего общего. Полное превращение.

Первый мой взгляд. Мне достался только краткий промежуток, когда на них падал свет из открытой двери, и лица ее я не мог хорошо рассмотреть. Я ждал чего-то ошеломительного, потрясающего — того, что сразу бы все объяснило.

Но разве я не знал уже, что не угадаешь, как оно в тебя войдет?

С плеч свободно свисает темно-красный шарф. Блестящие черные волосы. Что-то иностранное, да. И насыщенное, интенсивное. Первое, что приходит на ум, — итальянка.

У обоих пальто через руку: до машины несколько шагов. У нее компактная сумка ящичком, какие разрешают брать в салон, и маленькая сумочка на плече.

Дверь за ними закрылась. Никакой значимой паузы.

Пара образованных, целеустремленных людей — пара в том или ином смысле. Впереди какие-то дела, время распланировано. Может быть, муж и жена, может быть, нет, может быть, связаны только профессионально. Два человека, отправляющиеся в деловую поездку с целями то ли совершенно законными, то ли совершенно незаконными, то ли смешанными.

Попробуй пойми.

Спустились с крыльца. Из двоих она выглядела уверенней, двигалась быстрей. Бывают такие отношения между мужчиной и женщиной, в которых он — своего рода якорь, а она физически лидирует.

Костюм, думаю, купил ей он. Прощальный подарок? Она закрыла подбородок шарфом — что-то вроде маски. Режущие, энергичные шаги знающей что почем женщины. Беженка?

Он открыл перед ней дверь машины, взял у нее пальто и сумку, положил на заднее сиденье. Быстрый перемах ее ног в кабину — и она пропала из виду. Ноги что надо. Через четыре часа он будет лежать мертвый, а она и знать не будет. Он обошел машину и, прежде чем сесть за руль, странно, коротко крутанул головой: посмотрел вверх, вокруг и назад.

33

Первый час. Хватит. Встаю со скамейки. Я ждал достаточно. Вполне достаточно, чтобы уважить, чтобы не скомкать. Вполне достаточно, чтобы получить все депеши из мира мертвых, какие могут прийти.

Нет, сердце мое, ничего. (Я не стану ей лгать.) Мертвые ничего не говорят. Они не умеют прощать.

На этой скамейке только одно имя: "Джон Уинтерс. 1911 — 1989". Но она из добротного, долговечного тика.

Моя жизнь снова составляется, берет свое.

Иду к машине. Теперь, когда я на ногах, чувствую легкую дрожь. В ноябре не рассиживайся. Джон Уинтерс. День по-прежнему ярче яркого, небо просто полыхает голубизной, но уже сейчас, чуть после полудня, есть ощущение спешки и скоротечности, какое бывает в ноябре даже в ясную и безветренную погоду. Уже выдыхается, уже идет на убыль.

34

Марш спросил: "С миссис Нэш? Это *с ней* произошло что-то нехорошее?"

Она была дальше по коридору. Ничто теперь не останется для нее прежним.

Он смотрел на меня, вчитывался в мое лицо.

"Разве не наоборот? По-моему, с ней произошло что-то хорошее. Муж вернулся, девушка уехала. Все как она хотела".

"Да".

"И что же?"

"Это не мое дело".

"Не ваше? — Он смотрел на меня. — Я мог бы сказать, что и не мое тоже. Когда миссис Нэш пришла вас нанимать, не показалось ли вам, что она хочет отомстить?"

"Нет. Точно нет. Она хотела вернуть мужа".

"Вы уверены?"

"У меня было много клиенток, которые хотели отомстить. Понятно бывает".

Иной раз едва она переступит порог.

"И все-таки это объяснение. Суд его примет. Почему именно сейчас? Потому что все время имела это в виду. Ждала, пока он вернется, пока вообразит, что теперь можно начать с чистого листа..."

"Она приготовила ему ужин. Его любимое блюдо. Накрыла стол. Вы же видели..."

"Вот-вот. Мщение. Театральный элемент. Люди вытворяют и более странные вещи. А вам не кажется, что она не в своем уме?"

Он сам не верил тому, что говорил, — мне это ясно было. Турусы на колесах. Он проверял меня, испытывал.

"Суд не будет разбираться", — сказал я.

"Может, и не будет. Как повернется. А откуда вы знаете, какое у него любимое блюдо? Она вам сказала?"

Он смотрел на меня.

"Вы же видели ее, — сказал я. — Не так она выглядела, как если бы замышляла убийство. Не так, как если бы спланировала все заранее".

(Выглядела она — хоть и повторяла раз за разом: "Я это сделала, сделала" — так, словно совершенно не понимала, что́ сделала.)

Он смотрел на меня. Выдержал паузу.

Мог бы сказать: не так, как если бы *она* спланировала все заранее.

Твое последнее дело. Как ты его ведешь? Пускаешься во все тяжкие, гонишься неизвестно за какими химерами, нарушаешь все правила?

Если бы можно было подогнать самооговор к фактам, я, может быть, сказал бы сейчас: так, ладно, *я* это спланировал. Сговорился с миссис Нэш насчет убийства ее мужа. Подбил ее на это. Поехал за ним в аэропорт, сообщил ей по телефону, что и как. Потом для верности следовал за ним всю обратную дорогу...

Фальшивые показания (подлинные лежали на столе и ждали моей подписи): я это сделал, я.

Турусы на колесах. Но люди порой вытворяют невероятные вещи. Приходят в полицию (в каждом участке помнят такие истории) и признаются в преступлениях, которых не совершали.

Он теребил галстук. Может быть, думал: если она чокнутая, то запросто и он...

Но человека не сажают за то, что у него в голове.

"Да, я ее видел", — сказал он.

Комнаты для допросов. Два детектива-инспектора. Странно оказаться по ту сторону закона.

Не потому ли мы оба в юные годы — в те давние простые, определенные годы — выбрали *эту*, правильную сторону?

(Да, сказал он мне позднее во время гольфа.)

Хороший поступок, верный. Своего рода страховка: на нужной стороне с самого начала. В любом случае — не худший выбор для таких, как мы. Для крепко стоящих на ногах парней, которые в школе не питали особой любви к блюстителям порядка (и дома не без проблем).

Трудные школьники (и Марш, догадываюсь). По бумагам не ахти, но внутри доброкачественные. Годные для того, чтобы служить закону.

А теперь поглядеть на Марша перед пенсией — вылитый учитель, усталый учитель (в глазах временами строгий кремень). А что до меня... Из-за училки опять сижу в полиции. Потому что даже училкам случается иметь неприятности с законом.

Насколько проще было в те давние годы, когда полицейские еще не были для всех и каждого дерьмом, мусорами.

Он, похоже, прочел мои мысли.

"Можно с ней повидаться? Очень вас прошу".

Одно это "очень прошу" стоило признания.

Он строго на меня посмотрел. Усталый учитель — такой, который, если повезет, спустит тебе твои шалости. Но даже усталый учитель может поставить тебя на место. Даже дружелюбный на вид полицейский может напомнить тебе, что с властью не шутят.

С той поры я вижу ее только так — с разрешения.

"Этого я вам позволить не могу", — сказал он.

Должность не дает ему такого права — должность, с которой он скоро расстанется. Дома ждет жена, скоро получит его навсегда.

"Это невозможно, вы же знаете порядок".

А Боб Нэш лежит на стальной кровати. Знаю я порядок, знаю.

Его последнее дело. Я мог выбить его из седла, толкнуть в расселину.

Это был я — моя вина. Берите меня вместо нее.

На что иначе любовь?

35

Запускаю мотор. Окончились еще одни похороны, многолюдные, все большими группами идут к машинам, рассаживаются, и я в своей, затесавшись в их вереницу, чувствую легкую неловкость. Нет, я не с вами. Просто приезжал побыть у могилы. В другой компании.

Маленькая стрелка с надписью "Выход". Даже здесь нужна организация транспортных потоков, чтобы отбывающие не мешали прибывающим, не нарушали их медленного равномерного движения за катафалком. Чтобы и в загруженный день — такой, как сегодня, — каждая группа получила свой, пусть недолгий, промежуток времени, когда можно вообразить, будто только твое сегодня и значимо, только ты здесь по серьезному делу.

Как приходящие ко мне клиентки.

Только ты что-то для меня значишь, только ты.

Как мы такое решаем?

"Выход". Странное, если подумать, слово для кладбища. Должно быть последним словом перед тем, как ты сюда попадаешь. Здесь все навыворот.

А там, где сейчас Сара, "выход" — слово малоупотребительное. И никаких услужливых стрелок. Все крутится внутри.

Пока Сара не стала моей учительницей, я не слишком много думал о словах. Никогда не разглядывал их на свет.

"Ты это можешь, Джордж. Записывай все".

Не просто письма. Курс заочного обучения, домашняя работа. Уже не умоляющие послания в темноту. Прошу Вас, давайте встретимся...

Частные уроки по особой программе.

"Каждый раз хоть что-нибудь мне приноси".

А раньше не был мастером излагать что-либо на бумаге. Теперь я ее глаза, ее агент в мире, ее посланник. Нужен стимул, мотив. То же самое с преступлением. Не знаешь, что у тебя внутри.

Помню, как она мне однажды сказала про мою последнюю писанину (я всякий раз ждал вердикта, как от Элен насчет стряпни): "У тебя получается, Джордж. Ты можешь, в тебе это есть. Я тебе больше не нужна".

"Тут ты ошибаешься", — сказал я.

Из тюрьмы в тот день выходил — плыл по воздуху.

Смотри, запоминай, записывай. Ношу с собой блокнот, как добросовестный полицейский. Можно подумать, веду особое дело, требующее полной загрузки. Единственное дело — единственное, которое что-то для меня значит.

Вереница машин, в которой я еду, ползет среди кипарисов и других хвойных, потом среди лиственного золота, потом вдруг останавливается. По обеим сторонам блестят могильные камни. Там и сям яркие цветы.

Вспоминаю девушку в цветочном магазине. Как она переходила со света в тень и обратно. Чья-нибудь дочь. Цветут (Элен, правда, отрастила шипы). А что такое мы с Сарой? Поздние цветы, вроде хризантем. Ноябрьские — неизвестно откуда. Тепличные. Тюремные.

Солнце сквозь ветровое стекло, как будто я растение в оранжерее.

Патни-вейл. Долина Патни. Звучит так, словно это какой-то потерянный рай. Здесь и правда тишь да гладь. Для полиции забот немного. Разве что мелкие транспортные заминки. Никаких нарушений общественного порядка. Единственный спокойный пятачок на свете. Чего же тогда мы выстроились в очередь на выход?

Опять медленно двинулись к воротам, за которыми все изменит скорость. Надгробия смотрят на нас, провожают, выстроившись в безмолвный и неподвижный почетный караул. Все навыворот. Отдают почести уходящим живым — приговоренные часовые.

Кроме Боба, если он смотрит. Он-то никаких почестей мне не отдает.

Едет, подлюга. Замешался среди других. Прикидывается, мошенник, таким же, как все, прикидывается, будто горюет.

Странное последнее движение головой перед тем как сесть в "сааб".

Вот он, гад. Едет. Цветы положил, совесть чиста.

36

Злостный — вот какое слово было пущено в ход.

Что-то в этом слове телесное, физическое. Поднимающийся в горле черный вкус, распухший больной язык. Как будто в тебе нашли какую-то порчу, злокачественную опухоль, и это теперь ты, это теперь твое навсегда.

Злостный нарушитель. Лицо, причастное к полицейским злоупотреблениям. В другое время дело, скорее всего, ограничилось бы служебным взысканием, выговором, временным отстранением. Уже изрядный позор. Но тогда все кому не лень говорили о злоупотреблениях, и сверху оказывалось давление, и люди потеряли доверие к полиции — поэтому нужны были примеры, нужны были козлы отпущения. И вот я уволен, а Дайсон гуляет на свободе.

Справедливость: еще одно слово.

А если бы (как мне почти удалось) я припаял ему хороший срок, я получил бы благодарность, и только.

Я сказал: посмотрите, чего я *не* сделал. Не использовал полицейскую власть в личных интересах. Не закрыл ни на что глаза. Не закатал невиновного для раскрываемости.

Без толку. Ты вот как на это дело взгляни, говорили мне (или я читал в их глазах): мы жертвуем тобой ради блага полиции, ради чего-то боль-

шего, чем ты, ради нашей общей репутации, ради отбеливания нашей чумазой рожи.

А ты, между прочим, еще легко отделался, ты же схватил за горло свидетеля...

Злостный. Слово нешуточное: болезнь, порча. Брошен в одну кучу с подонками. Как преступник: пусть даже он только раз нарушил закон, клеймо на нем навсегда.

Не просто превысил полномочия. Согрешил.

*

Надгробия блестят на солнце. Это место, если подумать, должно быть пронизано порчей... Не такое уж милое уютное сообщество.

Всегда, конечно, был этот налет — этот ежедневный, будничный налет. Грязная порой работа. Всякое приходилось вычищать. Скверная порой работа. А полиция порой — сама скверна. И ты порой приносил это на себе домой (когда тебя наконец отпускали домой): какой-то запах в одежде, в волосах. Домой к жене и дочери.

Спустя какое-то время это перестает смываться. И ты лишаешься даже благопристойного служебного запаха формы. Дух проникает в твою гражданскую одежду — в ту, что позволяет тебе смешиваться с врагами. Несешь этот дух домой.

Значит, это у Рейчел вызревало долго? И то, что со мной случилось, стало просто последней каплей? Или иначе: ей сделалось тошно от моего запаха. А я-то думал, что более-менее это освоил, этот трудный фокус под названием "работа-дом", этот переход границы всякий раз, как открываешь дверь своего жилища.

По крайней мере в одном направлении. Домой. На работу — часто в синяках по милости Элен.

Но хотя бы с Рейчел. Ладно, допустим, иногда со мной было тяжело, очень тяжело. Синяки, синяки...

Но теперь она получила возможность обвинить во всем меня. Налет — это *я сам*. Не суженый — подсудимый. Не жена — судья.

Вереница автомобилей медленно тянется из ворот, едет по кольцевой развязке, все еще похожая на чинную процессию, потом поворачивает, набирая скорость, на подъездную дорогу к шоссе A3. Машина за машиной возвращаемся в мир.

Мне кажется, Рейчел так по-настоящему и не отказалась от своей религии. Я имею в виду бога как большого строгого отца.

У меня такого бога не было никогда, меня, слава богу, воспитывали иначе. Хотя в церкви мой папаша бывал частенько — снимал счастливые пары.

Я часто задумывался, каково приходилось Рейчел в детстве. Бог смотрел на нее с высоты, она возводила к нему глаза, послушная, испуганная. Потом однажды, когда стала старше, решила: да нет там наверху никого, только я внизу, и все.

Меня иначе воспитывали. Но все равно где-то что-то улавливаешь насчет Бога. Запах его какой-то чуешь, точно церковный. Я запомнил

прочитанное где-то вслух: нет, мол, такого грешника, которому Бог не подставит страховочную сеть своей любви.

Рейчел так полностью от него и не отказалась, вот что я думаю.

Есть он там наверху или нет, я не знаю, и насчет сети тоже не знаю. Но думаю, что так должно быть здесь, у нас. Хоть один человек должен найтись, который подставит тебе сеть. Что бы ты ни сделал, как бы ни напакостил. Это не вопрос правильного и неправильного, что хорошо, а что нет. Это не вопрос справедливости.

Даже для Дайсона кто-то должен найтись. Не знаю кто. Знаю только, что не я.

Сворачиваю на подъездную дорогу и жму на газ. Еду, наконец-то еду. Вылетаю на А3.

Что бы ты ни сделал, как бы дурно ни поступил. Даже если ты злостный нарушитель. Даже если ты совершил худший проступок на свете, такой, на который никогда в жизни не считал себя способным, и убил другого человека. Даже если этот другой — тот самый, кому ты в прошлом подставлял сеть.

37

Марш посмотрел на меня долгим взглядом. Лицо суровое, твердое, как будто он решает, казнить меня или миловать.

Даже усталый учитель может показать тебе где раки зимуют. Даже дружелюбный на вид полицейский может вогнать тебя в холодный пот. Работа в полиции — это власть (многие поэтому и идут). Власть, которая уходит от них, когда они уходят на пенсию.

Твое последнее дело. Можешь вести его так, можешь этак. Все равно скоро вольная птица.

Потом его лицо смягчилось. Стало лицом человека, которому требуется помощь, которому нужно сделать прыжок.

Было около часа ночи. Мои показания лежали на столе под его рукой. Он подвинул листки ко мне.

“Ну ладно, — сказал он. — Я думаю, достаточно. Подписывайте”.

38

Останавливаюсь где обычно. Еще нет и четверти второго. Два часа с лишним в запасе. Но это долгая процедура, никто там не старается ничего тебе облегчить. Учишься приезжать загодя. Сначала передача, всегда волокитное дело, потом само свидание. Заявляешь о себе у входа и ждешь. Это добрый час. А если проголодался...

Учишься класть на это целый день. Следующий раз — только через две недели. Очень часто я приезжаю даже раньше сегодняшнего (сразу сюда, без кладбища) и только рад этому. Побыть близко.

И всегда, запирая машину, думаю: настанет день, когда это произойдет в последний раз. Настанет день, когда я отойду от машины один, а вернусь не один.

Столько всего привычного, что становится частью тебя, как рукав, как кожа. Поездка на работу, дверь, лестница. Рита со вскипяченным заранее чайником.

Наблюдаешь за кем-то — изучаешь его привычки, ежедневные маршруты, чтобы знать, когда он от них отступит.

Хотя этот маршрут у меня не первый. Девять месяцев она пробыла в Эссексе — поездка в Саутенд занимала целый день. Потом, по счастливой случайности, обратно сюда. И в любой момент могут опять куда-нибудь перевести — мы оба это знаем. Ни с того ни с сего.

Но если это случится, я готов. Буду ездить. Я узнал, где они все расположены — тюрьмы, куда берут женщин с пожизненным на второй, на третьей стадии[1]. Точки на твоей карте.

Отстегиваю ремень и лезу в бардачок. Большой незапечатанный коричневый конверт. Пролежал там весь день. Мое очередное приношение, двухнедельная работа — разумеется, вынут и просмотрят, прежде чем передавать. Мне без разницы. Привык. Пусть читают каждое слово, если им надо. Это не любовные письма, немножко другое. Репортажи из внешнего мира с двухнедельным интервалом.

Пусть себе хихикают, пусть думают что хотят. Надзиралки. Надзорки.

Джорджи-Порджи наш. Ездит и ездит, все ему мало.

А другой конверт обычно лежит у них, дожидается меня. Что-то отдаю, что-то забираю. Мое предыдущее с ответом учительницы. Сарины репортажи, впрочем, невелики. Тюремная рутина — что о ней писать.

Есть кое-что другое, про что она пишет. Императрица Евгения.

(Особой проблемы это не составило. Дали, конечно, отсрочку — ввиду тяжелых обстоятельств. Был договор с издательством, она уже начала — и отказалась от дальнейших выплат. Работа не ради денег. И кому, собственно, какое дело? Можно и не писать, что переводчица этой книги отбывает наказание за убийство.)

Переводчики так и так теневые люди, промежуточные люди.

По крайней мере, это держит ее на плаву. Этакий плот на троих. Она, я и императрица Евгения. На четверых: еще старый муж-император. Мы с Сарой разговариваем о них как о знакомых.

“Как поживает императрица?”

Надеваю куртку. В конверте, кроме моей писанины, чистая бумага. Она тратит всю, какую может получить.

Сую конверт под мышку, запираю машину. Потом иду не к тюрьме, а в другую сторону. Есть время перекусить. Большая улица в пяти минутах. Если не сандвич на скамейке, если не крошки мертвым — ладно, пусть тогда “Ланчетерий”.

Улица застроена жилыми домами (а тюрьма — вот она, рядом). До конца, налево, потом направо. И сразу магазины, транспорт, люди. “Сейфуэй”, “Аргос”, “Маркс энд Спенсер”. Вспышки солнца на стеклах машин. У света медно-красный оттенок. Лица прохожих — как трассирующие снаряды.

Закусочная полна народу. Входишь точно в машинное отделение. Шипит и фырчит кофейный автомат, повторяются скороговоркой заказы. Время ланча. Шаркающая очередь — передо мной шестеро или семеро, но я не досадую.

1. Умышленное убийство в Великобритании карается пожизненным заключением с возможностью освобождения по прошествии определенного срока. Тюремный срок делится на стадии, различающиеся режимом.

Это новое во мне сейчас: не досадую на задержки. Могу ждать. Нетерпеливостью больше не страдаю. Проволочки, очереди, пробки, отсрочки — ничего страшного. Побывал на кладбище, купил сандвич...

Стоишь в очереди — можешь наблюдать, приглядываться. Стоишь в очереди — думаешь обо всех других очередях, в которых мог бы оказаться, обо всех ужасных шаркающих очередях.

Так или иначе, бывает ли жизнь, которая наполовину не состояла бы из ожидания? Жизнь, не продырявленная тут и там пустотами? "Время терпит". "Не суетись". Быстро хорошо не будет — ни в готовке, ни в остальном. Хотя за этим прилавком они ох как шустрят.

Помимо прочего — детективу без этого никуда. Если не умеешь дождаться, выждать...

Здесь меня уже, конечно, знают. Завсегдатай. Раз в две недели как штык. Иногда еще заезжаю просто оставить передачу. Одежда, одно, другое, что они там разрешают. Служба доставки.

Вот и прилавок. Мне кивают, узнали. Способны ли догадаться, зачем я тут бываю, — другой вопрос.

Этот? С конвертом под мышкой? Он только-только с кладбища, там стоял у могилы убитого человека. Теперь хочет увидеться с женщиной, которая его убила. В промежутке ест сандвич и пьет капучино.

Сандвич с курицей, зеленью и обжаренным красным перцем. Хозяева — испанцы. Сара умеет по-ихнему. "Ланчетерий". Старое доброе испанское словцо.

Есть свободное место — табуретка у окна. Кафе "Рио". Интернациональный мир.

Как она переживет этот день? Полвторого. Представляю себе надгробие — красноватый свет, искрящийся гранит. Могила, к которой год теперь никто не придет.

Минут через двадцать двинусь обратно и встану в другую очередь.

39

"Сааб" тронулся с места. Я за ним ярдах в тридцати. Когда он повернул на оживленную Фулем-роуд, я уменьшил дистанцию и чуть не врезался ему в бампер — так боялся упустить.

В темное время суток непросто следовать за машиной. Отстанешь — видишь только задние огни, а они у всех одинаковые.

С другой стороны — трудней, конечно, понять, что тебе пристроились в хвост. Приходило ли им вообще такое в голову?

Лилли-роуд... Потом по Фулем-Пэлис-роуд до Хаммерсмита. Потом шоссе A4 и автострада M4 — обычный путь в аэропорт Хитроу. Пять тридцать: густой и медленный поток машин в сторону Хаммерсмита, и, значит, я могу держаться близко. Часто так близко, что вижу их затылки.

А как насчет чтения их мыслей? Если они решили вместе дать деру — наверняка это скажется, наверняка будет какой-то пульс, какая-то вибрация в них обоих, заметная даже по положению голов. Если же намерены распрощаться...

Фулем-Пэлис-роуд. Мимо больницы Чаринг-Кросс, где он работает. Где осматривает женщин.

И будет работать дальше? Повернул ли он в ту сторону голову, невольно, пусть даже на секунду, или заставил себя смотреть только вперед?

Когда следуешь за кем-то, а он не знает, трудно не почувствовать трепет власти. Как будто можешь решать их судьбу. Твоя подошва над семенящим жуком.

Таинственное побуждение оберегать.

Кольцевая развязка у Хаммерсмита. Они свернули налево на A4. Там поток убыстрился, и держаться близко стало труднее. Но он не торопился, ехал в медленном ряду — два ровных красных огня. Ехал не так, как если бы ему не терпелось оказаться далеко.

Думаю, я знал уже тогда. Она улетала. Она улетала от него. Есть вещи, которые выводишь, высчитываешь головой, есть — которые знаешь нутром. Он сказал Саре правду. У него щелкают последние безвозвратные минуты.

A4, потом M4.

И все же, и все же. Он сидел за рулем, машина была в его власти, *все* было в его власти. Приближался поворот на Хитроу, и тут-то он мог выкинуть какой-нибудь сумасшедший номер. Мог внезапно газануть. Выжать педаль до отказа, выйти за все границы, лишь бы не дать ей улететь.

Последняя безумная надежда. Его надежда? Или моя? Он про это думал, я про это думал — бывший полицейский, который в свое время полгода проработал на угонах. Ладно, сынок, если любишь с ветерком... Не слежка — погоня (не потому ли в полиции, на самом-то деле?). Под конец — просто охота, беззаконие охоты.

Лицо Дайсона, когда мне пришлось ему сказать, что я превысил полномочия.

А Кристина возвращается — если возвращается — туда, где идет игра без всяких правил.

Три съезда с автострады перед Хитроу, не считая поворота к четвертому терминалу. Возможности стремительно тают, минуты щелкают. Потом громадный аэропорт всосет тебя и охватит, как сеть.

Он держался медленного ряда — того, с которого можно повернуть к первым трем терминалам.

И все же, и все же. Что-то еще может произойти, в последний момент они могут развернуться. Нельзя забывать и про план "Б": что пройдут регистрацию вместе, как намеревались с самого начала. Предъявят посадочные талоны, и привет. Потому-то он и едет так ровно, так спокойно.

Съехали с автострады, движемся к аэропорту. Рев низко летящего лайнера.

Я знал нутром, что они расстанутся. По туннелю под взлетно-посадочными полосами черный "сааб" ехал мрачно и торжественно, точно катафалк. Точно назад пути уже не было.

Умом я, должно быть, радовался. Но нутро жаждало одного — оказаться неправым.

40

Приходя на свидание в тюрьму, словно бы репетируешь посадку. Пробуешь на вкус, что такое наказание. За тобой захлопываются двери. Систе-

ма и ее запах поглощают тебя. Тебя обыскивают, отсчитывают и отмечают. Краем сознания начинаешь сомневаться, что тебя выпустят. Потом, когда твое время заканчивается, происходит маленькое чудо. Можешь, оказывается, выйти на волю. Делаешь тот простой шаг, что для живущих здесь совсем не прост, а то и немыслим.

Может быть, через это всем надо пройти. Опыт, привилегия. Знать, что это такое — покинуть мир и вернуться.

Встаю в очередь у входа. Через дорогу — новенький "центр посещений", но он еще не открылся, так что мы ежимся на улице, как бездомные.

Знакомые лица. Всякий раз есть и дети, дети без мам, под присмотром кого-то еще. Кивки, мимолетные улыбки. В целом, если не считать детей, мы народ неразговорчивый. Мы не друг с другом пришли повидаться, и если создается впечатление, что мы какая-то особая группа избранных, то это впечатление обманчиво.

Над нами высится кирпичная стена. Кто-то горбится, кто-то переминается с ноги на ногу — невтерпеж оказаться в тюрьме. Но пока мы дрожим в тени, кирпичная кладка наверху румяно сияет, как корка свежеиспеченного хлеба. Солнцу это тоже трудности не составляет — этот простой шаг, который вовсе не прост. Оно легко может перемахнуть через тюремную стену.

Привилегия избранных. Все шаркающие очереди.

Для меня это привилегия в самом что ни на есть прямом смысле. Драгоценнейшие минуты жизни. Так и хочется сказать, когда выпускают отсюда: "А можно остаться? Это обязательно — уходить? Я бы с удовольствием тут поселился, был бы предлог. Нельзя ли что-нибудь на меня навесить?"

Есть, правда, закавыка: тюрьма женская. Как ни старайся, ничего не получится.

Пять минут четвертого. Пора. Отпирают. Медленно подвигаемся вперед, и хотя они высматривают новые, незнакомые лица, мой желудок, как всегда, перекручивает узлом. Как будто меня могут остановить, как будто меня ждут хмурый взгляд, выставленный палец, отгоняющий взмах. Нет, не вы. Вам сегодня нельзя.

Желудок схватило и не отпускает. Но, как всегда, не забываю наполнить легкие. Это превратилось в ритуал, в суеверие, в необходимое условие. Как ныряльщик. Порция свободного воздуха.

Как будто я могу удерживать этот воздух, пока миную все двери, пока прохожу все проверки и обыски, пока в помещении для свиданий наши губы не соединятся.

Как будто нам разрешено целовать друг друга в губы...

Надзирательницы здороваются: "Привет, Джордж". Вещи надо оставить в шкафчике. Карманы вывернуть. Похоже на старые времена, на полицейский участок. Никаких бумажников, ключей, бумажных денег, сигарет. Заглядывают в рот, в ботинки. Иногда приводят собак.

Меня обыскивают быстро, скорей ради проформы, не дотрагиваясь до определенных мест. Шутки про эротический массаж — для нас пройденный этап, но могу точно сказать, что запах секса — секса без секса — примешивается к запаху любой тюрьмы.

Хотя здесь он не бывает таким сильным, как в мужских тюрьмах. Здесь — парфюмерное амбре в дни свиданий. Принарядиться и все такое. В меру возможностей.

Вроде моих клиенток — по крайней мере некоторых. Сигнальные волны аромата. Рита сперва оценивает женщин обонянием, потом взглядом, потом впускает ко мне. И никуда не деться от вопросов, которых вслух не задаешь, но (они это знают) задаешь мысленно и порой — порой на удивление быстро — получаешь ответы.

Вы по-прежнему спите с мужем? Когда последний раз?.. Значит, до сих пор близки с ним сексуально, но знаете по тому, как он...

То же самое, когда тебя здесь щупают надзирательницы: бесшумная стайка молчаливых вопросов.

Последний раз? Не было и первого.

Они смотрят на тебя. Что ж, у кого как.

А ты все еще не выдохнул.

Мою сегодняшнюю зовут Бриджет (я знаю некоторых по именам). Лет сорок, крепко сбитая, похожа на опытную дзюдоистку. Наверняка есть мужчины, падкие на тюремщиц. Как есть мужчины (я знавал кое-кого), падкие на женщин-полицейских. Женщины в форме, надзорки. Дисциплинирующий момент.

Я-то? Я последнее время больше по училкам.

Бриджет говорит:

— Привет, Джордж. Как дела?

Охлопывает меня, я поднимаю руки. Мы уже прошли стадию молчаливых вопросов. Сейчас она смотрит на меня с каким-то даже уважением.

— Денек-то какой красивый, — говорит она.

На секунду задумываюсь: знает или нет? Может, все тут знают, может, ведут особый журнальчик дат?

— Но холодно, — отвечаю.

Шаг всего. Но уже другая страна, другой мир. И если тебе тут жить, стараешься выжить. Есть разные способы, и один из них — принимать это, изо всех сил этого желать: где еще тебе место? Ты сделала нехорошее дело (худшее из нехороших дел) и должна понести наказание. Раньше — не так уж давно — тебя даже не оставили бы в живых.

Желание быть запертой. Желание забыть, что раньше ты разгуливала в том мире, другом, далеком, по ту сторону стены. Его никогда не было, ты никогда в нем не жила.

Вначале она меня ненавидела. Я это видел — это было ужасно — по глазам. Незваный гость, живое напоминание, пришелец, вторгшийся в ее пространство. Первые три месяца вообще отказывалась от свиданий и не звонила, хотя они могут звонить. Заключенный решает, приглашать или нет, в этом одном он властен. Прошу, дескать, к моему шалашу.

И конечно же я боялся. Такое преступление — тебя возьмут под пристальный надзор.

Боялся и сомневался? Хотел на попятный? “Не в своем уме”, — так Марш сказал. Боялся и не мог поверить. А она — могла? Что это с ней происходит. Я, старый полицейский, думал, как будто не знал закона: ей — пожизненное? Нет, не дадут. Быть этого не может.

Только письма, мои безответные письма. Письма в немоту. Потом вдруг ответ. Я вытаращился на него. Потом однажды чудо. Уступка. Ее за-

явка на свидание. Но даже когда мы свиделись, когда она мне позволила, — ее глаза! Как будто и я для нее мертв, и она для меня.

Он перестанет, сдастся, я его заставлю. Потом буду одна, потом совсем окаменею.

Я сказал себе: продолжать, держаться. Чего ты ждал? Что тебя примут как родного, вознаградят, обласкают?

Мне не нужна твоя жалость, Джордж, мне не нужна твоя благотворительность, черт тебя подери.

Я тебе этого и не предлагаю, черт тебя подери.

Входил с полными легкими воздуха, входил чуть не лопаясь. Входил с единственным сообщением, которого она не хотела слышать: что бы ни произошло, что бы ни происходило, ты — все равно *ты*.

Продолжай, держись.

И я не был слепым. Я знал, что делает с человеком тюрьма. Превращает его в то, чем он и вообразить себя не мог. Получив приговор, он отправляется в тюремную больницу. Оцепенелость в ее глазах: отчасти — шок в чистом виде. Сердце мое. Я не был наивным. Раньше это была моя работа, обязанность — отправлять людей в тюрьму. А теперь полюбуйтесь на меня: сам стучусь в тюремную дверь.

Я вспоминал, как навещал Пателя в больнице. Жизнь его была уже вне опасности. Мне нужно было прощение. Словно я сам пырнул его ножом.

Не сдавайся. Это пройдет, пройдет. Это вполне естественно. Что может быть естественней: убить человека, которого любишь (любишь? любила?), а потом желать смерти себе.

Не тюрьма — могила. Как будто она лежала с ним в одном гробу. Я не мог ее вытащить. Я не мог тайком выносить наружу землю — мог только вносить воздух. Сколько его надо было внести — целую камеру? — прежде чем ненависть начала отступать? Прежде чем Сара вернулась ко мне. И к себе.

Прежде чем ты стала опять *ты*.

Бывают часы, дни — и всегда будут, — когда тебе по-прежнему хочется, чтобы ты не была ты. Никогда не была, с самого рождения. Или хочется верить, что это сделал кто-то другой, — как это могла быть *я*? Что кто-то другой совершил поступок, который приписали тебе.

Но в этот день, в особый, в годовщину дня, когда ты его совершила, ты знаешь, что поверить такому нельзя.

41

"Сааб" выехал из туннеля. Боб выбрал ряд, ведущий ко второму терминалу. Между нами было три машины. Перестраиваясь в тот же ряд, я уменьшил интервал до двух машин. Пять минут седьмого. Аэропорт с его внезапной спешкой.

"Сааб" повернул к автостоянке краткого пребывания второго терминала. Краткого? Небольшое замедление, потом мы оба въехали в здание многоэтажной стоянки и начали подъем по спирали. На четвертом этаже были свободные места, и когда "сааб" занял одно из них, я проехал мимо до конца, развернулся и встал там, откуда мог наблюдать.

Почти минуту никто из "сааба" не выходил. Последняя возможность изменить план? Принять сердцем другое решение? Ключ зажигания по-прежнему торчал в замке. Кристина по-прежнему сидела рядом с Бобом.

Хотя каким он, собственно, был — первоначальный план? "Краткое пребывание" может растянуться надолго. Машина может стоять там и стоять, пока кто-нибудь не заинтересуется, пока Саре не придется с ней разбираться — с ней тоже. Отвод глаз, недешевая бутафория, "сааб" самой лучшей модели, если план именно такой, — но все равно лишь малая часть того, что он готов бросить.

Делаешь шаг, переступаешь черту.

Но люди вытворяют и более странные вещи. А некоторым, мог он подумать, как, например, той, что пока еще была рядом с ним, выбора не остается. Отворачиваются на секунду — и жизнь за спиной взрывается.

Его самооправдание? Он взял с нее пример? Зачем избегать риска — мир не избегает.

Она сидела рядом с ним в машине и, похоже, ждала. Смотрела, как он колеблется, как он психует. Все зависело от него.

Отблески и тени мешали мне их разглядеть. "Сааб" стоял ко мне задом. Можно было бы вообразить, что машина пуста, но (колеблясь, психуя?) он еще не выключил фары.

Исчезнувшие люди... Это часто начинается с брошенной машины. На многоэтажной стоянке, к примеру. Пункт отбытия. Пункт, где по той или иной причине человек пытается стать кем-то другим, выйти из собственной жизни.

Исчезнувшие люди: тоже мой хлеб сейчас. Исчезнувшие люди и супружеские проблемы. Порой одно сводится к другому.

Он выключил наконец фары. Она вышла первой. Его дверь открылась медленней. Да, из двоих она была лидером. Она терпеливо вела его через все это, как спотыкающегося инвалида. Она из тех, что в критической ситуации берут командование на себя.

И правда: пока она шла впереди него к багажнику, я успел разглядеть в ней что-то такое, из-за чего склонный подчиняться мужчина, оказавшийся с ней рядом, вполне мог превратиться в бессловесного, послушного пса. Темные омуты глаз. Кожа словно бы бескровная под жестким светом.

Он открыл багажник, действуя точно по молчаливому приказу. Вынул два чемодана — опять два, все те же два. Он мог бы показаться ее шофером, помогающим ей с багажом в расчете на чаевые, если бы, когда он опустил чемоданы, его руки не двинулись, как к чему-то, гораздо больше в них нуждающемуся, к ее щекам. Будто ставил на полку дорогую вазу.

Я открыл дверь машины. Струя холодного воздуха. Рев самолетов и запах, резкий и слегка тошнотворный, авиационного топлива, смешанный с запахом холодного бензина от стоящих машин. Запах экстренности (он у нее есть).

Она отвела его ладони от своего лица. Нежно-твердо. В нескольких шагах от них, около лифта, стояли багажные тележки, и она решительно двинулась туда.

Нищая студентка. В этом элегантном черном костюме, бросающемся в глаза на фоне грязного цемента? Невероятно.

Она прикатила тележку. Он ждал с ее пальто. Поставил на тележку чемоданы и ее ручную кладь. Закрыл багажник, запер машину, взялся за ручку тележки и начал толкать.

Я схватил куртку. Они направлялись к лифту, повернувшись ко мне спиной, и я пошел следом.

Соблазн, конечно, был большой. Постоять рядом, дожидаясь лифта, и войти с ними вместе. Как бы они узнали? Нет, нельзя. Нарушение правил. Никогда не рискуй оказаться замеченным. Проведи границу и не переступай.

Но теперь я жалею. Вошел бы, на короткое время спуска, в их пространство. Засек бы все сигналы вблизи, под ярким светом лифта. Уловил бы запахи. Может, даже изобразил бы на лице ничего не значащую мимолетную улыбку незнакомца. Словно понятия ни о чем не имею.

Посмотрел бы на нее, на него. Он бы — на меня. И потом я всегда бы знал, что мы взглянули друг другу в глаза.

Я прошел мимо них и спустился пешком. Профессиональная осторожность плюс человеческий такт? Пусть наедине проведут эти несколько секунд спуска в зал отправления. Может быть, каждая из этих секунд...

Одно из слов, которые я узнал от Сары, слово, имеющее отношение к человеческой близости: аура. То ли латинское, то ли греческое — как "гинеколог". Означает — дыхание, дуновение, свечение.

Вошел бы в лифт — побывал бы в их ауре. Какая аура у Кристины?

А у Сары?

Спускался я медленно. Когда я оказался в переходе, ведущем к терминалу, они уже вышли из лифта и были на несколько шагов впереди.

Аэропорт похож на конвейер: желоба, рукава, фильтры. Громадная перемалывающая система, которая уничтожает ауру, — но она же порой выявляет ее. Столько отправлений, столько прибытий; попробуй отличи простое прощание от агонии, друзей от любовников. Людей охватывает волнение, они обнимаются, смотрят друг на друга, целуются. Что означают эти мокрые глаза? Жду тебя в субботу? Прощай навсегда?

Все эти нежности в общественном месте. Но здесь это обычное явление, здесь это в порядке вещей.

Помимо прочего — мечта детектива. Ты часть толпы. На тебя не обратят внимания, пусть даже ты заденешь их плечом.

Но можно и не быть детективом. Что-то в крови. Кто этого не делал — не стоял, не сидел, вглядываясь, на краю большой толчеи? Кто при этом просто так, любопытства ради, не выхватывал взглядом, точно шпион, какую-нибудь одинокую фигуру или пару, не следил за каждым их движением, не пытался читать по губам? Не задумывался, что они собой представляют?

Взять, например, вот этих двоих: редкой красоты девушка (итальянка?) и приятный на вид, но чем-то озабоченный мужчина средних лет.

Зал отправления, зал прибытия. Регистрация этажом ниже — они упустили из виду знак. Я последовал за ними вниз, увидел, как они встали в очередь. Рейс 837 в Женеву. Очередь довольно длинная.

Времени у них осталось совсем мало (если, конечно, все обстояло именно так): пока движется очередь. Кристина играла роль стабилизатора. Боб то и дело смотрел на часы. Нервозность приговоренного?

Или беглеца? Он беспрерывно ее трогал – то талию, то руку, то плечо, то проводил ладонью по ее волосам от затылка до шеи.

Шаркая, они подвигались вперед. Может быть, это было ужасней, чем оба предполагали. Она была стабилизатором, жестким, почти жестоким. Может быть, думала: хоть одному из двоих надо проявить твердость. Он сказал, что выдержит, но теперь, у барьера, начал оползать, отставать, рассыпаться.

Если все обстояло именно так.

Разве гинеколог не должен уметь сохранять спокойствие?

Два билета или один? Я все еще не был уверен. Для отвода глаз они могли ограничиться ее чемоданами. Люди иногда уходят в другую жизнь ни с чем, кроме одежды, которая на них. Его ладонь у нее на шее.

Теряешь, чтобы не разлучаться с любимым человеком. Любовь – это не значит иметь, владеть.

Я все еще не знал.

42

Ее глаза сегодня глядят сквозь меня, точно на кого-то другого, дальнего.

Спрашивает:

– Ты был?

– Конечно. И цветы положил. Розы. Роскошный день выдался.

И это, конечно, кажется ошибкой. Вдвойне: и сказать такое, и сам факт. Роскошный день, как по заказу.

Как она его переживет?

На лбу желвачок, тугой, как вопросительный знак. Она всматривается в мое лицо. При этом в глазах какая-то стеснительность, уголок рта стыдливо поджат, как будто она хочет сказать: знаю, Джордж, что это нелепость, знаю, что я дура, но...

И, может быть, она думает то же, что и я: примерно так было и два года назад. Она дала мне поручение и хотела знать, как я его выполнил.

Что мне сказать? Депеши от него нет, я пришел не как его посланник. Просто пришел к тебе на свидание, как в обычный день.

– Выглядело все... нормально. Выглядело... так же.

Что мне сказать? Что он остался на месте? Что он никуда оттуда не собирается? Что он заверил меня: мол, буду тоже вечно ждать?

И я знаю, что она не верит в призраков. По крайней мере в обычные дни.

Однажды сказала: “Преследует? Одержима? Нет, это слишком простые слова. Что-то другое со мной...”

Но она бывает с ним в сновидениях – я знаю, она мне говорила. С Бобом, хотя он мертв, хотя она сама же его и убила. Это, пока она не проснулась, кажется несущественным обстоятельством.

А я бываю в сновидениях с Сарой – в моих сновидениях и в ее (она мне говорила), – хотя она здесь, в тюрьме, что тоже кажется несущественным. Здесь мы едва можем коснуться друг друга.

В сновидениях нет запертых дверей.

Говорю:

– Я там стоял, сердце мое. Я не могу за него ничего сказать. И сам он не может.

Это чуть ли не жестоко — как объяснять что-то страшное ребенку. Обычно, наоборот, она моя учительница, а я ребенок, мальчик, посещающий эту специальную школу.

— Я довольно долго там простоял.

(Дал ему время, дал ему шанс.)

Я очень хорошо знаю, какое слово она хочет услышать — или что-то похожее, близкое, хоть обещание, хоть намек. И она знает, очень хорошо знает, что ничего не услышит.

И видит Бог, хотя кое-кто может заявить, что она полностью исключила такую возможность (да и какое, собственно, преступление *он* совершил?), *она* его простила.

Но я не могу сказать это за него. Могу только сказать и сказал, что сам ее простил. Тысячи людей не простили бы, а я простил. Тысячу раз.

И видит Бог, жертвы убийств всегда вызывали у меня мысль (а я немало их повидал): с какой стати, если оживет, должен когда-либо прощать? И оставшиеся в живых, покалеченные, но способные говорить: с какой стати должны когда-либо прощать?

С какой стати Патель должен простить Дайсона или меня?

— Это всего-навсего могила, сердце мое. Я там постоял.

Уголок рта поджимается сильнее. Чего она ожидала?

Ни решетки, ни барьера. Голый стол, привинченные к полу стулья. Можно коснуться друг друга, можно обняться. Раз в две недели — объятие. Разумеется, не наедине, в той же комнате все остальные, и за вами наблюдают. Надзорки могут видеть каждое твое движение, слышать, если захотят, каждое слово. Работает видеокамера. Но через какое-то время это перестает мешать. В общем-то похоже на посещение кого-то в больнице. Можно попросить чашку чаю. У некоторых коек оживленные разговоры, у других не знают, что сказать.

Игровая зона для детишек. Плач младенцев. Некоторые прямо здесь и живут. Больница, ясли... Можно и обознаться.

Она не сдается. Спрашивает:

— Но как *по-твоему*?

Что мне сказать — что, по-моему, надгробие выглядело не таким твердым, не таким каменным, не таким неумолимым?

Или сказать: "Я его ненавидел. Немножко. И даже больше чем немножко. У меня был этот... дрянной вкус во рту". Знает, что я думаю именно это. И как ей меня винить — ей, которая его *убила*, — за то, что я всего-навсего молча его ненавижу?

— Я подумал: жаль, что тебя тут нет. Тут, около меня.

Уголок рта расслабляется. Еле заметная улыбка. Призрак улыбки.

— Я там была. Ты это знаешь.

Вот как мы сейчас про все разговариваем. Соглашение своего рода.

— Было очень... ясно и тихо. Деревья, листва...

Сущая нелепость — верить в призраков в такой солнечный, ясный день. Но я чуть ли не желал, чтобы они существовали, — тогда он мог бы явиться и сказать, как всякий уважающий себя мертвый муж, которому позволили выйти из могилы: "Все нормально, любите друг друга. Я вам не помеха".

Она может улыбаться — даже сегодня. Похоже, я унаследовал папашин талант. Кто бы мог подумать.

Не всегда, конечно, улыбалась. Место не слишком располагает. Сотри улыбку с лица. Улыбка у нее вернулась, как пульс у тяжелобольного. Однажды, вдруг, в один ошеломляющий день.

Спрашивает:

– А ты сказал что-нибудь, Джордж? Ему.

– Сказал: "Эти цветы от Сары. С любовью".

Я действительно это сказал (наряду со всем остальным, что произнес про себя).

Опять смотрит сквозь меня.

Но если бы он и вправду ожил – вот посмеялся бы! Все нормально, она твоя, действуй! Обхохочешься.

Или просто молчал бы и знал свое место. Призрак, тень, идеальный детектив. Наблюдал бы, а мы и понятия бы не имели.

Надзорки стоят вокруг, свистки наготове, как будто присматривают за детьми на детской площадке. Но это не игра. Эти свидания – эти улыбки – как щели в стене, сквозь которые просвечивает мир. Тюрьма – она ведь тоже уничтожает ауру. Мои глотки воздуха, запах холодного ослепительного ноябрьского дня от моей одежды, от моих волос. Хочешь многого – довольствуйся малым.

– Я не сразу ушел. У меня было много времени. Посидел там на скамейке на солнце. Сидел и думал...

Я никогда не рассказывал Саре про своих родителей, про отца и миссис Фримен. Ведь это ничем таким не кончилось, никто не получил ножом в сердце. Только моя мать – именем.

И сейчас я не делюсь с ней своими мыслями о супружеских парах. О том, что, когда один из двоих умирает, все слова об упокоении по меньшей мере сомнительны...

– Я сидел там и... делал то же, что и ты, сердце мое. То же, что и ты сегодня с самого утра.

Она не спрашивает, понимает. Я прокручивал его во всех мелочах, этот день два года назад. Дотошно его разбирал, как на допросе. Каждый шаг, каждое движение. Просматривал его заново, как фильм.

Полчетвертого. Солнце начинает садиться, полоса пылающего кирпича на наружной стене будет делаться все уже. В это время два года назад я еще даже не подъехал к фулемскому дому.

В мои дни рождения мама обычно дразнила меня: "Рано, рано, ты еще не родился", потому что я появился на свет в одиннадцать вечера. Как будто у меня вообще не будет праздника – ведь спать придется лечь раньше одиннадцати. Потом она смягчалась и улыбалась.

Но Сара, я знаю, будет переживать все с буквальной точностью. Каждый час, каждую минуту, каждую подробность.

И я тоже, хотя не был тогда с ней, хотя явился только когда все было кончено. И сегодня не смогу быть с ней в восемь сорок вечера и держать ее за руку. Удержать ее руку.

Еще все впереди, еще ничего не случилось. Но я не рассказываю ей, что сегодня утром, при дневном свете, подъезжал к Бичем-клоуз. Задолго до всего. Но не смог.

Как будто я был Бобом, который возвращался средь бела дня.

Каждую мелочь, каждую деталь. Заново. Она была у себя на кухне. Я был в зале отправления. Его ладонь у Кристины на шее. Каждый поворот. Пытаясь найти точку, где цепь событий могла отклониться, где все

могло изменить направление. Чтобы на этот раз наконец, с третьей попытки, ей удалось не сделать того, что она сделала.

Но я не смогу быть с ней в эту секунду. И держать ее за руку.

43

Только один билет, только один посадочный талон.

Значит, решено. Расстаются.

Паспорт тоже только один — ее необычного вида паспорт с ворохом сопровождающих документов. Мини-вечность, пока все это просматривали. На что он надеялся — что ее не пустят в самолет?

Мне, наверно, полагалось бы оползать и рассыпаться, как он: товарищи по несчастью. Но, вопреки всему, я чувствовал жар, летящий жар успеха. Как будто это моя заслуга, результат моих хитроумных действий. Все, порядок.

Рассчитывал ли я по-настоящему на другой телефонный разговор? Они улетели оба. Остались только мы с вами, Сара.

Задание исполнено. Будь доволен, что ты герой дня, что тебя от души поблагодарят. Любить — значит служить, на что иначе любовь?

Жар мужественной добродетели. Святой Георгий.

Чуть погодя позвоню по сотовому. Она летит, они расстаются. Порядок. Потом растворюсь в ночи. Завтра новая работа.

Но пока что прилив радости — словно я чувствовал, по крайней мере сейчас, только то, что вот-вот почувствует Сара.

Она повернулась у стола регистрации, держа посадочный талон, как приз. И теперь это было видно: радостное сияние, которого она сама, может быть, не ожидала в себе именно тогда и такого сильного. И жестокость по отношению к нему: никогда еще она не была такой красивой.

Сара сказала — уступка. Но это была беда для него, мука. Хуже всего, что он мог вообразить. Было яснее ясного: она улетала, чтобы найти себя. Никаких сомнений. А он терял себя. Уже был похож на одну из этих потерянных душ — на транзитного пассажира, каких встречаешь в аэропортах. Нет своего угла.

Уже я думал: совсем скоро буду ей звонить и придется врать.

После регистрации они прошли ближе от меня (фальшивого пассажира, путешествующего налегке), чем когда-либо. Так близко, что я мог протянуть руку и дотронуться до ее плеча или волос.

Свечение, аура.

Без двадцати семь. До вылета пятьдесят минут. Еще примерно полчаса — и она отправится на посадку. Как быть, если у тебя полчаса? Что они могут изменить? Двинулись к кофейной стойке, у которой было, как всегда в таких местах, шумно и нечисто: на столиках пустые чашки и обертки, пол заставлен багажом.

Кофе пить не стали, за чашками никто из них не пошел. В какой-то момент показалось, что сейчас произойдет ссора. Он схватил ее за локоть и потянул к себе, хотя она собиралась сесть. Они неуклюже обнялись, но она отстранилась, как будто они договорились этого не делать. Не сейчас, только в самом конце. Он же обещал. Они сели. Посмотрели друг на друга. Скорее противники, взявшие паузу, чем любовники.

Я сидел за столиком шагах в десяти и вертел оставленную кем-то пластмассовую ложечку. Он все отдал бы сейчас за один-единственный

знак от нее о том, что ее боль тоже велика, что ей тоже трудно. Хотя́ бы это, хотя бы такой... подарок.

Кто знает, что она чувствовала? Было видно: она считала, что ей нельзя распускаться. Хоть одной из двоих быть сильной. Сесть в самолет без сцен.

Может быть, то, что он дал волю рукам, заставило ее решиться. Сократить агонию, сделать дело поскорей — как хотите. Сантименты можно отложить до самолета. А сейчас быть жестокой, или милосердной, или просто покончить с этим так или иначе. Отправиться на посадку *сейчас*. Так надо. Взяла свою ручную кладь. Встала. Он, казалось, лишился всяких сил.

Они тронулись с места, напоминая оглушенных людей, бредущих через обломки. Аэропорты — как поля сражений. Но она знала дорогу. Не первый раз здесь. Он плелся за ней точно на расстрел.

Они остановились в том месте, дальше которого их втянуло бы в поток отправляющихся. Здесь в их движениях возникла какая-то осознанность, церемонность. Он стиснул ее в объятиях, она — его, словно каждый хотел пригвоздить другого к месту навечно. Равные, страстные, честные объятия.

Так или иначе, это кончилось, так или иначе, она повернулась и пошла. Вдруг во всем этом даже почудилось какое-то величие. Она пошла, точно вызванная по имени, персонально. Показала сотруднику, стоявшему у барьера, посадочный талон — тот улыбнулся, жестом пригласил пройти (что он мог знать?), бросил на нее мимолетный взгляд. Пародия на неотрывный взгляд Боба.

Она двинулась за барьер, точно выходя на какую-то тайную сцену. Не оглянулась. Может быть, так было условлено: не оглядываться. Все, ушла.

И моя работа была, по всей совести, кончена. Даже вторая, неофициальная часть. Быть ее глазами. *Как* они попрощаются?

Шесть сорок восемь.

Он все стоял там и стоял. Спиной ко мне. Стоял и смотрел туда, где она только что была. Да, пригвожденный к месту. Так что даже когда я отошел в сторону и достал телефон, даже когда набирал номер, он все еще был там. Даже когда я услышал голос Сары.

“Все нормально, порядок, — сказал я странным голосом. Можно подумать, звонил сообщить о несчастном случае. По идее, должен был говорить голосом доброго волшебника. — Она улетела одна. Женевским рейсом. Все хорошо”.

Он по-прежнему там стоял, даже когда раздался голос Сары — и облегченный, и радостный, и благодарный, да:

“Спасибо вам, Джордж, ой, спасибо огромное...”

Полное ощущение, что говорит сквозь слезы.

Все это я сказал Маршу.

Боб стоял и стоял. Вот человек — мне пришлось признать это про себя, — которого она любит.

Стоял и смотрел, как будто взглядом мог добиться, чтобы она вернулась. Не отправление, а прибытие. Ошибка вышла. И он ее ждет. Мир наизнанку.

“А Боб? — прозвучал в трубке голос Сары. — А Боб?..”

Наконец он повернулся, похожий на человека, забывшего, кто он такой.

“Он едет домой, едет к вам”, — соврал я.

"Дело Нэшей". Не только дело, но и сюжет для газетчиков. Не сенсация, промелькнуло и забыто, но все же история, не лишенная остроты. Хотя, наверно, "острота" — не самое удачное слово.

Из большинства убийств газетных новостей не сделаешь. Они происходят постоянно и, как правило (говорю как бывший полицейский), всего-навсего удручающе мрачны и уродливы. Случаются они там, где им и положено случаться, там, куда нам незачем ходить. Где-то, далеко от нас, какая-то война. Разборки. Труп, недели пролежавший на пустыре. И несчастный полицейский, который занимается этим, а потом едет в свое чистенькое жилище к жене и дочке.

Но когда такое происходит прямо в чистеньком жилище, и не просто в чистеньком жилище, а в дорогом доме, расположенном в самой зеленой, самой зажиточной части Уимблдона...

Чем-то они радуют нас, невзгоды обеспеченных людей. Гляньте-ка, даже они могут все изгадить, даже у них не все розами усыпано. Так что не стоит особенно им завидовать, и уж точно не стоит особенно их жалеть. Значит, он ее драл, эту иностранку (откуда она, еще раз?), а жене это не нравилось? Бедная ты моя. Бедная ты моя с твоей роскошной кухней. Нам бы твои заботы.

Кто ее вообще заставлял? Кто ее заставлял брать девицу к себе в дом? Вот дурища-то.

А муж — гинеколог. Деньги лопатой греб. Волей-неволей думаешь: а ведь до этого он сам вовсю орудовал ножом. Женский врач — от женщины и получил.

Сюжет. Жена зарезала мужа. Хорошо для газет, выигрышно. Нож к тому же кухонный. Преподавательница колледжа и переводчица: слова — вот ее епархия. А она хватает кухонный нож и...

Сверх всего этого — одна странность, таинственный факт (было ли здесь еще что-нибудь таинственное?): жена сделала это в тот самый вечер, когда он распрощался с девицей (откуда она, вы говорите?). Проводил ее на самолет и вернулся домой к жене. Все должно было стать как раньше.

А она, боже ты мой, в ожидании вырядилась невесть как. Вертится на языке: хотела сразить наповал. Но лучше не стоит.

И в этот самый момент...

Тайна? Да подстроено все было. План. Сгоряча, в пылу, в приступе бешенства? Да бросьте. Он заслужил, конечно, наказание — но не такое. Подождала, пока он решил, что все в порядке, мир, спокойствие. И тут — раз! Кровожадная сука.

Дело Нэшей. Все ингредиенты налицо: "Высококлассный гинеколог убит собственной женой". Хотя, наверно, "ингредиенты" — не самое удачное слово.

Потому что она в это время готовила ужин — вот откуда кухонный нож. И не тут ли самая большая странность? Его любимое блюдо — так она заявила, показала. Блюдо так и не отведанное, не поданное. Все время, пока она ждала мужа, пока шли последние минуты его жизни (хотя он этого не знал), она стряпала его любимое блюдо. Coq au vin[1].

(И как же это вяжется с планом?)

1. Петух в вине *(франц.)*.

В пылу? В кухонном уж точно. Очень хорошо готовила. Любила это дело. Кухня – сказка. Полжизни не жалко. Хозяйку частенько можно было встретить в отделе деликатесов супермаркета.

Этот последний ужин был, можно не сомневаться, приготовлен любовно, тщательно.

Coq au vin. Тут нужно время, много времени. Строго говоря, для наилучших результатов его нужно больше, чем потратила Сара (зато – элемент неожиданности). Самое лучшее – начинать накануне, чтобы булькало, потом стояло, потом опять булькало.

(Я немножко разбираюсь в таких вещах.)

Но она начала днем двадцатого ноября, когда Роберт Нэш отправился в фулемскую квартиру, где его ждала Кристина Лазич.

Пока они (допустим) лежали в постели в последний раз – или готовились к бегству, – Сара Нэш разделила на куски небольшую курицу хорошего качества (настоящего петуха в Уимблдоне не раздобыть). Выложила лук-шалот, чеснок, шампиньоны, бекон с прослойками жира. Мелко нарезала бекон.

Ужин на двоих. Она, конечно, знала: есть вероятность, и не очень уж маленькая (так и вышло, но по-другому, чем она думала), что это блюдо так и не будет съедено, труд пропадет зря. Но сама стряпня, само намерение словно бы повышали шансы на благоприятный исход (и я это понимаю). Тщательное, любовное приготовление пищи само по себе оказывает (я тоже в это верю) целительное действие.

Его любимое блюдо. И, следовательно, ее. Теперь я знаю, что в первый раз они вместе отведали петуха в вине во Франции во время своей первой долгой автомобильной поездки вдвоем на темно-красном "миникупере". Поездки, которая вполне могла обернуться иначе, пройти неудачно (жалею я или нет, что *тогда* у них все оказалось удачно?). В первый же день во время летнего ливня на окраине незнакомого городка их ветровое стекло разбилось. И вот они ползут с улиточьей скоростью сквозь грозу, вдруг насквозь мокрые и дрожащие. В довершение всего, воскресенье и, значит, никакой надежды на скорый ремонт.

Счастье под видом несчастья. Так в жизни и бывает, так все и решается. Владелец задрипанного гаража, который они в конце концов разыскали, оказался святым. Можно было подумать – они его родные дети, потерянные и теперь найденные. Нет, он не мог заменить им стекло до второй половины понедельника. И по-английски не говорил (правда, Сара хорошо умела по-французски). Но он отвез их к свояченице (ее звали Анн-Мари), хозяйке маленькой гостиницы с рестораном, где она сама готовила, и та подала им coq au vin. Лучше всего было бы, конечно, холодным зимним вечером, но неплохо и в летнюю грозу, когда на тебе сухой нитки не осталось. Чудотворный coq au vin.

Они полюбили друг друга, действительно полюбили (так она сама мне сказала) за этим блюдом. А наутро за окном уже сияло солнце и вовсю кукарекали живые петухи. Боб и Сара запросто могли проскочить этот зеленый, цветущий, скрытый уголок Франции. Они остались там почти на неделю, хотя ветровое стекло давно уже было вставлено. Шут с ним, с Лазурным Берегом. Вот где Сара впервые захотела научиться готовке.

Об этом-то она всегда и мечтала – о зеленом уголке Франции, о гостинице с рестораном, – как о чем-то, что только в мечтах и существует.

И скорее всего, думала об этом тогда, в те ноябрьские сумерки, когда пустила в ход другой важный ингредиент — вино. Бутылка бонского. Потому что хоть вино и для стряпни, не всякое пойло сгодится. На вине не экономьте! Чем оно лучше, тем лучше будет coq au vin. Половина успеха.

Чуть позже она поставила бутылку такого же вина — другое нельзя — на стол в уютном углу кухни, отделенном невысокой перегородкой с разделочным столиком (внизу — шкафчики и полка-другая книг). Бутылка, бокалы, салфетки, цветы (фрезии) в вазе, свеча.

Предполагаю, что вскоре после моего звонка она откупорила бутылку, чтобы вино дышало. Немного погодя зажгла свечу.

А начинался классический, проверенный временем ритуал приготовления знаменитого блюда несколькими часами раньше. Она обжарила кусочки курицы. Старалась на этой ранней стадии не думать, не надеяться, не гадать. Еще одна явная польза от стряпни — если только не торопиться: она успокаивает нервы. Занимает ум и не дает ему блуждать без толку.

И готовка, похоже, делала свое дело, умиротворяла как могла, пока не наступил вечер, когда все вот-вот должно было решиться (я уже миновал вслед за черным "саабом" въездной туннель в Хитроу), когда она не могла больше удерживаться от взглядов на часы, на телефон, когда живот схватывало, скручивало. Бывает иногда такое: стряпать стряпаешь, а аппетита нет.

Но потом, без десяти семь по моим часам и по часам второго терминала, я позвонил, и ей, должно быть, показалось, что ритуал все же принес плоды. Откупорила вино, чтобы дышало, и с облегчением вздохнула сама, вернулась к простому цивилизованному занятию, к приготовлению пищи, и в этом уже была некая величественность, некое торжество.

Хотя делать, в общем-то, было почти нечего. Только время и слабый огонь. Может быть, она к тому моменту уже вынула куски курицы, чтобы загустить жидкость (для этого ее сбивают, добавив муки и масла), потом положила куски обратно и опять поставила кастрюлю на медленный огонь.

Приготовила гарнир. Хотя к петуху в вине не так уж много и нужно. Несколько небольших картофелин, фасоль. Хлеб с хрустящей корочкой. На десерт — вареные груши (уже стоят, остывают). Кусочек рокфора, гроздь красного винограда. Все так и останется нетронутым. Накрыла стол — теперь это уж точно можно было сделать, — тот самый, у которого некогда она обнимала рыдающую Кристину и думала: теперь у тебя все будет хорошо.

Кристина в это время, наверно, садилась на самолет.

Чуть позже, прибрав на кухне и быстро ее оглядев, Сара, можно предположить, пошла наверх переодеться. Внезапная прохлада даже хорошо отапливаемых комнат, когда переходишь в них из жаркой кухни. За окнами ноябрьский мрак. Она надела (полицейские сразу обратили на это внимание) простое, но невероятно красивое черное бархатное платье с глубоким круглым вырезом — платье выходное, хотя она никуда выходить не собиралась, — и взяла из шкатулки на туалетном столике жемчужное ожерелье (можно было догадаться, а теперь я знаю точно, что его подарок).

Простой вопрос: одеваются так, если имеют намерение?..

Теперь для меня, когда я прокручиваю события в уме, словно был там (в их доме, в их спальне), этот момент — чуть ли не самый невыносимый. Сама того не зная, она делала это в последний раз. Готовилась. Привычные, почти автоматические, а с некоторых пор чисто формальные движения она опять совершала осознанно, даже с примесью торжества. Все то, что могла предложить Кристина. Могла — а теперь не может.

Провела расческой по волосам, чуть подкрасилась. Губная помада. Духи. В последний раз она это делала, больше уже такого не будет. В последний раз — даже незамысловатое удовольствие от спальни, туалетного столика, вечернего платья.

Газеты (и Марш) потом отметили, что миссис Нэш — женщина разящей красоты. Хотя, наверно, "разящей" — не самое удачное слово.

Почему я не был в этой спальне, не застегивал ожерелье, не застегивал платье?

Было уже, наверно, почти восемь. Она сошла вниз. Вся ее мука теперь сосредоточилась в одной мелочи, в одном маловажном вопросе: когда наконец она услышит его машину, шаги? Ключ в двери. Понятно, что может пройти еще какое-то время. Дорожные задержки. Будний вечер. Из Хитроу в Уимблдон — это может оказаться дольше, чем кажется. Она понимала: возможно, придется пустить в ход последние крохи выдержки.

Подойдя к окну прихожей, проверила, горят ли лампа на веранде, фонарь над гаражом и фонарики на низких столбиках у въезда на дорожку. Горят, разумеется. С удивлением увидела себя в зеркале, словно впервые за долгое время.

А с Бобом — задумалась ли она? Будет ли это как впервые?

Вернулась на кухню. О фартуке нельзя было забывать ни в коем случае. Повязала его — пристойный запахивающийся кухонный фартук, темно-синий в белую полоску, который полицейские потом увидели небрежно скомканным на разделочном столике, куда она поспешно бросила его, услышав машину Боба.

Один из полицейских (безвкусная шутка): зря она его сняла.

Надо было сделать еще кое-что. Заключительные штрихи. Последний раз попробовать, последний раз помешать, последний раз отрегулировать горелку. Нарезать зелень. Может быть, именно тогда, не дожидаясь машины, она зажгла свечу.

Так что полицейские, явившись, в первый момент — пока не увидели очевидное — оказались в обстановке, совершенно не вязавшейся с убийством. Наоборот. Обстановка щедрого радушия. Теплый, приветливый дом холодным ноябрьским вечером. И пахло в этом доме, дышал он — вот что уж точно разило наповал — чем-то готовящимся и необычайно вкусным. Едва вошел — что бы ни было причиной твоего прихода — сразу этот запах. Дух доброй стряпни, который через ноздри идет прямо в желудок, из желудка — в сердце.

А кастрюля, гляньте-ка, еще там, стоит на крохотном огне, к ней даже не притрагивались.

Кто-то взял на себя труд выключить горелку. И кто-то (не сам ли Марш?), когда миссис Нэш уже увезли, но тело ее мужа еще там лежало, может быть, поднял крышку, посмотрел, понюхал.

Деревянная ложка была под рукой. Неужели они осмелились?

А чуть поодаль, в углу — свеча, цветы, салфетки, неразлитое вино.

Даже на орудии убийства, которым стал кухонный нож, нож хорошего качества и недавно наточенный, помимо крови Боба Нэша виднелись кусочки зелени.

Частный детектив, безумно ворвавшийся в дом, тоже все это заметил.

Дело Нэшей. Разве это похоже на хладнокровную месть? Но если не месть – что тогда? В этот-то вечер, в этот-то момент?

Она не порывалась потом никуда бежать. Наоборот – сама позвонила, сама все сказала. А потом сидела, повторяя и повторяя без конца: "Я это сделала, сделала, сделала". Будто учила новый язык, будто кому-то следовало бы переводить ее слова на английский.

Нож положила. Положила на разделочную доску.

Месть? Он заслужил наказание? Но кто из двоих на поверку оказался чудовищем? Настоящим чудовищем? Он был гинекологом, который переступил черту и воспользовался (хотя еще неизвестно, кто кем воспользовался) бедной беспомощной беженкой. Нет, он, конечно, вел себя не слишком красиво. Но кто из двоих чудовище?

Вернемся, вернемся на эту кухню, какой она была до убийства. До дела Нэшей, до сюжета для газетчиков. Переведем часы. Переживем все заново (хотя как это получится у мертвого?). Может быть, на этот раз все будет иначе?

Восемь часов. Восемь пятнадцать. Она начинает волноваться. Обычным волнением ожидания, когда то и дело смотришь на часы. Транспорт. Ну и, конечно, – она не наивная девочка – ему, может быть, нужно время прийти в себя. Собраться с мыслями.

Тем больше пользы от этого ужина, от всех этих кропотливых приготовлений. Чтобы, войдя в дом, он мгновенно получил поддержку. Мгновенное "добро пожаловать" запаха, говорящего яснее любых слов.

Можно и подождать, ничего страшного. Одно из достоинств этого блюда: чем дольше готовится, тем вкуснее.

И вот наконец чуть поздней половины девятого она слышит звук, который для нее как подтверждение, как объятие. Привычный звук, на который редко обращаешь внимание, который еще недавно ничего для нее не значил. Но теперь это самая настоящая музыка. Скворчащий, цивилизованный шорох шин по гравийной дорожке.

45

– Знаешь, Джордж, что он однажды сказал? Он сказал: "Я не могу без нее жить".

Мы сидели за тюремным столом. Она никогда мне этого не говорила.

– Перед тем как она переехала – туда, на квартиру. Как на такое реагировать? Твой муж заявляет, что не может жить без другой женщины. Такое нельзя говорить – и никто его не тянул за его чертов язык, – но если уж сказано, что об этом думать? Что он не всерьез?

Думаю про стол, накрытый на двоих.

– И что по этому поводу *чувствовать?* Что это неправда? Что такого не бывает? Это *без меня* тебе жизнь должна быть не в жизнь. Но разве это

правильно, разве так надо — требовать, чтобы кто-то не мог без тебя жить?

Смотрю на нее и стараюсь не думать так напряженно.

— И раньше он ведь жил без нее, правда? Жил, пока ее черт не принес. Жил со мной. Так всерьез он это сказал или нет?

Можно подумать, Боб здесь и она его допрашивает. Во всем он виноват, черт бы его драл.

Или меня за неимением Боба.

Мне, может, стоило бы пожать плечами и сказать, что это просто такое выражение, просто слова. Но я сейчас отношусь к словам серьезно.

Лицо стало угрюмым и холодным. Каким было в первые наши свидания.

— Конечно, мы можем жить без, — говорит она. — Мы можем жить без кого угодно. Приходится жить, и живем.

Смотрю на нее не мигая. Это как испытание.

— Взять хотя бы Кристину. Разве она не жила без? Считай, без всего. А это заведение — о господи! — разве оно не учит жить без? Разве оно этому не учит?

Пытаюсь улыбнуться.

— Не знаю, сердце мое.

Опять эта еле заметная улыбка.

— Это ведь роскошь, разве нет? Чтобы у тебя был кто-то, без кого ты не можешь жить.

— Нет, сердце мое, это не роскошь.

Надзорки стоят вокруг, смотрят. Это не детская площадка, хотя тут есть дети, — но это вроде школы. Тут учатся. И тут — она говорила мне это не раз, хотя и так любому дураку ясно, — дело не столько в том, *без* чего ты живешь, сколько в том, *с чем*. Например, со словами, которые приходится теперь принимать всерьез, с большими словарными словами — они существовали и раньше, но как будто в чужом языке. А теперь (я тоже чувствую их вес) они реальны, как камни.

Например, "раскаяние".

В этот день, в особый, они уж точно реальны.

— И для него это не была роскошь. Жаль, что не была. Лучше уж — ну, ты понимаешь — мужчина заводит себе любовницу как предмет роскоши. Она — его предмет роскоши. Значит, когда-нибудь надоест.

Улыбка погасла.

— Знаешь, что я тогда подумала? Ха! Что это он теперь беженец. Беженец, черт бы его драл. Человек, который не знает, где теперь его дом. А я даю ему убежище. Убежище собственному мужу.

Как будто это происходит сейчас. День такой. Все пережить заново.

Иногда мне хочется сказать — но потом кажется нелепостью: перестань себя казнить. В этот день, в особый, уж точно кажется нелепостью.

На стене комнаты для свиданий висят часы с красной секундной стрелкой. Она перемещается короткими рывками, по крошке отщипывая от времени, которое нам осталось. Это всегда отдает глупой шуткой. Тридцать минут... Восемь лет...

Если бы только они могли ее выпустить — на один этот день. Чтобы поехала к могиле, постояла и посмотрела. Если бы только ей предоста-

вили эту... роскошь. Я был бы с ней, взял бы ее на поруки, вернул бы потом. Не удрал бы с ней, можете быть спокойны. Дежурил бы в сторонке, как охранник (ведь это, в конце концов, моя работа — сопровождать людей), пока она стояла бы там.

Пытка для нее была бы смотреть на это. И пытка не иметь такой возможности.

Просто увидеть могилу.

— Знаешь, что я еще тогда подумала? Что мне нельзя больше быть жадной. Не жадничай, не можешь без него — будь пайщицей. Но только не переставай любить, только не переставай — без любви надежды вообще никакой.

Думаю про себя: хочется мне такое слышать? Хочется или нет?

А что мне хочется слышать? Что Боб был ошибкой, одной долгой ошибкой? Разбитое ветровое стекло, coq au vin. Как я стал ошибкой для Рейчел. "Всего хорошего, Джордж".

Не знаю, что Сара сказала бы сейчас — через два года, — если бы ее выпустили, если бы она могла постоять у могилы. Не знаю, как это бывает.

А я дежурил бы в сторонке и прислушивался.

Всего хорошего, Боб.

Секундная стрелка знай себе дергается. Почти без четверти четыре. Два года назад они в последний раз были вместе в Фулеме.

Послушай меня, Боб, – я тебя убила, послушай меня теперь – я не люблю тебя больше.

Глаза усталые, как будто не спала ночь. На лбу желвачок. Косметики никакой.

Не казни себя.

— Она не была для него предметом роскоши — ведь не была? Иначе он бы ни за что этого не сказал, не посмел бы мне сказать, что не может без нее жить.

Опускает взгляд на свои руки.

— И, что ни говори, так и вышло. Вышло по его словам.

46

"Он едет домой".

Я сказал это — и моя работа была кончена.

Мог и сам ехать домой, а дома готовить себе ужин на одного. Трубочки из теста со шпинатом и овечьим сыром. Почти все уже было сделано (я всегда думаю загодя), только на двадцать минут поставить в духовку. Салат из помидоров с базиликом. Стаканчик кьянти. Если ты один, это не значит, что можно питаться абы как. Позволь себе маленькую роскошь.

Но я увидел его лицо — эту пустоту вместо лица, — когда он повернулся и слепо, нетвердым шагом двинулся в мою сторону. На секунду показалось, что он сейчас на меня натолкнется, и если бы он смотрел, если бы лицо было не пустотой, а нормальным лицом с глазами, он увидел бы меня в каких-нибудь трех шагах. Я прижимал к уху телефон. Он увидел бы совершенно незнакомого человека, который, однако, разговаривал в этот момент с его женой. Я же, наоборот, видел человека, которого знал по фотографии (рубашка с закатанными рукавами) и который вдруг пре-

вратился в незнакомца. Так что ощущение в ту секунду было такое, словно смотришься в зеркало. Это — я? Эта потерянная душа?

Потом он свернул, шатнулся в сторону. Я положил телефон в карман. Нет, работа не кончена. Какое там.

Вот откуда начались вопросы Марша. Вы не обязаны были это делать, не обязаны были следовать за ним дальше.

Да, я мог сидеть дома и есть трубочки из теста.

Но кто, как не я, должен был все обеспечить? Вернуть его домой, точно взятого на поруки. Голос у нее прыгнул — "ой, спасибо огромное" — и сердце у меня прыгнуло, хотя, по идее, должно было упасть. Почему я не стал как Боб?

Счастье другого человека, не твое.

Он побрел к автостоянке. Что я бы сделал в его положении? Нашел бы место, откуда видны взлетно-посадочные полосы? Прижался бы носом к холодному стеклу? Огни выруливающих самолетов. Тяжелые лайнеры, люди в иллюминаторах как теоретические возможности. В темноте попробуй разгляди...

Я следовал за ним по переходу. Правда, "следовал" — не то слово. Я не мог объяснить этого Маршу. Лучше сказать — пихал его взглядом. Понукал. Напрочь отбросил обычную осторожность: видеть, но быть невидимым. Хотелось поравняться с ним — он шел тяжело, медленно, ноги как из свинца, — схватить его за локоть, дернуть вперед. А ну пошел!

Как он отыскал этаж, машину — не понимаю. И в нормальном-то состоянии тут можно заблудиться, забыть, где ее оставил. Но тогда, меньше часа назад, он ведь знал, пусть и не хотел думать, каково ему будет, — знал, что придется возвращаться сюда, возвращаться одному.

Безжалостность многоэтажной автостоянки. Холодный бетон, пятна бензина. Рев лайнеров. Она сейчас улетит. Он нашел "сааб", сел в него. Машина может быть бункером, ямой, гробницей. Через несколько секунд свет в салоне погас, а он все еще ничего не включил. Мне не видно было, опустил ли он голову на руки.

Прошло минут пять. Машина вновь стала похожа на черную твердую раковину. Есть кто внутри или нет?

Слушай, бога ради, запускай свой долбаный мотор!

47

Я думаю: он прожил без нее всего пару часов.

Ничего ей не говорю.

А тут — уже два года.

Иногда она ближе дыхания, хоть нас и разделяет стол. Иногда стол растягивается на милю.

Не первый раз думаю: если я хороший посетитель, аккуратный, надежный, если я отбываю *свой* срок (уже два года!) без нареканий, может быть, мне позволят взять ее домой?

В порядке исключения. А? Я буду за ней смотреть, обещаю. Никаких больше убийств. Можете не опасаться. Беру на поруки. Бессрочно.

Я вежлив с надзорками, я всегда с ними вежлив.

Одной проблемой, одной заботой им будет меньше. Одним ртом меньше, одна койка освободится. Хоть маленькое, но облегчение для бюджета. Частная благотворительная инициатива. Я сам буду держать ее под замком.

В сущности, то же самое, что она сделала три года назад, взяв Кристину. Какие правила она нарушила? Ну какие?

Надзорки стоят с таким видом, точно в любой момент могут сделать выбор. Так, вы двое — да-да, вы и вы, — мы за вами наблюдали. Считайте, что вытянули счастливый билет. Нет, не надо нас благодарить.

Но они просто смотрят. Такая у них работа. Ни во что не ввязываться. У них тоже проведена черта. У каждого она есть.

Почти четыре. Они все еще в фулемской квартире, шторы задернуты. Еще чуть-чуть — и я подъеду к дому, стану ждать, смотреть. Смеркается. Так, вы двое — да-да, вы и вы, — на выход, время истекло.

Смотрит на меня так, словно ищет что-то позади меня, что-то более важное, чем я. Мне из-за этого больно. Как будто сегодня я должен был прийти не один, захватить кого-то по дороге (я пытался). Гляди, кто здесь. Кого я привел...

И, было бы возможно, я бы сделал это. И это тоже. Надо — значит, надо.

Гляди: это Боб. Глядите все: Боб Нэш. Ошибка вышла!

Скажу: так, вы двое — считайте, что вам повезло. А я отойду, не буду мешать, моя работа наконец кончена.

Но мне больно.

Надо же — оказывается, *мне* сегодня должно быть больно. Нелепейшая штука: ревную ее к человеку, которого она убила. Хочу, чтобы он ушел из ее жизни. И он ушел, ушел. Но сегодня имеет право на свидание. Его день, я не могу против этого возражать.

Четыре часа дня...

Но он по-прежнему с женщиной, без которой, сказал, не может жить.

— На работе был утром? — спрашивает она.

Разговор ни о чем. Пустой разговор, не касающийся главного. Сидишь у больничной койки и беседуешь о погоде. Вокруг — может быть, двадцать таких же разговоров. Вопрос, которого тут лучше не задавать: как ты сегодня?

— Всего на час какой-нибудь заскочил. Потом на кладбище.

— Рита сейчас там?

— В офисе? Еще бы.

— Она знает, куда ты поехал?

— Перед тем как сюда? Конечно. Она знает, какой сегодня день, она не забыла.

Во взгляде появляется что-то испытующее. Иногда мне кажется, что Сара не прочь получить через меня весточку от Риты, пусть на словах. От другой женщины, из ее мира. И я бы передал, если бы мог, если бы было что.

Рита шлет тебе привет. И еще, чуть не забыл, она просит передать, что прощает тебя.

Я не все рассказал Саре про Риту — умолчал, например, про светло-розовый пушистый халат. Но она знает. Я знаю, что она знает, она умеет догадываться. Что-то вроде игры у нас. Нелепейшая штука. Игра в ревность. Как будто Саре можно ревновать, как будто она имеет право. И как будто я даю повод.

Но она смотрит на меня пристально, улыбка лишь угадывается. Как будто допрашивает меня. Еще одна игра. Из нас двоих — я под подозрением, даже чуть ли не признан виновным. Сара ловит меня, вгоняет в пот, сидя за своим пустым столом. Из нас двоих я живу в том мире, где человек может сбиться с пути. Как можно сбиться с пути в тюрьме?

— И что она думает?

— Рита? Насчет...

— Насчет.

— По-моему, Рита думает, что я спятил.

Опять опускает взгляд на свои руки. Она часто теперь на них смотрит, точно удивляется, что ей еще позволено их иметь.

— А ты так не думаешь?

— Я не спятил, сердце мое. И ты это знаешь. Я ей сказал, что даю ей выходной. Потому что сегодня... особый день. Потому что меня большую часть времени не будет. Но чтобы Рита взяла выходной? Она на месте и вкалывает вдвое против обычного.

— А ты лодырничаешь.

— Да. Не спятил, просто лодырничаю.

Улыбка становится шире. Между нами пустой стол. Случается, что мы забываем, кто из нас где. Я пришел к ней на свидание или она ко мне?

Еще одна наша игра, большая долгая игра. Не тебе дали срок, сердце мое, а мне.

— Она преданная женщина, Джордж. Тебе повезло, что она у тебя есть.

— Еще бы.

Хотя я мог бы сказать ей, смело мог бы сказать ей прямо сейчас: я думаю, Рита хочет уволиться. Это положит конец нашей игре, нашей маленькой игре в ревность. Это будет означать, что Сара выиграла. Рита собирается от меня уйти, я улавливаю сигналы.

(Рита их тоже улавливает.)

Но я знаю, что сейчас говорить об этом Саре не надо. Не те слова, что она хотела бы услышать. Мол, Рита решила, что с нее хватит, она сдается, уходит.

— Да, — говорю я. Смотрю ей прямо в глаза. — Мне очень повезло.

Странно, сколько всего можно сказать здесь, где уединиться невозможно. Как будто под словами, которые произносишь, кроются другие, шифрованные.

Странно, какие признания можно тут сделать.

Но я не сказал Саре всего. Говорит кто-нибудь кому-нибудь все? Есть вещи, которых я не могу пока Саре сказать и не скажу. Может быть, никогда не скажу.

48

Он запустил мотор и выехал с автостоянки. Я — за ним, к его дому.

К дому? Что это означало в тот вечер для Боба Нэша?

Мы оставили позади переплетение дорог на территории аэропорта, где можно проплутать целую вечность, и выехали через туннель под взлетно-посадочной полосой.

Можно ли, следуя за машиной, понять по ее движению, что на уме у водителя? Можно ли читать в машинах, как в лицах? Вряд ли. Он не гнал — наоборот. Опять выбрал медленный ряд. Я мог бы подумать: это

хорошо, он понимает, что должен в таком состоянии быть осторожным. Хочет добраться без приключений.

Когда мы свернули с автострады и не спеша поехали по эстакаде, я рискнул пристроиться прямо за ним.

Что, хотел дать о себе знать — понукая его, чуть не толкая?

Если бы он не думал только о своем, мог бы обратить внимание на зеркальце. Что это за тип за мной едет? Дистанцию не может держать.

Понедельник, вечер. В этом направлении машин мало. До Бичем-клоуз можно доехать за полчаса. Но вместо того чтобы свернуть на Норт-Серкьюлар-роуд — первая возможность, через мост Кью-бридж, попасть в Уимблдон, — он поехал прямо, а когда повернул на Хаммерсмит, не воспользовался второй возможностью — через мост Хаммерсмит-бридж, — а двинулся дальше по Хаммерсмитской кольцевой развязке и выбрал поворот на Фулем.

Все же оставалась возможность добраться до Уимблдона через Патни. Но он не заглядывал мысленно дальше Фулема — я уже догадался. Он проделывал обратно тот же путь, что и двумя часами раньше, как будто хотел заставить время идти назад.

Я не рассказывал этого Саре — что на обратном пути он заехал в Фулем. Не потому задержался, что попал в пробку, не потому, что взял медленный темп и даже останавливался прийти в себя. Нет, он отправился на ту квартиру.

И я не рассказывал Саре о том, что случилось на Фулем-Пэлис-роуд вскоре после поворота на Хаммерсмит.

Зажегся красный свет; между Бобом и светофором не было ни одной машины, только ярдов пятьдесят дороги. Но он не притормозил, наоборот — в первый раз внезапно ускорился. В первый раз понесся как лихач.

Это не был оживленный перекресток, вправо и влево шли второстепенные улицы, но перед нами как раз показался длинный, высоченный, медленно движущийся автофургон. Боб нажал на акселератор, потому что увидел возможность. Голову даю на отсечение. Потому что увидел: автофургон вот-вот перегородит улицу точно стеной.

Ошибка? Не заметил красного света, думал о другом? Нет. Я тренированный наблюдатель. Наблюдать — моя специальность. Он нарочно ускорился, он знал, на что идет.

И нажал на тормоз только в такой момент, что, будь у него шины похуже или не будь дорога сухой, дело все равно могло бы кончиться плохо.

Фулем-Пэлис-роуд. Вправо Уинслоу-роуд, влево Сент-Данстанс-роуд.

Опять полицейский. В голове рапорт о неслучившемся дорожном происшествии. Стандартные фразы. Расстояние, направление, скорость. Профессия есть профессия — делаешь свое дело. Только когда он затормозил и автофургон прополз, освободив наконец дорогу, я увидел, где мы находимся. Больница Чаринг-Кросс. Чуть южнее Хаммерсмита. На левой стороне, впереди, за светофором — больница Чаринг-Кросс.

Я не говорил этого Саре. Маршу тоже.

Необходимая встряска? Момент истины? Устроить самому себе шок? Жизнь, которая была его жизнью, — вон она, там, совсем близко.

Его могли внести на носилках. Удобно. Рукой подать. Отделение скорой помощи. Кто-то мог вдруг его узнать. Господи, это же Боб Нэш!

Но он остановился.

Могло случиться так, что ей пришлось бы к нему ездить. *Самой* быть посетительницей, не догадываясь, какое это невероятное везение, какое счастье под видом несчастья. Это могло спасти их обоих. Состояние крайне тяжелое, потом лучше, лучше. Это могло соединить их прочней, чем срастались бы его переломанные кости.

"Чудом остался жив". Да нет, лучше! Вдвое лучше.

А меня и не видно было бы, и не слышно.

Или он умер бы. Тоже вариант. Она бы так и не узнала, на что способна. Понятия бы не имела. Думала бы, что случилось самое жестокое из возможного (и к кому могла бы обратиться в поисках утешения?). "Трагическое происшествие" — в *этой* точке. Думала бы даже — ведь это была ее "уступка", — что сама во всем виновата.

Но она не была бы сейчас здесь. Время посещений, как в больнице. И я не был бы.

Скрежет резкой остановки. Пешеходы замерли. Повернулись, взглянули, пошли дальше. Но водитель автофургона, скорее всего, ничего не заметил из своей высокой кабины.

Больница Чаринг-Кросс — вот она, прямо перед глазами.

На светофоре все еще горел красный. Боб снова запустил заглушенный мотор. Зажегся зеленый. И теперь — если шок сработал, если он опять стал самим собой — он мог поехать прямо: Фулем-Пэлис-роуд, Патни-бридж, Патни, Патни-хилл, Уимблдон-коммон... дома.

Но он повернул налево на Лилли-роуд, я за ним — к той квартире.

Да, мне повезло. Ему нет.

Улица точно такая же. Улицы не меняются, молчат, ни единого слова. Он остановился, вышел, двинулся ко входной двери и, как множество раз до этого (считал или нет?), отпер ее.

Без десяти восемь. Я нашел местечко на дальней стороне улицы, не доезжая ярдов двадцать. Теперь было меньше шансов, чем когда-либо, что он заподозрит слежку.

Но, может, мне надо было прекратить пассивное наблюдение? Вмешаться? Выйти из машины, пересечь улицу, прикоснуться к его плечу?

Мистер Нэш? Роберт Нэш? Полиция. Пройдемте со мной.

Он закрыл за собой уличную дверь. На втором этаже зажегся свет. Все-таки это могло ничего особенного не значить: он же был съемщиком этой квартиры. Мало ли, забыл что-нибудь. Какое-нибудь простое, не слишком существенное дело. (После того как чуть не врезался в автофургон?)

Так или иначе, можно ли его винить, если он не сумел воспротивиться? Последний взгляд по пути домой. Последний взгляд, пока комната, постель еще хранят еле уловимый остаток тепла. Пока не развеялся ее аромат.

Почти восемь. Она уже была в воздухе.

Может быть, здесь он мог по-настоящему с ней распрощаться. Подвести баланс своей жизни. Снова стать мужем собственной жены.

Не думаю, что Сара поставила бы задержку ему в вину, если бы к этому все сводилось.

Но сколько на это нужно времени? Распрощаться. Только ли с квартирой и с тем, что она для него значила? Я же видел его лицо в зале вылета — не лицо, а само отбытие. Я видел, как он погнал на красный свет.

И все-таки я сидел неподвижно, я не выскочил из машины, пока не прошло по меньшей мере минут десять. Да, сидел и сидел. Минуту за минутой. Может быть, подводил баланс своей собственной жизни. Я не принял немедленных и решительных мер, основанных на разумном подозрении, я не взял на себя должную инициативу — можно было в крайнем случае и соседей потревожить, чтобы войти в дом. Полиция! Откройте, полиция!

Да, Марш. Я просто сидел. Уже не полицейский. Ничего общего с самим собой. Кажется, даже вцепился изо всех сил в руль, точно в скалу.

Пять минут... Десять... Пятнадцать. Ужин стоял на плите. Вино дышало. Сара тоже считала минуты.

Переступаешь черту.

Я открыл дверцу, метнулся через улицу. Тогда-то он, может быть, и увидел меня — увидел не видя — второй раз за вечер. Не знаю и не узнаю. Он открыл уличную дверь в тот самый момент, как я подбежал к калитке. Мне пришлось резко остановиться — как он тогда встал перед автофургоном. Превратиться в случайного прохожего — пусть и немножко странного, запыхавшегося. Но он двинулся к калитке, ничего не видя, миновал меня, едва не задев, и сел в машину. Казалось, мог пройти и сквозь меня.

Полное впечатление, что уже не человек, а призрак.

49

Спрашиваю:

— Как императрица?

— Отлично. Она на юге Франции. Купила яхту.

— Здорово.

— За шестьдесят, но еще в хорошей форме.

— Молодец старушонка.

Разговор о чем угодно, лишь бы не о главном. Тратишь драгоценное время на игру в карты.

Почти четверть пятого. Через пару минут — свисток. Добавочного времени, как в футболе, тут не дают. Придется уйти до всех событий. Она будет переживать их заново одна.

Настанет ли такой год, когда этот день пройдет незамеченным, как чей-нибудь забытый день рождения, а потом вдруг вспомнится? Внезапная боль, как от удара ножом.

Нет, не думаю.

Почти четверть пятого. Два года назад я ждал у фулемской квартиры — в первый раз. Она точила кухонный нож. Даже и в мыслях не имея.

Я говорю то, что говорил на свиданиях перед уходом множество раз:

— Я с тобой, сердце мое. Я буду с тобой.

Хотя сегодня, в особый день, это не может быть правдой. Потому что она будет с Бобом. Его день. А призраки — они не похожи на обычных посетителей. Могут являться в любое время, могут проходить сквозь стены.

Кто станет его винить? Сегодня-то. Но во рту вздымается черный вкус.

Нет, он сегодня не может, просил передать свои извинения. По причинам, от него не зависящим. Вместо него — я.

Как будто я должен заместить его от и до: полноценный повтор. Его двойник. Она занесет нож и увидит, что это я. И на этот раз удержится.

Ревность — к трупу. Она может читать мои мысли. Ее глаза видят, что творится у меня в голове.

— Я буду с тобой.

— Я знаю.

Но ревность и к *живому* Бобу. Это она тоже знает. Ревность ко всем тем годам, к хорошим долгим годам — двадцать четыре их было, — которые кончились так, как они кончились. А могло быть с самого начала — она и я. Мы с Сарой. Нелепость, да? А Боб нашел бы себе кого-нибудь еще. И мы все были бы счастливы, все были бы живы. Нелепость.

И я, может быть, стал бы гинекологом, а Боб — полицейским.

Играешь в карты — тасуешь колоду.

Двадцать четыре года. Но время действует по-другому. Оно не так раскрывает свой смысл. Свидания, моменты, дни. Этот день, этот ясный холодный день, алмазный режущий воздух.

Две минуты. Что можно сказать за две минуты?

Близость как между лежачим больным и посетителем. Больничная тишина. Можно подумать — когда я уйду, ее отправят на операцию. То ли выживет, то ли нет. Под нож, ха-ха.

Хотя нож — он действительно есть, я знаю, торчит у нее в сердце, мучит, ржавеет.

Когда-нибудь я его вытащу.

Я с тобой, я буду с тобой. Я всегда ей это говорил, даже в самом начале — когда она ничего не хотела слышать. Бросьте, что за чепуха. Это долго не продлится.

Но однажды она сказала (улыбка — как солнечный свет на камне): “Нет, Джордж, все наоборот. Могу я быть с тобой?”

Говорю сейчас:

— Я хотел, чтобы ты была со мной, там, сегодня. Сегодня такой... красивый день. Я хотел, чтобы мы вместе стояли у могилы. Понимаешь, сердце мое, — в какой-то момент надо уйти, повернуться и уйти. Я не знал, когда это сделать. Сколько времени стоять? Если бы ты была со мной, ты сказала бы когда. Понимаешь меня? Ты бы знала. Я хотел, чтобы ты была рядом и в какой-то момент сказала: “Пойдем, Джордж. Пора”.

И когда бы ты это ни сказала, сердце мое, когда бы ты ни решила, что хватит, он бы нас не остановил.

50

Марш спросил:

“Разве мистер Нэш не доехал бы до дому без вас?”

“Я хотел убедиться”.

Он посмотрел на меня взглядом острым, но терпеливым. Тактичный старший полицейский чин разбирается с не в меру рьяным подчинен-

ным. Как будто он мой начальник. Внутренние дела. Полицейский с полицейским. Дальше это не пойдет.

"Что, по-вашему, он мог сделать?"

Но я не собирался ему говорить. Что Боб сначала поехал на квартиру, что я второй раз за день ждал снаружи — может быть, минут пятнадцать. Ждал, хотя ждать, наверно, не стоило, не следовало. Ждал, хотя что-то во мне качалось и колебалось.

А там, наверху (надо поместить себя в ситуацию), он, наверно, думал: где еще я могу быть, куда еще могу податься?

Раньше, в другие времена, в других странах случалось иной раз такое, что офицер высокого ранга позорил себя, поступал как не следовало. Его оставляли в комнате с пистолетом, дверь запирали. Сослуживцы снаружи ждали выстрела.

В другом мире, в другую эпоху. Безупречная военная форма, суровые правила. В эпоху, скажем, Наполеона и Евгении.

Я ждал.

Ведь он же был не из таких, правда? Надежный, уравновешенный человек, медик, профессионал. Низвести себя до этого? Комната в Фулеме, четыре обступающие, теснящие стены.

Я смотрел. Свет за шторами. Мы все немножко полицейские, ничто не относится к ведению одной полиции.

Не воображайте, Марш, что оставите все это позади. Не воображайте, что вот-вот станете вольной птицей.

Он потер подбородок. Первый час ночи. Боб уже четыре часа как мертв.

"Вы как-то уж слишком за него переживали".

Я не собирался ему говорить. Саре тоже. Но она и так знала: было написано у Боба на лице. Все ее терпение, вся ее уступчивость, все ее схемы и варианты, все ее ожидание, все ее надежды кончились тем, что она встретила на пороге призрака.

И теперь ее черед быть там, откуда нет выхода. Запертая камера дальше по коридору. Четыре холодные липкие стены. Как она могла, как ее угораздило?

Спертый воздух комнат для допросов. Рутина полицейских участков. Запах дезинфекции.

"Я хотел убедиться. Ради Са... ради миссис Нэш. Для пользы моей клиентки".

Я увидел, какое лицо стало у Марша.

"Разве она просила вас доставить его домой?"

"Нет. Я и не доставил".

"Ясно. Жаль, между прочим. Вы всегда так стараетесь ради клиентов?"

"Когда как. Я сам за себя решаю".

"Будучи нанятым Сарой Нэш. Вы хотите сказать, что не обязаны были действовать просто как детектив, исполняющий задание?"

Или не действовать, не шевелиться.

Он подразумевает: как хороший, надежный полицейский.

Но я действовал, разве нет? Я выскочил из машины. Побежал через улицу. Со всех ног побежал.

А Боб нашел-таки выход, спасся из четырех стен: лестница, уличная дверь. Не было никакого выстрела. Мы чуть не столкнулись между ка-

литкой и домом. Не помню, обрадовался я или нет. Он прошел мимо меня, я отступил. Выпустил его.

Выпустите ее, Марш, слышите? Слова стучались в стенки моего черепа, как будто и они хотели вырваться из маленькой жестокой комнаты. Возьмите меня, наденьте на меня наручники. Но ее — выпустите.

Я должен был его остановить. Должен был, правда? Арестовать — мало ли за что. За то, что жив? Арест гражданским лицом.

Улица в Фулеме. Викторианский красный кирпич. Кругом живут спокойные законопослушные люди. Благополучный район.

Я должен был пощадить его. И его, и Сару. Я должен был принять меры ради общественного спокойствия.

Я должен был сказать: "Не спешите ехать домой, подождите. Мы с вами не знакомы, но..." Я должен был задержать его, допросить, задать наводящие вопросы.

"Не торопитесь. Давайте найдем какое-нибудь место, где можно сесть и потолковать".

51

Время вышло. Вдруг все заторопились. Как перед отплытием судна. Провожающие — на берег! Куда, интересно, плывут заключенные?

— До свидания, сердце мое, до скорого.

Это всегда кажется дезертирством. А сегодня — самым настоящим предательством. Как она переживет эти часы? Пока иду обратно вместе с остальными через все двери и посты, нет даже обычного облегчения, обычного ощущения отсрочки. Повезло — выпускают. Репетиция, предупреждение.

Надзорки отсчитывают выходящих с таким видом, будто все-таки способны на подвох. Или это будет уступка? Ладонь на плече: нет, вы, пожалуйста, задержитесь.

Знают они или нет, что сегодня годовщина? Вот он, явился, тут как тут, а сегодня ровно два года. Это что-нибудь да значит.

Бриджет машет мне на прощание. Взгляд особенный или обычный?

— Пока, Бриджет.

— Пока, Джордж. Всего хорошего.

— Всего.

А мир никуда не делся. Это всегда немного удивляет: с ним ничего не произошло. И всегда еле заметный сладкий прилив благодарности, виноватой благодарности.

А потом это бьет по тебе, встает новой стеной: две недели.

Выхожу вместе с другими. Холодина. В первую секунду кажется, будто мы — какой-то диковинный класс, выпущенный из школы после уроков (хотя, думаю, я единственный, кто сдает домашнюю работу). Быстро, молча расходимся, словно хотим как можно скорей слиться с окружающим и превратиться в невинных прохожих.

Суеверное правило: никогда не оглядываюсь. На случай, если магия сработает вдруг так: заноет спина. На случай, если Сара позади меня и ладонь на плече будет ее.

Джордж, это я. Не уезжай один.

Двадцать минут пятого. Солнце опустилось за крыши. По небосклону разлилась краснота. Выше она переходит в розовый цвет, еще вы-

ше — в голубизну газового огня. Ломтик луны. След самолета, тонкий и серебристый, как игла. Впереди еще одна морозная ночь, воздух тверже стекла.

Записывай для меня, Джордж, что там, снаружи, делается. Приноси сюда внешний мир. Но не как полицейский рапорт, понимаешь?

Ничего себе заданьице. Весь мир. Но я стараюсь.

"Ты заслужила весь мир, сердце мое".

"Нет, я заслужила то, что имею".

Клочок мира на клочке бумаги. Раньше я никогда этого себе так не представлял. Приносить мир по кусочку, как заключенные могли бы откалывать по кусочку от стены.

Но она домашнюю работу сегодня не сдает. Не такой день.

Пересекаю большую улицу и иду к машине. Фонари уже горят. Полчаса — и будет совсем темно. Думаю о его могиле: днем гладкий гранит блещет как лед. Бобу тоже надо будет пройти через это заново. Ей — значит, и ему. Если только это возможно — пройти заново.

Что делают служители на кладбищах с наступлением темноты? Закрывают ворота, запирают замки? Никаких посетителей. Никаких похорон.

Деревья вдоль тротуара превращаются в силуэты. Кроны ясно вырисовываются на фоне неба до последней веточки, до мельчайшего сухого листика. Машины низводятся до плывущих фар.

Закат. Сумерки. Она научила меня прислушиваться к словам. Так же, думаю, как в свое время научила Кристину. Странные английские слова. Их очертания, их след, их запах. Су-мер-ки. Почему они так завораживают — зимние сумерки? Опускается занавес, проводится граница. Словно мы все уже должны быть дома, за надежными дверьми. Но мы не дома, еще нет и половины пятого, и все превращается в приключение, в тайну. Что бы мы теперь ни делали, мы будем делать это во тьме.

Поворачиваю в переулок, где оставил машину. Когда-нибудь приеду сюда в последний раз.

Отпираю машину. Она как холодильник. Как кровать в нежилой комнате.

Это и мое наказание — хотя я такого не говорю. Никогда не говорю. Моя женщина и не моя. Можно, впрочем, сказать — *железно* моя. Никуда отсюда не денется.

Мое наказание и моя награда.

И мое раскаяние. Ноющая спина.

Если бы я исполнил свою работу до конца — доставил его домой, к самой двери, как подарок... "Супружеские проблемы и розыск исчезнувших людей". Вот он вам, получите, распишитесь. По дороге не обошлось без трудностей, но вот он вам. Как будто поймал беглого арестанта.

Могло ли такое быть? И она была бы счастлива. Могло ли?

Включаю зажигание. Обогрев — на полную. Струя воздуха как изо рта на морозе.

Счастливая пришла бы ко мне в последний раз — и расплатиться, и поблагодарить. Вместо долгих лет *этого* — несколько минут в моем кабинете. Выписать чек и сказать спасибо ("Да что вы, это работа моя, полноте..."), а потом, может быть, вдруг обняла бы меня и даже поцеловала бы в щеку.

Вышла бы свободная и счастливая. Могло ли такое быть? Я смотрел бы на задники ее туфель, на ее подколенные впадины. Как провожающий в аэропорту. Смотрел бы из окна, как она переходит Бродвей, возвращается в свою жизнь. И это могло и должно было стать достаточной наградой для меня.

52

Они благодарят тебя, и еще как. Странные дела – я и думать не думал, – благодарят даже за плохие новости.

"Дело не только в том, что женщины, Элен..."

"Не только? – Вдруг вся превратилась в слух. – Что ты замолчал? Начал, так договаривай".

Курица "марсала", рыба "вероника"... Вся эта кулинария – но не она одна. Отец, которого она никогда не знала.

Рита спросила:

"А вы сами женаты, мистер Уэбб?"

"Был".

Вопросительно вскинула светловолосую голову.

"Долгая история".

(Не такая уж долгая: быстренько попрощалась – и в школу.)

"Не рассказывайте, если не хотите".

Оглядела мой кабинет – примерно так же, как Элен мой дом. Еле уловимое неодобрение.

Мотивы у них бывают всякие: подозрение, уточнение, отчаяние... Иной раз это самая настоящая война. Свирепая, жестокая. И всегда элемент компенсации. Я давно это понял.

Еле уловимый вздох.

Я уже ей все сообщил: с кем, где. Она и без меня догадывалась. Из серьезных – из тех, у кого ни слезинки. Работала на фабрике картонной тары помощницей управляющего. Я подумал: наверно, может делать за него всю работу, да притом с закрытыми глазами – но приходится знать свое место.

Теперь она сидела у меня в кабинете – нога на ногу, глаза чистые, черный острый носок туфли время от времени выстреливает вверх.

А я как-никак детектив. Не дурак. Сигналы распознавать умею. Можно было бы повесить табличку: "Джон Уэбб, частные расследования и помощь нуждающимся в компенсации".

А я-то сам разве в ней не нуждался? Долгая история. Долгая, медленная компенсация.

Оказалось – она далеко не сломлена. Попросила меня сделать еще один шаг. Маленькая добавочная работа. Чтобы я, когда муж будет у любовницы, отвез ее туда. Отвез и подождал у дома в машине, а она подойдет и постучит. Вот и все, ничего сложного. Минутное дело.

"Сможете или нет? Я заплачу́".

Острие туфли дернулось вверх, будто нацеливаясь на что-то. Устремила взгляд уже не на меня, а вдоль прямой линии – колено, щиколотка, носок.

Мы поехали. Новый дом в новом микрорайоне. Девять вечера. Они благодарят тебя и берут в союзники.

Я остановился около дома. Холодный январский вечер. Она мрачно, глухо молчала, но прежде чем выйти, потянулась к моей руке, которая лежала на руле, и коснулась пальцами моего запястья. Сказала: "Пожелайте мне удачи" — так, словно особого ответа не требовалось. Потом отвела пальцы, наклонилась дальше, взяла мое лицо обеими руками и чмокнула меня в щеку. "Пожелайте мне удачи". Я пожелал.

Вышла, расправила юбку. Вид был такой, словно могла сказать: "Прикроешь меня". Что она собиралась сделать? Вытащить пистолет? (Откуда?) Нож, склянку с кислотой? Пока я сижу и барабаню пальцами по рулевому колесу.

Пошла по дорожке. Это вдохновляющее, величественное зрелище: бедра шагающей женщины, которой нечего терять и которая настроена серьезно.

Я ждал. Дверь дома открылась — полоса света. Ее впустили. Я готов был услышать вопли, ругань, звон бьющегося стекла. Вспоминал полицейские инструкции. Прежде всего позвони. Оказалось не такое уж минутное дело. Прошло минут десять. Потом она вышла.

Я не знаю и никогда не узнаю, что она там сказала или сделала, но она вышла с видом не менее величественным, хотя и по-другому. Высоко держала голову, дышала полной грудью. Кажется, даже отряхнула ладонь о ладонь. Ее краткий триумф, наигранное торжество, пустопорожняя месть. Я подумал о Рейчел: где она сейчас?

Но месть еще не совершилась до конца.

Она села в машину. Ничего не сказала. Секунду-другую сидела неподвижная и жесткая как статуя — а потом вдруг водопад слез, вдруг вся перешла в жидкое состояние. Я положил руку ей на плечо. Скинула. У меня возникло ощущение, что я не должен здесь находиться. Потом немного успокоилась, полезла в сумочку за платком и велела мне: "Поехали! Поехали! Увезите меня отсюда". Я поехал. Она мне: "Да быстрее же!" — как будто мы ограбили банк.

Я рванул куда глаза глядят. Понесся как "скорая помощь", как полицейский с опытом работы на угонах.

Через некоторое время приказала: "Стоп! Стойте!" Темный безлюдный переулок, слабо освещенный травянистый бордюр. "Здесь, Джордж, здесь остановите!" Я подумал — ей плохо, сейчас распахнет дверь и ее вырвет. Остановил машину.

Тут она наклонилась и сунула руку мне между ног.

Утром, в ее спальне: опять слезы. Промокла насквозь. "Прости меня. Ради бога прости". Как будто затащила меня силой. Прижала руку к лицу. "В каком я виде, господи, — повеситься хочется. Тебе лучше уйти".

Но было воскресное январское утро, пасмурное, мрачное и холодное, и немного погодя она встала и вышла из комнаты примерно на полчаса. В двери помедлила, оглянулась. "Яичницу будешь?"

Вернулась с подносом. Чай, тосты, мармелад. Приняла душ, сотворила что-то с лицом, с волосами, мазнулась духами. И на ней был светло-розовый пушистый халат, под которым жались одна к другой груди.

Пустая постель, Джордж.

Дока по части компенсации.

По правде говоря, она не была первой. К кому другому им прильнуть, у кого другого искать утешения? И, видит Бог, надо иметь к ним жалость. Иной раз в тот самый момент, когда кажется, что она сейчас рух-

нет, полностью развалится, она странным образом оживает, распушает перья, загорается новым огнем. Друг в беде. Мистер Мгновенная Месть.

Вот уж не думал — не гадал. Казалось — работа для одиночки, для неудачника. Убогая, тусклая, тупиковая работа. Супружеские дрязги.

И уж точно не думал, что во мне сидит другой человек — бабник, женский специалист. Что буду спать с клиентками. У каждой — та же самая жалоба: что ее больше не любят. Одна из услуг. Ваш агент, ваше доверенное лицо, ваш сердечный отогреватель.

Хотя, разумеется, не с каждой. Одна-две всего-навсего... Ну хорошо, три. Иным и дотронуться до меня противно.

Я сказал Элен. Может быть, она и раньше догадалась — поняла по моему лицу. Это было после того, как она сказала мне про Клэр. Моя очередь. Что странно, она поразилась сильней, чем я, — или оказалась хорошей притворщицей. Впрочем, потом расхохоталась. Кто бы мог подумать? Ее папаша, ее строгий папка-полицейский.

Но разве это не старое, проверенное средство? На которое она к тому же сама намекала, которое, можно сказать, рекомендовала, сидя у меня при свечах с бокалом вина, пробуя мою стряпню. Смываешь одно другим. Память об одной — плотью разных.

(Может быть, и с ее стороны это была месть — матери?)

"Ну вот, Элен, — теперь *и ты* знаешь".

Что мне сказать? Что я позволял себя использовать, позволял за себя цепляться? Но ведь и сам был не прочь. Особо не противился. Все включено, никакой добавочной платы. Когда в первый раз переспал с клиенткой, подумал: ну и что теперь с деньгами — не брать? Но кто она будет после этого? Так что взял чек. И кто я после этого?

Необходимая стадия? Лечение? Пустопорожняя месть? Уже другой пес, который ловит другие запахи.

Пока не почувствовал себя опустошенным, выпотрошенным, даже потасканным. Пока взгляд Элен не перестал быть заинтригованным, смешливым, заговорщическим — пока он не сделался просто немного печальным.

Вот, значит, как дело обстоит? Я сбился с пути, распустился? За собой слежу (питаюсь хорошо), но потакаю своим слабостям. Трахаю клиенток. Время от времени наливаю себе в кабинете из бутылки, предназначенной якобы только для них.

Как был злостным нарушителем, так и остался.

Мне пришло в голову, что в любой момент может заявиться ее муж (его звали Терри). Банальная сцена. Воскресное утро. Врывается. Месть, помноженная на месть. Но она заверила меня — нет, после вчерашнего можно не беспокоиться.

Что она там сказала или сделала?

Так что я ушел только в четыре. Можно сказать — уполз под покровом сумерек.

Яичницу она приготовила плохо (надо снимать с огня, когда еще не совсем готова). Позже я выяснил, что она вообще никуда не годная стряпуха. Не ее сильная сторона. Ее сильная сторона — войти в кабинет, спокойно оглядеться и мигом понять, как придать помещению сносный

вид. Но не только. У нее, как выяснилось, талант к детективной работе. Раньше она об этом знать не знала.

С ними, помимо прочего, бывает и такое: входят во вкус, в азарт. Тайная слежка. Подпольщики. Я и в таком ключе, оказывается, могу на них действовать.

Но у Риты это не просто воображение, это на самом деле. Оказалось — есть задатки, дар. Может, по-настоящему может! Жила себе и не подозревала, что в ней затаился детектив. Неожиданные люди внутри нас. А она зря тратила время на фабрике, где делают пустые коробки.

"Тебе нужен кто-то в помощь, Джордж. — Взяла поднос с остатками завтрака. — Твой кабинет — это тоска. Надо привести его в порядок. Ты не справляешься один".

В конце концов я ее нанял. Перешла ко мне. На чисто профессиональной основе, конечно. И стал давать ей не только кабинетные задания. Поначалу ничего особенно хитрого. Но есть вещи, которые лучше делать женщине — или мужчине в паре с женщиной. И оказалось, может, отлично может, не подвела меня ни разу. Настоящая находка! Из тех женщин, которых надо ценить на вес золота.

"На вес золота? Что тогда будет с моей фигурой, Джордж?"

Провела руками по бедрам.

Она, конечно, сейчас там. Стережет цитадель.

Как же я буду без тебя, Рита? Боюсь, очень скоро придется узнать.

А ведь я чуть было не поручил ей дело Нэшей. Чуть было.

53

Марш сказал:

"Но на обратном пути ничего не случилось, так? Мистер Нэш добрался домой благополучно".

"Да, — подтвердил я. — Благополучно".

Хотя, наверно, "благополучно" — не самое удачное слово.

"В восемь тридцать пять вы увидели, как он повернул на Бичем-клоуз. Вы всегда так точно отмечаете время?"

"Старая привычка".

"Даже когда работа уже кончена?"

"Она не совсем была кончена".

"Хотели убедиться, что он вернулся".

"Да. Я сказал миссис Нэш, что он едет домой, — а вдруг он не приехал бы?"

"Куда еще он мог деться?"

"Не знаю".

Он опустил взгляд на мои неподписанные показания.

"Он повернул на Бичем-клоуз в восемь тридцать пять. А из аэропорта выехал в начале восьмого. Довольно долго получается..."

Но говорить ему я не собирался. Есть вещи, о которых лучше не говорить. А посадить человека за то, что у него в голове и больше нигде, нельзя.

"Пробки", — сказал я.

Ему очень легко было проверить. Позвонить в транспортный отдел. M4 и A4 в восточном направлении между семью и восемью вечера.

"Пробки?.. Да, понятно. Восемь тридцать пять. Миссис Нэш позвонила нам в восемь сорок шесть. Одиннадцать минут. Вы увидели, как он повернул на Бичем-клоуз. Потом вы уехали. Потом, через десять-пятнадцать минут, из-за вашей 'интуиции', из-за какого-то дурного предчувствия повернули обратно".

"Да".

"Почему так поздно? Почему вы не вошли в дом одновременно с мистером Нэшем? Почему все-таки вначале уехали? Если собирались... вмешаться, то чего вы ждали?"

"Я не думал..."

"Но через десять минут уже что-то подумали. Сказали констеблю: 'Я знаю, что делаю'. Если уж вы сочли нужным принять участие..."

Взгляд старшего по должности. Полицейский всегда и везде должен быть полицейским. Выходит, я *его* подвел, Марша?

"Я должен был вмешаться раньше", — сказал я.

"Вы о нем беспокоились — о мистере Нэше — или о ней?"

Я должен был вмешаться в Фулеме, после той квартиры, но я дал ему пройти. Решил, что с ним обошлось. С ним и с Сарой. С нами всеми.

"Вы относились к ней... к миссис Нэш так же, как к другим вашим клиентам?"

"Можно с ней повидаться? — повторил я. — Хотя бы на минуту".

Он посмотрел на меня так, словно в рот ему попало что-то нехорошее. Кремень в глазах то появлялся, то пропадал.

"Вы знаете, что я этого не могу", — сказал он. Его руки по-прежнему лежали на моих показаниях.

Он довольно долго на меня смотрел — казалось, стоял на краю какой-то расселины и, может быть, даже нуждался в моей помощи.

Подвинул ко мне мои показания.

"Ну ладно, — сказал он. — Я думаю, достаточно. Подписывайте".

Потом добавил:

"Между прочим, мы добрались-таки до Дайсона. Теперь не выкрутится. Сядет надолго".

Включаю зажигание и еду. Почти полпятого. В офис надо вернуться самое позднее в пять сорок пять. Встреча с миссис Лукас. Но я знаю, куда мне нужно сначала. Теперь, в темноте.

Он сел в "сааб", посидел, потом поехал. Я проскользнул в свою машину, увидел, как он тронулся с места, и последовал за ним, как будто мы — одна команда.

Я думаю, он проделал три мили до Уимблдона, понимая, что это в последний раз (но не зная, что вообще в последний раз сидит за рулем). От Кристины всегда возвращался точно крадучись, нехотя, но уступая. Каждый приезд домой был маленькой пантомимой. Можно было не спрашивать, где он был, и нелепо было спрашивать, как у него прошел день. Фарс, мучительный фарс. Но лучше несчастливый мир... — так она мне сказала. Говорила ли ему?

В камерах, наверно, уже зажгли свет. В определенный час его всюду разом выключают.

Чем это могло кончиться? Он хотел, чтобы война — там, у них — длилась вечно. Или чтобы хорваты проиграли, были разбиты, поруганы — так что ей пришлось бы распрощаться с мыслью о возвращении на родину. Плевать ему было на убитых, на искалеченных. А ведь медик. Человечная профессия. Ревность к ее стране, к Хорватии, как ревнуют к другому мужчине.

Выходит, лучше несчастливая война...

Но хорваты победили — он проиграл.

Чем это могло кончиться? Что ж, теперь он знал — или почти знал. Квартирой в Фулеме, похожей на опустевшую клетку. Он мог остаться там насовсем. Но каким-то образом вырвался.

Значит — свободен?

У него брезжила надежда: если уж этому суждено кончиться, не станет ли он тогда снова "собой", настоящим Бобом Нэшем? И только тот, *другой* человек будет страдать. Но не был ли тот, другой (и в этом вся суть), подлинным Бобом?

Всякое возвращение — мучительный фарс. Но так ли уж велика была боль, так ли уж велика плата? Ничего похожего на *это*, теперешнее. И боль, так или иначе, действовала только в одном направлении. Она утихала, едва он отправлялся в Фулем. Настоящую боль, он знал, терпела Сара. Так почему же она продолжала его пускать, почему не выставила вон?

Только по одной причине, по одной невыносимой причине.

Так что если этому суждено было кончиться, он, казалось, мог бы даже испытать облегчение, мог бы вздохнуть полной грудью. Казалось, мог бы даже почувствовать себя спасенным.

В те последние дни он выглядел — Сара потом мне сказала — странно спокойным. (Хотя его спокойствие могло означать и то, что у него есть тайный план.)

Но теперь он знал. Он и вышел из той квартиры, и остался в ней. Он был где-то высоко в ночном небе и понятия не имел, домой он движется или нет. Он и был настоящим Бобом Нэшем, и не был.

Из Фулема — в Уимблдон. Я за ним. Расчухал он наконец? Все время одна и та же машина сзади.

Доехав до Фулем-Пэлис-роуд, он повернул налево, в сторону Патни, и я, как дурак, кажется, даже издал радостный возглас. Вдруг, как дурак, возликовал — обрадовался за Сару, которая совсем скоро услышит его машину. И мы все будем спасены.

Мост Патни-бридж. Черная, невидимая река внизу. Патни-Хай-стрит: сияние магазинов. "Супердраг", "Боди шоп", "Маркс энд Спенсер". Безопасный, знакомый мир.

Мимо вокзала, мимо светофора, вверх по Патни-хилл. Кольцевая развязка у Тиббетс-корнер, поворот на Уимблдон.

Меньше мили от кладбища Патни-вейл.

Да, он возвращался. Длинный прямой отрезок по Уимблдон-Парк-сайду. Слева — Парксайдская больница. Никаких сумасшедших выходок — хотя опять знакомое место, куда могли бы ввезти на каталке. И все-таки я, сам того не зная, наблюдал за ним в последние минуты его жизни.

Справа парк Уимблдон-коммон, темный как лес. Потом поворот на тихие, ухоженные улицы, где окошки домов светятся среди деревьев точно фонарики.

[118]
ИЛ 8/2004

Теперь я сам еду в Уимблдон и знаю зачем. Новая попытка. В темноте, как тогда.

55

Расскажу я ей когда-нибудь или нет? Что он сначала поехал на ту квартиру. Не прямо домой. Что я ждал снаружи. Ждал, смотрел.

Первое правило полицейской работы: не ввязывайся. Не допускай случившееся до себя. Тут есть своя красота: дело принадлежит к ведению полиции и, значит, имеет к тебе прямое отношение — и в то же время тебя не касается. Осматриваешь место, ведешь расследование — и только. Иначе как ты будешь работать? Своя красота: ты не затронут, защищен. Твой пожизненный мандат: я полицейский. Я из полиции, пропустите.

То же самое у Боба — в его мире. Необходимая отрешенность, необходимая сталь. Я всего-навсего ваш гинеколог. И, разумеется, они ему доверяли — его женщины. Профессионал. Надежные руки. Они рассказывали ему интимные вещи. Иной раз даже, когда ситуация этому способствовала, могло возникнуть — ему ли не знать — нечто большее, чем доверие.

Но не ввязывайся, не ввязывайся.

Они, наверно, тоже благодарили его даже за плохие новости. Сидел перед ними с рентгеновским снимком в руках, с результатами анализов. Но у него не было в запасе оговорки, какая есть у бывшего полицейского, у недобросовестного полицейского. Не обязательно давать этому ход, это может остаться здесь, у меня. Мы можем даже все уничтожить.

Есть вещи, которых лучше не знать.

Я так и не сказал маме, что мне давно все известно. *Этого* по крайней мере ей узнать не довелось. Она услышала только последние слова отца. Последние хрипы. Мой родной отец умирал, но был момент, когда я готов был его придушить.

Как я расскажу Саре? Что даже после того, как мысль пришла мне в голову, я продолжал сидеть в машине. Как будто на плечо легла чья-то рука, чужая рука: оставайся на месте.

Тебя не касается. И ты теперь даже не полицейский. И о том, что ты здесь был, никому знать не обязательно. *За тобой* никто не наблюдает.

И даже добросовестные полицейские иногда опаздывают.

Как я ей расскажу? Что я выскочил из машины, увидел его — и сердце у меня прыгнуло. "Сердце прыгнуло": слова. Что меньше чем за час до того, как она его убила, я обрадовался ему, возликовал от мысли, что он скоро будет ее.

И, конечно, новости — рентгеновский снимок, анализы, результаты осмотра — иногда бывают и хорошими. Власть, которую тогда чувствуешь. Свет, которым озаряются их лица. Все нормально, порядок, можно не волноваться.

Чего еще я мог желать, кроме как посмотреть до конца, убедиться? Потом исчезнуть, как Кристина, улетевшая в Швейцарию.

Чему я обрадовался? Своему собственному освобождению?

Еду по Бичем-клоуз. Как будто я — это он, Боб Нэш два года назад.

Ничто на этот раз меня не останавливает, никакой невидимый барьер. И его ничто не остановило, хотя надо было остановить. Полосатую ленту протягивают после события.

Темень, тишь. Десять минут шестого — а кажется, что глубокая ночь. Освещенные окна за живыми изгородями и калитками точно пятятся от меня.

Знает ли улица, помнит ли? Этот вечер, этот самый вечер два года назад. Дом четырнадцать. Давайте-ка двери на замки, никого не впускать — на всякий случай.

Но тогда все, конечно, было по-другому, все было наоборот. Она ждала его — она ждала и ужин ждал на этой их замечательной кухне. Нельзя запереться от того, что внутри.

Или забыто? Сознательно изъято из памяти, из архива? Пропавшее досье. Нет, это не здесь. Вы обознались.

Улицы в Дубровнике. Улицы хорватских деревень. Стены, дворы, площади. Да, это произошло здесь.

Так или иначе, за два года улица меняется. Люди въезжают, выезжают. Память тускнеет. В какой-то момент, не сразу, новоприбывшему, может быть, говорят: "А вы не знали?.." Но жизнь идет своим чередом.

Даже сам четырнадцатый номер. Он ведь не стоит пустой, как заклейменный дом, как дом, на котором проклятие. Его даже довольно быстро удалось продать. Я знаю. Низкая цена ради ускорения. Нормальная практика. Соблазнительное предложение — такая улица, такое престижное место. Работа риэлтора, его проблема. Правда, прошел уже не один месяц. И как бы то ни было, покупаешь — смотри, на то и глаза.

Но сначала дом надо было освободить — сделать, официально выражаясь, "пустым домовладением". Необычная работа для меня, не детективная (и бесплатная). Однако мало ли чем приходится заниматься. Правил нет. Мало ли о чем тебя могут попросить...

Я действовал как ее доверенное лицо. Она была осуждена за убийство, но это дела не меняло. Я был ее агентом — личным агентом, не агентом по недвижимости. Был, и остался, и всегда буду. Получил инструкцию — взять ключи от дома.

Из родни — только сын. В Америке, в Сиэтле. Приезжал на похороны отца и на суд, на котором матери дали пожизненное. Потом улетел обратно. Умыл руки, как говорится. А что ему было делать? Если мать...

Узнать, что отец взял в любовницы хорватскую беженку, — уже приятного мало. Мог, впрочем, так и не узнать...

Но теперь это был его дом — ему и пришлось от него избавляться. С материнским имуществом. Он дал ей разрешение (письмо адвоката), я получил от нее соответствующие инструкции. Его имени не называл — знал, что не надо. Майкл...

Итак, я был теперь с ключами. Еще был Николс — агент по недвижимости. Но он не стремился вникнуть в подробности. Не то что Марш. И еще был Хейвуд, юрист — а юристы и частные детективы, как известно, между собой ладят.

Не детективная работа? Как сказать, как сказать. Ключи или не ключи, а опыт по части входа в пустые помещения у меня имеется. Тайная слежка. Воровские навыки. Домушник на полузаконных основаниях.

Ее дом. Еще недавно она здесь обитала. Я расхаживал по комнатам как жилец. Встречаться, ввиду особых обстоятельств, мы должны были в другом месте, но ненадолго я стал в ее доме гостем. Я плавал по нему, как водолаз по отсекам затонувшего судна. До этого побывал только на кухне.

Теперь, если не знаешь, ни за что не догадаешься. На полу ни пятнышка. Между прочим, на всякой кухне можно, если подумать, насчитать десятки видов смертельного оружия. Что-то в ящиках, что-то на крючках. Вот здесь в луже крови лежал Боб. Вот здесь сидела, вся дрожа, арестованная Сара, а вот здесь, за столом в углу, плакала Кристина...

Невинный вид комнат, домов. Их осторожность, их молчание. Чудесная, великолепно оборудованная кухня. Зимнее солнце на медных сковородках. В гостиной, в столовой ощущение любовно устроенного, обжитого уюта — или роскоши даже, смотря по тому, на какой ступени ты сам находишься. Хорошая жизнь, приятная жизнь. Люди окружают себя вещами, обзаводятся всем необходимым. Невинный вид ковров, подушек, зеркал, ваз. Кто — если посмотреть на все это — здесь жил?

Я чувствовал себя здесь примерно так же, как в картинных галереях, куда в свое время ходил из-за Элен. Точно вторгся куда-то, вошел не в ту дверь. Скрип ботинок. Нет, руками трогать нельзя.

Здесь тоже были вещи не моего уровня — хотя почему не моего, когда у меня в кармане ключи? Картины в том числе. Как будто пустая стена — слишком печальная штука. Может, так оно и есть.

И книги, масса книг. На втором этаже (та самая лестница, по которой Боб носил наверх жалкие пожитки Кристины) была комната, выходящая в сад и сплошь уставленная книгами. Сарина, конечно, — ее кабинет. Здесь она работала, переводила. Ее стол. Ее кресло.

Я сел в него, положил руки на стол, провел по гладкой поверхности пальцами. Передо мной окно, за окном сад. Голые ветви. Лужайка — та самая, где сделали снимок. Старая куртка Боба. А вокруг, по всем стенам — книги. Великое множество. И на английском, и на других языках.

Я повернулся на крутящемся кресле. Чуть закружилась голова. Глядя на книги, я глубоко вздохнул. Смешно — как будто можно обойтись без чтения, просто втянуть в себя всю премудрость с воздухом. Нет, книги — это не мое, я человек действия. Легавый, ищейка, ловец злоумышленников. Тот волк, которого ноги кормят.

Хотя, если разобраться, наполовину это смотреть и думать. Наполовину это у тебя в голове.

И неужели та, которая работала в этой комнате, за этим столом, среди всех этих книг, — та, чья жизнь, ясное дело, большей частью шла у нее в голове, — могла совершить такой поступок? Схватить нож и...

Детективная работа. Интуиция.

Я вдыхал ее книги. Взял одну. Слова расплывались. Ныряльщик, не рассчитавший глубину. Но как знать, как знать, что у тебя внутри...

Я, считай, ничего еще о себе не знал — понял только, что могу готовить. Но вдруг оказалось, что бывший блюститель порядка может учиться у убийцы. Что ж, это еще не самое странное, что бывает на свете.

Я двинулся по коридору. Марш, наверно, тоже тут побывал, тоже прошелся по всему дому. Не ради улик — все и так было ясно. Просто ради себя, ради дотошности, ради любопытства. Такой дом, такое гнездо — какого рожна им еще было надо?

Вот, наверно, *ее* комната, Кристины — до определенного момента. После того как Майкл уехал в Штаты — "гостевая". Они тогда позвали мастеров, сделали там еще одну ванную. Новая стадия их жизни — когда можно приглашать гостей надолго.

Вот и пригласили гостью.

Здесь, наверно, Кристина принимала душ. Здесь спала. Однажды — три с лишним года назад, — отплакавшись, сидела на этой кровати, точно в какой-то хорошо обставленной камере. Уехала из Хорватии — и вот где оказалась, вот где нашла пристанище. В Уимблдоне.

А вот, в другом конце коридора, наверно, спальня Сары. Сары и Боба.

Но о нем я тогда не думал, совсем не думал. Сидел на кровати и дышал.

Пустой дом, зима. Холодно. Я не снимал куртки. Не детективная работа? Но я еще не нашел, что искал...

Я получил от нее инструкции, ясные инструкции. Разобраться с тем, что находится в доме. Немалый труд.

"Продавай все, Джордж. Продавай к чертям. Найди покупателя на все сразу, за любую цену".

Как будто сама себя хотела перечеркнуть.

"Даже личные вещи, памятные?"

"Сожги все, сожги к дьяволу".

Но я не послушался. Не все инструкции исполнил. Как она могла проверить? Может быть, настанет день, когда она скажет мне спасибо. За сохранившееся. Именно это я искал: личные вещи. В моем деле они очень часто представляют интерес. Улики. Свидетельства. Я искал не только то, что относилось к недавней жизни, перечеркнутой убийством, но и памятки более отдаленного времени. Жизни задолго до нашего знакомства.

И нашел. Альбомы, фотографии, разные разности — то, что откладывают, убирают, не выбрасывают. Свидетельства? Нет, больше. Зримые, бесценные доказательства. В том числе снимок пятилетней Сары, сделанный в Чизлхерсте.

Кто может знать, что нас ждет?

Несколько посещений. Немалый труд, но я справился. Пришлось договариваться с перевозчиками, оценщиками, аукционистами (я никому не обязан был докладывать, чье это было имущество). Но кое-какие коробки я вынес сам, прижимая к груди, — картонные коробки со специально отобранными вещами. На одном старом складе в Саутфилдсе я снял угол, где храню все ее книги и несколько коробок с бумагами и разной мелочью.

"Пустое домовладение". Странно звучит — если уж прислушиваться к словам. Напоминает мое владение без владения. Владение, от которого нет никакого проку. Хотя я так не думаю.

И напоминает ее, какой она была, каким было ее лицо в те недели, месяцы, когда она еще не понимала, что я не отступлюсь. *Ее* лицо, но в лице пустота. Лицо без лица. Пока однажды...

Несколько посещений. Я чуть ли не обосновался здесь, в четырнадцатом номере: моя база. Мой второй дом. Соседи пялились. Мне не было до них дела. Агент, доверенное лицо с соответствующими инструкциями.

Потом настал день, когда я запер дверь в последний раз. Все, больше мне туда нельзя.

Еду медленно, как будто патрулирую улицу. Или задумал недоброе. Если кто выглянет сейчас и увидит меня, вспомнит или нет? Догадается?

Десятый, двенадцатый... Вот он. В нем живут, конечно. В окнах свет. Ну, и что они сегодня чувствуют? Дрожь, морозец? Или пожимают плечами? А может быть, и не знают даже? Вполне возможно, тут уже другие, не те, которым продал Николс. Их фамилия была Робинсоны. Может, их уже тут и нет. И вся улица дружно молчит. Есть вещи, которых лучше не знать. Взять, к примеру, Кристину, сходящую с самолета в Женеве...

Тс-с, не надо про это говорить. Пусть сами поинтересуются. Их проблема (если это проблема). Зачем ворошить старое? Пусть все идет своим чередом, как будто этого не было. Вот-вот, не было. Хорошая, благополучная улица — такого здесь и быть не может.

Когда мы с Рейчел купили дом, наш первый приличный дом (на Фэрэйкр-роуд), я примечал, помню, эти взгляды, мимолетные взгляды соседей. Среди улыбок и избитых шуток. Напрашивается, казалось бы, мысль, что так будет безопаснее — свой блюститель порядка под боком. Плюс я уже был детективом-инспектором. Гражданская одежда, костюм, галстук — в точности как они. Не знаешь — не догадаешься. Но шел семьдесят восьмой год. Кто тогда любил полицейских? Конечно, дело было не во мне лично, не в Джордже Уэббе, не в Джордже и Рейчел Уэбб с дочерью Элен, поселившихся в доме двадцать девять, а в том, к чему я прикасался на службе. Что приносил с собой, на себе. Вот этого нам не надо! Здесь как-никак Фэрэйкр-роуд!

Отсюда до Каллаган-эстейт по меньшей мере миллион миль. На самом деле и десяти нет. Но миллион! В этом вся штука.

А эту... беженку мы тоже не хотели тут видеть. И разве не были правы?

Останавливаюсь напротив. Может, они и знать ничего не знают. Не рассказать ли? Стук в дверь. Я должен вам сообщить... В полиции приходилось такое делать. Кому-то приходится. Никто этому особенно не учит. Вестники беды.

Кстати, в *тот* вечер так могло случиться. Не ключ в замке. Машина, но не его, а полицейская. И не ключ, а стук.

Выключаю мотор, фары, сижу. Знакомая ситуация. Как будто работаю, высматриваю кого-то — всегда готовый, если что, скользнуть вниз, под приборный щиток. Комфорта никакого, достоинства никакого, но что делать — работа.

Хотя сейчас, конечно, высматривать некого и нечего. Можно подумать, что-то должно случиться только потому, что сегодня годовщина.

Но сижу, дежурю.

Я видел, как он повернул к дому. За ним не поехал, но смотрел на него с конца улицы. Он повернул в разрыв живой изгороди, между двумя квадратными кирпичными столбиками. В каждый вделан маленький фонарь, похожий на стеклышко, которое надо разбить при пожаре. Как и сейчас, тогда они горели. Приглашали его. Я видел, как его красные задние фары скользнули между двумя белыми огоньками. Потом я развернулся и уехал.

Сижу в темноте. Черный вкус. Я знал, что он явится.

Точно могу сказать, о чем никто на этой улице сегодня не думает. Где сейчас Сара Нэш?

Под фонарем на травяном бордюре — начатки инея, от которого к утру окоченеет вся зелень. Подернется жестким белым налетом.

В ночные дежурства, топая по своему маршруту или медленно курсируя в патрульной машине, я воображал, грезил, будто один на свете несу вахту. Можно подумать, я лично уложил весь мир спать и, если не я, он не увидит нового дня. Нелепость.

Бесчисленные дома, караваны домов, с трудом бредущих сквозь ночь. И надо же — утром все они на месте. Только благодаря мне.

Домá, домá. Ночной сторож — вот я кто. Поднять все эти крыши, точно крышки, — и что увидишь? В целом? Больше беды и ненависти, чем ты мог вообразить? Или больше тайного счастья, больше доброты и милосердия, чем можно себе представить?

Однако же этого нельзя сделать. Поэтому как узнать? И впрямь поднять крышу и заглянуть внутрь. Если ты не в полиции, другого способа нет.

Если в ней — "Откройте, полиция!"

57

Я, я во всем виноват. Я мог его остановить, мог вмешаться, у меня были для этого все возможности. В аэропорту, на автостоянке. Около дома в Фулеме.

"Мистер Нэш? На два слова".

А я, идиот, еще радовался.

Не думал... Посмотрел, как он повернул на Бичем-клоуз. Восемь тридцать пять. Мои труды окончены.

Хотя — не совсем. Всякая работа завершается отчетом. Об этой мне отчитываться не пришлось. Она хотела знать, *как* они попрощались (если попрощались): я должен был стать ее глазами. Как будто она сама, своими глазами сейчас не увидит.

Нет, не думал.

Он въехал в ворота четырнадцатого номера. Я развернулся и отправился домой. Как будто инструкция была такая: вернуть мужа, живым или мертвым. Как будто я стоял уже у его могилы и чувствовал, как рот наполняется чернотой.

Нет, Марш, я ничего такого не думал, я вообще не думал. Пока ехал оттуда, те десять-пятнадцать минут, — не думал ни о чем, как будто сам был уже мертвец.

Я почти доехал. Еще один мужчина на пути домой. И вдруг тормознул. Визг, скрежет. Без всякого перекрестка, без всякого красного света. Дорога и дорога. Стоп. Интуиция, Марш, — хотите, та́к называйте. Будто в грудь что-то ударило. Машина с новым визгом и скрежетом развернулась словно сама собой. Можно подумать, Сара мне позвонила, а не им. Мне бы еще сирену и мигалку, хоть и не полицейский.

Но и так выло и мигало: две полицейские машины (подъедут еще) и "скорая помощь". Уже в пути.

Я вернулся на Бичем-клоуз. Мог быть и бóльшим идиотом. И вновь возрадоваться, да? Или сидеть здесь — прямо здесь, — опустив голову на

руки? Интуиция? Все будет спокойно. Укромнейший Уимблдон. Мог опять остановиться с колотящимся сердцем. Идиот! Идиот!

Но есть вещи, которые знаешь. Это не глаз детектива. И даже не интуиция. Знаешь — и все.

Две полицейские машины и "скорая помощь" уже были на месте — как повторение чего-то виденного (в прошлом это была моя работа, мой хлеб). Появись я на пять минут раньше — был бы первым.

Я должен был вступить в игру, вмешаться.

"Мистер Нэш? Мы с вами не знакомы, но... я знаком с вашей женой".

Или — еще лучше, в тысячу раз лучше, — если бы я увидел, как они улетают вместе. Позвонил бы ей — сообщить. "Миссис Нэш?" Хуже и лучше. Что — мы никогда не узнаем.

Конечно, было бы лучше. Он не лежал бы в луже крови. Она не сидела бы рядом, дрожа. И пришел бы к ней в тот вечер, позвонил бы в дверь, вступил бы в игру — сколько раз я это воображал, репетировал! — всего-навсего я.

Туда, в аромат петуха в вине.

Я резко затормозил. Выскочил. Пробежал мимо констебля, только что поставленного у дома. Ничего ему не объяснял, он меня не остановил. Я крикнул: "Полиция! Полиция!" Вроде бы сказал еще: "Я детектив, я знаю, что делаю". Уличная дверь была открыта, я в нее. Внутри — обстановка совершённого преступления. Я много раз такое видел. Обычно кажется, что все погрузилось в глубокую заморозку.

Но сейчас было иначе. Совсем иначе. Тепло. Запах стряпни, восхитительной стряпни, обволакивающий тебя, как объятия. Боб — на полу в луже крови. В углу стол со свечой. Сара сидит на стуле и дрожит. Прическа, косметика — для праздника, для торжества. Жемчужное ожерелье, узкое черное платье. Я никогда ее такой не видел. Готовой для любви. Посмотрела на меня в изумлении, как будто не могла поверить, что это я. Но у нее и без того был изумленный вид, словно все теперь только и могло что изумлять, словно ей ничего не осталось, кроме изумления.

58

А он и правда улетел вместе с ней. Все равно что улетел. Был не здесь, а там, с ней, наверху (Сара, думаю, тоже это увидела). В спасительной вышине. Здесь, внизу — только его безжизненное тело.

А она, улетевшая, — что она знала? Что почувствовала? Внезапный трепет, холодок, тепло, ауру? Много ли призраков наблюдалось в салонах самолетов? Но самое лучшее — не знать. Самое лучшее — быть в таком месте, где ты не узнаешь. Как погиб брат, как погибли родители. Возвращалась выяснить? Детективная работа? Все бесчисленные лужи крови. Что там Уимблдон, что там Бичем-клоуз.

Самолет уже приближался к Швейцарии. Огоньки домов, окошки разбросанных по склонам игрушечных шале. Лунные отсветы на снегу, мерцание озера.

Узнала ли она потом? Случайно, намеренно? Или сурово распрощалась с этой частью своей жизни? Не в этом ли был весь смысл? Жесткое

лицо. И каменное сердце? Прошла на самолет, хотя могла побыть с Бобом еще.

И действительно вернулась в Хорватию? Она сейчас там?

Внизу огни большого заграничного города — приветствуют ее, плывут навстречу. Хорошая жизнь, яркая жизнь. Квалифицированная переводчица. Гражданка мира.

Мне представляется, что она до сих пор в Женеве. Мне представляется (воображение, и только), что она работает в ООН. Да, приехала на родину — в новую страну, — но с какой-то международной миссией, в составе делегации. Переводчица из ООН, наблюдательница. Официальный статус — но личные неформальные связи. Послевоенное восстановление, помощь в ликвидации последствий. Расследование военных преступлений. Работа, которая никогда не будет кончена.

Неуклюжие, неумелые миротворцы из ООН. Вечно опаздывающая международная полиция.

59

Сара скоро доделает свой перевод. Я этого не хочу. Она тоже. Спасательный трос. Отчасти — моя идея. Иной раз во время свиданий мы только про книгу и говорим.

Два года назад столик у "Гладстона", теперь комната для свиданий в тюрьме. Вот уж не думал тогда, что такое возможно: встречаемся обменяться записями о том, что произошло давным-давно. Ничего более настоятельного в нашей жизни вроде как и нет.

Катастрофой для них стала битва при Седане. 1870 год. Евгения в свои сорок с лишним лет была, считай, еще девочкой. Наполеона III наголову разбили пруссаки.

Беда, крушение. Жизнь изгнанника в Чизлхерсте.

В отличие от своего дяди — *того самого* Наполеона, — он не был великим полководцем, но все-таки он сам вел армии в бой и в более ранней войне, с австрийцами в Италии (что, спрашивается, они там делали?), выиграл два крупных сражения — при Маджженте и Сольферино. Он мог выгнать австрийцев из Италии совсем, но после Сольферино заключил перемирие. Одна из причин, утверждают, состояла в том, что он просто-напросто устал от кровопролития.

Я сам все это смотрел по справочникам. Домашняя работа. Маджента, Сольферино, Седан. Как в свое время читал про Дубровник. И вот на какую историю я теперь наткнулся.

Жил-был один швейцарский бизнесмен с большими планами в голове. В поисках влиятельных покровителей он решил дойти до самого верха — до императора. Поскольку Наполеон воевал в Италии, бизнесмен отправился туда. Но вместо императора увидел последствия битвы при Сольферино, и это изменило его планы и всю его жизнь.

На месте он сделал, что можно было, для раненых и умирающих. Вернувшись в Швейцарию, он посвятил себя уменьшению бедствий любых войн. Он основал Красный Крест, и много лет спустя это повело к принятию Женевских конвенций, к созданию Лиги Наций, а затем и ООН.

Красный Крест. Всем известно, что он не становится ни на чью сторону, — он просто оказывает помощь. Нейтральная организация. Благотворительность, милосердие. А Женевские конвенции — это, конечно,

не рецепт достижения мира, там просто говорится (и это почти нелепо), что если уж надо воевать, если уж люди решили убивать друг друга, то это нужно делать по определенным правилам.

Швейцария, где я никогда не был, славится как нейтральная и спокойная страна, как место, куда весь остальной мир приезжает разбираться со своими бедами и тревогами. Чистый воздух, санатории, масса снега. Еще банки, шоколад, наручные часы. Цивилизованная страна. Загвоздка, говорят, в том, что скучновато. Мирная, ничем не волнующая страна.

Я никогда там не был, но думаю о Кристине, которая была. Может, она и сейчас там.

Кто захочет, чтобы весь мир был как Швейцария? Хотя разве не так устроена жизнь всюду, где спокойствие, где цивилизация? Огоньки домов между деревьев, тихие улицы, где ничего не происходит. После поражения под Седаном Наполеон и Евгения вполне могли уехать в Швейцарию. Какая-нибудь вилла у озера. Вместо этого они поселились в Чизлхерсте на будущем поле для гольфа.

Так чего же мы на самом деле хотим? Спокойствия? Тревог?

Элен, думаю, перестала меня понимать. В свое время в критическую минуту она пришла мне на помощь, как Красный Крест (хотя нейтральна она не была). Но это, теперешнее... Такого она даже представить себе не могла, не то что пожелать. Эта "женщина в моей жизни". Что я год за годом буду раз в две недели ездить на свидания к заключенной. К убийце.

Думаю, она тревожится за меня. Странным образом мы поменялись ролями. Моя колючая, ершистая дочь, которая вечно со мной воевала. Я не понимал ее ни в какую. Теперь все наоборот. Такая вот у нас подспудная любовь: не то чтобы тайна за семью печатями, но совсем уж в открытую проявиться не может.

С ее Клэр я в конце концов познакомился — когда они действительно начали вдвоем собственное дело. Интерьерный дизайн. Разве можно было не пригласить меня на скромное торжество по случаю создания новой фирмы? И первая мысль у меня, когда я увидел Клэр, была вот какая: она — жена, Элен — муж. Такие мысли, может, не должны приходить в голову, но что делать.

Маленький офис в Ноттинг-Хилл, маленький, но стильно оформленный. Еще бы, раз интерьерный дизайн... Вино и легкая закуска на подносах. Незнакомая мне публика. Сразу стало ясно: Клэр — радушная хозяйка, физиономия, обращенная к людям. Всегда наготове улыбка, шутка. А Элен — деловой мозг.

Год с небольшим назад. У меня тогда мелькнула мысль: может быть, Элен потому так долго не знакомила меня с Клэр, что боялась? Вдруг я положу на нее глаз? И поскольку я холост и, случается, не прочь пошалить...

Я мог причинить неприятности.

Но теперь я был, можно сказать, пристроен. И для Клэр на этом фуршете я, наверно, был всего-навсего диковинкой: отец Элен, в прошлом полицейский (из-за чего-то там уволенный), а в настоящем — частный детектив, ввязавшийся в... историю. С убийством! Дело Нэшей. И эта странная... привязанность.

Диковинка. Чудак.

Я все-таки положил глаз на Клэр — насколько мог на кого-либо. Симпатичная женщина. Быстроглазая, речистая, из тех, что, говоря с тобой, придвигают лицо близко-близко. Из тех жен, что беседуют и очаровывают, в то время как муж посиживает себе в углу и довольно улыбается, зная, что ему завидуют. Хотя и он порой бывает чуточку встревожен.

Мужа, конечно, никакого не было, но я видел, что это похоже на брак. Я мог сказать Элен (хотя как такое скажешь?): поздравляю, отличный выбор, у тебя хороший вкус по этой части.

Клэр водила меня по всему офису, подливала мне вина и держала меня под локоток, точно я пришел с холода или прибыл из какой-то далекой страны. Таинственный гость.

И конечно же не было никакой зацепки... Разве что одна, вполне невинная.

"Элен говорит, вы прекрасный повар..."

Интерьерный дизайн. Что ж... У Элен и Клэр тоже будут клиенты. Интерьер, адюльтер... Кому что. Я подумал: одна и та же игра. Обзаводишься офисом, обслуживаешь людей. Фотоателье отца в Чизлхерсте рядом с цветочным магазином. Моя маленькая контора над "Центром загара". Правда, у меня немножко по-другому. Я для них — последнее средство.

И я сам немножко другой. Под конец — охота. Два глаза в темноте.

Ткани и расцветки, шторы и обои. Хорошая жизнь, приятная жизнь, вечерний свет в окнах. Во что превратилась моя необузданная дочь, моя фанатеющая от искусства дочь?

Спокойствия? Тревог? На что нам, собственно, цивилизация? Моя игра называется "супружеские проблемы". Игра не всегда милая и приятная, но я же не Красный Крест. И, занимаясь "супружескими проблемами", я повидал немало пар, которые распались, затеяли жестокую войну только потому (насколько я мог судить), что за годы безопасной, ровной и спокойной жизни что-то теряется, утрачивается, людям становится скучно.

60

Сижу в машине, смотрю. Одному Богу известно, что рассчитываю увидеть. Домам хоть бы что. Куча всего может в них произойти, но они не вздрогнут, не пошевелятся. "Здесь умер Наполеон III".

Но, конечно, они знают — люди, которые сейчас там, кто бы они ни были. Именно здесь, именно в этот вечер. Здесь, еще на год раньше, все и началось — с наилучшими намерениями у каждого из троих. Боб, Сара, Кристина. Добрая сказка, мини-Швейцария.

До того как в игру вступил я.

Задернутые шторы. Янтарный свет. Сколько раз я сидел вот так, смотря, но не видя, догадываясь, но не зная? Как понять, что делается внутри?

Я мог всю жизнь прожить и не знать. Удар в грудь. Хотя при чем тут знание? Мы были едва знакомы. Виделись три раза. Чашка кофе, бокал вина. Сара Нэш, моя клиентка. Я не так ее знал, чтобы понимать, на что она способна. И вместе с тем знал, понимал, крутанул руль, повернул машину. Я настолько же ее не знал, насколько она сама себя не знала.

Не только не иметь и не владеть — еще и не знать. Этот случай не похож на другие, которые попадают в досье, в архивы. В те архивы, что в

шкафах, и в те, что в головах. Фото, отпечатки пальцев, особые приметы. В этом случае досье потеряно и никогда не будет найдено. Да, несправедливо, вне границ, не по закону – зато тут имеется другая сторона. Кто бы ты ни был, что бы ты ни сделал – всегда есть кто-то, кто не позволит *тебе* пропасть.

Переход границ, нарушение закона. Я ведь тоже не знал, кто я и что я, тоже не знал самого себя. Крутанул руль. Понесся через Уимблдон, вверх по Уимблдон-Хилл-роуд. Казалось – лечу в космической пустоте.

Остановился на этом самом месте. Метнулся мимо констебля. Он же бобби, фараон, мусор... Полиция. И оказался на месте преступления. Все глаза на мне, как будто я злодей, пришедший с повинной: я убил, я.

Сара сидела на стуле. Выглядела – в своем собственном доме – так, словно тоже явилась ниоткуда, из другого мира. Рядом стояла женщина из полиции – женщина, которая в других обстоятельствах, при другом раскладе могла бы обнимать Сару за плечи. И если я не знал этого раньше (я знал), то уж точно знал сейчас. Если не чувствовал раньше, чувствовал сейчас. Удар в грудь. Ножом.

Между нами лежал труп Боба. Мы изумленно посмотрели друг на друга. Я мог заявить об этом вслух, прямо на месте, под присягой, в присутствии свидетелей из полиции. Везде и всюду. В любом уголке земли. И дальше.

61

Рита спросила:

"Но ведь нельзя сказать, что у нее не было другого выхода?"

Глядя на меня уклончиво и в то же время проницательно, мягко-остро, как будто была разновидностью Марша, Маршем в светло-розовой кофточке, и как будто мой кабинет превратился в полицейский участок. Мой собственный кабинет – но Рита словно бы притащила меня сюда в наручниках и давай допрашивать.

"Кроме как пырнуть его ножом. Отомстить такой местью".

Глядя на меня уклончиво, но с оттенком торжества. Да, Джордж, не рассчитал ты глубину. Но ничего, сейчас ты снова на берегу, на твердом берегу со мной.

Крепкий сладкий чай. Даже не спросила, хочу я или нет. Даже не спросила, можно ли ей подсесть к моему столу со своей чашкой чая. Утро следующего дня. Она кое-что знает о таких утрах. Вспомнила, может быть, свою собственную маленькую месть – или что это там было? Когда я ждал в машине и смотрел на окна дома. Пожелайте мне удачи.

"Нет, Рит, это не месть была".

Мой кабинет в девять утра. Привычный – и совершенно чужой. Я не ложился всю ночь. Такое бывает – профессия. Но чтобы самому попасть под расследование...

А теперь под Ритино.

"Не месть".

"А что же?"

В этот момент все могло выйти наружу. Рите можно признаться, ей все можно рассказать. Своими словами, времени у нас довольно. Но я таращился в чашку с чаем, стискивал ее, словно был в шоковом состоянии. Что, кроме какого-то застарелого, идиотского чувства долга (долга?), вообще привело меня сюда этим утром?

Я поднял глаза. Рита, казалось, готова была на меня наброситься.

Вернулся — и не вернулся, Джордж — и не Джордж. Больше похож на диковинного, непредсказуемого зверя в зоопарке.

Джордж, могла она сказать, ты выглядишь так, что повеситься хочется.

А если бы в тот давний вечер, когда она решительно двинулась по дорожке к дому, все обернулось иначе? Обернулось бедой? А если бы она явилась обратно диким, новым, пылающим существом, держа на весу разведенные руки?

"Не месть? Что же тогда? — вскинулась она. — Несчастный случай? Самозащита?"

Сдержалась, прикусила язык, но я увидел это мысленно — всю картину: Сара на скамье подсудимых, Рита в числе присяжных. Весь суд присяжных — одни Риты. Дело ясное, чего тут думать: закатать суку пожизненно.

Мне кажется, она поняла, что я это вижу. Вдруг посмотрела на меня так, будто меня куда-то уносит. Лицо опять стало мягким — презрительным и мягким в одно и то же время.

Глубину не рассчитал, идиот, и все еще там, барахтается в потоке.

А она и допрашивает, и руку протягивает.

"Если бы хотела отомстить, — спросил я, — разве так себя бы вела? Разве привлекла бы детектива?"

("Привлекла"!)

"Когда я позвонил из аэропорта, тон у нее был такой... такой..."

Наконец — что-то неподвластное мне в моем голосе. Рита опустила чашку на стол. Этого-то и ждала — как с клиентами, когда поднос наготове. Медсестра Рита.

"...радостный".

Мой кабинет. Ковер цвета овсянки. Контрастные ящики для досье — одни черные, другие сургучно-красные. Все Ритина работа. Ваза с цветами. На стене фотографии в рамках: Уимблдон столетней давности. Лошадь с повозкой у паба "Роза и корона". Почему это должно хорошо действовать на клиенток — понятия не имею.

Элен зашла однажды, окинула все быстрым взглядом. Думаю, вычислила Риту мгновенно.

Я опомнился, взял себя в руки.

"Так что кто знает, — сказал я. — Кто знает, как это случилось".

Достаточно твердо посмотрел Рите в глаза.

"Кто знает", — повторил я.

Ей впору было фыркнуть. Кто знает? И это говорит детектив? Я — вот кто должен знать, вот кто должен был выяснить. Моя работа. К тому же я, получается, *был там*, видел весь этот дурдом как он есть.

Конечно же я знал. И Сара знала, что я знал. И я знал, что Сара...

Этаким профессиональным фырком. Но не стала — лишь еле заметно покачала головой. Дурдом. Заплыл, идиот, черт-те куда. Сам не подозревает куда. Как будто я так же обречен, как Боб Нэш, так же заслужил наказание.

Взяла свою чашку.

"Ладно, — впору ей было сказать, — поглядим. Месячишко пройдет — будет видно".

Взяла мою чашку. "Еще чаю?" Голос почти угрожающий. Медсестра Рита. Пациент — намучаешься.

Чашки в руке точно конфискованные.

“Так или иначе, ты, по-моему, не в рабочем состоянии. Поезжай, отдохни, я справлюсь одна”.

И все-таки не сдержалась.

“Эта миссис Нэш, я тебе скажу... Та еще паскуда”.

62

Конечно, был только один возможный исход, один возможный приговор. Признание вины — налицо. И Маршу не было нужды возиться с таким посторонним персонажем, как я.

“Я это сделала, — сказала она. — Взяла нож и сделала это”.

Коротко и ясно. И Маршу, который через месяц будет вольной птицей, не было нужды разводить со своим последним делом канитель — разве только именно потому, что оно последнее. Если последнее — тебе с ним не развязаться до конца дней.

Я вижусь с Маршем примерно раз в месяц. Мы играем в гольф. Обычное занятие для бывших полицейских. Мы не то чтобы подружились, но и не разрубили связь, возникшую, когда мы сидели друг против друга за столом в комнате для допросов. Его время кончалось — ну а я, отбракованный, словно бы хотел обратно.

Решать было ему, но предложил я. Как это назвать — рука помощи, доброе побуждение?

“Может, нам стоило бы встретиться, посидеть где-нибудь — когда вас отпустят. Мой телефон у вас есть. Кстати, если вы играете в гольф...”

Решать было ему. И он позвонил — месяца через три. Уже его доброе побуждение? Неизвестно.

Тебя отпускают на все четыре стороны. Солнечный круиз, коттедж на берегу моря — пожалуйста. Времени сколько хочешь. Но не так все просто — что-то тебя грызет, гложет. Утро за утром просыпаешься, словно какое-то дело еще не раскрыто.

Он, конечно, знает про мои свидания два раза в месяц. Даже спрашивает, точно о больной жене: “Как она?” О женщине, которую именно он отправил за решетку.

До сих пор иногда глядит на меня как на больного, как на сумасшедшего. Но, в конце концов, он же сам набрал мой номер.

“Как она?”

“По-всякому”.

(Не отвечать же: “Нормально”.)

Смотрим на удары друг друга. Ходим друг за другом по травке. Мы оба, конечно, не мастера высшего класса, но я играю получше (мальчиком еще набил руку). И все же иногда — я думаю, он знает — я нарочно даю ему выиграть. В конце концов, он в некотором смысле выше меня рангом (хотя я, сложись все иначе, дослужился бы до суперинтенданта). Для меня, впрочем, дело не в гольфе как таковом, дело в обстановке. Люди ходят, беседуют. Можно говорить, глядя в другую сторону, не в лицо, да еще прикрывая от солнца глаза рукой, чтобы наметить траекторию.

Хороший дальний удар — и мяч будет лежать где-то там и тихо, терпеливо ждать. Ветерок в листве берез, запах подстриженной травы. Бывают минуты, когда на поле для гольфа чувствуешь себя в полной, нерушимой безопасности.

Ну и, конечно, когда представился удобный момент, я предложил ему работу. Импульсивное побуждение или серьезный, рассчитанный шаг? Не знаю. Само собой, я не упустил из виду деловые стороны. Партнерские отношения — или я всегда буду начальником? Я подумал о моих теперешних посторонних занятиях. Свидания, домашние работы. И кто знает, куда мне придется ездить через год, через два? Я подумал, конечно, и о Рите.

Времени сколько хочешь. Но ты как неприкаянный, что-то ест тебя изнутри.

Он размышлял, всерьез размышлял. Своего рода убежище. Отставной полицейский с беспокойным, ищущим лицом. И может быть, брал в расчет вторую возможную выгоду. Если принять предложение, если начать со мной — у меня — работать, то, может быть, я разговорюсь. Он тогда услышит наконец всю историю.

Но он отказался. Причину я и сам понимал, хотя он сформулировал ответ очень аккуратно. Не для него, не его работа. Шпионить, ставить жучки под кроватью, ловить мужей на неверности. Внезапная правильность в лице, взгляд школьного учителя.

Так что — партнеры по гольфу, и только. Отношения мы поддерживаем (и предложение формально остается в силе). Иногда я думаю, что я для него вроде няньки, иногда он, видимо, думает, что он для меня. И по-прежнему рассчитывает когда-нибудь услышать всю историю.

"Я это сделала, — сказала она. (Что еще она могла сказать?) — Что-то на меня нашло, и я это сделала".

Они все так говорят, каждый своими словами (мне не раз приходилось слышать), — те, кого это застигло врасплох, кто не собирался и даже в мыслях не имел, а теперь изумлен делом рук своих. Что-то на меня нашло. Как будто это и он был — он не отрицает, — и кто-то другой.

"Я это сделала". Точка, конец истории. Маршу не было нужды вгонять меня в пот на допросе. Можно подумать, я вдруг возьму и скажу: "Да, так оно и есть. Тут замешан кто-то другой, и он сидит перед вами. Я — вот кто главный преступник".

Можно подумать, я в тот вечер сидел снаружи и ждал. Машина наготове, чтобы вместе скрыться. Ждал, чтобы это произошло, знал, что это происходит. Нет, такого по крайней мере я не делал.

Он вернулся, но призраком, мертвецом. Призрака разве можно убить? Лезвие проходит насквозь без сопротивления.

Он оставил "сааб" на дорожке. Там, конечно, машина и стояла чуть погодя, загораживая путь "скорой помощи" и полиции. Он не въехал, как обычно, в гараж, хотя въехать было бы очень просто — дверь гаража автоматическая. Но ведь это не был обычный день. Можно подумать, он не собирался пробыть долго — так, заехал на минутку. Или лучшее объяснение: она услышала машину и уже подошла к двери. Уже там стояла.

Кто стал бы в такой ситуации канителиться с гаражом? Кто не кинулся бы жене в объятия?

Но она к двери не подходила. Это было установлено. Дело в другом. Разве призраки думают о гаражах? Она услышала звук, хруст камешков под шинами. Но захотела дождаться (я это знаю) другого звука, решающего. Ключ в замке. Ключ, которым открывает дверь возвращающийся

муж. Всего-навсего ключ, но никто другой его так не поворачивает. Ключ в двери, ведущей в жизнь.

Так что ждала. Простые, необратимые секунды. А если бы подошла к двери? Если бы стояла на свету, пока он стоял в темноте? Кто знает?

Эти вопросы она вновь задает себе сегодня, задает и будет задавать вечно, перебирая секунду за секундой. Она хотела встретить его в теплой кухне, хотела, чтобы он вдохнул аромат ее стряпни — аромат, конечно же, ему знакомый.

Промозглый ноябрьский вечер. Снаружи остро пахнет гниющей листвой. Он вышел из машины, двинулся по дорожке. Его последние шаги, но он этого не знает. Хотя его ли шаги? Что он здесь делает? Он остался — оставил себя, считая за мертвого, — в той квартире. И словно бы уже отправился навестить свое прошлое, жизнь, которая у него когда-то была. Комфортабельную, завидную жизнь. Дом. Жену, которую он раньше любил. Она должна по-прежнему быть здесь.

Он пошел к дому. На веранде, куда вела незапертая дверь, горел свет. Дальше — другая дверь, собственно входная. Он мог бы задержаться там на некоторое время, постоять между двумя дверьми, проходя декомпрессию, привыкая, приспосабливая легкие, как ныряльщик, чувствуя, что это его последний шанс снова стать самим собой. Но Сара сказала, что после мягкого щелчка внешней двери звук ключа раздался почти немедленно. Она сочла это отсутствие паузы хорошим знаком. Ключ в замке.

Сказала — сердце у нее прыгнуло. Ее слова. Именно так: прыгнуло. Что она сказала Маршу — не знаю. Конечно, это просто такое выражение: слова — одно, органы тела — совсем другое. Вдруг она почувствовала, что ключ повернулся прямо там, в ее сердце. Просто выражение, и любой врач — такой, как Боб Нэш, — объяснит, что сердце предназначено для перекачивания крови и больше ни для чего. Оно не падает, не обрывается и не прыгает, и в нем никак не может повернуться ключ. Никак.

Он открывает дверь. Входит в прихожую. Кухня — налево. Он делает несколько шагов к открытой кухонной двери, и запах набрасывается на него, мигом окружает. Знакомый, неотразимый запах, но Боб, что с ним ни делай, не в состоянии его определить, не в состоянии ни к чему привязать, запах только дает ему почувствовать, какая малая его часть находится здесь. Он слышит голос жены. Входит в кухню. Да, это его дом, его жена, но все кажется ему совершенно чужим. Она понимает это по его глазам. Улыбка сходит с ее лица.

Кухня — как объятие. Теплый аромат. На столе в углу — зажженная свеча. На жене черное платье, он смутно припоминает, что когда-то ее в нем видел.

Фартук она сняла. Что-то резала и тут услышала машину. Вытерла руки, сняла фартук и двинулась было к двери, но решила дождаться ключа. Улыбка (которая теперь погасла) отчасти была просто улыбкой облегчения. С тех пор как я ей позвонил, прошло почти два часа.

Что такое запах? Он приходит откуда-то издалека, из давнего времени. Он должен делать свое дело вопреки всему. Он должен через ноздри послать сигнал желудку, чтобы овладеть органом, который находится рядом с желудком. Но у Боба словно бы не осталось ничего внутри — опустошен, выпотрошен. И она это видит.

Он, может быть, надеялся спастись, вернуть себе жизнь. Вот почему он здесь. Волшебная палочка, волшебное зелье. Что такое запах? Но поздно — он слишком далеко зашел. И она это видит.

А что у нее в руке? Отнюдь не волшебная палочка.

Она это видит. Он знает, что она это видит. Он знает даже, что не спасаться сюда пришел.

Кто к кому движется? Оба они друг к другу. Ни он не мешкает, ни она. Как будто фильм крутят назад: жертва бросается навстречу удару, который ее сразил. Трюк, прием. Но она сама мне это сказала (мне, не Маршу).

Участвовало двое. На него тоже что-то нашло.

И, разумеется, она без всякой практики, без тренировки (чем тоже наверняка озадачила Марша) безошибочно нашла точку — ту самую, единственную. Не целясь, не примеряясь — без промаха, даже ребро не задела. Что-то берет над нами власть. Что-то словно вело ее руку.

Да, она это сделала. Схватила нож. Это случилось. Ни она не могла заранее знать, ни он. Этого никогда не знаешь. Пятилетняя девочка в ателье моего отца, у вазы с цветами.

63

Сколько улыбок он выманил за все эти годы...

Говоря это, она сама улыбалась. Вот какую память он по себе оставил: горы улыбок, жизнь, полная улыбок. Хотя, конечно, это был его хлеб, его заработок, и половина из этих улыбок были ненастоящие: фокус-покус, секунда — и все. Его профессиональная задача: добыть улыбку вопреки любому настроению, нежеланию, сопротивлению. И так она теперь и останется, черно-бело-глянцевая и вечная, как будто она и есть истина.

Но у моей матери улыбка была неподдельной и постоянной, не имеющей ничего общего с фотоаппаратом (хотя именно с него все началось однажды летом в Бродстэрсе). Он умел заставить ее улыбнуться — этого она не могла отрицать. Надо же, даже сейчас, когда его нет.

Скамейка. Смогу я ей с этим помочь? Его имя, а потом, когда придет время, — и ее. Независимо от того, что она теперь знает.

Конечно, я обещал. Обещал и сделал. Одно имя и другое, с не таким уж большим, как выяснилось, интервалом — я еще служил тогда в полиции.

Можно хоть сейчас отправиться в Чизлхерст-коммон и посидеть там на скамейке с именами Джейн и Фрэнка Уэббов, поставленной их сыном Джорджем, бывшим полицейским, чье имя там не значится.

Хотя прошло больше десяти лет, древесина сохранилась хорошо — добротный тик, резные буквы. Но когда придет время, я позабочусь, чтобы скамейку заменили. То же место, точная копия.

Сара, конечно, все это знает. Я изложил письменно. Моя домашняя работа.

Но я утаил от Сары — не знаю почему, ведь в этом вся соль истории, — что в жизни и даже в смерти моего отца была другая женщина, которую он, должно быть, любил — иначе разве произнес бы ее имя, умирая?

Я утаил это от Сары, как утаил от матери, что много лет об этом знаю.

Я написал Саре только про скамейку.

“Поможешь мне с этим?”

После его смерти прошло всего недели две.

"Ну конечно".

"Спасибо тебе, Джордж..."

А потом она рассказала мне (я не знал), как папа впервые взял в руки фотоаппарат – до того как стал этим зарабатывать, до того как сделался пляжным фотографом и начал снимать гуляющих в выходные дни девушек.

Это было в армии. Когда он приехал в Германию, война только-только кончилась.

"Перемещенные лица", – сказала она.

Ему дали фотоаппарат и объяснили, как снимать. Он должен был делать снимки перемещенных лиц для досье – да, в точности как в полиции. В беженцах и узниках концлагерей не было недостатка.

"Это была его работа, – сказала она. – Сотни и сотни перемещенных лиц. Кто-то должен был это делать. И нельзя было им сказать: 'Улыбочка!'"

"Перебери все случаи, – говорил Чарли Роз, – когда люди покупают цветы..."

Что ж, одним из случаев стали похороны моего отца. Другим – матери.

Можно даже в тюрьму послать цветы – из определенного магазина.

"Перебери все случаи, и поймешь..."

Всего-навсего одна из дежурных фраз, которые он повторял всем и каждому. Большой, толстый мужчина, зарабатывавший на жизнь цветочками.

Другая вот какая: "Я два умных поступка совершил в жизни, и второй был – открыть цветочный магазин". Тут он бросал на тебя острый взгляд, намекая, что твоя очередь подать реплику. Но даже если ты не реагировал, он продолжал: "Что – хотите знать, какой первый?" Волей-неволей приходилось ему подыгрывать – мол, очень хочу. "А вы на нее смóтрите, – говорил он. – Вот мой первый умный поступок". И он кивал на свою жену, на Кэти Роз.

Рита сказала – хватит, так дальше идти не может. Кончай этот дурдом! Кончай ради себя же самого!

Вот уж кто не смягчает, не разводит церемоний. Открыла мою дверь без стука, ворвалась – налет, да и только. И я вспомнил про ее мужа в том доме, за той дверью – про мужа, которого я в глаза не видел. Рита явилась к нему сказать, чтó она о нем думает. А теперь, похоже, моя очередь.

"Очнись, Джордж, ну очнись, ты же взрослый человек, чтоб тебя!"

Кто-то же должен меня вразумить. Так дальше идти не может.

Но это шло и шло – год уже шло к тому времени. Она влетела ко мне наутро после моей первой поездки в Патни-вейл. Первая годовщина. Я об этом ей не сказал, но она и так знала. Одна из дат в ее календарике. Сказал только, что уезжаю, что меня не будет всю первую половину дня. Но ей, может, больше и не надо было, чтобы понять. Может, смотрела (и тогда, и сегодня), как я иду через улицу в цветочный магазин Джексона.

В тот день смолчала, как и сегодня утром. Прикусила язык, ждала. Ее знак уважения – через силу. Может быть.

Зато теперь...

А я, как дурак, раскололся, сказал ей все, когда вернулся. Словно подумал, что она так и так меня засекла. Словно подумал, что она *была* там, выследила меня, ездила за мной в Патни-вейл, видела меня на месте преступления.

Я в первый раз тогда провинился, и с ее стороны это было только предостережение – жесткое предостережение. Все, пора кончать!

"Цветы! Рехнуться можно. Дурдом. Мало ему этих идиотских свиданий. Цветы – на *его* могилу от *ее* имени!"

Цветы, между прочим, были в то утро и в моем кабинете. "Цветы для офиса". Желтые хризантемы в вазе.

Должно быть, так она положила, так рассчитала: подождать до утра. А там уж начистоту, всю правду. Если время само по себе, год целый, не подействовало – надо ему сказать. Надо этого идиота встряхнуть как следует.

Может быть – последний шанс для нее. И для идиота, может быть, тоже.

Она, наверно, собиралась с духом, разглаживала юбку, решалась.

Теперь я понимаю, что это не был совсем уж неуправляемый взрыв. Все ради меня же самого. Лицо пылало (выглядела – залюбуешься), но глаза светились прохладнее и ровнее. Думаю, она считала, что я просто-напросто впадаю в уныние – в жалкое, глухое, тяжелое уныние. И не хотела этого допускать, искренне не хотела ради меня.

"Скинь это с себя, Джордж".

И, наверно, она понимала: все или ничего. Храбрая! Это могло обернуться против нее. Все ее залпы. Если не получится, если я не скину это с себя, что ей останется? Одно уныние.

"Ну как ты не видишь? Год. А сколько их еще? Ты даже не знаешь. Пойми, тут глухо. Без толку. Пустой след".

Глухо. Она очень даже звонко это сказала. Пустой след. Наше выражение, детективное. Бывают удачи, находки – предъявляешь результат, кладешь в карман денежки, – а бывают, конечно, пустые следы...

Всего-навсего выражение, но я мысленно это увидел. Длинная голая каменистая дорога.

"Рита, сядь. Сядь, бога ради. Стоять-то зачем".

Но есть вещи, заявила она, которые лучше высказывать стоя. И она их высказывает, потому что промолчала бы – чувствовала бы себя виноватой.

Ее надежда и ее риск – хотя вначале казалось, что особого риска нет: какой мужчина в конце концов не образумится? Какой мужчина навечно свяжется с убийцей?

Встряска, предостережение – но все было зря. Ничего не помогало, и она это видела. Да и момент вряд ли был выбран удачно – скорее уж совсем неудачно. Утро следующего дня. Стоит и отказывается сесть. Вдруг – словно это я позвал ее в кабинет, позвал сделать внушение, распечь. А то и сообщить об увольнении.

Вот как все повернулось.

Взрывы, фонтаны. Свет в ее глазах превратился в клейкие отблески. Но будь она проклята (и я это видел), если этому поддастся. Проклята! Поддалась однажды, давно, – и хватит. И тогда-то не надо было. Ноги твердо уперты в пол, голова вскинута.

"Да сядь же ты, Рита, прошу тебя".

"Не хочешь слушать — не надо. Черт с тобой, буду я еще... Дурдом. Твоя жизнь — ну и живи как знаешь".

"Рита..."

Теперь ей только и оставалось, что закрыть рот, поджать губы и повернуться ко мне задом, мстительно утешаясь тем, что бывают зады свободные, а бывают запертые. Теперь ей только и оставалось, что говорить себе: я сделала все возможное. Польза, правда, нулевая.

Только и оставалось, что выйти и плотно затворить за собой дверь. Не хлопая — бывают обстоятельства, когда не хлопаешь. Ужасная тишина, молчание по обе стороны двери, и ей только и оставалось, что молить телефон о звонке. "'Уэбб Инвестигейшнз', слушаю вас" — и мы, как роботы, опять пошли бы каждый по своей программе.

Ей только и оставалось, что держаться за свое достоинство, приспособиться, взять *себя* в руки. Тяжелый случай...

Что ж, он может получить мою жалость, если захочет — если согласится на жалость. Я не против... Хотя мог бы получить куда больше.

Тяжелый случай — тоже случай, конечно. Но нельзя заниматься "случаем" всю жизнь.

Я мог бы остаться тут на всю ночь. Словно хочу это предотвратить, сделать случившееся неслучившимся. На этот раз — все по-другому. Глядите-ка, вон они там вместе, прямо сейчас: Боб и Сара. У себя дома, счастливы.

Номер четырнадцатый выглядит спокойным и неопасным. Может ли дом быть оправдан, избавлен от ответственности перед людьми? Не его же вина. Если кто-нибудь посмотрит на улицу в одно из этих мирных окон, он, может быть, представит себе все совершенно иначе: это я здесь зловредный элемент. Там машина какая-то стоит и стоит, в ней мужчина, что ему здесь надо?..

Мне полагается быть у себя дома, в тепле. Работа мне не по возрасту, но что делать — это в крови. Ночной дозорный.

Не волнуйтесь — я просто еду мимо, остановился на минутку, смотрю, все ли в порядке.

*

Включаю зажигание. Почти двадцать минут шестого. Еще три часа с лишним. А без четверти шесть у меня встреча с миссис Лукас — показать ей фотографии. Рита будет посматривать на часы, ждать моего ключа в уличной двери. О господи! Но нет, Рита не из тех, кто берется за нож.

Никто не из тех.

Разворачиваюсь и уезжаю. Вот я здесь и побывал. Знаю, что через год побываю опять. И здесь, и на могиле. И еще через год...

Налево и вниз по Уимблдон-Хилл. Что-то во мне разгорается. Словно я дом в ночи — черная каменная оболочка, освещенная изнутри.

65

Трудно представить себе императора в Чизлхерсте... Хотя, разумеется, он уже им не был. Бывший император, низложенный император — сухая шелуха, и только. Жить оставалось меньше двух лет.

Napoleon III, Empereur des Francais y mourut...[1]

Властитель поля для гольфа. Восемнадцать лунок, над каждой флажок — точно знак маленького завоевания. Правда, тогда это еще не было поле для гольфа. Просто частное владение. И сам Чизлхерст, как и Уимблдон, более или менее походил тогда на деревню, еще не завоеванную лондонскими пригородами. Лондон на марше. Пригородная империя.

И все же я невольно воображал, как он глядит в окно гольф-клуба — этого пристанища свергнутых императоров — на нас, которые возвращались в то воскресное утро, недосчитываясь одного мяча.

Как будто мы могли бы представить для него интерес.

Почти сорок лет уже.

Разумеется, он не глядел тогда ни в какое окно. Это я гляжу в окно своей памяти. Папа, я, папин разговорчивый приятель — как его, Дональд? Точки вдалеке...

Но и Наполеон III, глядя в окно, глядел, должно быть, большей частью в даль своей памяти — потому что он был только то, что осталось от императора, жизнь была, считай, прожита. Так что на зеленых просторах, которые станут потом полем для гольфа (о чем он понятия не имел), он мог рисовать себе все, что было раньше. Дым сигары, может быть, становился дымом кровопролитных битв. Маджента, Сольферино, Седан.

Мой отец не был силен по части глубокомысленных изречений, но однажды я услыхал от него — думаю, он подхватил это от кого-то в гольф-клубе, — что где поля для гольфа, там цивилизация и где цивилизация, там поля для гольфа. Заявление довольно-таки сомнительное, хотя большинство сотрудников полиции приличного ранга с ним бы согласилось.

А что сказала бы мама? "Где универсальные магазины..."? "Где парковые скамейки..."?

А Элен? "Где Искусство..."? "Где интерьерный дизайн..."?

А сам Наполеон? Зеленые просторы. Голубой дым.

Он — Сара мне все о нем рассказала — любил поразвлечься. Другие женщины. Он называл свои романы "шалостями". Безупречным их с Евгенией брак не назовешь. Императорские ссоры — без них не обошлось. Но и у нее были свои развлечения — другого рода: по части политики, государственных дел. Его епархия. Поговаривали даже, что на самом деле у власти стоит императрица. И она иной раз водила мужа по довольно-таки несчастливым дорожкам.

По крови была испанка. Самоуверенная, целеустремленная, красивая. Но преданная. А он вечно отвлекался (шалил), нервничал, проявлял нерешительность. И не слишком хорошо для полководца умел командовать.

Но она сделала на него ставку, связала с ним судьбу. После катастрофы под Седаном она в карете бросилась из Парижа на побережье — уже не императрица, а всего-навсего беглянка. В любой момент ее могли остановить, вытащить из кареты и убить. А когда она уже была вроде бы в безопасности на английском судне (занимательная вышла история!), в Ла-Манше разыгралась страшная буря и она едва не утонула.

И все это для того, чтобы осесть в Чизлхерсте.

1. Здесь умер Наполеон III, император Франции *(франц.)*.

Она приехала туда первая. Ему пришлось труднее — он попал в плен к пруссакам. Она ждала его. Неизвестно было, отпустят ли его вообще.

А когда они уже были в Чизлхерсте вместе и в безопасности, во Франции началось черт знает что.

Сара, помимо прочего, стала моей учительницей истории.

Как они произносили это слово? "Чи-излэрст"?

Ее здоровье было в полном порядке, а он был уже серьезно болен. Камни в желчном пузыре. Под Седаном, придя в бешенство от болей и от приближающегося поражения, он пришпорил лошадь и поскакал под самый огонь.

Но не судьба. Он умер в Чизлхерсте в своей постели.

...le 9 Janvier 1873[1].

Она пережила его почти на пятьдесят лет. Умерла в девятьсот двадцатом. И, насколько я понимаю, вполне могла своими глазами увидеть, как участок около их дома, около их резиденции в изгнании превращают в поле для гольфа.

Почти пятьдесят лет. Вот самая странная часть этой повести. Знаю, что именно эта часть больше всего интересует Сару. Двадцать лет замужем. Семнадцать лет императрица. И почти пятьдесят лет потом.

Половина жизни еще оставалась непрожитой. Она, как и раньше, была не прочь поразвлечься — хотя теперь уже по-другому. Боевая, вздорная, далеко еще не старушка, всегда готовая рискнуть. Автомобили — эти диковинные новые штуки. На яхте по Средиземному морю. Годы в ранге императрицы, должно быть, казались ей сновидением. Ездила в Париж — останавливалась в отеле.

Но очень странно вышло. Их сын, который мог стать императором, погиб в британской армии, воюя с зулусами. Второй тяжелый удар в ее жизни. Ей оставалось еще сорок с лишним лет.

И самое, может быть, странное — что за все время ни одного мужчины. Она не вышла замуж вторично. Место императора не довелось занять никому.

Он — наша маленькая слава. Наша пригородная гордость. Как Уимблдон благодаря теннису, Чизлхерст приобрел известность благодаря ему. Хотя, конечно, про Наполеона III знает не так много людей, как про Агасси и Сампраса.

И между прочим, у Чизлхерста есть другой, более древний предмет гордости, о котором я мальчиком думал больше, чем о Наполеоне III.

Пещеры. Чизлхерстские пещеры.

Вначале там была деревня, окруженная полями, потом пригород с главной улицей и полем для гольфа, но пещеры возникли до всего этого — целая сеть, мили подземных коридоров, из которых доступна посетителям только малая часть. Остальное загорожено.

Как они появились, никому не ведомо. Неразгаданная тайна, уходящая в глубокую старину. Мать с отцом водили меня туда, когда мы переехали из Луишема. Мне было лет пять. Экскурсовод рассказывал. Лабиринт, глухие отзвуки, легенды о призраках. Ощущение, что ты, может быть, никогда уже не увидишь света.

Казалось — туннели идут во все стороны, идут, наверно, и под нашим домом, и под полем для гольфа. Предполагают, что эти пещеры доисто-

1. ...9 января 1873 года *(франц.)*.

рические, в них будто бы находили убежище первобытные люди. Предполагают, что в них жили друиды. Или, может быть, это просто древние каменоломни, где добывали мел и кремень.

Бесспорно одно: совсем недавно их использовали как естественное укрытие. Во время воздушных налетов Второй мировой. Экскурсовод рассказывал — но люди и так помнили. Мать с отцом должны были помнить. Загороженные участки тогда открыли. Люди жались там друг к другу, как первобытное племя. Тысячи людей — десять тысяч с лишним. Нелегко это себе представить. Чизлхерст переселился под землю.

66

"Центр загара" работает вовсю. Когда я, повернув на Бродвей, иду к своему офису, вижу, как входящая девушка чуть не сталкивается с выходящей. Заведение каждый день открыто допоздна (даже если засиживаюсь вечером, все равно знаю, что этажом ниже кто-то загорает голышом). Ноябрь, дни короткие — значит, самый бизнес. Обратный эффект: зимний загар, искусственное солнце в темноте. Ничего невозможного в наше время.

Сияют витрины магазинов. "Огни Бродвея". Избитая уимблдонская шутка, которую тут, однако, повторяют опять и опять (клиентам, ради непринужденности). У меня офис не где-нибудь, а на Бродвее. Мои окна глядят на огни Бродвея.

Две девушки, смеясь, разминулись.

Иногда я смотрю на все так, как, должно быть, представляет себе нашу жизнь Сара. Другой, диковинный мир, похожий на сон.

Заглядываю, идя к двери своего офиса, в окно "Центра загара" и вижу плетеные кресла, ярко-красные подушки, пальму в кадке. Одним махом переносишься в Марракеш. Девушка, которая только что вошла, нелепо смотрится в пальто.

Достаю ключ и открываю свою уличную дверь. Черная, одноцветная, слегка утопленная в стену, она втиснута между "Центром загара" и аптекой и выглядит немножко неправдоподобно — можно подумать, ведет в какой-нибудь потайной коридор или всего-навсего в узкий зазор между двумя стенами.

Сара в свое время, должно быть, остановилась тут, недоумевая. Одним холодным солнечным утром.

На двери латунный ящик для писем и латунная круглая ручка — она не поворачивается и нужна скорее для вида. Сбоку кнопка звонка, переговорное устройство и небольшая скромная табличка: "Уэбб Инвестигейшнз".

Открываю дверь. За ней почти сразу узкая лестница, ведущая вверх. Крохотный пятачок пола перед лестницей нельзя назвать ни прихожей, ни вестибюлем. Вряд ли это может понравиться, вряд ли клиенты испытывают здесь прилив бодрости. Но, если на то пошло, именно этого, наверно, они и ждут: ощущение чего-то закулисного и тайного, ощущение стиснутости.

Это уже не Бродвей — не "широкий путь". Это узкий путь.

Поднимаю голову. Наверху, на лестничной площадке стоит Рита. Не припомню, чтобы она встречала меня здесь, и у меня внезапное чувство, будто за время моего отсутствия произошел переворот. Революция. Теперь это Ритин офис. Сейчас она спустит меня с лестницы.

Или же я клиент, явившийся неизвестно по какому делу, и Рита вышла мне навстречу, как выходит к посетителям, чтобы смягчить впечатление от неприветливой лестницы.

Выглядит как стюардесса над трапом самолета.

Без двадцати с чем-то шесть. Поздновато, конечно, но с миссис Лукас договорились на без четверти. Рита знает, где я был (если не считать Бичем-клоуз). Как она настроена? Чувствует облегчение? Рада мне? Или просто хотела увидеть мое лицо, пока я еще не придал ему фальшивое выражение?

Поднимаюсь. Вспоминаю свои дайсоновские сны. Но вдруг мне становится ясно, почему она тут стоит. Маленькие жесты, знаки: показывает на часы, кивает в сторону офиса. Вот оно что. Миссис Лукас уже здесь, приехала раньше, и Рита, приветливо улыбаясь, провела ее в мой кабинет, предложила чаю и заверила ее, что я буду с минуты на минуту.

Говорит мне бодрым специальным голосом:

— Миссис Лукас уже вас ждет, мистер Уэбб.

Но пристально на меня смотрит, пока я снимаю куртку. Какой у меня вид? Понятия не имею. Шепчу:

— Папка, фотографии?

— Здесь. — Показывает.

Берет у меня куртку, шарф. Поправляю галстук. Похоже на какие-то тайные манипуляции в чулане. Беру папку и конверт. Вдруг она протягивает руку и быстрым, легким движением приглаживает мне волосы. Не припомню, чтобы раньше так делала. Что, скверно выгляжу? Улыбается какой-то необычной улыбкой — точно ей не до улыбок вовсе. Под розовой шерстяной кофточкой выступает грудь.

— Готов? — спрашивает. И это тоже необычно — как будто мне выходить на сцену.

Иду в кабинет с ощущением, что меня слегка подталкивают в спину.

— Здравствуйте, миссис Лукас, извините, что заставил вас ждать.

Не лучшее вступление.

Мы уже виделись, конечно. Предварительная беседа. Под сорок, приятного вида, хорошо одета. Обеспечена. Положила ногу на ногу, в руке чашка чаю. Нервозности никакой. Видимо, даже довольна была, что опередила меня, что может оглядеть мой кабинет, мой стол.

— Я пришла слишком рано. — Живая, быстрая улыбка.

Деловитая, не из тех, что рассусоливают. Подозрение, уточнение... Но никогда не знаешь, как отреагирует, когда увидит содержимое конверта.

Обхожу стол, сажусь. Смотрит на то, что я принес.

Запах мебельного лака. Рита, пока меня не было, занималась уборкой, наводила лоск. Но штору не опустила. Черное стекло — словно нет за ним никакого Уимблдона — похоже на неэкспонированную пленку.

Папку кладу в сторону, конверт перед собой. Твердо опускаю на него сцепленные руки. Прежде чем начать, вежливо откашливаюсь.

Она подается вперед — внимательная, чуточку даже нетерпеливая. Ставит блюдце с чашкой на стол. Карие глаза. Обручальное кольцо. Как мы выбираем?

Почему, спрашивается, она должна болезненно реагировать на фотографии? Это же не снимки ужасов, зверств. Просто два человека... ну... делают друг другу приятное. Ничего общего с тем, что видишь, служа в

полиции, что приходится протоколировать, фотографировать. Что иногда приходится совать под нос присяжным.

Но надо быть готовым ко всему (Рита на всякий случай будет стоять за дверью). Мои руки по-прежнему лежат на конверте, я снова откашливаюсь и, еще не начав говорить, слышу слова, которые произносил множество раз.

— Миссис Лукас, я всегда на этом этапе говорю клиентам, что не поздно еще остановиться. Все зависит от вас, от вашего решения. Эти... улики могут быть уничтожены. Это очень легко сделать. Мы не в суде. И никто не будет знать.

Как будто объясняешь права арестованному.

67

"Это пройдет", — сказала Рита.

Ее последний залп год назад, когда она стояла перед моим столом со светом в глазах, который мог обернуться чем угодно. Ливнем, льдом. Пустой след, это пройдет.

Последний залп, который был больше похож на акт милосердия, на гуманную отсрочку. Она только хотела меня спасти — неужели я не вижу? От будущей боли и сожалений. От того, чтобы выглядеть в будущем дураком. Еще большим дураком, чем теперь.

Неужели я не вижу, что меня ждет, — и неужели не вижу, что стоит передо мной сейчас?

Ей следовало бы повернуться и выйти, но она, казалось, вросла каблуками в ковер.

И она не собиралась разжижаться, течь струями, использовать эту последнюю дешевую уловку (хотя дело обычное, известное — именно так нередко все и начинается, плачущая секретарша в кабинете начальника, спросите любого юриста по разводам, спросите любого частного детектива).

Свет в ее глазах был просто Ритиным светом, Ритиной аурой.

Посмотри на меня, Джордж. Товар, может, и не первой свежести, но по крайней мере ты знаешь, что берешь. Подумай об этом, Джордж. Пустой след, холодная постель. А ее ты даже не видел обнаженной.

(Надо же, сколько всего можно прочесть в светящихся глазах.)

Не видел обнаженной? Ты так думаешь? А когда ее, одетую совсем для другого, сажали в полицейскую машину? А когда я в первый раз приехал туда, где она сейчас?

Не видел обнаженной?

"Подумай об этом, Джордж. Это пройдет".

Нет, не проходит. Неправду говорят, будто это проходит, остывает с возрастом. Растет, цветет тем сильней, чем меньше остается времени. Восемь, девять лет... Сколько ей еще? С годами ценность увеличивается, а не уменьшается. Вот одно, к чему я пришел. И о том, что у нас внутри, мы не имеем понятия, узнать это невозможно. Вот другое.

Этого вообще могло не случиться, мы могли так и остаться в неведении. Какая-то пружина в тебе ждет случая распрямиться.

Восемь, девять лет... Но когда-нибудь я поеду туда в последний раз, буду не просто посетителем и вернусь не один.

Рита могла уйти от меня еще год назад. Сейчас уйдет точно.

Когда-нибудь останутся уже не годы, а месяцы, не месяцы, а недели. Не недели, а дни. Когда-нибудь останется только простой маленький шаг, шаг через черту, которой даже не видно. Простой огромный шаг. Он, может быть, даже покажется шагом в новую пропасть.

Но я буду наготове, сердце мое. Буду наготове и подхвачу тебя.

Как это произойдет? Сколько раз я воображал, репетировал, мечтал... Глупо, я знаю. Ноябрьский день? Хотя почему обязательно ноябрьский? Туманный хмурый ноябрьский день. Часто, сам не знаю почему, я вижу это именно так. Мне чудится, что из-за тумана я застреваю в кошмарной уличной пробке. О господи, я опоздаю — в *такой* день.

(Я знаю, что задолго буду на месте.)

Туман. Все скрыто, затеряно. Правильно это будет? Скользнуть в мир, когда он существует только наполовину. Тайком, невидимкой поначалу — иначе было бы слишком. Как арестованные, которые идут в тюрьму под одеялами, точно прикрывая наготу, через последнюю полосу света.

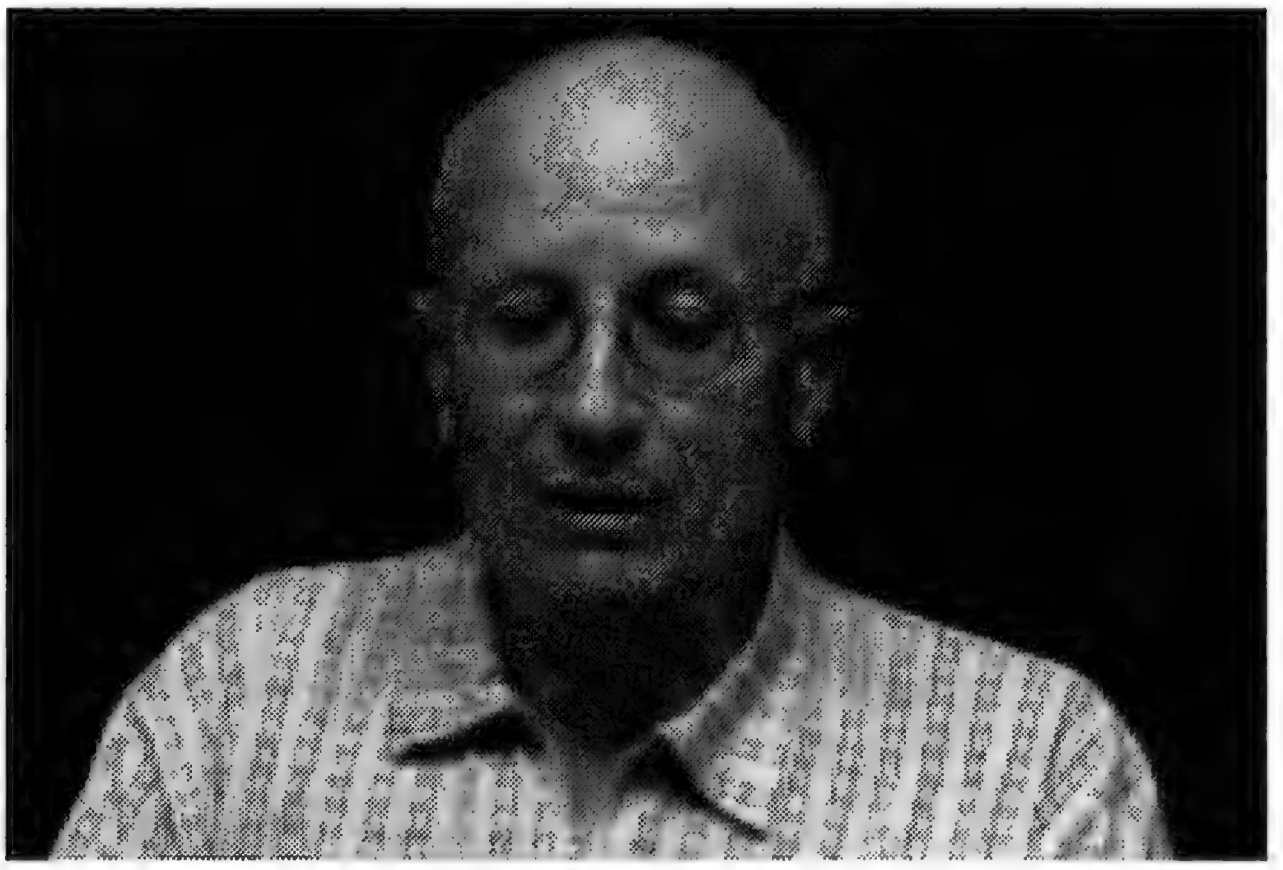
Одеяло тумана. Вот, вот тебе одеяло. Все одеяла на свете.

Туманный день, кутающий все в серое.

Нет. Я хочу, чтобы день был похож на сегодняшний, который уже сменился ночью. Суровой ночью, морозной, это ясно. Но завтра опять будет ослепительный день, голубой и тихий.

Я хочу, чтобы тогда было как сегодня. Буду стоять, ждать с колотящимся сердцем, волны моего дыхания перед глазами. И наконец она появится, выйдет на ясный свет дня.

Жан-Клод Пенсон



Стихи

Перевод с французского и вступление Александра Давыдова

В феврале этого года Жан-Клод Пенсон наконец собрался посетить Москву, хотя еще с детства был влюблен в русскую культуру, судя по статье с характерным названием “Русский — второй язык”. В графике славянских букв ему видятся одновременно и силуэты деревенских церквей с луковками куполов, и ложноклассическая колоннада, а в звучании русских гласных он различает “лёд и пламень”, отозвавшиеся в полотнах Малевича. И всё вместе в восприятии Пенсона — “епифания другого мира”. Сожалею, что упустил возможность познакомиться с Пенсоном лично, поскольку отсутствовал в городе. Иначе спросил бы, остался ль непоколебленным его миф о России. Что ж, ответ наверняка отыщется в его будущих стихах.

В столице Пенсон пробыл всего пару дней, а затем уехал в Ростов-на-Дону, где весьма популярен среди студентов, благодаря стараниям его ученика Иоанна Барберо, ведущего семинар в Ростовском университете. Что до остальной России, то творчество Пенсона у нас пока еще мало известно: всего одна публикация — в “Иностранной литературе” несколько лет назад. Правда, в Интернете можно отыскать целую подборку стихов Пенсона, переведенных Еленой Туницкой. Во Франции же это фигура заметная. Пенсон не только поэт, но еще и профессор Нантского университета. Кроме поэтических сборников, он выпустил несколько книг по философии и эстетике, выступает как литературный критик. Регулярно участвует в передачах на телевизионном канале “Французская культура”.

На раннем этапе творчества, за которым последовал временный отход от поэзии, увлечение политикой, Китаем, Пенсон испытал влияние эстетических взглядов знаменитой группы “Тель Кель”. Его зрелые стихи, которым присущи лиризм и философическая вдумчивость, почти наверняка усвоили уроки и русской поэзии, в первую очередь — помянутого им в статье о языке Мандельштама. Можно согласиться с французским критиком, так определившим поэтическое амплуа Пенсона: “лирик в контексте современных проблем”.

© 1991, 1997, Éditions, Champ Vallon, Seyssel
© А. Давыдов. Перевод, вступление, 2004

* * *

Когда бессонница перетирает мозг
работая как хлопотливый жернов
я с ней сражаюсь сочетая
гирлянды слов в александрийском ритме
чтоб этот стих меня баюкал
кормилицей прижав к своей груди

затем стремлюсь свое лицо
вообразить примету за приметой —
восточный путь стяжанья пустоты

так усыпив себя обычно
проснувшись вижу дряхлый Александр
бредет на трех опорах
но если его палка молода — выстукивает джазовые ритмы
пожалуй это лучше чем изображать
богов глухую поступь

* * *

Бывают места которым не достает голубизны и благости

в отличье к примеру от монастырей
где стены покрыты голубым изразцом
подобно Эворскому университету

чье пространство я ощущал будто призванным
(пускай и знал что былая обитель иезуитов —
прежний оплот инквизиции)
озарять человеческий разум

был настоящий благодатный апрельский денек
сквозь солнечные очки
мне виделись густо-синими
квадратики неба иссеченные фонтанными струями,
ласточками

взгляд разносился далеко по эворским окрестностям
где словно море пенились кронами
пробковые дубы с редким вкраплением сосен

* * *

Если учесть стремительный рост
численности университетских студентов

навязчив кошмарный сценарий:
серый волк пожирает робкую учащуюся овечку
эта метафора способна лишь позабавить
ибо ныне звучит чересчур пасторально

в наше время доходчивей более грубый язык
экранной похабщины

пыхтения, вскриков, похрюкиванья
норовящих обнажиться телес

однако бессмертны слова Абеляра
который признался что *любовь принесла ему многие беды*

* * *

И если я вдоль берега бреду
упорно в землю взор свой устремив —
совсем не потому что я тяну
баржу с углем подобно бурлаку

а раздуваю словно угль в мозгу
я рдеющую в осени строку
саднящий в память образ из Гюго:

мечтатели безумные лесов

так стих твержу по множеству часов
и согревая душу им готов
весь день сносить я свой шахтерский труд

* * *

Он слоняется в нашем квартале со своим узелком
значит нам мудрено разминуться

но ведь и я пешеход
обремененный портфелем и ранцем
на манер коромысла

свобода равенство братство
пеших — так получается?

свобода равенство братство
ведь только мы двое бормочем под нос

но это лишь видимость
мы обитатели разных планет:

я иду (как мне подобает)
глядя в небо но им не любуясь
(поглощенный темой которую надо развить на будущей
лекции)

ему ж нет заботы глядеть в небеса
по мусорным свалкам шарят его глаза
стараясь в отбросах
найти съестное и курево

свобода равенство братство бедняцкое

* * *

Правды я не добился
лишь только затеял беседу, чтобы во всем разобраться, как он
удивленно
отпрянул, а во взоре мелькнула
тень испуганной лани, избегающей жалости

впрочем не нужен и дар социолога
чтобы за образом Диогена
угадать сюжет отнюдь не фольклорный
(он завязывается в толкотне, выкриках
нередко примешено пьянство
следуют разные неудачи
и как итог — графомания
а в результате ты одинок еще больше цыгана
потерявшего табор,
вроде неприкасаемого)

можно представить сколь радостны
зимние ночи пустого затихшего кампуса
их унылый простор подобный выжженной пампе

а куда себя деть в воскресенье когда закрыт факультет?

его разум слегка неустойчив
но бултыхаясь в противотоках
факультетской толпы безымянным
он все ж избегает окончательного кораблекрушения

он сохранил достаточно здравого смысла
чтоб во время экзамена приплюснув свой нос
ставший сократовским к стеклу аудитории
насмешливо созерцать тех кто пыхтит над Платоном

Поэтический и буквальный

Потом возвращаются дни
не столь уже рьяного пустословья

вновь отвернуты краны поучений

что-то и перехватишь
из хлынувшего сквозь отверстья потока

на его берегу факультет вроде мельницы
только не водяной а словесной

мельницы перемалывающей знания без разбора

вечером смолкшее радио
пресекает лирическое кровоточенье (если можно так
выразиться!)

приходит порожний час растительности, минералов,
захлопнутых книг и единственной буквальной поэмы

сотворенной буквами — лунным С (или О)
огромными Г городских фонарей

на вновь присмиревших автостоянках
воцарилась лесная мгла

темная будто склеп высится библиотека —
корабль налетевший на мель где стихло журчание слов

лишь неграмотный западный ветер листает
тополиные кроны

Яна Симон

Ведь мы – другие. *История Феликса* С.

Роман

Перевод с немецкого Н. Федоровой

9

Все, что уже не помещается в давней Феликсовой комнате, сложено в картонки и стоит в подвале у его деда и бабушки. Вместе с бабушкой Жанеттой она разглядывает штабель серых коробок и клетчатых чемоданов. Целая жизнь.

Одна из коробок доверху набита комиксами про Утенка Дональда. И она вспоминает первый день их дружбы, общее увлечение Утенком Дональдом. Каждую неделю Феликс покупал новый выпуск и скоро уже весело хохотал над глуповатым неудачником Дональдом, который вечно попадал в жестокие и смешные ситуации. Уютно-нереальный параллельный мир утиного города Дакбурга, где все кажется таким безобидным: когда на голову Дональду падают тяжелые кирпичи, он видит тучу искр, а через секунду как ни в чем не бывало вразвалку спешит дальше. Злой богач Дагоберт, бедный добряк Дональд – во всем здесь еще присутствует логический порядок. Может, оттого Феликс и любил комиксы про Дональда. Именно об этом всегда мечтал.

Деду и бабушке тоже всегда хотелось порядка в жизни. Во всяком случае, у них еще была мечта о лучшем обществе, ради которого стоило пожертвовать своей уютной, спокойной жизнью.

Едва Жанетта и Арнольд вернулись домой с несостоявшейся свадьбы в Лесото, как начались полицейские налеты. Среди ночи агенты госбезопасности въезжали во двор к родителям Жанетты в Альбертсвиле, Йоханнесбург. Фары их автомобилей заливали дом слепящим светом. Агенты кричали: “Где Арнольд?” Арнольда не было, он ночевал все время в разных местах, остаться у Жанетты не мог. По выходным отец Жанетты теперь и вечерами сидел дома, чтобы поддержать дочь. Обычно они по пятницам всей семьей ходили в один из двух йоханнесбургских кинотеатров для цветных. Отец резервировал для семьи целых два ряда. Теперь он сидел в кресле на веранде и ждал полицию. Жанетта у себя в комнате пыталась заснуть. Потом являлись агенты на машинах, иногда обыскивали весь дом, рылись в вещах Жанетты, устраивали тарарам в гостиной. Арнольд скрывался давно. Полиция уже долгое время охотилась за ним. И теперь, когда он завел цветную подружку, считала, что цель близка.

Окончание. Начало см. в “ИЛ”, 2004, № 7.

Тогда Арнольд уже без малого двадцать лет активно занимался политической деятельностью. Еще в тридцатые годы вступил в Лигу против фашизма и войны. В ту пору из Германии в Южную Африку эмигрировало много евреев. Арнольд кое с кем из них познакомился. Они обсуждали, будут ли границы Южной Африки вскоре закрыты и что происходило с ними в Германии. "Это было мое политическое пробуждение", — говорит Арнольд. Беженцы из Германии произвели на него впечатление, особенно тем, как быстро они осваивали английский. На улицах Йоханнесбурга он дрался за них с нацистами.

Арнольд сидит в комнате Феликса за письменным столом, у компьютера, обхватив руками правое колено. Вокруг — книги Феликса, компакт-диски, фотографии. За окном светит солнце, в комнате сумрачно. Окно впускает мало света. Иногда Арнольд надевает Феликсову бейсболку, ту, с надписью "Боксерский клуб". Их жизни словно бы встречаются в этой комнате и постепенно сплавляются воедино.

Родители Арнольда смотрели на его симпатии к евреям скептически и неодобрительно. "Зачем тебе эти жиды?" — иногда спрашивала мать. Она была верующая католичка, и Арнольд получил весьма религиозное, отчасти антисемитское воспитание. Вырос он в Риджентс-Парке, районе на южной окраине Йоханнесбурга, где проживали не самые обеспеченные слои белого населения. Двухэтажный домик новой постройки, с палисадником и уборной во дворе. Из своего окна Арнольд видел высокие жерла золотых рудников. В его берлинской квартире до сих пор стоит фотография этого дома, одна из немногих уцелевших в бегстве и эмиграции.

В Южной Африке Арнольд учился главным образом в закрытых монастырских школах для белых. В первые школьные годы он каждую неделю радостно ждал воскресного дня, святого причастия. Рассказывая сейчас о своей тогдашней религиозности, Арнольд невольно смеется. Все это так далеко. Жанетта по-прежнему ходит в церковь, он не бывал там уже несколько десятилетий. В детстве Арнольд по воскресеньям оставался наедине с Христом. "Я рассказывал ему, что произошло за неделю, благодарил за поддержку в боксерских поединках и просил помочь в будущих схватках".

В школе Арнольд был большим мастером дворового бокса. Он и теперь, вспоминая об этом, вскакивает со стула, пританцовывает вперед-назад, бьет кулаками по воздуху. Боксом он тогда занялся по необходимости, чтобы защитить себя. Еще в раннем детстве ему пришлось надеть очки, за что другие дети вечно его дразнили. А позднее он даже снискал прозвище *Демпси*, в честь Джека Демпси, знаменитого боксера-тяжеловеса. Такие истории он всегда рассказывал Феликсу с удовольствием.

В семидесятые годы Арнольд написал автобиографию. Феликс никогда ее не читал, да и никто не читал. Напечатана она не была, семнадцать издательств отвергли рукопись. Первую часть — о детстве и юности в Южной Африке — он охотно показывает, две другие — о последующих годах — теперь вызывают у него неловкость. "Чересчур сталинистские", — говорит он. Собственно, это и была причина издательских отказов, к концу книги пропаганда все больше оттесняла описания на задний план. "Очень уж я был твердолобый", — печально роняет Арнольд. Такое впечатление, будто он и нынче каждый день размышляет о том, почему не смог еще тогда признать определенные слабости коммунистической системы. Единственная копия его рукописи находится в Шве-

ции, у бывших товарищей. Первая часть насчитывает 79 машинописных страниц. Там Арнольд рассказывает, как мало-помалу гаснет его религиозный пыл.

В старших классах он учился в одном из интернатов Эйтенхахе, в восьмистах милях от Йоханнесбурга. Там, в колледже маристских братьев, Арнольдов учитель брат Эдвин ежечасно вел приватную войну с Иудой, предавшим Иисуса, сына Божия. На уроках он прямо-таки с садистским упоением рассказывал о борьбе добра и зла и муках экзорцизма. И Арнольд в ту пору более всего опасался, как бы сатана не завладел его душой. Чтобы защитить ее, он клал у изголовья кровати распятие и окроплял свой шкафчик святой водой.

Однажды ночью в дортуаре он столкнулся с незнакомцем, который спросил об одном из "братьев". Уверенный, что незнакомец не кто иной, как сам сатана, Арнольд осенил себя крестным знамением и попробовал добраться до святой воды. Пришелец-то, на беду, полюбопытствовал, католик ли Арнольд. В паническом ужасе Арнольд предупредил: "Ты дьявол, сейчас я тебя святой водой окроплю!" Дьявол же отвечал, что он родной брат одного из здешних монахов и зашел его навестить.

Наутро злющий брат Эдвин спросил Арнольда: "С чего это ты вообразил, будто твоей душе цены нет и сатана непременно жаждет ее заполучить?"

"Вы же сами говорили, что сатана норовит завладеть всеми душами", — простодушно ответил Арнольд.

Брат Эдвин тотчас распорядился, чтобы впредь при обсуждении подобных тем Арнольд выходил из класса, он-де принимает их слишком близко к сердцу, слишком всерьез. "Видать, сам Эдвин не верил в то, что рассказывал своим ученикам", — говорит Арнольд. Спустя много лет он примет веру коммунистов: "Религия — опиум для народа". Надо полагать, жить совсем без веры невозможно.

Потом родителям стало не по карману платить за интернат, и Арнольд вернулся в Йоханнесбург. Особыми успехами в школе он похвастаться не мог и в 1933-м, пятнадцатилетним подростком, с треском провалившись на экзаменах за шестой класс, пошел работать. До тех пор политика его не интересовала, прежде всего потому, что родители не проявляли к ней интереса. В районе, где он жил, чернокожих называли оскорбительным словом *кафры*. Мать твердила Арнольду, чтобы по дороге из школы он не отдавал им свои бутерброды, но он все равно отдавал. Его семья считала, что чернокожие ниже белых. И в контакты с ними не вступала, хотя, конечно, держала черную прислугу. Арнольдов отец трудился вместе с черными на золотых рудниках. Он ничего против них не имел, иногда выпивал за компанию, участвовал в забастовках, помогал профсоюзу и всю жизнь голосовал за лейбористов.

На первых порах Арнольд работал курьером. Колесил на велосипеде по своему району, развозил бумаги разных фирм и магазинов. Иногда чернокожие просили его достать водки, поскольку в Южной Африке им спиртное не продавали. Потом Арнольд сразу же шел в церковь, на исповедь. "Отче, я покупал водку для natives[1]". — "Церковь, — неизменно говорил священник, — не видит в этом греха. Но будь осторожен, бедня-

1. Аборигенов (*англ.*).

ги переносят спиртное хуже, чем мы". Позднее Арнольд, как и его отец, работал за гроши на золотых рудниках Йоханнесбурга.

Когда грянула Вторая мировая, захватив и Северную Африку, Арнольд — ему было чуть больше двадцати — записался добровольцем. Теперь, в давней комнате Феликса, на ее вопрос, почему он решил пойти на войну, Арнольд лишь легонько качает головой, словно это не вопрос. Смотрит на нее и продолжает рассказ. Может, у него и вправду нет ответа. Может, для него это был логический результат участия в Лиге против фашизма и войны. Он воевал против войск Роммеля в Египте и в Ливии. Почти два года отслужил в санбате. Потом был комиссован, из-за глаз, и вернулся в Южную Африку. Уже тогда он видел очень плохо, и в армию его зачислили потому, что на проверку зрения вместо него ходил брат. В довершение всего от песка и солнца глаза воспалились, и Арнольд даже краски едва мог различить.

Шестьюдесятью годами позже Арнольд живет в Берлине. Возможно, иные из стариков, которых он изо дня в день встречает на улицах Шёневайде или в булочной, в свое время были его противниками. Но с тех пор минуло много-много лет. Лучше об этом не думать. Тогда он воевал бок о бок с чернокожими и цветными. Каждый день видел, как их дискриминировали, занижали денежное довольствие, на первых порах даже оружия не давали. Арнольд и другие белые брали их под защиту. Почему? Снова один из тех вопросов, на которые он не в состоянии толком ответить. Плечи у него опускаются, он охотно рассказывает все по порядку, отталкиваясь от крупных политических событий. Иногда он как личность полностью исчезает за ними, словно его мысли и чувства не имеют ни малейшего значения. Вероятно, Арнольдом двигало тогда смутное стремление к справедливости, но не идеология, под знаменем которой он сражался.

Сразу по возвращении в Йоханнесбург он стал посещать воскресные сходки компартии. "Решающим импульсом для меня послужило начало войны Советского Союза с Германией", — говорит Арнольд. Вдобавок одна только компартия принимала в свои ряды людей любого цвета кожи. Никто из родни Арнольда не разделял его новых убеждений. Большинство попросту недоумевало — зачем? пускай все остается как было. Сам Арнольд имел весьма слабое представление о коммунизме и марксизме. "Меня увлекали социальные аспекты", — говорит он. В том далеком раю и больницы, и школы бесплатны, и работа есть для всех, и о стариках заботятся тоже безвозмездно — вот что приводило Арнольда в восторг.

Фотографии тогдашних партсобраний: несколько белых в костюмах сидят на возвышении, а в первом ряду несколько чернокожих слушают речи. Рядом с возвышением — цветы, на стене — портрет Сталина. Вид у всех очень серьезный. Арнольд восхищался этими людьми и их решимостью. Они получили высшее образование, и он всегда чувствовал, что ему до них далеко. Но энергия, с какой они отстаивали свои взгляды, производила впечатление. У них есть мужество и принципы, думал он тогда. Люди на возвышении рассуждали о Марксе, о классовой борьбе, о непонятных теориях, утопиях и освобождении черных. Арнольда это привлекало, и в 1942 году он официально вступил в компартию.

Поскольку из школы Арнольд ушел, не закончив шестой класс, он только в партии по-настоящему выучился читать и писать, готовил статьи, читал книги, посещал семинары. Задним числом его история каза-

лась ей хрестоматийной побасенкой из тех, какими изобиловали гедеэровские уроки государствоведения: ребенок из рабочей семьи, благодаря партии достигший общественного и личного роста. Раньше она, изнывая от скуки, спешила просмотреть такие рассказы по диагонали, считала их пропагандой. Интересно, знал ли эту историю Феликс?

На собраниях Арнольд большей частью не понимал почти ни слова. Но со временем освоил специфическую марксистскую терминологию и к Советскому Союзу относился абсолютно лояльно. Долгие часы они проводили на всевозможных заседаниях, обсуждая положение в стране коммунизма. Дошло до того, что Арнольд, который тогда в первый раз женился, хотел назвать своего сына Иосиф Сталин. Однако жена воспротивилась.

Арнольд стал *профессиональным революционером*, так он говорит. Через три года после вступления в партию он уже возглавлял профсоюз рабочих-текстильщиков. Зарабатывал очень мало, руководил забастовками, раздавал листовки, писал статьи для коммунистических газет. Впервые обыск у него на квартире произвели в 1946 году, затем обыски следовали один за другим, все чаще и чаще. То и дело Арнольд ненадолго попадал за решетку, что на него самого особого впечатления не производило, по крайней мере так он говорит сейчас. Другие арестанты обычно к нему не цеплялись, кое с кем он играл в бридж. Защищали его очень хорошие адвокаты, и он чувствовал, что сидит за правое дело. Политическая деятельность все больше оттесняла семейную жизнь на задний план. Дома Арнольд бывал редко, сынишку почти не видел, а первая жена вообще не разделяла его убеждений. Вскоре они развелись, адвокатами его были Нельсон Мандела и Оливер Тамбо. С той поры Арнольд вообще виделся с сыном крайне редко. "Первое место принадлежало делу", — говорит он.

Позднее отец и сын без малого тридцать лет вообще не могли ни встретиться, ни поговорить. Наверно, сыну казалось, будто его отец умер, исчез навсегда. Арнольд приносит из спальни фотографию: темно-русый мужчина в шортах обнимает Арнольда за плечи. Они очень похожи друг на друга. Рядом, возле дома, кучка молодых людей — Арнольдовы внуки. Арнольд улыбается, с гордостью и грустью. Гордостью за сына, который, как и он, работал в рудниках, и печалью о взаимоотношениях, которых между ними никогда не существовало и которых теперь, после такого долгого перерыва, уже не построить. "Он ни разу меня не упрекнул", — говорит Арнольд. В последние годы он неоднократно гостил у сына в Южной Африке, но не подолгу, хотя с удовольствием провел бы с ним больше времени. Когда она спрашивает, как дела с сыном, Арнольд отвечает: "Отлично". И только. Он знает, что опоздал.

Тогда, в сороковые годы, Арнольд не мог вступить в Африканский национальный конгресс (АНК). В ту пору белых туда не принимали. Но компартия сотрудничала с АНК. Нельсона Манделу Арнольд знал "по борьбе", как он выражается. Примерно в 1948-м он впервые услышал это имя в Интерклубе, где встречались люди с разным цветом кожи. Там как раз подыскивали секретаря на неполный день, и Арнольд предложил свою кандидатуру. А на предварительном собеседовании, когда руководители клуба сказали, что у них есть еще один кандидат, студент-африканец, он забрал свое заявление. Звали соперника Нельсон Мандела.

В последующие годы Арнольд частенько покупал бренди для Манделы и его друга и коллеги, адвоката Оливера Тамбо, будущего председате-

ля АНК. О Манделе Арнольд говорит как о человеке "очень открытом, вежливом и внимательном". Вечерами он нередко провожал Манделу домой в Соуэто, чтобы того не задержала полиция. Насколько тесно его жизнь будет связана с Нельсоном Манделой и АНК, Арнольд тогда и предположить не мог.

Еще до 1948 года строгая расовая сегрегация стала в Южной Африке реальностью, но лишь с победой Националистической партии на выборах того же года апартеид был закреплен и идеологически. Каждого гражданина власти отнесли к определенной "расе": этот – белый, тот – черный, цветной или индиец. Причем способы, какими они это устанавливали, зачастую были отнюдь не бесспорны. К примеру, людям втыкали в волосы карандаш: если выпадет, значит, ты белый, если застрянет – черный или цветной. Целые семьи по этой причине распались или оказались разлучены силой, поскольку одних членов семьи записывали цветными, а других – белыми или черными. Жить в одной квартире или в одном районе, ходить в одни и те же школы и даже видеться им отныне не разрешалось. Жуткая, гнетущая атмосфера царила в стране, где все с недоверием косились друг на друга.

Черные не имели права получить среднее образование, из них готовили только обслуживающий персонал. Маркировки на пешеходных "зебрах" указывали, где какой "расе" надлежит переходить улицу. Рестораны были для черных под запретом, а общественные здания имели по нескольку изолированных входов. Введением мелких привилегий для индийцев и цветных правительство сумело стравить между собой и небелых. Школы у них были чуть получше, и жили они в не столь отдаленных и не столь трущобных районах. А еще – и это сыграет большую роль в судьбе Арнольда и Жанетты – новое правительство запретило смешанные браки и объявило преступлением сексуальные связи между разными группами населения.

Кроме того, Националистическая партия победила на выборах, обязавшись усилить гонения как на строптивых черных, так и на безбожников-коммунистов. Причем белые коммунисты считались предателями собственной "расы". Мало того что они боролись против государства, так еще и с черными объединялись, чтобы уничтожить свое же главенство. С точки зрения режима идея поистине чудовищная. И бунтовать против этого режима было очень опасно. Для Арнольда и его товарищей настали тяжелые времена, которые многих из них обрекут на смерть, тюремное заключение или эмиграцию.

Однажды Арнольд получил письмо, где было написано: "Вы известны как коммунист, но еще имеете возможность это оспорить". Новое правительство разослало такие письма всем известным и зарегистрированным коммунистам. Тогда компартия еще находилась на легальном положении, однако в своем письме правительство намекало, что граждане не вправе вступать в компартию и иные организации, направленные против апартеида, и участвовать в их политической деятельности. Тем самым компартия неофициально оказалась под запретом.

Арнольд держал в руках это письмо и не знал, что делать. Линия партии гласила: ни в коем случае не отрекаться от членства, напротив, гордиться им. Он не отрекся. И нормальной жизни пришел конец.

Арнольд смотрит на нее. В комнате повисает тишина, на миг. Он всегда рассказывает торопливо, без пауз, точно боится, что его перебьют и он запутается в нитях своей жизни. Принятое решение значило тогда

очень много. “Я верил в лучшее общество, — говорит он, — в равноправие черных и белых”. Звучит печально, словно кое-что оказалось напрасно. Но без этой веры, без этих принципов он бы, вероятно, вообще не смог прожить свою жизнь.

Она восхищается этим сухощавым восьмидесятитрехлетним человеком в очках, со слуховым аппаратом; он сидит напротив и взволнованно рассказывает, какие читает книги и какие газетные статьи находит примечательными. Ее восхищают его сила и упорство, его решимость пожертвовать личным счастьем во имя абстрактной идеи. И одновременно это пугает ее. Близким людям, наверно, подчас приходилось очень нелегко. Временами Арнольд размышляет о том, как бы все сложилось, не будь он коммунистом. Тогда им с Жанеттой не понадобилось бы уезжать из ЮАС, они бы не приехали в ГДР, и Феликс не родился бы в Восточном Берлине. Никчемные “бы”, они ничего не меняют, даже не утешают.

Из товарищей лишь единицы знали, кто из них в партии, а кто нет. Слишком опасно. Арнольд знал только трех других членов своей ячейки. Опасаясь шпиков, они пользовались вымышленными именами. Арнольда звали Мэтью, остальных — Мартин, Лютер и Джон. “Тем не менее все называли меня ‘товарищ Арнольд’”, — говорит он. Встречались в автомобилях, в парке, иногда в чьем-нибудь доме. Говорили коротко, энергично, всегда начеку, всегда под угрозой ареста. Рассказывая об этом, он и теперь слегка понижает голос, словно боится чужих ушей.

В памяти Арнольда то время занимает особое место, он поминутно смеется, говорит еще быстрее обычного, лихорадочно размахивает руками. Постоянный страх, вечное бегство от полиции сделали эти годы самым насыщенным периодом его жизни — и в положительном смысле, и в отрицательном. “Честно говоря, очень муторно было все время прятаться. — Помолчав, он добавляет: — Но я чувствовал себя важным”.

Практически все, что он делал, так или иначе было под запретом, враг казался могущественным, но не имел морального превосходства. Внимание, с каким режим относился даже к распространению листовок, придавало Арнольду и его товарищам огромный вес в собственных глазах.

В 1956-м, когда он познакомился с Жанеттой, в его ситуации ничего не изменилось. Жанетта до сих пор хорошо помнит, как он сидел тогда напротив нее и заговорщицки говорил: “Думаю, ты умеешь хранить секреты; если нет, ты поставишь меня под удар. Я — член коммунистической партии”.

У Жанетты прямо дух захватило: вот это да! — но прежде всего она была польщена его доверием. Она кивнула и сдержала обещание молчать. Очевидно, между ними с самого начала установилось некое инстинктивное доверие. Впоследствии они будут частенько здорово расходиться во мнениях. И по сей день спорят так запальчиво, что, бывая у них, она иной раз готова от неловкости провалиться сквозь землю. Но со временем она осознаёт, что на самом деле все это не всерьез. В таких случаях Феликс говорил бабушке: “Оставь старика в покое!” Как видно, в их отношениях есть какой-то скрепляющий стержень, которому все разногласия нипочем.

До встречи с Арнольдом Жанетта вообще не занималась политикой. Она успела побывать замужем за цветным, брак был несчастливый, без любви, от него осталась маленькая дочка — мать Феликса. Жанетта рабо-

тала на швейной фабрике и мечтала стать учительницей. Ее семья не бедствовала, Жанетта даже играла в теннис в престижном клубе, разумеется только с цветными. Арнольд до сих пор изредка попрекает ее "буржуазным происхождением". Она жила в мире цветных, других не знала, никогда с ними не сталкивалась. "Оглядываясь назад, я понимаю, что была частью апартеида. И жила, не задумываясь об этом", – говорит она.

После встречи с Арнольдом, а тем более после неудачного бракосочетания в Лесото, она, по ее словам, "проснулась". Впервые несправедливость затронула ее лично. Арнольд стал брать ее с собой на тайные сходки партийцев-подпольщиков. Часто, сидя среди серьезных мужчин, обсуждавших советскую политику, Жанетта спрашивала себя, какое отношение Сталин и Хрущев имеют к ней и к Южной Африке. Она начала читать газеты и всюду, где бывала, задавала вопрос: "Почему нас разделили?" Словно вернулась из долгого путешествия и увидела, что страна совершенно переменилась.

Теперь она встречалась и с другими противниками режима, например с Ахмедом Катрадой, близким другом Нельсона Манделы, который впоследствии был вместе с ним осужден и почти тридцать лет отсидел в той же тюрьме. Встречи проходили в строгой конспирации. "Я вела нелегальное существование", – говорит она. Госбезопасность вторглась теперь и в жизнь Жанетты, агенты наводили о ней справки у ее начальства на фабрике. Бывший муж донес на нее властям, рассчитывая таким образом сэкономить на алиментах для дочери. Достаточно было высказать подозрение, что она встречается с белым, и сей же час явились две сотрудницы социального ведомства – хотели забрать девочку. Но Жанетта сумела убедить их, и дочка осталась при ней.

Из-за политической деятельности Арнольда агенты госбезопасности много раз забирали ее из дому на допросы. "Приезжали они всегда на 'фольксвагене'", – говорит она. Арнольд заранее разъяснил ей правила поведения: "Молчать и твердить, что ничего не знаешь". Ее доставляли в участок, часами выспрашивали об Арнольде, партии и запланированных акциях. Жанетте было всего лишь двадцать с небольшим, и на "неправильной стороне" она оказалась в общем-то случайно. Сидя перед допросчиками, она думала о своей семье, боялась, но ничего не говорила. И ее отпускали.

Сорок с лишним лет спустя эти фразы звучат как анахронизм. Жанетта в своей берлинской гостиной, сидит в кресле, перед нею чашка кофе. Изредка она проводит ладонью по лицу. Память – великая сила, порой у Жанетты наворачиваются слезы. Она поспешно их смахивает.

Через некоторое время она сама стала в своем районе председателем Coloured People Organisation[1], ветви АНК. По выходным Арнольд приезжал за ней в церковь, к концу мессы, и они ехали в черные поселки Йоханнесбурга, раздавали там листовки и газеты компартии, хотя Жанетта в партии никогда не состояла. Неграмотным Жанетта читала газеты вслух, старалась убедить их таким способом. А ведь сама отнюдь не принадлежала к числу убежденных коммунистов вроде Арнольда, для нее это всегда был скорее вопрос порядочности и справедливости. Ее маленькая дочка неизменно находилась рядом при раздаче листовок и продаже газет. Вероятно, она замечала, что вокруг происходят стран-

1. Организация цветного населения (*англ.*).

ные, опасные вещи. Чуяла напряжение и страх взрослых. Смысл происходящего шести-семилетняя девочка наверняка не понимала.

В книге Гленна Франкела "Дети Ривонии" Джо Слово, один из самых знаменитых белых коммунистов в борьбе южноафриканцев за свободу, говорит, что по причине огромной опасности он и его жена Рут Фёрст никогда не разговаривали со своими детьми о том, что́ делают и почему. *Даже если на минуту забыть о страхе и неуверенности, наши аресты и постоянные отлучки явно внушали детям мысль, что все это для нас куда важнее. Им наверняка казалось, что у нас они всегда на втором месте, после дела.*

10

У Феликса была и другая жизнь, дневная. По ночному миру он бродил вместе с Оливером и остальными, дневной мир принадлежал тренировкам и Давиду. Давиду много чего досталось в наследство от Феликса: требования об уплате долгов, счета, судебные постановления и автомобиль, которого больше нет. Но это долгая история, и началась она в 1994-м.

На первом уроке в новой школе им велели представиться друг другу. Давид обратил внимание на фамилию Феликса, она звучала не по-немецки, а профессия "мужской портной" вообще не вязалась с невысоким парнем в бейсболке и фирменных джинсах. Тогда, в начале 1994-го, в колледже имени Виктора Клемперера в Марцане собрались все те, кто по разным причинам не получил в ГДР аттестат зрелости. Школа располагалась в районе новостроек, неподалеку от психиатрической клиники Херцберге. Внутри еще стоял резкий сладковатый запах мастики, на полу — привычный коричневато-желтый пластик, светлые стены. Всё как раньше. "Настроение было восторженное, будто перед новым началом", — говорит Давид.

Тогда у Давида были длинные светлые волосы до плеч, и ходил он в черном. "Левак", участник "Красной помощи". "Феликса я сразу приметил, ведь и он, и я не очень-то вписывались в эту школу", — говорит он. За ближайшие три года они рассчитывали подготовиться и сдать на аттестат. Давид вспоминает, что на первых порах Феликс упорно держался в тени, отвечать не лез, большей частью молчал. Чувствовал себя слегка неуверенно, ведь никто здесь не интересовался ни охранным бизнесом, ни драками, ни кикбоксом — другой мир.

Однажды на уроке немецкого им предложили рассказать о любимых книгах. Большинство в классе назвали произведения Германа Гессе. Феликс закатил глаза к потолку: дескать, ох уж эти псевдоинтеллектуалы! Он принес с собой книгу о войне своего любимого автора, поляка Януша Пекалькевича. Как-то раз в книжном магазине продавец назвал Пекалькевича реваншистом, что привело Феликса в ярость. Одноклассники тоже встретили его книгу не особенно хорошо, даже с раздражением. Феликс говорил все тише, однако во всем его облике сквозила легкая надменность. Я знаю настоящую жизнь, думал он, а вы просто-напросто фантазеры.

Давид прочитал стихи Чарлза Буковского из сборника "Стихи, которые некто написал, прежде чем выпрыгнуть из окна девятого этажа". На уроке он подсунул эту книгу Феликсу, тот невольно рассмеялся. Стихи ему понравились. И с тех пор Давид снабжал его книгами Буковского, Ремарка, Фрида, отдельными работами о Французской революции. Вре-

мя комиксов и военной литературы, однако ж, пока не миновало. Просто кое-что добавилось.

Понемногу новая дневная жизнь стала Феликсу нравиться. Он делал домашние задания, мечтал изучать психологию или историю. И по психологии в школе успевал отлично. Стремился лучше разобраться в себе, в тех вещах, которых не понимал. И восхищался учителями, что на Феликса было очень не похоже. Раньше учителя вызывали у него только ненависть. А он им нравился. "Феликс был юноша сдержанный, симпатичный", — говорит его математик.

В дружбу отношения Давида и Феликса переросли, как ни странно, в школьном туалете. Оба названивали оттуда по мобильникам, одобрительно усмехаясь друг другу. В середине девяностых мобильные телефоны еще были редкостью. Давид с Феликсом начали встречаться и после школы. "Они стали неразлучны", — рассказывает ей математик. Из-за Давида Феликс даже взялся учить испанский.

В обеденный перерыв оба садились в Феликсову машину и ехали в "Наискосок", кафе в районе Пренцлауэрберг, одно из первых открывшихся вскоре после падения Стены. Снаружи стены выкрашены в голубой цвет, внутри потемнели от дыма. Помещение длинное, узкое, справа — стойка, в дальнем конце — пестрая картина, которая менялась, если бросить в автомат марку. Здесь собирались студенты, преимущественно левые, часами пили из огромных кружек кофе с молоком, глядя, как за окнами мало-помалу опускается вечер. Вся жизнь как бы замедлялась, оборачиваясь бесконечно долгим досугом. Позднее оставалось только тащиться домой, спать. Она хорошо знала это кафе, один приятель работал там барменом. Некоторое время она заходила в "Наискосок" каждый вторник, вечером, чтобы повидаться с друзьями. Оказывается, они с Феликсом годами бывали в одном кафе, но в разное время, с разными друзьями. Ни разу им не довелось встретиться.

Феликс с Давидом обычно заказывали на двоих большой завтрак плюс для Феликса чашку чая "Эрл Грей". Часто они сидели за столиком, радуясь, что могут быть здесь, тогда как другие вынуждены работать. Иногда молчали по нескольку часов, читали прессу: Феликс — "Шпигель", Давид — "Тагесцайтунг". Скоро оба познакомились с официантами и поварами, и Феликсу разрешили брать с кухни домой пакеты замороженных русских пельменей. Он любил пельмени и ел их всегда со сливочным маслом и кетчупом.

Первое время Феликс недоверчиво поглядывал на людей за соседними столиками, но, поскольку никто не обращал на него внимания, в конце концов расслабился. Тем не менее порой ему мерещились провокации, но не в пример реже обычного. Он словно бы постоянно был на взводе, ежесекундно готовый свалить возможного противника. Если кто-нибудь из посетителей чуть дольше необходимого задерживался на нем взглядом, он тотчас настораживался, расправлял плечи и спрашивал у Давида: "Чего это он так пялится?"

"Иногда он чуть что лез в амбицию, как петух", — говорит Давид. Феликс шел за ничего не подозревающим "провокатором" в туалет, чтобы "сделать ему внушение", как выражается Давид. Сам он находил это смешным, но молчал: "Я ж ему не отец".

Однажды во время завтрака Феликс начал рассказывать о своей жизни. У Давида и в мыслях не было связываться с такими кругами. Особого интереса к кикбоксу он не проявлял, охранников знал по клубам, ко-

торые посещал, а о драках футбольных фанатов читал в газетах. Посторонний, просто слушатель. Феликс рассказывал, как работает на фейс-контроле, как присматривает за теми, кто в задних комнатах играет в азартные игры, а еще рассказывал о новой работе – охранником в борделе. Содержательница без конца приставала к Феликсу с разговорами и слишком много пила, так что на рассвете он часто сидел с ней за столом, помогая в расчетах, – иначе она бы не справилась. Некоторые истории звучали забавно, к примеру, как Феликс с корешами вышибали деньги в каком-то автосалоне: взяли напрокат несколько шикарных "мерседесов", надели черные костюмы и темные очки и заявились туда. Хотя ничего еще не произошло, хозяева в панике сбежали в контору и попрятались в шкафы. Феликс и тогда еще хохотал над этими лохами.

Он вообще много говорил о машинах. О машинах, которых по-настоящему как бы не существовало. О чем шла речь, Давид сообразил лишь много позже, когда Феликс уже исчез. Феликс ездил по автомобильным свалкам и выискивал там дорогие машины – "мерседесы", "БМВ", "ауди". Не подлежащие восстановлению, но еще не снятые с учета. Феликс покупал их прямо на свалке, со всеми бумагами и номерными знаками. Стоили эти разбитые тачки на удивление дорого, иногда Феликс выкладывал по семь тысяч. В принципе покупал-то он только легальные документы и реальные, законные номера движка и шасси. Затем команда молодых парней, которые хотели забить себе место в их мире, – одна такая команда называла себя "Абрафаксы", по старому гедеэровскому комиксу, – угоняла машины той же марки и модели. В мастерских на угнанные автомобили ставили движки и шасси от разбитых тачек, с легальными номерами. Старая развалюха опять отправлялась на свалку, краденая легально существовала по ее документам. Такую "новую машину" перепродавали за пятнадцать-двадцать тысяч. При обычной проверке никто ничего не замечал. Иногда вообще на угнанные автомобили только подделывали документы.

Феликс постоянно вел по телефону переговоры с разными автомастерскими, вечно возникали нелады то с покупателями, то с продавцами, то с механиками. Все норовили обмануть друг друга. Сам Феликс ездил на больших машинах, как правило на "БМВ". Когда бабушка спрашивала, откуда у него средства на такой автомобиль, он коротко бросал: "Тебя это не касается". Время от времени она оплачивала бензин, поскольку Феликс всегда сидел без денег. Машины имели в их кругах очень большое значение, символизировали благосостояние, свидетельствовали о солидном деловом статусе, хотя подчас не принадлежали по-настоящему тем, кто на них ездил.

Махинации с машинами для полиции тоже секретом не остались. Однажды полицейские прищучили Феликса в краденом автомобиле. Он сказал, что знать ничего не знает, просто совершает пробную поездку, так как хотел купить эту машину. Продавца он не назвал. Дознание в конце концов прекратили.

В другой раз прямо на уроке у Феликса зазвонил мобильник. Как выяснилось, полиция: "Мы стоим у вашей двери, с ордером на обыск". Феликс остался невозмутим. Благодаря своей политической работе Давид неплохо разбирался в подобных вещах. Он-то и поехал к Феликсу на квартиру и записал все действия полицейских. Те недовольно косились, но ничего не нашли, а протокол обыска Давид не подписал. Они с Фе-

ликсом даже подумывали, не стоит ли Давиду в следующий раз выдать себя за Феликса. Правда, до этого не дошло.

Давид здорово помогал Феликсу. Почему?

"Из симпатии", — говорит он и пожимает плечами. Он тоже недолюбливает полицию. Хотя, возможно, недооценил последствия. В точности Давид и сам не знает. Тогда он об этом не очень задумывался. Феликс ему нравился, они дружили, вот он и помогал.

Они были друзьями, но определенных тем предпочитали не касаться. К примеру, вообще не говорили об иностранцах и редко — о Второй мировой войне. Давид знал, что Феликс не любит турок и увлекается военной литературой. В свою очередь Феликс понимал, что Давид выступает в защиту левых политических узников. В подробности он не вдавался. Новое государство, по сути, не очень-то нравилось обоим, хотя и по разным причинам. Феликс с удовольствием вписался бы в этот порядок, Давид таким желанием не горел. Обоюдная симпатия исключала лишние вопросы. Каждый словно бы восхищался непохожестью другого. Жили оба очень по-разному, у каждого были свои друзья, своя работа, но они ежедневно виделись, слушали "Бёзе онкельз", хотя в окружении Давида эти ребята большой популярностью не пользовались. Даже хотели организовать свою группу. "У Феликса — злость, у меня — гитара", — говорит Давид. Но все кончилось ничем.

Давид качает головой. "Планов у Феликса всегда было полным-полно". Например, он просил Давида записать рассказ о его жизни. "Другие смотрят кино, а я в нем живу", — так он говорил. Потом собирался стать управляющим закусочной быстрого питания. Планировал большое путешествие — то в Чили, то на родину деда и бабушки, в Южную Африку. Каждому из друзей он поверял свою большую мечту, всякий раз новую. В итоге ни одна не сбылась.

Лишь однажды Давид и Феликс вместе съездили за границу — со всем классом, в Мадрид. Каждое утро Феликс вставал и совершал трехкилометровую пробежку в парке неподалеку от гостиницы. Потом, как обычно, устраивал тренировку на выносливость. Даже здесь толком не мог отключиться. Везде и всюду упорно следовал своим привычкам, будто иначе его жизни грозил распад.

После утренней тренировки он гулял с Давидом по Мадриду. Стояла жара, и они шли в Ботанический сад, садились где-нибудь на лавочку и читали книги. Для Давида это одно из самых лучших воспоминаний. Спокойные, безмятежные мгновения в жизни, переполненной стрессами. Однажды вечером они ходили на концерт из произведений Бетховена — второго после Баха любимого композитора Феликса.

А позже, в дискотеке, опять пошло-поехало. Кто-то якобы бросал на Феликса злобные взгляды. Феликс немедля изготовился к бою и сказал Давиду: "Будешь прикрывать с тылу, пепельницей". Давид не имел ни малейшего желания лезть в драку, и Феликс угомонился.

На другой день — экскурсия в Прадо. Феликсу понравились полотна Гойи, Иеронима Босха и Брейгеля, потрясающие, мрачные образы побоищ, безумия, гибели. Здесь-то он и купил репродукцию Брейгеля, которая до сих пор висит в его комнате у деда и бабушки.

Вскоре после возвращения из Испании Давид влюбился в девушку из их школы. Феликсу это наверняка вышло боком. Давид на год прервал учебу, вместе с подружкой отправился путешествовать по свету, предва-

рительно взяв у Феликса взаймы пять тысяч марок. Изредка он звонил другу из дальних стран.

После отъезда Давида Феликс появлялся в школе очень редко. А потом вовсе перестал появляться и был отчислен. Снова что-то пришло к концу, и снова что-то соединявшееся для него с другим человеком. Казалось, ни в чем нельзя найти прочной опоры. Феликс ушел из последнего, тринадцатого класса. Математик и теперь не сомневается, что он наверняка бы сдал на аттестат.

Вернувшись из путешествия, Давид продолжил учебу. Феликс нет. Он еще раз зашел в свою старую школу на Давидов выпускной вечер, поговорил с математиком о возможностях восстановиться. Как выяснилось, психологию и химию, предметы, по которым он успевал лучше всего, теперь на экзаменах комбинировать нельзя. Феликсу придется опять идти в двенадцатый класс. Тем не менее он согласился. Математик внес его в список, Феликс не явился. Давид еще несколько раз пробовал его уговорить. Безрезультатно.

Впервые очутившись у Давида на кухне в Пренцлауэрберге, она садится на диван. Подушки прогибаются, она прямо-таки тонет в них. Сам Давид занимает стул напротив. Стены кухни оклеены помятой упаковочной бумагой, в дворовом флигеле какая-то женщина репетирует оперные арии. Теперь у Давида короткая стрижка, ходит он по-прежнему в черном и изучает испанский. Он приносит из комнаты четыре папки-регистратора, толстые, как словари. Ставит их на подоконник — Феликсово наследство.

Давид открывает первый регистратор — чуть пожелтевшие требования об уплате долгов, счета, письма адвокатов. Вверху слева, где пишут адрес, проставлена только фамилия Феликса. Такое впечатление, будто он воевал со всеми ведомствами Германии. Тысячу раз парковал машину на тротуаре перед домом. И тысячу раз его за это штрафовали. Шансов на победу у него не было.

Давид медленно качает головой. А она грустит: все так нелепо. Счетов Феликс получал больше и больше, платил меньше и меньше, а в конце концов вообще о них забывал. Иногда за месяц наговаривал по мобильнику на 350 марок, сперва приходил счет, потом одно за другим следовали напоминания и в итоге уведомление, что номер отключен. То же происходило со страховками, квартирой, электричеством и газом. Адвокатам и тем Феликс платил редко. Быт одержал над ним победу.

В "минуту слабости" Давид сказал ему: "Дай-ка мне это барахло". С тех пор Феликс говорил, что завел себе личного секретаря. И теперь относил свою почту прямиком к Давиду. Тот все подсчитывал, держал в уме страховки и требования. Феликс привозил ему в конвертах нужные суммы, а он отправлял их по назначению. Часто Давиду приходилось спрашивать Феликса насчет денег либо разыскивать его по телефону. Иногда платежи задерживались еще и оттого, что сперва Феликс должен был забрать свою почту в разных местах — то у матери, то у подруги, то у деда с бабушкой. Он верил, что, раз он нигде не прописан, судебные исполнители и полиция нипочем его не найдут.

Кончилось тем, что Феликс стал зависеть от Давида. Как бы свалил на него ответственность за свою жизнь. В 1999-м, незадолго до ареста, Феликс переехал на квартиру в Пренцлауэрберг, которую снял все тот же Давид. Мало того, Давиду пришлось идти с ним в магазин "ИКЕА", выбирать там ковры, а дома вешать шторы. "Феликс гвоздя вбить не

умел", – говорит он. Даже Феликсов "БМВ" был куплен на имя Давида. Хотя Давид подозревал, что с машиной, возможно, дело нечисто. Они и не заметили, как их дружба мало-помалу утратила равновесие.

Она смотрит на Давида, а он рассказывает обо всем, чего только ни делал для Феликса. Безвозмездно. Ей он кажется слишком уж спокойным, слишком невозмутимым. В мозгу упорно бьется мысль: почему?

"В нем было какое-то подкупающее обаяние", – улыбается Давид. Вероятно, причастность к жизни Феликса еще и нервы щекотала. Притяжение запретного. Давид прикидывает, как бы продолжалась их дружба, если б Феликс не пропал.

Они рассорились: как-то раз Феликс в своих требованиях зашел чересчур далеко. Потом из тюрьмы послал Давиду письмо, которого тот не получил. Сам Давид ему не писал, для него ситуация тоже стала небезопасна. В конце концов, на множестве бумаг стояла его подпись. Сейчас возникает впечатление, будто Давид задним числом оправдывает свой поступок. Все это в прошлом, он не может поговорить с Феликсом, не может ничего ему объяснить, не может ни упрекнуть его, ни оправдать себя. Он по-прежнему платит за Феликсову квартиру, которой после ареста Феликса никто не интересовался. И ему страшно. Как объяснить страховщикам, что он понятия не имеет, куда девалась Феликсова машина? "БМВ" таинственным образом исчез, следом за Феликсом.

Давид сидит у себя на кухне, молчит, пьет кофе. Смотрит на регистраторы с таким видом, будто вот-вот сбросит их со стола. "Теперь я хочу поговорить о другом. С Феликсом меня связывали не только эти бумажонки и прочая чепуховина". Он пытается отогнать горечь, которая подчас грозит вытеснить все хорошее, что было в их дружбе. Может, оттого и не в силах расстаться с Феликсовыми регистраторами. Они символизируют тягостное, ребячливо-незрелое в их взаимоотношениях. И одновременно это своего рода последнее воспоминание.

Она никогда не видела его поединков. А ведь, по сути, он все время либо готовился к очередной схватке, либо восстанавливался после уже состоявшейся. Феликс всегда говорил ей: "Лучше не надо". Зрелище, мол, жестокое, ей будет страшно. Вероятно, он был прав. Хотя в конце концов все-таки надумал взять ее с собой. Но до этого не дошло.

Когда он пропал, она посмотрела видеозапись его поединков. Феликс стоял в спортзале на ринге, в красных шортах и голубом шлеме. Щуплый, с тонкой, чуть ли не прозрачной кожей. Она различала каждый мускул, каждую жилку. Последние недели перед поединком он всегда соблюдал голодную диету, держал вес – ниже шестидесяти килограммов. Едва звучал гонг, как он сразу переходил в нападение, непрерывно орудовал кулаками, иногда наносил удар ногой по голове. Противника к себе не подпускал – выставив кулак, не давал ему приблизиться. Из зала несутся возгласы: "Давай, Феликс, давай! Вмажь ему в печень! Вали с катушек!"

По три раунда, каждый продолжительностью в три минуты, он мутузил своих противников, которые под конец, ничего не соображая, ковыляли по рингу, как лунатики. Иногда и до финального гонга недотягивали, падали на пол. В нокауте. Феликс вел поединки с полным контактом. Она слышала резкий звук ударов по торсу противника и вспоминала давнего Феликсова тренера: когда-то он говорил, что кикбокс внешне похож на бокс, только допускает удары ногами. Одержав победу, Феликс

коротко выбрасывал руки вверх, обнимал сначала тренера, потом проигравшего. Выглядел он спокойным, сдержанным, словно в победе не было ничего неожиданного.

Обманчивое впечатление. Перед поединками он ужасно нервничал. Один из друзей в 1996-м ездил вместе с ним в Биденкопф на первенство Германии по кикбоксу и ночевал в том же гостиничном номере. От волнения Феликса все время тошнило. "Он боялся спасовать. И превращал свой страх в агрессию", – говорит этот друг. Феликс выиграл те соревнования и был многократным чемпионом Берлина. Многие кикбоксеры считают его прямо-таки легендой.

Проигрывал он редко. Раз-другой, Маттиасу. И после рыдал, не в силах этому поверить. Но Маттиас был его тренером. Феликс давно знал Маттиаса, еще до объединения, по выходившим на Западе каратистским журналам. Маттиас – личность героическая, чемпион мира по карате. Сразу после падения Стены Феликс сам приехал к нему в Западный Берлин. "Феликс был невероятно подвижен и гибок, почти как балетный танцовщик, – говорит Маттиас. Феликс тренировался у него дважды в неделю. – Ногами он действовал не вполне уверенно, наверстывал кулаками. Но при своем огромном таланте мог бы стать чемпионом мира".

Маттиас любил Феликса: "Скромный парень, каких поискать". К стене в его конторе приколота полоса из "Берлинер цайтунг" за 1992 год. На фотографии Феликс, счастливо улыбаясь, несет на плечах Маттиаса, который выиграл первенство мира.

Маттиас тоже работает охранником, с двадцати лет. А до того был почтальоном. "Самым быстрым в Берлине", – добавляет он. Маттиас – западник, один из немногих, что охраняют двери и на Востоке, в сумасшедшем доме. Кто-то из Феликсовых приятелей однажды заметил: "Ты – единственный западник, которого ниточем не отличить от восточника". Величайший комплимент. В их среде Маттиас занимает исключительное положение. Большинство уважает его, хотя он открыто сотрудничает с полицией. Поэтому у него есть и враги. "Заловлю с наркотой – мигом вышибу", – говорит Маттиас. Маленький, весь в черном, с бритой головой, он сидит перед ней в конторе своей охранной фирмы. Воротник рубашки украшен вышитой монограммой, на левом бедре – кобура. "В Берлине меня боятся", – говорит он. Кой-кому не по нраву, что он заодно с полицией. "Если кто на меня наедет, прихвачу его с собой на тот свет". Он прислушивается к своей последней фразе и удовлетворенно кивает.

Потом Маттиас вдруг заметил, что у Феликса постоянно меняются номера мобильников, и раз-другой полюбопытствовал, чем, собственно, Феликс занимается. Феликс не ответил, только молча смотрел в пол. Маттиас посоветовал ему держаться подальше от людей из Боксерского клуба.

"Да они в порядке. Я с ними вырос", – сказал Феликс. С удивлением, будто Маттиас требовал, чтобы он ушел из семьи. Временами Феликс рассказывал тренеру о своих уличных успехах, о драках футбольных фанатов и о самых заурядных происшествиях: "Был там один, все выпендривался, ну я и врезал ему по башке ногой с разворотом. Он сразу рухнул. Как подкошенный".

"Уважение в этой среде он приобрел, избивая нормальных, хороших людей", – говорит Маттиас.

Он хотел, чтобы Феликс работал у него, в Западном Берлине. Феликс отказался: он, мол, терпеть не может всяких иностранцев, сразу из себя выходит. Маттиас тоже говорит: "После стольких лет в охране я и сам турок недолюбливаю". Он только под конец сообразил, что Феликс тоже не совсем белый. "Мать-то у него настоящая негритянка", — удивляется он даже сейчас. Позднее Феликс перешел в Боксерский клуб. Но связь они не потеряли, нет-нет да и заходили друг к другу на работу.

Потом Феликс сам начал тренировать кикбоксеров. Один из них — Роберт. Он, Феликс и Давид учились в одном выпускном классе. Роберт до сих пор видит Феликса во сне. Тот будто бы появляется у него в квартире, чтобы спрятаться в ванной. А Роберт должен бегом бежать в Боксерский клуб, предупредить тамошних людей. В другой раз он будто бы видит, как Феликс парит в небесах и ругается: "Черт, тут даже толком не потренируешься!"

Для Роберта Феликс всегда был сильнее всех — великий тренер, который держал его в ежовых рукавицах и чьи разминочные упражнения наводили на него ужас: по шестьдесят пять приседаний попеременно на каждое колено. Иными словами, Роберту нужно было коснуться коленом пола и тотчас же выпрямиться. После этого он едва мог ходить. "Если ты не выкладывался до полного изнеможения, Феликс злился", — говорит Роберт. Тогда он как генерал отчитывал своих "солдат", требуя максимальной сосредоточенности. "Со своим абсолютным перфекционизмом он всегда доходил до предела". Под конец Феликс иной раз заставлял учеников отрабатывать "утиный шаг" — три круга прыжков с приседом. Нередко Роберта попросту выворачивало наизнанку, или же он беспрестанно обливался потом. Временами у него чернело в глазах возле громадных боксерских мешков. Он совершенно выбивался из сил. Три минуты дубасил по качающемуся туда-сюда мешку, поневоле то устремляясь за ним вдогонку, то уворачиваясь. А Феликс знай покрикивал: "А ну живей, тюфяки!" Ошибок и слабости он никому не спускал, в том числе и себе. "Две сотни метров утиным шагом ни один нормальный человек не осилит, это перебор", — говорит Роберт теперь. А тогда он восхищался Феликсом. Видел в нем чуть ли не сверхчеловека. Как знать, может, и он ощущал себя только через боль.

Роберт совершенно не мог представить себе Феликса плачущим. "Раз уходят такие люди, как он, жесткие, сильные, то все это не имеет смысла", — говорит он. После исчезновения Феликса он лишь изредка ходил на кикбокс. Интерес пропал. Два года он тренировался у Феликса, но о себе тренер мало что рассказывал. Роберт знал только, что у Феликса есть дед и бабушка, вот и все.

Когда Роберт видел его в последний раз, за несколько дней до исчезновения, Феликс выглядел как человек, который много плакал. Они сидели в кафе "Наискосок", пили пиво и впервые довольно долго разговаривали. "Феликса будто подменили, — вспоминает Роберт. — Начни кто-нибудь задираться, он бы и бровью не повел". Жесткости как не бывало. Феликс, его герой, показал слабину. И Роберт не мог этого вынести.

11

Феликсу было ненавистно, что он выглядит "канаком" или "апачем" — так в их кругах называли иностранцев. Поэтому в Западный Берлин он

ездил редко. Не его это город — турок там чересчур много. А с ними он не желал иметь ничего общего. Должно быть, ему казалось, будто он смотрит в зеркало. И отражение не вызывало у него симпатии.

Турок он знал только как посетителей дискотек, где дежурил на фейс-контроле. И по нескольку раз за ночь они ему угрожали: "Не жить тебе, старик". Феликс едва сдерживался. Больше никто себе такого не позволял. От этих турок жди чего угодно: устроят провокацию, а после заявятся целой кодлой и учинят разборку. Всем известно, что они держатся заодно, даже восточноберлинцам до них далеко. Иной раз восточноберлинцы брали пример со своих врагов: тоже завели приветственные ритуалы и в свою очередь неукоснительно соблюдали закон круговой поруки, к которому турки относились очень серьезно.

Однажды в надземке к Феликсу прицепилась шайка бритоголовых, они обзывали его канаком, избили, сломали ему нос. Дома он сказал бабушке: "Привяжутся снова — всех убью". И стал тренироваться еще ожесточеннее, не желая ни под каким видом вновь пережить такое унижение. Он не мог понять, за что они его ненавидят. Ведь сам никогда не считал себя иностранцем. Родился в Восточном Берлине, как и эти бритоголовые, ходил в те же школы, что и они, говорил на том же языке и был так же зол, полон ненависти и растерян. Но они не вязались к нему, только когда знали его. Едва покинув знакомое окружение, он тотчас становился чужаком. Другим, непохожим.

Южноафриканцем Феликс себя не ощущал. Он никогда не видел эту страну, откуда волею случая были родом его мать и дед с бабушкой. Из родни знал лишь тех немногих, что приезжали в Берлин, сам же наотрез отказывался побывать там. "Я немец. Что я там забыл?" — говорил он бабушке. Она обижалась, но не возражала: "Это было важно для Феликсова самосознания".

Хоть где-то он мог найти себе место — если уж не на Востоке и не на Западе, не среди черных или белых, то по крайней мере среди немцев!

Оттого Феликс и отвергал свое второе имя, африканское. Она знать не знала про это имя, впервые обнаружила его в судебных документах из Давидовых регистраторов. После *Феликс* стояло — *Мконто.* Что это? Давид спросил у Феликса, известно ли ему, что означает "мконто". Феликс не знал. Так вот, *мконто*, или, в другой транскрипции, *умконто*, означает "копье", а "Умконто ве Сизве" означает "Копье нации". Стало быть, Феликса назвали в честь вооруженной организации АНК.

В первую минуту Феликс пришел в восторг. Имя под стать настоящему воину. Но затем примешалось и еще одно чувство: *Мконто* в удостоверении личности — вечный знак, что он *другой.* Он бы с удовольствием вычеркнул это чуждое второе имя, истребив таким образом свою африканскую принадлежность. "Никто из моих корешков выговорить его не может", — объявил он деду и бабушке. А в полиции кто-то сказал ему, что "Умконто" было террористической организацией.

В книжном шкафу у деда и бабушки лежит книга, которую он напоследок читал и перечитывал: "На пути к выздоровлению", рассказ об излечении ракового больного. На первой странице, внизу справа, Феликс черной шариковой ручкой вывел: *Ф. М. Феликс Мконто.* Возможно, в конечном счете он примирился.

"Для нас это имя почетное", — до сих пор говорят его дед и бабушка. Но это было *их* имя. Они связывали с ним свою борьбу, свои лишения, свою цель — справедливость и свободу в Южной Африке. Нелегкое на-

следие для внука. Феликс не мог наполнить свое имя тем смыслом, какой вкладывали в него дед с бабушкой. Возможно, угадывал его, но вопросов не задавал. А они мало что рассказывали об "Умконто ве Сизве". Для них это была память о другой, далекой жизни, о родине, которую им пришлось оставить.

Отец Жанетты всегда пророчил: "Ваша любовь опасна". Первые годы казалось, что им по силам жить с опасностью. Жанетта и Арнольд привыкли к слежке, привыкли вечно прятаться от спецслужб, привыкли к обыскам и допросам. В 1960-м, после восстания в Шарпвиле, все изменилось. Там, в южном предместье Йоханнесбурга, населенном преимущественно черными, несколько тысяч человек вышли на мирную демонстрацию против нового закона о паспортах. Полиция открыла по демонстрантам огонь. Шестьдесят девять человек были убиты на месте, сто шестьдесят восемь — ранены. Правительство немедля ввело чрезвычайное положение.

Ночью после этой бойни агенты госбезопасности явились в дом родителей Жанетты, все обшарили, допытывались, где Арнольд, но не нашли его. Отец Жанетты старался владеть собой и держать домочадцев под контролем. Когда госбезопасность уехала, он серьезно посмотрел на Жанетту. "Ты должна пойти к Арнольду, предупредить его. Только ты можешь это сделать. Звонить нельзя, и никто не должен тебя видеть".

Жанетта уже не помнит, о чем тогда думала. Чувства отключились, она действовала как автомат. Машинально разбудила дочку, одела ее. Зачем взяла с собой малышку, она сейчас сказать не может. "Знаю, я требовала от нее слишком много, но каким-то образом она придавала мне сил".

Через парадную дверь не выйдешь, кругом шпики. Держа дочку за руку, Жанетта километра три бежала садами, перелезала через ограды, спасалась от собак. На рассвете они добрались до дома брата Жанетты, где ночевал Арнольд. Она растолкала его. "Тебе надо уходить. Сию минуту". Арнольд без лишних слов оделся и ушел. А Жанетта с дочкой той же дорогой вернулась домой.

На следующий день Арнольд неожиданно пришел к швейной фабрике, где работала Жанетта. "У меня нет денег", — сказал он. Она дала ему десять фунтов, все, что у нее было. Арнольд послал ее в свое профсоюзное бюро спросить, что им теперь делать. Там ей посоветовали: "Арнольду надо бежать из страны и не возвращаться". Обстановка принимала дурной оборот. В первые же дни после расстрела демонстрации полиция арестовала десятки тысяч политических активистов, многим другим пришлось бежать. А вскоре АНК тоже был запрещен.

Судя по всему, жизненно важные решения Арнольд и Жанетта волей-неволей принимали всегда за считанные минуты. Она спрашивает их, каково это — покинуть родную страну.

"Я боялся за Жанетту", — говорит Арнольд. Для него бегство прошло как в трансе, ему было не до печали и боли. Полиция уже назначила за его поимку награду в шестьсот фунтов. Первые двадцать миль до Крюгерсдорпа, что в ближайших окрестностях Йоханнесбурга, он прошел пешком, выпрашивая деньги в пивнушках. Оттуда поездом поехал в сторону границы с нынешней Ботсваной. Потом, купив билет в спальный вагон, добрался до Фрэнсистауна на севере Ботсваны. На границе Ар-

нольд отрекомендовался мистером Ноланом, так звали его деда по матери. Паспорт ему тогда предъявлять не понадобилось. Повезло.

Во Фрэнсистауне Арнольд жил в гостинице, почти не выходя на улицу. Южноафриканские спецслужбы шли по его следу, пытались даже похитить его и вернуть назад. "Правда, действовали они довольно неуклюже", – говорит Арнольд. Он не знал, как долго сможет здесь оставаться, и подыскал кратковременную работу – отстреливать в болотах крокодилов. Но до этого не дошло. Через несколько недель правительство Ганы прислало самолет к границе с Замбией. Арнольда и еще троих коммунистов вывезли в Гану.

В Аккре он на первых порах наслаждался свободой. "Впервые за много лет я мог передвигаться без всяких ограничений", – говорит Арнольд. Он мог с кем угодно говорить и встречаться, мог, не опасаясь ареста, пойти в кино. И хотя находился теперь за тысячи километров от Южной Африки, твердо решил продолжать борьбу против апартеида. Тогда Арнольд еще верил, что эмиграция продлится несколько месяцев, максимум год-другой. Никто и не помышлял, что продлится она три десятилетия, целую жизнь. Арнольд думал прежде всего о Жанетте, которая осталась в ЮАС. Окольными путями он слал ей письма в Йоханнесбург и, наконец, в одном написал: "Билеты на самолет для тебя и для дочки уже готовы".

Тем временем жизнь в Южной Африке превратилась для Жанетты в сущий кошмар. Из-за побега Арнольда она потеряла работу, полиция глаз с нее не спускала и все время таскала на допросы, стремясь выяснить местонахождение Арнольда. Ее друзья сидели в тюрьмах или покинули страну. "Я чувствовала себя обузой для семьи", – говорит Жанетта. Ей не хотелось уезжать, решение было сугубо рассудочное.

С помощью хитрых уловок она добыла загранпаспорт для себя и для дочки. Наплела чиновникам, что хочет съездить в отпуск: надо отдохнуть. Потом пошла домой и начала собирать чемоданы. Даже не чемоданы, а две маленькие дорожные сумки, ведь большой багаж сразу вызовет подозрения. Потому-то сейчас у Жанетты нет почти ни одной памятки из той, первой жизни – ни писем, ни мелких безделушек, напоминающих человеку о родном доме, фотографий и тех мало. Она утратила прошлое.

Наверно, хуже всего, что Жанетта не могла толком попрощаться с родными. Дочке она сказала, что они уезжают только на две недели, отдохнуть. Ведь девочка могла проговориться. В те дни Жанетта старалась ни о чем не думать, разыгрывала перед дочкой веселую маму, а та радовалась путешествию и самолету. Слабость недопустима, именно теперь.

На аэродром ее провожала вся семья, и в душе она сказала им: "Прощайте!" Запечатлела в памяти, как они стояли в зале: братья и сестры, отец и мать. Своих родителей она видела тогда в последний раз. Потом быстро отвернулась и поспешила к самолету. Госбезопасность, получив от кого-то наводку, хотела снять Жанетту с самолета. Командир экипажа отказал: она уже вне юрисдикции ЮАС. Жанетта сидела у окна, играла с дочкой и думала: надеюсь, мы скоро вылетим. Первая ее жизнь близилась к концу. Ей было двадцать девять лет, дочке – девять.

Наутро южноафриканские газеты писали: "Подруга профсоюзного лидера бежала из страны". В Аккре ее ждал Арнольд, а через три недели, 14 августа 1960 года, они поженились. "У меня ни настоящего свадебного платья не было, ни букета", – говорит Жанетта. Словно до сих пор

жалеет об этом. В ее голосе сквозит грусть, с годами становившаяся только сильнее, потому что мечты так и не сбылись. Арнольд был в костюме с чужого плеча. На свадебной фотографии оба сидят за массивным деревянным столом, неестественно прямые, напряженные, у Жанетты под глазами черные тени. Арнольд не такой худой, как сейчас, растерянно глядит в стол. Рядом стоит свидетель — Оливер Тамбо, в ту пору еще заместитель председателя АНК, тоже бежавший в Гану.

Эта фотография обошла газеты всего мира. "Белый активист женится на цветной", — кричали заголовки. Одна из газет назвала их историю "Краденая любовь", ведь в ЮАС они могли встречаться лишь тайком. Они сберегли и эти статьи, и фотографию. Держат их в шкафу в своей берлинской гостиной, под бумагами и снимками Феликса. Рассматривая теперь старые вырезки, они выглядят удивленными, будто сами не верят, что именно о них, об их жизни где-то в Африке писали газеты в 1960 году.

"Мы не искали ни лучшей жизни, ни благосостояния, — тихо говорит Арнольд. — Мы хотели свободы для Южной Африки". Он чуть ли не оправдывается.

Жанетта с Арнольдом вовсе не рассчитывали жить в эмиграции. Так получилось, стихийно, быстро, неотвратимо. После свадьбы они попробовали обосноваться в Гане. Безуспешно. Жанетта работы не нашла, сидела целый день в доме у дипломата, который их приютил, и думала об оставленной на родине семье. Потом Арнольд начал работать в профсоюзах, и они втроем поселились в одной комнате на окраине Аккры. Арнольд редко бывал дома, постоянно разъезжал с профсоюзниками и партийцами и довольно много пил. Каждый жил сам по себе, в собственном изгнании. Жанетта временами кое-что шила для знакомых, но нечасто.

"Просто кошмар", — говорит она теперь. Дочка ее ходила в школу и владела английским лучше учительницы. На еду денег хватало, и только-то. "Работала я лишь от случая к случаю. Арнольд дома появлялся редко. Я же привыкла к большой семье. И всегда была независима. А тут вдруг осталась без всего". Она словно подошла к последнему пределу. Потеряла все, ради чего стоило жить.

Жанетта легла на кровать и наглоталась таблеток. Даже теперь, спустя столько лет, голос слегка дрожит, когда она об этом рассказывает. Она смотрит в пол. До сих пор переживает. И раньше никогда об этом не говорила. Тогда ее спас канадец, который в частном порядке давал ее дочери уроки английского, — отвез в больницу. Там Жанетте промыли желудок. Очнувшись, она увидела перед собой лицо врача. И врач сказал ей: "Запомни: у тебя есть ребенок. Ты произвела его на свет и несешь за него ответственность. Всегда думай о том, что будет с ним".

А что же Арнольд? Жанетта пожимает плечами. Молчит. Вероятно, он был в полном шоке. Может статься, тогда-то и пришла в семью эта странная тишина, возникавшая всякий раз, когда дело шло о чувствах. Внешне они остались для всех крепкой командой борцов, внутри каждый жил сам по себе. Говорить они не могли. Все бы тогда рухнуло.

Вернувшись к жизни, Жанетта поняла: что-то надо делать. Сосед напротив, ливиец, предложил ей место учительницы в своей школе. Арнольд, правда, сказал, что нехорошо отнимать работу у черных. Но Жанетта не видела ничего дурного в том, что станет учительницей.

В первый день в новой школе директор, представляя Жанетту коллегам и учащимся, назвал ее белой южноафриканкой. Она и в самом деле была намного белее ганцев. “Нет-нет, – запротестовала Жанетта, – я черная, как и вы. Потому и очутилась здесь”. Директор обиделся, белая учительница подняла бы престиж школы. Вдобавок Жанетта была левша, что в Гане считалось дурной приметой. В общем, все как-то не заладилось. И директор, сам чернокожий, уволил ее.

Жанетта восприняла это как сигнал: больше ей не выдержать. Необходимо уехать. С Арнольдом она это не обсуждала. Купила себе и дочке билет на самолет и тогда только сказала ему: “Я уезжаю. В Лондон. Билет в один конец”. Арнольд промолчал. Что он думал, по сей день не очень ясно. Наверняка чувствовал себя обманутым и одиноким. Он и теперь редко говорит о “личном”. Легонько улыбается и меняет тему.

Проведя год в Гане, Жанетта с дочкой вылетели в Лондон, транзитом через Западную Германию. Между тем власти Южной Африки лишили гражданства и их обеих, и Арнольда. Они окончательно стали беженцами, которые бесприютно скитаются по свету в поисках новой родины. До Лондона они добрались совершенно без сил, с двумя чемоданами, и на первых порах жили у родственников. В итоге Жанетта пошла в бюро компартии Южной Африки, попросила помощи. “Ладно. Подыщу вам что-нибудь”, – сказал тамошний руководитель, хотя Жанетта в партии не состояла. И он вправду нашел для них комнату в какой-то семье.

То время Жанетта вспоминает с удовольствием. Она шила, зарабатывала деньги, дочка ходила в школу и брала уроки хореографии. По субботам, в свободный день, они прибирали свою комнату, потом шли за покупками и в кино. Арнольд каждый месяц присылал из Ганы денежные переводы. “Он увез нас из Южной Африки, вот и должен был о нас заботиться”, – говорит Жанетта. И действительно заботился, по-своему, без лишних слов.

Через несколько месяцев в Лондон пришло письмо: Арнольд писал, что его пригласили в ГДР, где ему сделают глазную операцию, и спрашивал, не хочет ли она поехать с ним. Жанетта до сих пор толком не знает, почему согласилась. “Я ведь вышла за Арнольда замуж и хотела иметь семью”. Возможно, Арнольд был для нее чем-то вроде последней ниточки, которая связывала ее со старой родиной, единственным человеком из прежней жизни. Они были связаны друг с другом. Навсегда.

Лондонские товарищи отнеслись к идее Арнольда одобрительно: “В ГДР все у вас будет замечательно. Твоя дочка получит хорошее образование, ты тоже сможешь подучиться, Арнольду подправят зрение”. Жанетта отправилась в дочкину школу, забрала ее документы и пояснила: “Мы опять уезжаем”. Дочкина учительница запротестовала: “Вы делаете ошибку. Оставьте девочку здесь. Пусть живет у меня”. Жанетта отказалась, она не могла оставить дочку. Саму девочку никто не спрашивал.

Год они прожили в Гане, четыре месяца – в Лондоне, а в ноябре 1961-го, вскоре после постройки Стены, прибыли в Восточный Берлин. На аэродроме их встретили Арнольд и несколько человек из восточногерманских профсоюзов, ССНП. Встретили радушно, окружили вниманием. Жанетта мало что знала о ГДР. По дороге в гостиницу ей бросилось в глаза, что “все вокруг – и дома, и люди – выглядело каким-то серым, унылым”. И к холодам пришлось привыкать.

Первые полгода в ГДР все трое жили в однокомнатном номере профсоюзной гостиницы на Инвалиденштрассе. Их всячески опекали, возили по стране. Арнольд и Жанетта выступали перед рабочими на предприятиях, в школах и на партийных собраниях. Рассказывали о Южной Африке, о своей борьбе против апартеида. Наконец-то люди проявляли интерес к ним и к их истории.

Арнольд восхищался "антифашистским государством на немецкой земле". "Вначале я горел энтузиазмом и называл себя интернационалистом"; — говорит он. Каждый в этой маленькой семье связывал с жизнью в ГДР собственные надежды. Арнольд намеревался возобновить политическую деятельность, организовать отсюда помощь борцам в Южной Африке. Жанетта рассчитывала, что сможет изучать право. Что до Жанеттиной дочери, то ее желаний тогда никто знать не знал. Скорей всего, в голове у нее царил полный сумбур.

Арнольд, Жанетта и ее дочь были в ГДР первыми беженцами из Южной Африки. И остались. Да и куда они могли податься? На родину путь закрыт. А здесь к ним по крайней мере хорошо относились.

12

У Арнольда и Жанетты ей все время кажется, будто Феликс ненадолго вышел пройтись и с минуты на минуту вернется. Она напрягает слух, но на лестнице тихо, шагов не слышно. В ванной под зеркалом ждут его бритвенные принадлежности — помазок, лосьон после бритья, туалетная вода "Иссеи Мияке". Мелкие свидетельства тщеславия. Феликс мог часами стоять перед зеркалом, любуясь собственным телом, особенно рельефными квадратами брюшного пресса. Бородку он подбривал необычайно аккуратно, так что она узким полукольцом окаймляла лицо, а посредине оставлял тонкую полоску, доходящую до нижней губы. Стригся всегда очень коротко, только на темени волосы были чуть подлиннее и на лбу росли уголком. Очки в металлической оправе он надевал лишь в крайних случаях, обычно носил контактные линзы.

Феликс любил фотографироваться. И хранил множество собственных фотографий, большей частью он на них почти без одежды, а иногда и полностью обнажен. Он снимался для рекламы нижнего белья, для спортивных журналов. В давней его комнате висит, к примеру, такая фотография: затянутый в черную майку из эластика, Феликс снизу вверх вызывающе смотрит в объектив. Рядом черная надпись — *Blackstyle*. Однажды он даже красовался на первой полосе гомосексуалистского журнальчика "Зигесзойле": обнаженный торс высовывался из водостока. С детства Феликс работал над своим телом, как художник над произведением искусства, — казалось, многие годы без перерыва провел в фитнес-студии. Анаболики он никогда не принимал, презрительно говорил: "Это для качков". А они в конце концов теряют реакцию и жиреют.

Феликс регулярно принимал кератины. Пил вишневый сок, который якобы отключает аппетит, и глотал слабительное, как девчонки, помешанные на похудании. После шести вечера он почти ничего не ел, прежде всего никаких сладостей. И тренировался как одержимый. С ним постоянно случались травмы, а как-то раз он рассказал ей, что загнал себе в пятку иглу, да так там и оставил. Будто нарочно причинял себе боль, желая уничтожить все барьеры. И добился цели: в конце концов тело его сплошь состояло только из кожи и мускулов.

Женщины находили Феликса "очаровашкой". Увивались возле него в дискотеках, где он дежурил на фейс-контроле, в клубах после тренировок. По-настоящему ему нравились очень немногие. Бабушка его помнит целую вереницу девиц с длинными, ниже пояса, светлыми волосами, кукольными мордашками, длинными ногтями и стройными фигурками — они сидели у нее на диване и молчали. Все чем-то похожие одна на другую. Феликс предпочитал пышногрудых блондинок со внешностью манекенщиц. В его мире этим женщинам полагалось служить украшением и вызывать зависть братвы. Но в собеседницы они, увы, не годились. Поэтому частенько такие связи были весьма мимолетны. Самый долгий его роман длился два года, по той подружке он всегда горевал. Она тренировалась так же фанатично, как и он сам. Занималась аэробикой. Феликс жил с ней, когда начались побоища на футболе и в Бранденбурге. Интересно, что она об этом думала? Сейчас она не хочет говорить о Феликсе. А когда она ушла, у Феликса едва не случился нервный срыв.

Потом была Мария. С ней она встречается в "Венеции", итальянском ресторанчике на Александерплац. У входа там стоит гондола, стулья в зале обтянуты пестрой тканью, на столах — букетики искусственных цветов, а из динамиков звучит "Do You Really Want to Hurt Me", хит группы "Калче клаб", под который все они танцевали в восьмидесятые. Мария и Феликс часто здесь бывали. Длинные белокурые волосы Марии собраны в узел на макушке, на ней белый шерстяной свитер, глаза опухли. Она то и дело плачет. И утирает слезы бумажным платком, который все время комкает в правой руке.

Мария была подружкой другого охранника, из рансдорфской группировки. Она очень любила его, но сам он больше ценил компанию своих дружков, чем ее общество. И Мария решительно с ним порвала. Феликс, наверно, стал ей своего рода утешителем. Они познакомились еще в гольценском клубе, где Мария стояла за стойкой, а Феликс с Оливером — на фейс-контроле. Тогда они часто виделись, временами разговаривали, она звала Феликса "малыш-очаровашка" и еще не порвала с тем своим другом. Когда Мария ушла от него, они с Феликсом встретились вновь. Вообще-то она хотела свести его со своей подругой. "Я с удовольствием схожу в кино, — сказал Феликс, — но только с тобой". И сунул ей записку с номером своего телефона.

Немного погодя они уговорились о встрече на Грайфсвальдерштрассе, в "Аль-денте", итальянском ресторанчике, где Феликс был завсегдатаем. Мария горевала по утраченной любви, Феликс слушал и старался утешить. Потом они поехали к нему на квартиру у вокзала Осткройц, всю ночь напролет до семи утра просидели на Феликсовом ковре, пили бабушкин херес и разговаривали. "Прямо как в шестнадцать лет — держались за руки и мололи языком", — говорит Мария. Феликс сидел напротив, прислонясь к стене, слегка прищуривал глаза, будто старался скрыть усмешку, и временами вставлял короткие реплики.

"Из всех моих знакомых один Феликс по-настоящему умел слушать", — до сих пор с восторгом твердит Мария. Если Феликс кому-нибудь симпатизировал, то очень серьезно воспринимал все, что тот говорил. Внимательно смотрел на собеседника, кивал, молчал, иногда бросал лаконичные замечания. И этого было достаточно. Казалось, он вникает в чужие проблемы, живет ими, будто они его собственные. У собеседника возникало ощущение, что для Феликса нет сейчас ничего важнее, чем он.

Мария в полной мере прочувствовала его внимание. Рассказывая о долгих беседах с Феликсом, она смотрит в пространство, словно все это было давно-давно, в другой жизни, и вспоминается с большим трудом. В ее голосе сквозит легкая грусть, словно она горюет о чем-то, что некогда имела, но как следует не ценила и в итоге потеряла. Феликсу она часами рассказывала о своем отце, о детстве. Феликс никогда почти не говорил "перестань" или "мне это неинтересно". Только изредка задавал вопросы. Когда Мария училась на курсах парикмахеров, у нее на руках выступила аллергическая сыпь. "Феликс мне объяснил, что тело — зеркало души и болезни во многом связаны с психикой".

Усиленно занимаясь чужими проблемами, Феликс отвлекался от своих собственных, избегал необходимости рассказывать о себе. Ему нравилась роль помощника, она дарила приятное ощущение, что он нужен, но вместе с тем остается недосягаемым, неприкосновенным. И все больше впадал в безмолвие.

В 1998-м Мария и Феликс съехались, сняли квартиру на окраине, в Кёпенике, далеко от всех друзей. Произошло это скоропалительно, они и сами толком не поняли как. Может, пытались убедить друг друга в чем-то, хоть и знали, что добром дело не кончится. "Феликс мечтал о женщине, которая всегда и во всем будет ему поддержкой", — говорит Мария. Звучит слегка патетично, однако вполне в духе Феликса. "Я не смогла", — тихонько добавляет Мария. Бывший друг, ее большая любовь, постоянно присутствовал где-то на заднем плане.

На первых порах все складывалось очень гармонично. По утрам они вместе совершали пробежку на несколько километров. Мария закончила курсы индивидуальной защиты и тренировалась для занятий аэробикой. Потом они долго завтракали, Феликс ехал на тренировку, возвращался, медитировал в гостиной, пил чай, читал книги. В семь вечера смотрел по телевизору "Симпсонов", каждый день, что бы ни происходило. До самого конца он смотрел "Симпсонов", даже в тюрьме. Вечером опять ехал на тренировку. На фейс-контроле дежурил только по выходным.

От массажного салона и аттестата зрелости он давно отказался. Правда, пособие на учебу пока получал и зарабатывал на автомобилях. "Феликсу всегда хотелось иметь много денег, чтобы читать книги и сидеть в кафе, — говорит Мария. — Но работать ради этого он не рвался. Вечно рассуждал о полном материальном аскетизме и о том, что с радостью ушел бы в какой-нибудь китайский монастырь. Хотя придавал огромное значение тому, что на нем надето и какая у него машина, она ведь непременно должна быть дорогая. Одно с другим совершенно не вязалось".

31 марта 1998 года — Мария точно помнит эту дату — здесь, в "Венеции", где они сейчас сидят, Феликс сделал ей предложение. Мария согласилась, и они обручились. Так странно, что они сидят в том же ресторане, как тогда, с Феликсом. Встретиться тут предложила Мария. Ей чудилось, будто прошлое зыбким флером накрывает настоящее. И она прямо воочию видит, как эти двое сидят за одним из здешних столиков, держатся за руки и, наверно, клянутся друг другу в вечной любви. Мария тихонько плачет.

Ну а потом все резко изменилось. Феликс вложил все свои деньги в весьма сомнительный проект, связанный с машинами и каким-то автосалоном. Подробностей Мария не знает. Партнер кинул Феликса, и тот

потерял свои сбережения. Вдобавок был арестован Марко, и Феликс боялся, что тот даст показания против него. Он все чаще срывался: то чайные чашки в стену швырял, то вышибал ногой входную дверь. Эти приступы необузданной ярости напоминали Марии ее отца. Все чаще Феликс искоса наблюдал за нею, и в его глазах она читала ненависть. Ей стало страшно.

К тому же Феликсу снова пришлось работать на полную катушку, дежурить в охране и по будням. "Его это бесило. Он сказал, что ему вообще все тут осточертело, вся эта пустота. Но, с другой стороны, требовались деньги".

Выйти из дела Феликс не мог, да, наверно, по-настоящему и не хотел. После того как бросил школу, он последние десять лет только и делал, что занимался боевыми искусствами, охраной людей и домов, фейс-контролем, торговлей машинами и вышибанием долгов, что и обеспечивало ему быстрый заработок. Лишь в этой среде он кое-что значил, лишь ее знал.

Он все чаще болел: астма, бесконечные простуды. Сквозняков теперь боялся как огня и обычно накидывал на плечи свитер. Нередко валялся в постели, молчал, глядя мимо Марии в потолок. Иногда заходила его мать, приносила домашнюю еду. Образ Феликса, который составила себе Мария, рассыпался в прах, когда она увидела его слабым. "С одной стороны, суровый, несгибаемый кикбоксер, с другой — человек в постели, которого навещала мама", — говорит она. Феликс все дальше отходил от мужественной роли крутого мачо, на которого она могла опереться, а не наоборот. Феликс был недоволен, целыми днями играл в компьютерные игры и ссорился с ней. Мечты об аттестате, об изучении психологии развеялись как дым. Мария опять начала встречаться с прежним своим парнем. "В конце концов мне стало невмоготу", — говорит она. Пришло время расстаться.

Примерно в ту пору, когда арестовали Марко, а Мария решила уйти, она сама после нескольких лет молчания встретила Феликса. Уже захолодало, был конец октября 1998-го. Вместе с другом она пришла за покупками в супермаркет и складывала в тележку молочные пакеты, плитки шоколада, морковь. Вдруг за спиной чей-то голос негромко и вопросительно произнес ее имя. Она обернулась — перед ней, посреди пренцлауэрбергского супермаркета "Кайзерс-маркт", стоял ее старый друг Феликс, которого она не видела целую вечность и уже считала пропавшим навсегда. Он улыбался, выглядел вроде как обычно, только обзавелся бородкой и золотой серьгой. В руках корзинка с замороженными пирогами, печеньем и чаем. Она вспомнила, что на днях у Феликса день рождения. Забавно, какие вещи сохраняются в памяти на долгие годы. Родственники придут в гости, сказал он.

Здесь, среди стеллажей с "Ариэлем", "Мистером Пропером" и зубным эликсиром "Одол", Феликс казался духом их общего прошлого, который явился прямиком в новое время и не куда-нибудь, а именно в храм капиталистических удовольствий. Такое чувство порой возникало у нее, когда после долгого перерыва она встречала давних друзей из исчезнувшей страны. Они были словно видения из иного мира, из другой жизни, навсегда оставленной позади. Она чуть ли не удивлялась, что они еще вправду существуют. Тогда, в магазине, они с Феликсом улыбнулись друг другу, спросили, как жизнь. "Слушай, я думала, ты уехал из Берлина, за

границу, и вообще. Тыщу раз безуспешно пыталась до тебя дозвониться", — сказала она.

Феликс ответил, что все время был в городе, только переехал. Тут-то и выяснилось, что они годами ходили за покупками в один супермаркет и, вероятно, сотни раз едва не сталкивались.

Теперь разговаривать было легче. Странная недоверчивость, обескураживавшая обоих, исчезла. Они снова могли поболтать, обменялись телефонами, обещали звонить. Через несколько дней она действительно набрала Феликсов номер, опасаясь в глубине души, что он неправильный. Феликс ответил, она его поздравила, он обрадовался. Ее день рождения был на четыре дня позже. Феликс позвонил, и они договорились о встрече. Рожденные под знаком Скорпиона, оба они до самого конца подтрунивали над этим обстоятельством, дразнили друг друга за якобы "мстительный, мрачный и ревнивый" характер.

Немногим позже они встретились в кафе "Наискосок", где все эти годы каждый бывал сам по себе. Сидели за столиком у окна, глядя на мокрую от дождя Пренцлауэр-аллее. Она пила вино, Феликс, как всегда, заказал сок. Оба рассказывали, чем занимались последние шесть лет. Он сообщил, что готовился сдавать на аттестат, но потом бросил, пришлось зарабатывать деньги. "Разве нельзя у кого-нибудь занять?" — спросила она. Феликс решительно тряхнул головой и сказал: "Нет, какой смысл? Все равно не хватит. Мне скоро тридцать. Я должен зарабатывать". Прозвучало это слишком уж энергично, будто он старается убедить самого себя. Она не стала продолжать расспросы.

Он по-прежнему тренировался, и его рассказы о растяжениях и переломах напомнили ей давно минувшие дни, будто время остановилось и они все еще жили в Йоханнистале. Только вот она бросила балет, доконали ее эти физические мучения. Признаваясь в этом Феликсу, она испытывала чуть ли не угрызения совести, будто у нее пороху не хватило потерпеть и она сдалась слишком рано, тогда как он с детства неукоснительно следовал своим путем, своим "дао". Феликс сурово посмотрел на нее: "А тебе не хочется начать снова?"

"Я бы с удовольствием, да времени нет", — вывернулась она. Не рискнула сказать, что, в общем-то, уже поздновато.

Теперь она писала для газет. Феликс одобрительно кивнул, хотя считал, что там печатают много всякой мути. А потом с нежностью заговорил о своем дедушке Арнольде, который тоже много лет работал в ГДР журналистом, и о том, как болезненно "старый боец" переживал крах своей системы. "Он ведь был коммунист", — печально сказал Феликс, словно деда уже не было в живых. На секунду-другую она тогда задумалась: что же происходило последние годы у Феликса в семье, как жили его дед и бабушка со своими обманутыми надеждами?

В тот вечер она не получила ответа на эти вопросы. Невзначай они сменили тему и долго говорили об ударах судьбы, постигших ее семью. Ни дать ни взять двое пожилых людей рассказывают друг другу о своей жизни. Считанные годы после падения Стены были так насыщены событиями, переменами, что словно бы искусственно удлинились: вместо шести лет с их последней встречи вполне могли бы пройти и целых двенадцать.

Феликс заказал еще стакан сока, и они начали смеяться над общими воспоминаниями, как всегда бывает, когда встречаешь людей, с которыми тебя роднит только прошлое. Особенно веселились оба над Феликсо-

вым прыжком из окошка ванной во время злополучного отпуска на Балтике. Он спасался бегством от ее матери — нельзя же, чтобы она застала их вдвоем под душем. И все, разумеется, пошло наперекосяк: входную дверь раздетому и замерзшему Феликсу открыла именно ее мать. Кошмар. А когда она сообщила, что в университете учила русский, Феликс невольно ухмыльнулся. Он хорошо помнил, как она раньше ненавидела этот предмет.

Целый год она провела в Лондоне, много раз бывала в Москве, да и вообще новый мир вызывал у нее огромный интерес. Феликс ничего на это не сказал. Похоже, он так ни разу и не выезжал из страны. И оба они в последние годы, скорей всего, жили в очень разных мирах с очень разными возможностями. Он рассказал, что стал чемпионом по кикбоксу, рассказал и о работе в охране, и о множестве людей, с которыми там познакомился, и о вышибании долгов: сперва он собирал информацию о будущих жертвах — где живут, имеют ли семью, — потом нагонял на них страху, к примеру ненароком смахнув на пол компьютер; от десяти до пятидесяти процентов выплаченных долгов отходили ему.

Она спросила, не жалко ли ему бедных должников.

"Они знали, на что идут, отказываясь платить", — отрезал Феликс. Драки он упомянул лишь вскользь, как бы проверяя ее реакцию. То, что он рассказывал, плохо вязалось с тем Феликсом, которого она знала. Он сидел напротив нее, по обыкновению ссутулясь, чуть втянув голову в плечи, и улыбался, как раньше, слегка выдвигая вперед верхнюю губу. Только когда она пробовала уточнить, чем он занят и с кем, между ними порой проскальзывала напряженность. Все его тело как бы распрямлялось, готовое к отпору. Отвечал он тогда очень коротко, враждебно, словно опасаясь чего-то. Она тогда ничего не знала ни о Марко, ни о том, что за месяц до ее встречи с Феликсом его арестовали.

Феликсово поведение слегка удивляло ее, но это не имело значения. Феликс был ее первым другом, первой любовью. Они попросту слишком давно знакомы, слишком часто и подолгу вели разговоры, которые все эти годы хранились у нее в памяти. И выросли они вместе, в Йоханнистале, собственно, уже не существующем. Только дома, руины ушедшего детства и юности, пока стояли. Все остальное изменилось: атмосфера, автомобили, уличные фонари; старые магазины закрылись, а в новых витринах никогда уже не будет товаров их детства. Бюст д-ра Зорге, что был во дворе ее школы, куда-то пропал, и Феликсова школа тоже рассталась с именем Пауля Вечорека. Они не грустили, нелюбовь к той стране была куда сильнее. В душе жила лишь смутная тоска — по людям, которых, как и их, связывало с исчезнувшим столько воспоминаний: о "ПВ", водка-коле, "Испанском небе", Эрнсте Тельмане, мороженом с мучнистыми комочками и майоре Менделе. Которым не нужны объяснения и ничто не кажется странным или экзотическим. Таких людей немного, и Феликс один из них. В принципе она, пожалуй, не очень отличалась от него и по-своему тоже не могла расстаться с Восточным Берлином и давними друзьями. Притяжение было огромное. Только вот она встречала, а может быть, и искала совсем не таких людей, каких встречал он.

В тот вечер они говорили и о сердечных делах. Она передала Феликсу привет от своего друга, которого Феликс тоже знал с йоханнистальских времен. А сам Феликс рассказывал о Марии и восхищался лесом неподалеку от его и Мариной квартиры. О сложностях он умолчал. Под

конец она спросила, почему он тогда так на нее разозлился, что попросту оборвал дружбу.

"Не помню уже", – сказал Феликс, пряча глаза.

Она не поверила. Потом они вышли из кафе, и Феликс показал ей свою машину – большой темный "БМВ" с кожаными сиденьями, на вид новехонький.

"Откуда он у тебя?" – спросила она, но сейчас уже не помнит точно, что именно он ответил: кажется, сослался на каких-то спонсоров, поддерживавших его как спортсмена. Вполне убедительное объяснение. Они обнялись, и под дождем он повез ее домой.

С того дня они опять стали видеться довольно часто. И все было не так, как раньше, когда впервые проявились различия и каждый упорно отстаивал собственный образ жизни. Теперь они вновь принимали друг друга со всеми сходствами и несходствами.

Феликсов роман с Марией близился к концу. Мария задумала открыть маникюрный салон, и бывший возлюбленный предложил ей помощь, в том числе финансовую. Феликс поспособствовать не мог, сидел без гроша. И пытался уверить себя, что оно и к лучшему. Однажды, когда они встретились в кафе после того вечера в кафе "Наискосок", он сказал, что с Марией все вконец разладилось, он теперь не более чем "ее психолог". Сказал жестко, решительно, будто намерен с ней расстаться. В дневнике он написал: *Все ж таки больно. Кого-то недостает.* Вдобавок Феликса беспокоило, как он выглядит в глазах приятелей. Уязвленная гордость.

Вскоре Мария переехала в Шёневайде, поселилась неподалеку от деда и бабушки Феликса. И вернулась к своему бывшему другу, рансдорфцу, что Феликс воспринял крайне болезненно. Ведь парень был из их круга. Все это видели, все знали, все обсуждали. А Феликс оказался в роли жалкого краткосрочного эрзаца. Мария протестует: "Время, проведенное с Феликсом, – самое насыщенное в моей жизни". Так она твердит и несколько театрально добавляет: "Я благодарна ему за это". Со своим новым старым другом она не говорит ни о детстве, ни об отце, ни о психологии. Радуется, когда он живой-здоровый возвращается со своих охранных дежурств. Мария теперь жена и мать.

После разрыва, в 1999-м, Феликс перебрался к Давиду, в Пренцлауэрберг, и жил на Шёнхаузер-аллее, одной из магистральных улиц этого района. Когда Феликс открывал тяжелую дверь парадной, взгляд его падал направо, на красное неоновое сердце, которое в любое время суток мигало на другом крыле дома, а соседние окна там были украшены светящимися ярко-розовыми гирляндами. Феликс занимал двухкомнатную квартиру на втором этаже, во флигеле направо. Из окна спальни он мог влезть на поросший травой козырек, который называл своим садиком и летом собирался выставить туда стол и стулья.

Теперь они снова жили рядом, всего через несколько домов друг от друга, как в детстве. Часто ходили вдвоем выпить кофе или в кино. Кино оба просто обожали. Феликс был в восторге от "Притяжения бездны" и увлеченно рассказывал об "Идиотах", датском фильме направления "Догма", на который случайно попал с каким-то приятелем. Там группа молодых людей изображает слабоумных, испытывая таким образом реакцию и терпимость окружающих. Моральные нормы для них более не существуют. В конце концов их радикализм заходит слишком далеко, и группа уничтожает сама себя. Феликс был околдован, но и слегка сму-

щен. Обычно-то он смотрел со своими приятелями американский ширпотреб.

Заодно Феликс делал ремонт в квартире и со злостью поминал того "типа", который кинул его с автосалоном и задолжал ему кучу денег. При встрече придется врезать ему пару раз, твердил он. Она слушала и молчала. Не принимала все это по-настоящему всерьез. Не могла по-настоящему представить себе его мир — мир охранников с его правилами поведения, боями и мелкими гешефтами; тут ее воображение отказывало. Вероятно, с Феликсом обстояло так же, что касается ее мира. Однажды она дала ему свою статью об их давнем учителе военного дела, майоре Менделе. Он одобрительно кивнул, статью взял, но больше словом о ней не обмолвился.

Весной 1999-го Феликс опять исчез. Перед этим он позвонил и сказал: "Я ненадолго уезжаю в Голландию. На тренировки". Нет, он пока не знает, когда вернется. Она тогда удивлялась, что его мобильник не работает, и даже думала, что Феликс опять пропадет на год-другой. Однако через месяц он объявился. И судя по всему, в хорошем настроении. В Голландии было классно, сказал он, отличные тренировки.

На самом деле он был в другом месте. Но об этом она узнала много позже.

13

В подвале у деда и бабушки лежат старые Феликсовы книги, аккуратно упакованные в ящики. Она тихонько читает вслух заголовки: "Танковая война", "Цель — Париж", "Роммель", все написаны его любимым автором Янушем Пекалькевичем, все выпущены одним издательством. В одном из ящиков, на самом дне, два толстенных тома — биографии Гитлера. Между ними втиснуты "Мир индейцев", книги Ремарка, Надин Гордимер. Собирал Феликс и видеокассеты: документально-художественные фильмы Гвидо Кнопа "Пособники Гитлера" и многое другое, в коробках с черными надписями "Time Life".

Здесь, в подвале, ей вспоминается, как Феликс рассказывал, что будет делать на фирме Оливера доклад о Второй мировой войне. Доклад должен был состояться только через полгода, но Феликс уже нервничал — подготовки-то непочатый край. А ведь она, пожалуй, не знала никого, кто бы читал о Второй мировой войне больше Феликса.

И снова ей вспоминается 1999-й, одна из встреч в кафе на Кольвицплац, когда они целый вечер спорили о Второй мировой, об Эрвине Роммеле, командующем немецкими экспедиционными силами в Африке, который впоследствии, как участник заговора против Гитлера, был вынужден покончить самоубийством, и о таких высоких добродетелях, как честь, товарищество и исполнение долга. Феликс точно знал, где и когда открылся какой фронт, какие использовались орудия и бронетехника и каковы были потери убитыми в том или ином сражении. Он восхищался немецкими солдатами, которые в войну шли через снега при пятидесятиградусном морозе, а его познания в области техники и тактики прямо-таки пугали.

Ей казалось, он не способен различить за всем этим политическую систему, фашизм. Сводит все исключительно к материальному обеспечению, жертвенности и правильному стратегическому планированию. На-

клонясь над столом и с вызовом глядя на нее, он говорил: “Роммель был герой войны”.

“А что он в Африке-то забыл?” – спрашивала она. И так далее в том же духе. Абсурд. Когда решили переименовать казармы, носившие имя Роммеля, Феликс собирался протестовать. Она понять этого не могла, только пила кофе, чашку за чашкой.

Как же получилось, думала она, что к таким убеждениям пришел не кто-нибудь, но Феликс, чьи дед и бабушка были коммунистами, да еще и родом из Африки. Они покинули родину, чтобы бороться за идеи, которые в годы Второй мировой наверняка бы стоили им жизни. И сам Феликс с его цветом кожи вряд ли бы долго прожил при Гитлере. Она так ему и сказала. Но Феликс пропустил эту реплику мимо ушей, продолжая увлеченно рассказывать о своем другом, немецком деде, служившем у Роммеля. Феликс гордился своим дедом-немцем, с которым виделся считанные разы. Она этого деда вообще не знала – собственно говоря, впервые услышала о нем в тот вечер.

Феликс все говорил, говорил, очень веско, настойчиво. Ей хотелось прерваться, она понятия не имела, что еще сказать: какой смысл-то? Их словно бы разделяла незримая стена, и слова собеседника долетали до каждого лишь изредка. Потом он еще сказал: “Я больше не желаю чувствовать себя виноватым. И хочу гордиться своей родиной”. С одной стороны, она была с ним согласна: она тоже не чувствовала себя виновной в преступлениях, совершённых предками еще до ее рождения. Но гордиться страной с таким прошлым не могла и не хотела. Впрочем, она и не придавала этому большого значения, этот вопрос занимал отнюдь не главное место в ее жизни.

А вот для Феликса, похоже, обстояло иначе. Ведь речь шла о его самосознании. Он вечно разрывался меж двух историй своей семьи. По одну сторону – любимые африканские дед и бабушка, чьи идеалы пошли прахом. По другую – навсегда исчезнувшая страна, где он родился, и новая Германия, которую он считал “зажравшейся и завравшейся”. Может, оттого ему только и оставалось, что отождествить себя с нацией и с “немецкими добродетелями”. Он упорно твердил, что доверие, честь, мужество, порядочность жизненно необходимы и желательны. По всей видимости, Феликс нуждался в чем-то таком, что бы упорядочило его жизнь, обеспечило ее структурой, которая четко покажет ему, что хорошо и правильно, а что нет.

Большинство других посетителей давно разошлись. А они сидели в кафе уже несколько часов, разговаривали, очень спокойно, не повышая голоса, но так и не убедили друг друга. В конце концов она ушла домой с ощущением, что их взгляды и миры абсолютно несовместимы. После этого разговора о Роммеле она сказала своему другу, что не знает, стоит ли впредь встречаться с человеком таких убеждений. Впоследствии она чуточку этого стыдилась.

Потом Феликс опять позвонил. С тех пор они безмолвно принимали один другого во всей непохожести. Как бывает только с людьми, которые очень давно знают друг друга и любят.

Но подспудно спор ждал продолжения. Иногда они над этим посмеивались. Она подшучивала над его “добродетельностью”, и оба дарили друг другу книги в надежде перетянуть оппонента на свою сторону. Она подарила Феликсу “Пепел моей матери” Фрэнка Мак-Корта, а в тюрьму послала “Дом с привидениями” Исабель Альенде, “Селим, или Дар речи”

Стена Надольного, книгу о турке-гастарбайтере в Германии, и "Оуэн Мини" Джона Ирвинга. А Феликс в 1999-м презентовал ей на день рождения одну из самых любимых своих книг — "Сталинград" Теодора Пливье. На первой странице он черной шариковой ручкой написал: *Надеюсь, эта книга поможет тебе лучше понять мои взгляды.* До поры до времени она поставила книгу в шкаф.

Через год после его исчезновения "Сталинград" так и стоял на полке непрочитанный. Она все ходила вокруг, иногда брала роман в руки, открывала, пыталась прочесть первую страницу. Но добиралась только до второго абзаца. Книга пугала ее, она боялась найти там нечто совершенно невыносимое, этакое прославление войны. Потом смекнула, что самое милое дело — начать с текста на клапанах суперобложки и с послесловия, тогда станет ясно, куда ведет этот "Сталинград". И прочла, что Пливье, анархист левого толка, в 1933-м эмигрировал в Советский Союз, а после войны бежал в американскую зону Германии. Но ему, казалось, нигде не было места, и книгу его ни одна система по достоинству не оценила. В Западной Германии ее отвергали, считая целиком прокоммунистической; гедеэровская критика полагала, что представления автора о будущем слишком мелкобуржуазны. Феликс отыскал себе книгу, которая никуда не вписывалась. Это слегка ее приободрило.

В конце концов она принялась читать и за два дня одолела роман. Ничего не скажешь, вещь сильная. Главного героя там не было, лишь несчетные простые солдаты Шестой армии, которая наступала на Сталинград, сражалась за него и держала оборону. Автор рассказывал о нескольких зимних месяцах 1942—1943 года, когда Шестая армия была почти полностью разгромлена и в итоге капитулировала. Вереница апокалиптических картин гибели этой армии — описания обмороженных конечностей, гор трупов, кое-как присыпанных землей, солдат, впавших в апатию, парализованных голодом и ужасом. Точность, с какой Пливье изображал эти мучения и жестокости, пугала и отталкивала. И в таком смысле книга была антивоенная.

Местами Пливье пытался оправдать немецких солдат: *Летняя кампания 1942 года закончилась, и с трепетом душевным, но храбро и твердо немецкий солдат двинулся на восток, в глубь огромной чужой страны, навстречу зиме. Слепо веря в Гитлера.* И еще: *Сталинградский солдат, его невзыскательность, умение приспособиться к обстоятельствам, закалка, выносливость, стойкость в страданиях, безмолвная самоотверженность, неукоснительное исполнение долга, умение терпеть и драться до последнего – что может быть выше столь скромного и молчаливого воинского духа!*

Читая эти строки, она видела перед собою Феликса, чуть ли не слышала его голос. Ради него она дочитала книгу до конца, пытаясь докопаться до его мыслей. Без особого результата. Она поставила роман в шкаф, на старое место. Любимой ее книгой он никогда не будет, но имеет большое значение. И потому она сохранила книгу. .

Феликс всегда считал себя воином. До падения Стены бабушка то и дело, по его просьбе, привозила с Запада видеокассеты с фильмами про Рэмбо. У посла Ганы в ГДР был видеомагнитофон. И в его доме все они — Феликс, кто-нибудь из друзей и Жанетта, — сидя на диване, смотрели, как Сильвестр Сталлоне расправляется с русскими и с вьетнамцами. По иронии судьбы Феликсова любовь к армии носила чисто теоретический характер. Он никогда в армии не служил. Из-за астмы получил белый билет и даже на альтернативную службу не призывался.

Войну он знал по книгам, фильмам и рассказам дедов, которые оба участвовали во Второй мировой, в Африке, только по разные стороны фронта. Арнольд не очень распространялся о своем прошлом, а тем более о войне, отчасти потому, что сам не очень хорошо владел немецким, Феликс же плохо тянул в английском. Зато второй дед много рассуждал о войне. Феликс внимательно слушал, как он рассказывал о Роммеле, которого однажды видел собственными глазами и который произвел на него неизгладимое впечатление: открытый, непоколебимый и "вовсе не похожий на типичного начальника".

Позднее деды довольно часто встречались, сидели вдвоем на диване в шёневайдской гостиной и подшучивали над тем, что когда-то, наверно, стреляли друг в друга, даже убить друг друга могли.

После Феликсова ухода она решила познакомиться с его немецкими дедом и бабушкой, которых ни разу не видела, и весной 2001-го поехала в Майсен. Дед умер в 1990-м. Его жена, бабушка Герда, по-прежнему живет на окраине городка, в пятиэтажке гедеэровской постройки. Ей за восемьдесят, но выглядит она лет на шестьдесят, лицо почти без морщин, белокурые крашеные волосы тщательно уложены. В гостиной стоит темная стенка, на столе — белые кружевные салфеточки.

Герда сидит на краешке кресла, выпрямив спину, сложив руки на коленях. "За Феликсова деда я вышла вскоре после войны. Первый муж, моя большая любовь, погиб на фронте", — говорит она так, будто по сей день горюет о нем. Второй брак был скорее по расчету. Видно, жизнь с Феликсовым дедом оказалась далеко не безоблачной. "Он не умел выражать свои чувства", — говорит Герда. На фотографиях он строго смотрит в объектив. Сухопарый, гладкая прическа с пробором, губы крепко сжаты. Вполне типичная немецкая чета. "Вначале мы верили Гитлеру, ведь он кое-что делал для немцев, безработных при нем поубавилось", — говорит Герда. После они старались об этом не думать. Держались в стороне, в партию не вступали, возмущались на кухне. "Нам не нравилась политика ГДР". Всю жизнь оба работали на знаменитой Майсенской фарфоровой мануфактуре. Дед — комендантом ученического общежития, Герда — в дирекции.

Их сын, отец Феликса, в девятнадцать лет ушел из дома, поехал в Веймар учиться на архитектора. И в один прекрасный день привез домой подружку, мать Феликса. А предупредить, что она темнокожая, забыл. Родители перепугались. "В самом деле, надо было заранее сказать", — до сих пор твердит Герда. Негритянка — в шестидесятые годы, в восточногерманском городишке, соседи только об этом и судачили. Но мало-помалу все привыкли. Пока молодежь не развелась, дед и бабушка поддерживали с невесткой и внуком самые добрые отношения. "Феликс был очень милый ребенок, спокойный, послушный".

После развода родители Феликса вконец рассорились, и майсенские дед с бабушкой видели внука редко. Встречались только на ежегодных семейных праздниках, а на Феликсов день рождения посылали в Берлин деньги. "Я жалела, что мы видались все реже", — говорит Герда и сокрушенно разводит руками. Но сама она ничего не предпринимала. Не знала как. Однажды подарила Феликсу пять тысяч марок на квартиру, отчасти потому, что такую сумму получал каждый ее внук. Он поблагодарил по телефону. Герда откидывается на спинку кресла. Так ей видны висящие справа семейные фотографии — ее сын, теперешняя его жена и дочери. Фотография Феликса у нее в соседней комнате.

Последний раз Герда видела внука несколько лет назад в Берлине, на дне рождения его отца. Феликс сказал ей, что чувствует себя немцем, а не африканцем, подчеркнул, что очень гордится дедом, и с восторгом отзывался о Роммеле, "полководце от Бога". Жена отца напустилась на него: "Да ты никак нацист?!" Ведь Роммель — военный преступник. Ее родители тогда уехали из Германии. Они были евреи. Феликс и жена отца крепко сцепились. Бабушка сидела рядом и молчала. В конце концов они кое-как помирились.

То была последняя встреча.

Дома Герда отложила для Феликса книгу про Роммеля. Книга принадлежала его деду, и она хотела сделать внуку подарок. Но до этого так и не дошло. Герда выбирается из кресла, идет в соседнюю комнату, ищет в книжном шкафу. И не может найти.

Жанетта стоит в давней комнате Феликса. Она приходит сюда каждый день, зажигает новые свечи, садится на кровать, расправляет покрывало, рассматривает его вещи, разговаривает с ним. Вспоминает, как в детстве Феликсу мерещились по ночам чьи-то шаги. Жанетта успокаивала: "Это всего-навсего Отто". Старый солдат. Когда-то давно он жил в этом доме, и теперь его дух каждую ночь возвращается сюда. С тех пор Феликс оставлял свою дверь открытой, чтобы Отто мог войти, а сам спокойно спал. Она невольно смеется.

Жанетта часто спрашивает себя, почему Феликс ушел. Этот внутренний голос, всегда чуть обвиняющий, не умолкает, как радио, которое невозможно выключить. Иногда он звучит тише, иногда — очень громко. И повторяет один и тот же вопрос: что я могла бы сделать? От жизни в сослагательном наклонении толку чуть, Жанетта знает. И все равно голос у нее внутри не перестает спрашивать. Наверно, он никогда не умолкнет совсем. Живые обречены медленно себя терзать, снова и снова прокручивая в голове все те же ситуации, в которых, наверно, могли бы поступить иначе. Или все-таки нет? Нескончаемый диалог с самим собой. Иногда бабушка Феликса злится, иногда отгоняет эти мысли прочь. Но большей частью просто грустит. Грусть глубоко проникла в ее жизнь, как неизлечимый недуг, с которым она должна теперь жить изо дня в день, поскольку ничего уже не изменишь.

Иной раз Арнольд и Жанетта вместе сидят в маленькой комнате, размышляя об исчезнувшем внуке. Временами даже могут поговорить о том, в чем себя укоряют, о своей печали. Обычно же оба молчат в своей боли. Смотрят на Феликсовы книги, компакт-диски, одежду — все здесь будто законсервировано и целый год должно оставаться как есть. Такова африканская традиция. В глубине души они надеются, что однажды дочь зайдет к ним и увидит, как бережно они хранят Феликсовы вещи. Тогда она сядет рядом, и они смогут поговорить о нем, о ней, о себе. Возможно, она не придет никогда. Вопросы так и останутся заперты в этой комнате. Без ответа.

День за днем Жанетта и Арнольд глядят на белую наволочку, что лежит слева у стены на черном плетеном стуле. В камере Феликса она висела над койкой. На этой наволочке напечатана фотография. Стройная девушка с длинными темными волосами, на пляже. В короткой черной юбочке и светлой майке, едва доходящей до пупка, она стоит спиной к фотографу, но через плечо глядит в объектив. Тина. Последняя большая любовь Феликса.

Феликс и Тина познакомились в конце 1999-го у одного из общих друзей. Она много лет слышала всякие истории о нем, но до той поры никогда его не видела. Встреча была случайной. Она зашла к тому другу, как раз когда у него сидел Феликс. В руке Феликс держал список запрещенных фильмов, который умудрился добыть в какой-то видеотеке. Они посмотрели друг на друга. "Выглядел он потрясающе. По сути, с первой минуты все было ясно", — говорит Тина. Единственная загвоздка заключалась в том, что у Тины уже был парень. Феликс об этом знал и старался изо всех сил: показал ей свой "БМВ", спросил, не выпить ли им сообща еще по глоточку. Тина полюбовалась автомобилем, но все-таки поспешила уйти. С первого дня она как бы все время от него убегала. Правда, перезванивались они довольно часто. Хотя о своем парне Тина ни на миг не забывала, да и тот общий друг, у которого они познакомились, весьма неодобрительно смотрел на их шашни. Говорил, что Феликс "с приветом" и лучше бы ей держаться от него подальше. Феликс так ему этого и не простил, до самого конца.

В то время Тина один-два раза в неделю работала в клубе "Кит-кат" организатором развлекательных мероприятий. "Кит-кат" на весь Берлин славился фривольными секс-вечеринками и тем, что зачастую посетителей туда допускали только в нижнем белье. У Тины постоянно возникали проблемы с кучкой хулиганов, которые вечно ошивались в клубе, хамили другим гостям и распугивали их. Поэтому она пригласила охранников — Феликса и еще кой-кого из группировки Оливера.

"И когда однажды вечером Феликс появился в зале, бритоголовые молодчики все разом коротко ему кивнули. Они знали его. А Феликс подошел к ним и сказал: 'Там, где работает эта женщина, скандалов не будет'", — говорит Тина. После чего все они приложились друг к другу виском и коротко обнялись. Точь-в-точь мафиози на стрелке. С того дня никаких проблем с хулиганами не было.

Теперь Феликс и Тина встречались чаще. Несколько раз во "Фрайдиз", где бургеры подавали на тарелках, в бывшем отеле "Рэдисон-Плаза". Своему парню она об этом не рассказывала. Однажды Тина зашла к Феликсу на квартиру позавтракать, они сидели в гостиной и разговаривали. Феликс сказал, что она пришла очень вовремя. Он-де "вляпался" и намерен послать все это к черту. Говорил о футбольных и других побоищах. Но навестить Тину в Шёнеберге, где она жила, отказался: "Все эти канаки, прикончить их мало".

Глянь-ка в зеркало, подумала Тина. Слушала-слушала и в конце концов сказала, что у него нет уважения к жизни. Феликсу понравилось, что она возражает. "С другими я в дискуссии не вступаю. Если говорю им, что небо черное, значит, так и есть". Они просидели там до вечера. Тина решила, что наконец-то нашла парня, который способен о себе позаботиться, имеет квартиру, работу, машину. "В кои-то веки человек, способный обойтись без моей помощи", — говорит она сейчас. Одно время она работала в социальной службе и успела понять, что не умеет держать "своих подопечных" на расстоянии. Она и в свободное время продолжала их опекать, навещала в тюрьме, страдала с ними вместе. Тина сама не знала, когда все это кончится, когда она больше не выдержит груза чужих проблем. Как и Феликс, она слушала других, чтобы не слышать себя.

В тот день Тина рассказывала и о своем детстве, о матери-алкоголичке, которая допилась до смерти, о том, что отец не очень-то ею интере-

совался и, в сущности, она всегда была одинока. И как однажды голову потеряла от ярости, застав своего парня в постели с другой женщиной. Тина тогда разнесла собственную квартиру, а сопернице до крови исцарапала все лицо. “До сих пор шрамы остались”, – говорит Тина. Та заявила в полицию, и Тина получила испытательный срок. Она постоянно бросалась из одной крайности в другую, и в этом Феликс наверняка узнавал себя. “Наконец-то я нашел женщину себе под стать”, – сказал он деду и бабушке.

На свое двадцатидевятилетие в октябре 1999-го он пригласил Тину, деда с бабушкой, мать, отчима и ее. Она обрадовалась приглашению, ведь много лет не видела его родных. К тому же Феликс хотел показать свою только что отремонтированную квартиру. Она пришла последней, остальные уже сидели в гостиной вокруг стеклянного стола и угощались тортом. Квартира состояла из двух смежных комнат. Окна выходили в унылый двор, прямо на стену соседнего дома, так что и днем в комнатах было не очень светло. На стенах развешаны репродукции Брейгеля, Дали, Босха.

Феликс, с виду весьма довольный, устроился в черном кожаном кресле, усадив на колени Тину. Тогда она впервые и встретила Тину, одну из немногих, с кем познакомилась до исчезновения Феликса. У Тины были красивые волосы, длинные и блестящие, она неуверенно улыбалась и робко, но внимательно рассматривала собравшихся. С Феликсом она сошлась всего неделю-другую назад, а уже представлена семье и допрошена. “Я, – сказала она, – работаю секретаршей”. Про клуб “Кит-кат” здесь лучше помалкивать, иначе придется слишком много объяснять. Тина испекла для Феликса пирог. Он был очень тронут, как она заметила. И Тина ей сразу понравилась.

Что Феликсовы бабушка и мать на том дне рождения ни слова друг дружке не сказали, она сообразила лишь задним числом. Смотрела на Феликсов книжный стеллаж и на золотые кубки, что стояли на нем. Позднее Феликс снял их оттуда и рассказал ей о каждом: первенство Германии, чемпионат Берлина. Кубков было много, штук двадцать, и все где-то завоеваны. Она заметила, с каким удовольствием Феликс демонстрировал ей эти трофеи. Бережно проводил пальцем по своему гравированному имени и с опаской следил за ней: как бы не уронила. А в кафе, несколькими неделями раньше, говорил ей, что разочарован своими спортивными успехами: “Я думал, что сумею достичь большего, стану чемпионом мира”. Глядя на многочисленные призы, она посчитала эти слова кокетством.

В тот день она еще спросила Феликса, почему он не закончит школу, не получит аттестат. Феликс только кивнул и сказал: “Я бы с удовольствием пошел учиться дальше, занялся бы психологией или историей”. Каждую неделю они с Давидом ходят в университет на лекции по теории войны. Ей показалось тогда, что он вправду подумывает вернуться в школу. Больше они об этом не говорили. Феликс выглядел счастливым, крепко сжимал руку Тины. Все время улыбался, чуть прищуривая глаза, так что они исчезали в длинных черных ресницах.

На прощание, уже в дверях, она сказала ему, что Тина очень симпатичная.

“Верно, только я пока не знаю, что из этого получится”, – сказал он. Как ей подумалось, с наигранной неуверенностью. Чтобы защититься, на случай, если все пойдет наперекосяк.

Времени Тине и Феликсу было отпущено немного. Шесть недель счастья, правда не безоблачного. На заднем плане постоянно маячил Тинин парень. В день рождения Феликса полиция уже запросила ордер на арест и обыск.

14

Явились они около шести утра. Пинком вышибли дверь в шёневайдской квартире деда и бабушки. Было 16 ноября 1999 года. Жанетта уже ушла на работу, делать уборку в конторе фабрики красок. Арнольд брился в ванной перед зеркалом. Он услышал грохот в коридоре, крикнул: "What is that?"[1] А потом восьмидесятиоднолетний старик попытался дать одному из полицейских в челюсть. "Я просто перепугался", — говорит он сейчас.

Феликс был прописан у деда и бабушки, поэтому полиция первым делом решила искать у них. Выяснив, что Феликса тут нет, обыск проводить не стали. Сели вместе с Арнольдом на диван в гостиной и поинтересовались, не знает ли он, где проживает его внук. Арнольд сказал, что не знает.

Звонить ему, понятно, не разрешили. "В чем вы обвиняете Феликса?" — спросил он. Полицейские ответили: "В нарушении ЗНВ". Закона о наркотических веществах.

Арнольд медленно покачал головой. "Не может быть. Денег у него нет, вдобавок он спортсмен", — снова и снова повторял он.

Около девяти вернулась Жанетта. Увидев разбитую дверь, она похолодела. Решила — что-то стряслось с Арнольдом, сердечный приступ или вроде того. Арнольда она нашла в гостиной, вместе с полицейскими. И, будто по приказу, начала рассказывать, как ее без конца допрашивали в Южной Африке, как они бежали из страны. Обычно она не говорила об этом, но теперь никак не могла остановиться.

Ближе к полудню полицейским позвонили коллеги. "Мы его взяли", — услышали Жанетта и Арнольд. Полицейские исчезли, дед с бабушкой остались в гостиной одни.

В то утро полиция ворвалась и в квартиру бывшей Феликсовой подруги Марии, потому что на ее адрес приходила его почта. Марии не было дома. И у нее обшарили все. Фотографии Феликса Мария собирала потом по всей квартире. Ее отец подал в полицию жалобу в связи с моральным ущербом, нанесенным его дочери этим обыском. Мария никогда больше там не ночевала.

Каким образом полицейские в конце концов сумели добыть фактический адрес Феликса, по сей день держат в секрете. Говорят только, что никто его не выдавал. Тем утром, около половины десятого, они тараном высадили дверь пренцлауэрбергской квартиры Феликса, ворвались внутрь и нашли хозяина в спальне, подняли с постели, сшибли с ног; надевая Феликсу наручники, они протащили его лицом по полу, и он здорово ободрал правую щеку и висок. Но от врача отказался. А позднее говорил друзьям, что его избили. Затем полицейские обыскали квартиру, выкинули из шкафов всю одежду, разложили ее на полу, на кухне вспороли пакеты с мукой и сахаром, забрали с собой компьютер и телевизор. Нашли 5790 марок наличными, фотографию, запечатлевшую

1. Что там такое? (*англ.*)

его рядом с Марко, и красный ежедневник с телефонными номерами, которые подтвердили его "принадлежность к группировкам охранников и хулиганствующих футбольных фанатов". Затем обыскали с собакой его машину и шкафчик в Боксерском клубе. Безрезультатно. "БМВ" они не реквизировали, поскольку официальным владельцем был Давид. А когда надумали осмотреть машину еще раз, она исчезла.

Потом Феликса, как выражаются полицейские, доставили в КПЗ Темпельхоф. Он позвонил Тине, велел ей позаботиться насчет адвоката. И подписал заявление, что найденные деньги – его личные сбережения, а "БМВ" куплен на паях с Давидом. Давиду он отправил сообщение о своем аресте и попросил прислать противоастматический спрей-ингалятор и косметический крем. Этого сообщения Давид так и не получил.

В операции по задержанию участвовало одиннадцать полицейских и два проводника с собаками. Позднее они проанализировали последние Феликсовы звонки. Семь записанных столбиком имен. Обычное дело, рутина. Но эта бумага оставляла впечатление, что он больше никогда звонить не будет. Что в тот ноябрьский день он умер.

Марко начал с мелких партий кокаина. Нужные связи он завел много лет назад. Дальше – больше, торговля расширялась. Он нашел хороший источник.

Хорста Марко знал уже давно, по разного рода делишкам. Тот держал неподалеку от Берлина бар под названием "Petite fleur", то бишь "Цветочек", и частенько летал на Кубу. В начале 1996-го вместе с ним туда отправился и Марко – подыскать "персонал" для восточноберлинских ночных клубов. Речь, понятно, шла о женщинах. На первых порах все было хорошо. Но очень скоро Фидель Кастро положил затее Марко конец: чтобы ликвидировать у себя на острове проституцию, команданте дал указание вернуть в родные места всех женщин, находившихся на курортах без прописки и полицейской регистрации. И Марко смотрел, как красоток, которым он уже заказал билеты на самолет в Германию, увозят прочь на грузовиках. В деревушки, разбросанные по всему острову. Искать их не имело смысла. Затраты не окупятся. Марко оставил этот план и вылетел в Венесуэлу, к Ронни, старому знакомцу по Восточному Берлину.

В 1995-м Ронни смылся из Восточного Берлина в Венесуэлу. В Германии его объявили в розыск по шести ордерам на арест. Начиная с подозрений в нанесении тяжелой травмы головы и кончая подозрением "в организации вооруженной шайки". Ронни тоже вырос в Восточном Берлине, выучился на автомеханика, после падения Стены потерял работу, а в 1991-м стал охранником-вышибалой в "Контрасте", что на озере Мюггельзее, и вошел в возникшую вокруг "Контраста" рансдорфскую группировку. Марко он знал по "Венере", где тот стоял на фейс-контроле, там же раз-другой мельком видел и Феликса. Когда полиция объявила Ронни в розыск, кореша-охранники собрали денег и помогли ему свалить в Южную Америку. Примерно через год Марко и еще кое-кто из восточноберлинцев проездом с Кубы навестили Ронни в Венесуэле. И "словили кайф": рассыпав на столе маленькие кучки белого порошка, вдыхали его через трубочку.

Марко провел те дни как в угаре. Всё казалось проще простого. Ронни будет доставать кокаин, а Марко – сбывать его в Германии. Ронни согласился. В ту пору он работал судомоем, срочно нуждался в деньгах, да

и никаких иных вариантов у него не было. Может, они задумывались о том, что означает это решение, а может, и нет. А ведь оно определит их дальнейшую жизнь. И Феликса тоже коснется.

С тех пор Марко иной раз дважды в неделю летал в Венесуэлу. То из Франкфурта, то из Дюссельдорфа, где контроль не отличался особой строгостью. Зачастую он сам толком не соображал, где находится и кого в данный момент изображает, — ведь ездил Марко под чужими именами, по фальшивым паспортам. Покупал ксивы в своих же кругах, по пять тысяч марок; большей частью их делали на паспортных бланках, украденных из паспортного стола в Людвигсфельде. Теперь все было возможно, за деньги что угодно достанешь. Марко, наверно, казалось, что ему принадлежит весь мир. Он тоже не брезговал коксом, но наркотик вызывал у него бредовые галлюцинации, и принимал он его лишь изредка.

Сам Марко кокаин не возил. Слишком рискованно. Его задача заключалась в другом — навесить на себя как можно больше золотых цепочек и отвлечь внимание таможенников от своих курьеров. Курьеры возили наркотик на теле или в специальных чемоданах с двойными стенками и дном. В Берлине Марко мог продать килограмм кокаина за сорок-шестьдесят тысяч марок. А покупал в Венесуэле у Ронни по шесть-восемь тысяч долларов за килограмм. Спецчемоданы обходились дороже — десять-двенадцать тысяч зеленых за каждый.

Поначалу все шло хорошо. Курьеры из Берлина обменивали в Венесуэле деньги на товар. Добравшись до гостиничного номера, они сразу исчезали в ванной, а деньги оставляли на кровати. Тогда появлялись Ронни или Марко, забирали деньги и на их место клали кокаин. За одну поездку курьер зарабатывал десять тысяч марок. Таким манером в Германию доставили в общей сложности почти двадцать пять килограммов кокаина, причем некоторые попытки контрабанды закончились неудачей. Вероятно, этот бизнес обеспечивал Марко вполне безбедное существование. Своих курьеров и Ронни он держал в страхе, таинственно намекая, что за ним стоят русские.

Друг Марко Хорст из "Цветочка" тоже стал работать на него курьером. И 5 декабря 1996 года перед вылетом с Кубы был арестован с тремя килограммами кокаина. На икрах и ляжках у Хорста нашли двадцать два пакета с наркотиком. Новая проблема: а ну как сдаст? Но Хорст не сказал ни слова и получил десять лет тюрьмы. Немецкая полиция осталась в неведении: Куба не входила в информационную систему Интерпола. Им опять повезло. Потом грянул первый удар. Это был конец. Или, по крайней мере, начало конца.

9 февраля 1997 года в аэропорту Сантьяго-де-Марино/Порламар на острове Маргарита венесуэльская полиция арестовала Сашу, который ждал рейса на Франкфурт. На нем был пояс с четырьмя пакетами кокаина — всего два килограмма. Пояс он затянул слишком туго, а потому его трясло и бросало в пот. "Он проявлял признаки нервозности", — гласит полицейский протокол. Именно нервозность и привлекла внимание служителей правопорядка. На допросе Саша назвал имена заказчиков — Марко и Бена. Впоследствии он опознал их по фотографиям. Дело передали немецкой полиции. Начался розыск.

Марко был известен полиции как вышибала-охранник, участник футбольных драк и сутенер. Насчет Бена они быстро выяснили, что он уже не раз замечен в наркодилерстве. Бен работал курьером на Марко, но и сам посылал курьеров в Южную Америку. С Сашей он подружился

еще в школе. Никакого путного образования Бен не получил, был наркоманом и частенько сидел в психушке. И Марко, и Феликс знали его через галерейщика, который сыграл определенную роль в истории с массажным салоном. Впоследствии Бен якобы дал показания против Феликса.

Летом 1997-го в Венесуэле арестовали еще двух курьеров Марко, каждого с двумя килограммами кокаина. Один позднее рассказал журналистам об условиях содержания в венесуэльских тюрьмах. Спал он большей частью под открытым небом, потому что тюрьма была переполнена. Каждые несколько дней там взрывались гранаты, имелись убитые и раненые. На него постоянно наезжали шайки тюремных рэкетиров, он то и дело тяжело болел. Не жизнь, а бесконечная борьба за выживание.

Следующий удар не заставил себя ждать: 28 ноября 1997 года на аэродроме в Рио-де-Жанейро взяли Иветту с двумя килограммами кокаина. Иветта и Марко были знакомы еще по дискотеке "Венера", и однажды она спросила у него насчет "возможности подзаработать". Сперва Иветта молчала о своем заказчике, но писала Марко из Бразилии письма, где требовала за молчание все больше денег. Ставила ультиматумы. Марко наверняка чуял, что близится конец. За два года почти все курьеры провалились. Кое-кто уже дал показания, кое-кто пока молчал. Но Марко не мог остановиться. Был словно в дурмане от этой жизни, от ощущения, что всему вот-вот придет конец. Он ездил на "мерседесах", купил себе "ролекс", обзавелся оружием. Большие деньги, большая удача — ведь и ему это положено.

И Марко сделал новую попытку. Его младший брат возглавлял филиал "Дрезднер банк" в Циттау. Вел спокойную жизнь, при костюме и галстуке, состоял в клубе "Лайонз", имел семью. Он был вправе предоставлять кредиты на сумму до одного миллиона марок. Марко задумал под чужими именами получить от банка средства на покупку несуществующих особняков и земельных участков. Документы — кадастровые выписки, договоры купли-продажи, справки о заработной плате фиктивных покупателей — подделывал еще один сообщник. Марко и его подруга, которая, по слухам, ему помогала, открыли под фальшивыми именами целый ряд счетов, а еще кой-кому Марко заплатил за предоставление счетов для вкладов и переводов. Кредитная афера принесла ему около шести миллионов марок, а может, и больше. До сих пор полиция отыскала лишь часть этих денег. Брата Марко позднее арестовали прямо на совещании в банке. Полиции он сказал, что просто хотел помочь брату, ведь раньше тот защищал его от отцовских побоев и издевательств.

Немецкая полиция интенсивно вела дознание против Марко с 1997 года, когда курьер Саша назвал его имя. Однако дело продвигалось медленно, поскольку Марко соблюдал строжайшую конспирацию. Постоянно менял мобильники и номера. Временами имел штук тринадцать разных телефонных карт. Едва полиция ставила какой-нибудь номер на прослушку, как он тотчас заводил новый. И он никогда не жил там, где был прописан или получал корреспонденцию. В конце концов полиция разыскала подругу Марко, а уж затем и его самого. Вдобавок агенты отследили маршруты арестованных курьеров и выяснили, что все они заказывали авиабилеты через вполне определенное турбюро. В том числе и сам Марко. Теперь его арест был только вопросом времени.

Дознание затруднялось еще и оттого, что в полиции у Марко был осведомитель. Называл он этого человека "капитан Фукс", по одному из

персонажей гедеэровского детективного сериала "Телефон полиции 110". Осведомитель регулярно заглядывал в файлы "Информационной системы борьбы с преступлениями", проверяя, не выданы ли против Марко и его курьеров ордера на арест или обыск. С этим полицейским Марко познакомился через Феликса. Феликс дружил с ним, был его тренером. Как-то раз в кафе Феликс рассказывал ей об "одном полицейском", о кореше, который проверил его имя по полицейскому компьютеру. И нашел — в базе данных "Насильственные преступники. Спорт". Она тогда только кивнула, решила, что речь идет о футбольных драках. Думала, все это игрушки. Ни о Марко, ни о Бене Феликс не упоминал.

Сколько Феликсу было известно о гешефтах Марко, сейчас никто сказать не может. Вероятно, немного. Но, как и все в их кругах, он наверняка о многом догадывался. Бывало, говорил приятелям, что дело дрянь, кое-кто чересчур увяз в наркобизнесе. Однажды он дал показания в пользу Марко, выступив свидетелем защиты на процессе по поводу мошенничества с кредитными картами. Порой они встречались по нескольку раз в неделю и часто говорили по телефону, что подтверждают полицейские записи телефонных переговоров. И как-то раз Феликс допустил ошибку.

Марко не мог не догадываться, что против него ведут дознание. Но думал, что держит все под контролем. В 1998-м, после проходившего во Франции футбольного чемпионата мира, Марко струхнул. Он и его друг Карстен, вместе с которым Феликс работал в Бранденбурге на фейс-контроле, оказались в гуще событий, когда несколько вздрюченных пьяных фанатов бросились на французского полицейского Даниэля Нивеля и чуть не до смерти его избили.

Дома они увидели себя на первых полосах газет. Какой-то австриец все заснял. На фотографиях Нивель неподвижно лежит в луже крови. А над ним, расставив ноги, нависает коротко стриженный бугай и чем-то его лупит. Остальные бегут прочь из кадра. Вероятно, Нивель тогда уже был без сознания. Довольно скоро появились и фотографии приятеля Марко, Карстена, с деревянным щитком, тем самым, каким избили Нивеля. А немного погодя Карстена арестовали возле турбюро в Штраусберге, где Марко всегда заказывал билеты в Южную Америку. Позднее Карстен получил три с половиной года за соучастие в нанесении тяжких телесных повреждений. Немецкие фанаты внезапно оказались в центре внимания общественности. Для Марко во всех отношениях некстати. Он опасался ареста.

В конце сентября 1998 года Марко решил съездить за границу. И попросил своего полицейского осведомителя проверить, нет ли против него чего нового. Тот неправильно истолковал данные полицейского компьютера как два международных ордера на арест, хотя дело шло всего лишь о двух информациях по разделу "Насильственные преступники. Спорт". Марко запаниковал и надумал спешно бежать — на машине одного из приятелей своей подруги. Другой приятель должен был вывезти вещи из его дома в Нассенхайде под Берлином. Позже он "в прямом эфире" услышал по телефону, как арестовали и подругу, и приятеля. Ведь полиция между тем выяснила, что Марко собирается сбежать, уже и новый паспорт на чужое имя заказал. Решено было безотлагательно произвести арест.

30 сентября 1998 года. Марко укрывался в Карлсхорсте, на квартире одного из приятелей, расположенной на самом верхнем этаже. Ни телефона, ни машины у него не было, доверенные лица находились под наблюдением или уже за решеткой.

Как чувствует себя человек, понимая, что скоро конец?

Ждет.

Марко оставил пистолет на столе в гостиной, спустился в подвал и заперся там. Ночью подъехала группа захвата, он слышал, как над головой выбивают двери квартир, слышал треск дерева и крики перепуганных жильцов. Полиция исходила из того, что он вооружен и мог взять заложника.

Через некоторое время полицейские добрались до подвала. Стальную дверь, за которой сидел Марко, тараном не вышибешь. В потемках Марко слышал только их голоса. Бежать некуда, он так и оставался в одном из отсеков, пока в подвал не ворвались восемь человек в черных масках и не приказали ему лечь на живот, руки за голову.

2 октября 1998 года Марко доставили в берлинскую тюрьму Моабит. Подругу его взяли накануне, младшего брата — днем позже. Марко поместили в тот тюремный блок, где не было электрических розеток, и первое время даже на часовую прогулку во дворе выводили в наручниках.

Кроме того, есть еще письмо адвоката Марко от 9 октября 1998 года, где он выглядит не таким уж стойким и молчаливым. Адвокат пишет, что подруга Марко невиновна и что в рамках Установления о главных свидетелях Марко готов дать прокуратуре соответствующие показания, помимо тех, что касаются его собственных деяний.

Тогда Марко, вероятно, еще полагал, что может делать дела, как на воле. Прокуратура отклонила его предложение: земельное управление уголовной полиции проводит допросы, никаких переговоров об уступках не будет, и вообще, учет признательных возражений ответчика находится в компетенции суда.

После этого Марко почти год молчал.

Полное крушение неумолимо приближалось. Марко как бы стал свидетелем собственного конца. Сперва его бросила подруга. Заявила, что Марко прикидывается совсем не таким, каков он есть на самом деле, что на самом деле он обычно ходит в тренировочных штанах и, только собираясь куда-нибудь, выводит из гаража "мерседес" и нацепляет "ролекс", который в другое время лежит в шкафу. Разозлившись на нее, Марко иногда по две недели кряду с ней не разговаривал. Он давил на нее, обманул ее доверие, и теперь она хочет, чтобы он оставил ее в покое. Разрыв — яснее не скажешь.

Вскоре ее отпустили, и она вернулась к своему прежнему другу, которого Марко тоже знал. Из тюрьмы Марко тайком послал ему угрожающее письмо: пускай, дескать, убедит ее остаться с ним. "Клянусь жизнью матери, я привлеку тебя к ответу, причем беспощадно. Для этого мне даже из тюрьмы выходить не надо. Чтоб ты знал: в ней вся моя жизнь. Если по твоей вине, хотя бы и частичной, я ее потеряю, у тебя уже не будет возможности пожалеть об этой ошибке". Марко по-прежнему воображал, что он хозяин жизни. Ведь сумел и в тюрьме обзавестись мобильником и передавал на волю свои распоряжения.

26 июня 1999 года в Гамбурге был арестован Ронни, венесуэльский приятель Марко. Полиция просто держала под наблюдением его мать и ждала. После ареста Марко Ронни бежал сначала в Канаду, а оттуда по

фальшивым документам приехал в Германию. Он тосковал по дому, в Венесуэле ему жилось не очень-то хорошо. До бегства в Америку он никогда не отлучался из дома больше чем на две недели и арест воспринял едва ли не с облегчением. Теперь он даст подробные показания насчет Марко, наркотиков и всего прочего. С него хватит, пора подвести черту, ведь он успел жениться на венесуэлке.

И пошло-поехало. Если раньше все они только не доверяли друг другу, то теперь начали войну. Высокие принципы вроде солидарности и чести оказались всего-навсего словами из далекой сказки. Они подкарауливали друг друга на прогулках во дворе и пытались разузнать, кто когда и какие даст показания, чтобы затем кой-кому пригрозить. Дружбы между ними, пожалуй, не было уже давным-давно. Но они доверяли друг другу, потому что родились все на Востоке, вместе гуляли на вечеринках, ездили в отпуск, проворачивали гешефты. В конечном счете эти гешефты и распоряжались дружбами.

К тому времени Марко, вероятно, разочаровался едва ли не во всех, а он из таких, кто сразу чует, когда ситуация оборачивается против него. Когда надо спасать свою шкуру. Выживать. Он успел выяснить, что ему светит как минимум пятнадцать лет тюрьмы. Установление о главных свидетелях оставалось для Марко единственной возможностью избежать пожизненного срока. Его адвокат осторожно аргументировал в этом направлении.

16 сентября 1999-го, почти через год после ареста, Марко впервые дал показания, заблаговременно наняв одного из лучших берлинских защитников по уголовным делам. Кое-кого он не упомянул: бывшую подругу и своего приятеля Карстена, с которым ездил во Францию.

Марко был точен в своих показаниях — босс, единственный, кто знал всех фигурантов. И он всегда пристально наблюдал за людьми, чтобы лучше их оценивать. О Ронни он сказал, что тот хорошо знаком со структурой трафика, недурно жил в Венесуэле и знает тамошних пособников. И выходить из бизнеса вовсе не собирался. Хотя сам Ронни утверждал обратное.

Вскоре Марко дал показания и против Феликса. До тех пор Феликс фигурировал лишь на периферии дознания. Имел контакты с Марко, и всё. Один только Бен, который 14 октября 1998 года, после ареста Марко, сам явился в полицию, рассказал путаную историю о том, как некий Феликс до полусмерти его избил. Но говорил Бен настолько бессвязно, что даже полицейские ему не поверили. Затем он подал иск на Феликса в связи с нанесением телесных повреждений. Но к аресту Феликса привели лишь показания Марко.

Очутившись в тюрьме, Марко вскоре через одного из друзей предупредил Феликса и посоветовал на время исчезнуть. И весной 1999-го Феликс действительно уезжал на несколько недель на Мальорку. Ей и другим приятелям он рассказал байку о спортивном лагере в Голландии. Вдобавок сказал Давиду, что боится, как бы Марко не раскололся: “Он ведь черт-те что может наболтать”. Феликс прекрасно знал, что ради спасения собственной шкуры Марко пойдет на все.

На Мальорке Феликс жил у друзей одного приятеля и слал письма Давиду, Алексу, Марии и Оливеру. Давид тем временем присматривал в Берлине за его хозяйством, поливал цветы, оплачивал счета, следил за машиной. Ему не хватает музыки Баха, писал Феликс, а тренируется он по два раза в день. Своих приятелей из группировки Оливера он попро-

сил позаботиться насчет денег, которые ему еще причитались. На острове Феликс был один, телефон его не работал, никто там его не знал. Он терпеть не мог надолго уезжать из Берлина. Безродность — штука опасная, достаточно посмотреть на его семью.

Через некоторое время деньги у него кончились. Он написал Оливеру, что вынужден вернуться — надо подзаработать. "Риск, конечно, есть, но думаю, самое скверное уже позади". Пускай ребята прощупают, все ли чисто.

В первых числах апреля 1999 года Феликс вернулся в Берлин. Все вроде было спокойно. Но он ошибался. Просто ничего пока не началось.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 1999-го, Марко дал изобличительные показания против Феликса. Заявил, что Бен так много задолжал ему, Марко, что он отказался иметь с ним дело. Тогда Бен обратился к Феликсу. Летом 1997-го в кафе "Наискосок" Феликс поинтересовался у Марко, не может ли тот достать кокс. Правда, Марко был совершенно уверен, что сам Феликс принимать наркотик не собирался. В общей сложности он якобы продал Феликсу больше трех килограммов кокаина, который предназначался для Бена. Феликс выступал в роли посредника. Далее Марко сказал, что Бен недостаточно заплатил Феликсу и тот решил "выбить" долги кулаками. Бену здорово от него досталось. И даже после того как в Южной Америке провалились два курьера, Феликс все равно упорно пытался получить от него, Марко, кокаин.

Марко мог бы этого и не говорить, за язык его никто не тянул. Главный свидетель может вполне обойтись без сугубо личных оценок. Тем более что в его окружении и в его гешефтах Феликс играл весьма незначительную роль.

После исчезновения Феликса у нее в голове громче и громче звучит один вопрос, мало-помалу заглушающий все остальные: почему Марко предал Феликса? Ей кажется, что, получив ответ, она поймет и все прочее, ведь этот вопрос — ключевой. Почему в определенной ситуации человек реагирует именно так, почему решается на предательство? И как бы поступила она сама, сидя за решеткой и зная, что ей светит пятнадцать лет тюрьмы? Кто может сказать?

Этот вопрос она задает Марко при первом же телефонном разговоре.

Он дает ответ. Но позднее запрещает публикацию.

Речь шла о деньгах и пересудах. Их среда порой напоминает ей глухую деревню, где все постоянно сплетничают обо всех.

Марко не мог сам проверить нарекания против Феликса, он узнавал о них с чужих слов. А в камере любой мелкий слушок, вероятно, воспринимается как непреложная истина. Ответы Марко для нее бесполезны.

Она спрашивает у Марко, как ему сейчас удается жить с тогдашним своим решением.

На этот вопрос он ответить не может. Все кончено.

Летом 1999-го она пригласила Феликса к себе на обед. Он ходил по квартире, разглядывал высокие потолки, дощатые полы, книги. Ему понравилось. Позднее за обедом он в одиночку развлекал всех собравшихся, рассказывал про какой-то клуб в Хеллерсдорфе, где дежурил на фейс-контроле. Иной раз там собиралось десятков пять бывших арестантов —

праздновали выход на волю. Феликс подробно описывал кой-кого из этих персонажей, жидкие кудряшки женщин, их ярко-розовые брючки в обтяжку, рассказывал, как они накачивались липкими приторными коктейлями и в конце концов ему приходилось вытаскивать их на улицу. Некоторые мужчины еще и на поединок его вызывали.

Феликс говорил об этом как посторонний. Как человек, который наблюдает за другими и частенько задается вопросом, а что, собственно, он здесь делает. В тот вечер они много смеялись. Лишь гораздо позже она вдруг сообразила, что его истории были, в сущности, очень печальны. Они рассказывали о крушении, об утраченных надеждах, и Феликс тоже был их частью.

Тогда он сидел на стуле в ее задней комнате, ссутулив спину, выдвинув плечи вперед, и казался очень близким и знакомым. Рядом с Феликсом ее охватывало странное чувство защищенности, какое давали ей лишь очень немногие люди: он всегда будет поблизости, даже если тебе придется хреново. Не станет выспрашивать, чтобы получить над тобой власть. Не изображает близость, которой нет.

Может, она вообще ошибалась. Может, и с другими у него было точно так же. Но в тот раз она испытывала такое чувство, вот и всё. С некоторыми людьми просто ощущаешь душевное сродство, хотя не можешь в точности объяснить почему. Позднее он писал ей из тюрьмы, что и ему это знакомо и что они всегда друг другу доверяли. Вот чего ей теперь особенно недостает. Друга, которому доверяешь.

На свой день рождения в ноябре 1999-го она пригласила, кроме Феликса, всю свою семью и одну йоханнистальскую подружку. И Феликс не был здесь чужим. Сидел за столом, зажатый между бабушкой и отчимом, но за весь вечер почти слова не сказал. Выглядел непривычно притихшим, едва ли не робким. Может, ему было странно, что семья собралась за одним столом, что все наперебой громко разговаривают, смеются. Мир и согласие.

У него в семье вечно ссорились, особенно по праздникам. Кто-нибудь с кем-нибудь да не разговаривал. Память родителей и деда с бабушкой хранит великое множество таких историй. Еще и теперь Жанетта рассказывает про один день рождения. Феликсу тогда исполнилось двадцать один. Она приготовила праздничный ужин, и Феликс уже сидел за накрытым столом. Но еще до ужина все, кроме деда, бабушки и отчима, ушли. Мать, отец и новые их партнеры мигом разругались, хотя после, как обычно, никто не помнил, из-за чего. Бабушка умоляла их остаться — ради Феликса, ради нее. А они все равно ушли. Забыли про Феликса. Он заплакал, Жанетта тоже. Еду потом выбросили. Аппетит пропал.

На ее дне рождения Феликс внимательно изучал присутствующих, бросая на них короткие, настороженные взгляды, словно ждал, что с минуты на минуту настроение переменится и вспыхнет ссора. Немного погодя он вроде бы слегка расслабился и завел с ее братом и отчимом разговор о кикбоксе. Оба восхищались его мускулатурой, что самого Феликса очень забавляло. Он съел кусочек пирога и ушел рано, так как собирался на тренировку. Проводив его до двери, она еще раз поблагодарила за подарок, за книгу “Сталинград”. Хотя в глубине души подумала, что вряд ли станет ее читать. На прощанье они обнялись, и оба не сомневались, что скоро встретятся снова. Все вроде как было в порядке.

После этого она видела его считанные разы. Позднее в письме из тюрьмы он поблагодарил ее за то, что она пришла на его день рождения

и пригласила на свой. Она растрогалась до слез. Но было это через несколько недель, уже в совсем другое время.

15

Дед и бабушка очень любили Феликса, любили почти так, как он требовал, — безоговорочно. Они всегда откликались на его зов. Каждую пятницу он ходил к ним ужинать. Одно время, когда Феликс учился в школе, готовился к аттестату, они даже раз в неделю убирали его квартиру. Феликс только попросил: "Матери не говорите, ладно?" Жанетта звала его *Scuttle*[1], потому что это слово было немножко созвучно немецкому *Schatz*[2], которое она долго не выговаривала. Арнольд в каждом письме в тюрьму писал, что его дом — у них, в Шёневайде.

Феликс боялся потерять деда и бабушку. В его жизни они были величиной постоянной. Он говорил ей, что тревожится за Арнольда, который потерял мечту своей жизни: "У него вживлен сердечный электростимулятор, а он все равно до сих пор бегает марафон". В голосе звучала гордость, но и боязнь. Когда Жанетта тяжело заболела и попала в больницу, он ни разу ее не навестил. "Для него было невыносимо думать, что я могу умереть", — говорит она. А когда она вернулась домой, он заскочил на минутку и сказал: "Ты красоту наведи, щеки подрумянь". Лишь бы не видеть, какая она бледная и измученная. Дед с бабушкой даже не предполагали, что им придется жить с наследством внука.

Здесь его комната. Здесь стоит на кухне его старый холодильник. Два светлых плетеных стула и стол фирмы "ИКЕА" тоже из его вещей. Рядом на серванте — его кассетник с белой наклейкой на боку: *ПУ*[3] *Моабит.* Изо дня в день эта наклейка напоминает деду и бабушке о случившемся. Но они ее не сдирают. Им хочется, чтобы все оставалось как при нем. Наверно, память действует как принуждение.

Шесть месяцев Арнольд, Жанетта и ее дочка прожили в гостинице на восточноберлинской Инвалиденштрассе. Там селили многих иностранцев — греков, чилийцев, которые ненадолго приезжали подлечиться, а затем возвращались на родину. Только они трое остались. Вечно в гостинице жить невозможно, и они опять переехали, в Бернау под Берлином, где размещался институт для иностранцев, принадлежавший восточногерманским профсоюзам, ССНП. В памяти Жанетты то время запечатлелось как жизнь на этаком острове, где идеалы коммунизма стали реальностью. Правда, гедеэровское население в этот лесной поселок в пятнадцати километрах от Бернау не допускали. Попасть туда могли только обладатели специального пропуска. В коммунистическом раю за шлагбаумом был и плавательный бассейн, и спортивные площадки, и столовая, в которой подавали фрукты и овощи, более нигде в ГДР не виданные. Они втроем занимали две комнаты и жили без малейших забот и хлопот. Питались в столовой, даже белье и одежду сами не стирали.

Преподавателей и доцентов института набирали из граждан ГДР — из "стопроцентных", как тогда говорили. Из стопроцентных коммунистов. Арнольд курировал иностранных студентов, которых в этом инсти-

1. Зд.: торопыга, егоза (*англ.*).
2. Сокровище, золотко (*нем.*).
3. Пенитенциарное учреждение.

туте учили пропагандировать социализм и строить профсоюзы у себя дома.

"Только ведь ГДР не Африка", — говорит Арнольд. Многое из того, чему здесь учили, студенты вообще не могли применить на практике. А некоторые, к большому огорчению Арнольда, приезжали вовсе не учиться социализму, а просто поразвлечься в Европе.

Жанетта тогда работала в городе, на швейной фабрике. "Тамошние люди прекрасно ко мне относились. Хотя раньше никогда африканцев не видели". Она шила рабочую одежду и учила немецкий. Арнольд по-прежнему объяснялся со всеми по-английски. Думал, что они скоро вернутся домой, в ЮАР. Вечно жил как бы на чемоданах, готовый к отъезду, — даже когда стало ясно, что на скорое возвращение рассчитывать не приходится. Три года они провели на острове коммунизма. Потом Жанетту потянуло прочь, Арнольд заскучал. Не для того они уехали из Южной Африки, чтобы жить в анклаве за шлагбаумами, причем в несравненно лучших условиях, нежели обычное население. Что-то в глубине души словно бы толкало их тогда постоянно переезжать с места на место.

Арнольд хотел влиться в рабочий класс, устроиться в какой-нибудь сельскохозяйственный кооператив (СХПК). Но у профсоюзников были насчет него другие планы. Его послали на радио, агитировать за АНК. И все трое снова перебрались в Берлин. Арнольд получил должность на "Радио Берлин Интернациональ", отвечал за передачи о южных регионах Африканского континента. Вещание велось на английском языке. А жили они втроем в Панкове, в холодной квартире с печным отоплением, на Мюленштрассе, где транспорт грохочет так, что разговаривать совершенно невозможно. Жанетта работала теперь по трехсменному графику, на швейной фабрике "Треффмоделле", шила сдельно зимние пальто. Она пытается представить себе хрупкую Жанетту за большой швейной машиной в сером цеху гедеэровской фабрики. Бредовая мысль.

Каждые выходные к ним приходили в гости африканские студенты. Квартира вечно была полна народу, кое-кто иной раз и ночевать оставался. Все громко спорили насчет политики в Африке и насчет коммунизма. И пили, надо сказать, многовато, поэтому Жанетта с Арнольдом часто ссорились. Каждый из них жил в своей реальности: Жанетта — в ГДР, Арнольд — в Африке, с которой в мыслях так и не расстался.

Она ежедневно общалась с гегемоном, с рабочим классом, и хорошо знала проблемы гедеэровских будней: как долго люди ждут очереди на "трабант", сколько часов выстаивают возле магазинов в надежде достать что-нибудь особенное. Арнольд об этом знать не желал. Как все верующие, он иногда бывал безжалостен. Сейчас собственный идеологический ригоризм обескураживает его.

Арнольд запрещал Жанетте с дочерью смотреть западное телевидение. Поймав их за этим занятием, он очень сердился. А если она предлагала купить новую мебель, поднимал крик: "Довольствуйтесь тем, что имеете! Многим на свете живется куда хуже, чем нам!" При том что мебель они покупали крайне редко, поскольку не рассчитывали устраиваться здесь надолго. Дочка на каникулах всегда работала на радио — правда, только на кухне. В редакцию Арнольд ее не брал. Незачем ставить девчонку в особое положение.

Арнольд старался хранить верность своим принципам — в стране, где связи значили ничуть не меньше, чем при враждебном капитализме. Да, с ним наверняка было не так-то просто. Но он не лицемерил, он искренне верил в лучшее общество, в нового человека и стремился жить, как положено коммунисту. Дочку этот социализм уже тогда постоянно ставил в тупик, Жанетту одолевали сомнения. И все чаще дочка не приходила домой, ночевала у друзей.

Жанетта мечтала получить в ГДР высшее образование. Хотя Арнольд и говорил: "Ты буржуазка и выросла в буржуазной семье. А потому не имеешь права на высшее образование". Стипендии-то предназначены детям из бедных семей. Но чтобы учиться, Жанетте требовалась санкция и стипендия от какой-либо организации. От ее имени Арнольд обратился с ходатайством в лондонское бюро АНК. Ответ гласил, что ей нужно действовать самостоятельно. Иными словами, ни денег, ни официальной санкции. На учебе можно поставить крест.

До сих пор, рассказывая об этом, она крепко сжимает кулаки. Сидит у себя в гостиной, неподвижно, словно в оцепенении. По-прежнему горюет и злится на функционеров АНК, распределявших стипендии среди своих любимчиков, дочек и сынков. С дочерью Жанетты позднее произошло нечто подобное. Ей тоже не дали возможности учиться.

На счастье, кто-то из профсоюзников поинтересовался, не хочет ли Жанетта поработать у них переводчиком. Переводить она начала в семидесятые годы — на радио, в ССНП, в министерстве культуры ГДР. К тому времени они уже обосновались в Шёневайде, где живут по сей день. Могли бы получить квартиру побольше и поблагоустроеннее, но Арнольд настоял на маленькой. Не хотел жить лучше рабочих.

Феликс всегда восхищался дедовой принципиальностью, тем, что он шел на любые лишения ради дела, в которое верил. В раннем детстве Феликс вместе с матерью и отцом жил в этой же крохотной квартирке, пока родители не разошлись и они с матерью не переехали в Йоханнисталь, к отчиму.

Теперь Жанетта много разъезжала, иной раз по четыре-шесть недель сопровождала африканских гостей в турне по ГДР. И брала их под защиту. Ведь и в ГДР к чернокожим гостям из развивающихся стран относились не так, как к гостям с Запада. "Пусть никто не рассказывает, будто в ГДР не было расизма", — говорит Жанетта. Белых селили в гостиничных "люксах", выделяли им машины и шоферов, а африканцы и азиаты жили в общежитиях, ездили на поездах и в трамваях. И сама Жанетта, бывало, становилась в Восточном Берлине мишенью для нападок. Однажды на станции надземки "Пренцлауэр-аллее" ее окружила целая ватага мужиков. "Ишь, какая смуглая! Жидовка небось, а?" — орали они. А вдобавок вывернули ей руку и злобно посулили: "В следующий раз никто из вас не уцелеет!"

Жанетта пошла к партийному секретарю, а он послал ее в полицию. Она подала жалобу, но не сумела ни описать обидчиков, ни опознать. И очень скоро заметила, что за ней постоянно следует какой-то человек. В конце концов она заговорила с ним, и он отрекомендовался сотрудником дорожной полиции: дескать, ему поручено проверить, как она соблюдает правила уличного движения. После этого ее вызвали в полицию и целый час допрашивали. В итоге Жанетта почувствовала себя чуть ли не преступницей. Никого из нападавших, ясное дело, не нашли.

Были и другие инциденты: кто-то намалевал свастику на двери Жанеттиной дочери; Арнольд однажды подрался с гражданами ГДР, оскорбившими его чернокожих друзей. Они так и остались чужаками. Сейчас Арнольд говорит: "Я не хотел признаться себе, что в ГДР существует расизм". Ведь он считал эту систему хорошей, антифашистской. В кого еще он мог верить?

Жанетта продолжала работать переводчицей. Пока в один прекрасный день не позвонили из министерства культуры. "Мы очень довольны вашей работой, но вы должны соблюдать определенные правила. Поэтому мы тут подготовили одну бумагу — приезжайте и подпишите", — сказал женский голос на том конце линии.

Жанетта поехала в министерство, где ее ознакомили с документом, который гласил, что она не вправе поддерживать личные отношения с иностранными гостями, приглашать их к себе домой и писать им письма. Жанетта недоуменно посмотрела на чиновницу. Это она подписать не может. "Я африканка, я не могу полтора месяца кряду общаться с людьми и рассказывать им, что живу на дереве. Мне пришлось покинуть родину, потому что я не могла молчать, и теперь я тоже молчать не стану", — сказала она и вышла из кабинета.

Так Жанетта потеряла эту работу.

Но сложа руки она не сидела. Вместе с арестантами шила на фабрике мебельные чехлы, убирала конторы, ухаживала за стариками, служила вахтером в театральном училище.

Арнольд до самой пенсии работал на радио — целых двадцать пять лет. "Под конец только и талдычили 'линия партии' да 'линия партии'", — говорит он. На первых порах все-таки журналистской свободы побольше было. А после его обязали в каждом комментарии — независимо от темы — по нескольку раз упоминать ГДР. Интервьюируя кого-нибудь, Арнольд первым делом должен был спросить насчет их впечатлений от ГДР. В эфир, конечно, давали только одобрительные высказывания. Еще у них существовала интерактивная программа, во время которой слушатели могли задавать по телефону вопросы. Правда, иногда никто вообще не звонил, и Арнольду с коллегами приходилось придумывать вопросы самим.

Всю свою жизнь Жанетта и Арнольд вели борьбу, и в ГДР тоже. Каждый месяц выступали на трех-четырех собраниях перед разными людьми, рассказывали об АНК и новейших развитиях в Южной Африке. В ГДР меж тем проживало более ста южноафриканских иммигрантов. Ячейка АНК, созданная Арнольдом и Жанеттой, собиралась раз в месяц. Оба они опекали раненых и психически травмированных бойцов "Умконто", которые приезжали в ГДР подлечиться или передохнуть. В 1961 году АНК и компартия решили создать для борьбы с бесчеловечным южноафриканским режимом вооруженную организацию "Умконто ве Сизве". Подготовка ее членов к партизанским операциям в ЮАР осуществлялась за границей — в учебных лагерях Мозамбика, Зимбабве, Анголы, Танзании. Арнольд и Жанетта встречали этих людей на аэродроме, отвозили в правительственную больницу в Бух или в госпиталь полиции и всячески их опекали. Говорить кому-либо о том, кто приезжал, когда и почему, им воспрещалось. "Все было строго секретно и undercover[1]", — замечает Жанетта. Ведь несоблюдение секретности гро-

1. Тайно (*англ.*).

зило бойцам смертью. Южноафриканские спецслужбы были могущественны и жестоки. "Обычно прибывали небольшие группы, пять-шесть человек", – рассказывает Жанетта. Одни находились на грани нервного срыва, другие получили в боях ранения, третьи приезжали, чтобы пройти военную подготовку или прослушать "политико-оперативный курс" в Академии госбезопасности. Потом они снова исчезали.

Хотя Жанетта и Арнольд официально никогда в "Умконто" не состояли, им тоже полагалось заниматься военной подготовкой в учебных лагерях. Арнольд не мог, по зрению. И все-таки они даже написали в штаб-квартиру АНК в Дар-эс-Саламе, Танзания, заявляя о своем желании добровольно пройти военную подготовку в Анголе или в Мозамбике. Ответ АНК гласил: "Это не для вас. Вы нужны для другого".

Жанетта все равно рвалась туда. Почему – она и сама теперь толком не знает. Вероятно, ей казалось, что в ГДР она делает для освободительной борьбы слишком мало. Или просто хотела быть поближе к родине. Путешествовать Жанетте и Арнольду разрешалось, но только не в ЮАР. Много лет назад их лишили тамошнего гражданства, а принять гражданство ГДР они вежливо отказывались, хотя были благодарны за приют и даже, быть может, ощущали связь с этой системой. "Нам не хотелось захлопнуть последнюю дверь на родину", – говорит Жанетта.

На шкафу в гостиной у нее стоит старая фотография: несколько маленьких девочек с косичками и бантиками улыбаются в объектив. А рядом вклеен другой снимок, с надписью: "30 лет спустя": Жанетта и ее сестры, уже без косичек, вокруг глаз легкие морщинки. Первая встреча после разлуки. Иногда Жанетта писала домой, время от времени приходили ответные письма. Потом связь снова обрывалась. Иногда родные сами просили ее больше не писать. Иначе, мол, опять жди неприятностей с южноафриканскими спецслужбами.

Через двадцать лет, в 1980-м, Жанетта впервые повидала кой-кого из своих братьев и сестер. На три месяца она поехала в Мозамбик и Зимбабве. В Зимбабве жил ее брат, она позвонила оттуда одной из сестер, а та известила остальных. Странно, наверное, было встретиться с родными спустя столько лет.

Жанетта умолкает, только чуть заметно кивает головой. После этой встречи южноафриканская госбезопасность забрала всех родственников и долго допрашивала. Ведь Жанетта считалась врагом государства. Увы, ту поездку омрачило и другое неприятное событие.

Жанетта ездила тогда по всему только что освобожденному Зимбабве. Ей предоставили машину с шофером и несколько сопровождающих от АНК. И вот однажды шофера вдруг заменили. В тот день они намеревались посетить одно из племен в глубинном районе страны. Новый водитель гнал машину как ненормальный, будто хотел устроить аварию. В конце концов он своего добился: прошипел "Вы у меня получите!" – и машина кувырком полетела под откос. Пассажиры потеряли сознание. Немного погодя Жанетта очнулась, вылезла в окно и вытащила остальных. У шофера они нашли пистолет. "Ему приказали убить нас", – тихо сказала она. Опасаясь за свою жизнь, они покинули Зимбабве и направились в Мозамбик, в лазарет. Оттуда Жанетта самолетом вернулась в ГДР.

С Арнольдом нечто подобное случилось позднее в Мозамбике: только он уехал, как дом, где он жил, взлетел на воздух. Потом Жанетта отказалась от поездок в Африку. В восьмидесятые годы южноафриканские спецслужбы выслеживали и убивали своих врагов и за рубежом.

В Берлине Жанетту и Арнольда навещали многие участники Сопротивления: и нынешний президент ЮАР Табо Мбеки, и Джо Слово, один из руководителей АНК и компартии, сиживали на диване в их шёневайдской квартирке. Феликс встречал африканских гостей очень дружелюбно. Хотя зачастую, наверно, понятия не имел, кто были эти гости и о чем они говорили. Ведь он всегда спешил уйти к себе.

Жанетта и Арнольд всю жизнь знали одну-единственную цель: освобождение Южной Африки и возвращение домой. Когда в 1990-м после двадцатисемилетнего заключения выпустили из тюрьмы Нельсона Манделу и в Южной Африке начались перемены, посольство тотчас прислало им южноафриканские паспорта и они поехали на родину. Хотели остаться там, быть может навсегда. На сей случай Жанетта даже обещала оставить свою квартиру Феликсу.

Впервые после тридцати лет разлуки оба увидели свои семьи, свою родину. И все было не так, как они себе представляли, как надеялись. Они стали здесь чужими.

16

Всю первую неделю Феликса знобило. Так его тело отвечало на новую обстановку. Он был оглушен мыслями, которые роились в мозгу, но словно бы потеряли всякий смысл. А этот тошнотворный запах — мешанина из тухлятины, мочи и пота, — он неизбежно возникает повсюду, где множество людей вынуждено есть, спать, справлять нужду в тесном пространстве.

Предварительное заключение, Моабит. Для Феликса — иной, особенный мир с собственным языком, собственными правилами, собственным временем. Первые дни он провел в карантинном блоке, где вновь поступившие арестанты проходили медицинский осмотр, а затем окончательно распределялись по камерам. Эти помещения находятся на первом этаже, и в них всегда мало света. Двухэтажные нары, умывальник, унитаз; все серое — стены, потолок, мебель. Психологическая атака — запугать, с первого же дня.

Тюрьма старая, вечно переполненная, в среднем там содержат 1200 заключенных. Время оставило свой след на крошащихся, подернутых зеленоватой плесенью стенах, на обшарпанной мебели, на до срока состарившихся лицах надзирателей.

После карантина Феликс месяц просидел в одной из камер блока Б. В этой части тюрьмы нет электрических розеток, только под потолком горела сорокасвечовая лампочка. Снаружи на его двери был наклеен черный кружок — знак "ОП", как здесь принято говорить. Имеется в виду "организованная преступность". Женщина-прокурор определила ему условия заключения, затем подтвержденные судом: ввиду опасности побега Феликсу назначили одиночное заключение, строгую изоляцию от сообщников, контроль за всеми разговорами и корреспонденцией, запрет на телефонные звонки (в том числе и через третьих лиц, то есть через священника и сотрудницу социальной службы) как на волю, так и с воли, а также неучастие в общих мероприятиях и в молебнах.

В Моабит помещают тех, чьи дела еще не разбирались в суде, кому еще не вынесен приговор. Стало быть, надо исходить из того, что их могут признать невиновными. Однако предварительное заключение ставит подследственного по сравнению с приговоренным в куда более же-

сткие условия, ведь приговоренному разрешено звонить по телефону, не приходится по двадцать два часа в сутки торчать в камере, и посетители у него могут бывать чаще и дольше.

Теперь Феликс двадцать два часа в сутки сидел под замком, изолированный от всех, бессильный. Не занятый ничем, кроме самого себя и своих мыслей, которые поднимали такой шум, что ночью он глаз не мог сомкнуть. Писем он пока не получал, почта шла долго — десять дней туда и десять обратно. Посетители тоже пока не приходили; раз в две недели ему разрешалось получасовое свидание с тремя людьми. Ни радио, ни телевизора у Феликса опять-таки еще не было. Только динамик на стене. Местное, тюремное вещание. Программа представляла собой этакую сборную солянку — поп-музыка и прочие "мульти-культи". Дважды в неделю на час-другой включали "Радио Фриц"[1], за что Феликс был им благодарен.

На табличке возле двери записка: "Рис вместо картофеля", — последний остаток индивидуальности.

И он писал письма, по нескольку в день, на многих страницах. Она до сих пор помнит, как распечатала первый конверт. Светло-голубой. Чтобы написать адрес ровно, Феликс провел карандашом тонкие линеечки. И в первом же абзаце предупредил, что высказываться по делу не имеет права.

Первое его письмо — перепады от глубокой тоски до сарказма. Феликс подшучивал над тем, что насчет каждой понадобившейся лампочки надо подавать письменную заявку. Свою камеру он называл "гостиничный номер", а тюрьму — "летний лагерь". Ирония, казалось, была единственным способом скрыть боль и бессилие.

Через несколько недель, незадолго до Рождества 1999-го, его перевели в другой блок. Камера С-304 располагала розетками и находилась прямо напротив конторы католического священника. Помещение маленькое, не больше восьми квадратных метров, окошко высоко, на улицу так просто не выглянешь. Под окошком — стул. Став на него, Феликс видел хозяйственный двор, стены с колючей проволокой. Справа у стены койка, напротив — стол и стул. Там он писал письма, одной только Тине целых двести пятьдесят штук. Писал обо всем — о своих мечтах, о жизни, о печали и ярости. Впервые сформулировал иные вещи, даже для себя самого. Эпистолярная терапия. Справа у стены, рядом с койкой, шкаф, дверцы которого не закрывались. Феликс связывал их бечевкой. Слева у двери, за фанерной ширмой, — туалет.

В этой камере Феликс провел почти девять месяцев, один.

Больше всего он тревожился о своей подруге Тине. Ведь они познакомились совсем недавно, и она еще не порвала с другим. Феликс был над этим уже не властен, не мог ничего изменить и объяснить. Писал Тине письма, иногда по два в день, каждое минимум на восьми страницах. Клал к ее ногам всю свою жизнь, писал о детстве, о матери, о своих страхах. Так далеко он никогда раньше не заходил. Казалось, он выдает все свои секреты. Лишает себя всякой защиты. На конвертах писем к Тине он писал фразы вроде *Феликс покусывает тебя за ушко*, или *Сегодня Феликс видел тебя*, или *Felix's Life Story*[2], *I–II*. Рисовал розовых Утят Дональдов и Микки-Маусов.

1. Потсдамская молодежная радиостанция.
2. История жизни Феликса (*англ.*).

Вместе с тем он мог совершенно потерять самообладание, если она не приходила навестить его, из-за работы, если носила в клубе чересчур короткие юбки или отказывалась тайком переправить ему в тюрьму мобильник. Жуткое дело, причем отнюдь не на пользу их отношениям.

Тина заботилась о его белье, каждые две недели навещала его, держала связь с адвокатами, друзьями, социальными работниками и семьей. Была ему опорой, мостом во внешний мир. Он замечал, что требует от нее слишком много и что она совсем притихла. А Тина молчала, помощью заглушая свои чувства. Он не мог обойтись без нее, и эта зависимость его убивала. Вдобавок Феликс опасался, что и на сей раз любовь минует и все кончится разочарованием.

Ей Феликс много писал о Тине и о своем страхе перед открытостью: *...я верил в любовь и искренне надеялся, что мои мечты сбудутся. Но при том всегда мучился сомнениями и боялся, что любовь пойдет прахом и окажется вовсе не такой уж чистой. В глубине души почему-то всегда шевелилась смутная мысль: а вдруг все кончится и что тогда? И я постоянно старался себя обезопасить. От друзей, от любимой, от семьи. Запирал на замок бóльшую часть себя. Думал, так надежнее. Никто меня там не тронет, не причинит боли.*

И тотчас, без всякого перехода — рассказ о занятиях йогой.

В тюрьме он беспокоился и о деде, постоянно призывал Арнольда следить за своим здоровьем. Бабушке давал советы насчет сенной лихорадки. И Тине повторял, что ей нужно отдохнуть, расслабиться. Даже здесь Феликс строил из себя психолога, крутого парня, всегда готового помочь другим, выслушать, дать толковый совет. Всю жизнь он старался не выказать слабости. Скрыть боль и печаль. А это лишь делало его уязвимым. Феликс улыбался, когда впору было волком выть, слушал, когда чувствовал усталость, и наносил удары, когда сам ничего уже не ощущал.

Ей он писал: *За меня не волнуйся. Я не сдамся.* Настроение у Феликса все время менялось, и оттого нелегко было понять истинную глубину его отчаяния. В одном письме он посмеивался над своим положением, а уже в следующем мог написать: *Хорошо, когда можешь плакать. Слезы приносят облегчение. После чувствуешь пустоту и усталость. Здесь необходимо научиться преодолевать бессилие. В воображении я иду гулять и пробую разные маски. Но иногда они слетают, и я остаюсь без защиты. Здесь можно кричать, плакать, биться головой об стену или тупо лежать на койке. Я большей частью лежу. Так трудно не пасть духом.*

Иногда она читала его письма по нескольку раз кряду. Искала зацепки — что можно предпринять. До ужаса мало. Только писать в ответ, посылать книги и деньги. Теперь она часто спрашивает себя, не стоило ли ей поступать иначе. И изменило бы это хоть что-нибудь.

Феликс составил себе “распорядок дня”, как он это называл. Подробный и четкий, который не даст ему свихнуться. Он прочел массу книг о людях в тюрьме или в бункере. В 6 утра — побудка и вынос мусора, потом он до 7–8 слушал “Радио Фриц”. Оливеровы парни снабдили его и радиоприемником, и телевизором. Кто-нибудь из них регулярно его навещал, из своего спецфонда они оплачивали одного из адвокатов. Около 8 — завтрак, потом часовая прогулка во дворе. В компании других арестантов он вышагивал вокруг бетонного треугольника с несколькими чахлыми деревцами посредине. Много и охотно разговаривал с остальными. Кой-кого из них считал настоящими уголовниками, ведь они такое про свои подвиги загибали, что “прямо хоть стой, хоть падай”. Но

были и другие – бедолаги алкаши и наркоманы, которых он жалел. Там, во дворе, один турок рекомендовал ему будущего защитника.

Дважды в неделю после прогулки Феликсу разрешалось принять душ. Он писал ей, что здешние душевые напоминают ему фильм "Список Шиндлера". Вода до того горячая, что все тонут в туманной мгле, как в сибирской парной бане. После душа клонило в сон, и он ложился вздремнуть. С понедельника по четверг между 11 и 13 часами приходила почта. По просьбе Феликса мать подписала его на "Тагесцайтунг" и на "Шпигель". Уже в 11.45 был обед, а затем "разрешенный контакт". Феликс мог навестить какого-нибудь арестанта у него в камере или принять "гостя" у себя. Обычно играли в шахматы. Феликс подружился с одним русским, бывшим военным летчиком, и рассуждал с ним о Чечне. Как-то раз даже прислал ей письмо, где излагал свою точку зрения на кавказские проблемы.

Феликс опасался, что общественность и пресса, без конца поминая поражение в первой чеченской войне, спровоцируют русских начать против Чечни новую войну. Намечал ход тактической операции по штурму Грозного: сначала мощные бомбовые удары по городу, потом артиллерийский и ракетный обстрел, потом танки будут обстреливать "очаги сопротивления", а за ними в бой пойдет спецназ, например десантники, в пешем строю. Чеченцы будут полностью уничтожены, в живых не останется никого.

Она тогда не знала, что ему ответить. И в итоге не стала заострять на этом внимание. Войны странным образом завораживали Феликса. Уже находясь в тюрьме, он попросил прислать книги о танках "Леопард-I" и "Леопард-II".

Он вообще много писал ей о политике, тревожился из-за того, что в Австрии вошел в правительство Йорг Хайдер. А с другой стороны, его волновало, что, когда федеральный президент Рау выступал в Израиле перед парламентом, как минимум треть депутатов отсутствовала. *Видно, все мы еще испытываем чувство вины.* Скандал в ХДС вокруг пожертвований вызвал у него растерянность и недоумение. Феликс удивлялся, что в их случае не существовало опасности побега, а об обыске в домах и конторах было объявлено заранее.

Политика связывала его с внешним миром. Создавала иллюзию, будто он еще причастен к происходящему вовне.

После "разрешенного контакта" Феликс занимался йогой, а в 14.45 был ужин. Затем он садился писать письма. Около 15.45 камеру последний раз отпирали, надзиратели приносили бумагу или конверты, и он продолжал писать или читал. Примерно в 19 часов смотрел "Симпсонов", как всегда, как на воле. Опять занимался йогой и смотрел новости, потом тренировался. *Но здесь все теряет смысл.*

Такого она никогда прежде от Феликса не слышала, спорт всегда занимал в его жизни незыблемое место. Что же это означало? Он опять успокаивал ее, намекая, что разработал много разных тренировочных программ. Упоры лежа делал с полными пакетами молока на спине, мышцы рук укреплял, поднимая ведра и подтягиваясь на решетке. Его друзья позднее рассказывали, что он и в тюрьме устраивал единоборства. А другие арестанты заключали на него пари.

Некоторое время Феликс и на гитаре играл. Отчим присылал ему ноты, а занимался с ним молодой священник. Наверно, странное было зрелище: Феликс сидит на койке и распевает немецкие народные песни

вроде "У входа в город липа...". *Правда, от этого мне зачастую становится грустно, ведь слова песен слишком подчеркивают мое нынешнее положение,* — писал он ей, а дальше процитировал последнюю строфу: "*Степной холодный ветер ночную песнь завел, с меня сорвал он шляпу, но я все шел и шел. Теперь уж я далёко брожу в стране чужой, но часто слышу шепот: "Ты мог найти покой, ты мог найти покой!'*"[1].

Когда священник уходил, Феликс сразу откладывал гитару. Около полуночи он ложился в постель и еще час слушал по радио классическую музыку.

Задним числом она вычитывает в каждом из его писем безмолвный намек. Как можно было тогда не принять эти знаки всерьез? Почему она не писала ему чаще?

Вероятно, потому, что Феликс всегда ее успокаивал. Даже в тюрьме пытался сохранить лицо. Иногда, сидя на белом пластиковом стуле в конторе священника, напротив своей камеры, он разговаривал по телефону с адвокатом. "Глаза у него были печальные, но он всегда улыбался", — говорит одна из помощниц католического священника. Порой она наблюдала за ним и спрашивала, как его дела. Он не хотел рассказывать. И почти никогда не писал "заявок", записок, в которых арестанты могли изложить свои пожелания. Редко просил об услугах. "Обычно замечают только настырных наглецов. Тех, кто страдает молча, словно и не видят", — говорит эта помощница.

Однажды он спросил у нее, нельзя ли ему посидеть в церкви одному, ведь присутствовать на мессе он не вправе. Она разрешила. "Феликс был человек очень обаятельный и здесь совершенно не к месту. Не знал, куда деваться от стыда", — говорит она.

Марко к тому времени уже перевели из Моабита. После того как он дал показания, прокуратура и полиция опасались за его безопасность. Предатель и те, кого он сдал, находились в одной тюрьме. И однажды утром его тайно перевезли в другое место заключения. Имя ему не сменили. Поскольку, как утверждает полиция, показания его не были исчерпывающими.

Феликс молчал.

Она в точности помнит день, когда узнала об этом. Рано утром позвонила мать Феликса и сказала: "Феликс арестован и хотел бы сохранить с тобой связь". Только повесив трубку, она сообразила, что даже не поинтересовалась, за что его арестовали.

Как оглушенная, она помчалась в кафе за углом, где ждали его дед, его мать и его друг Алекс. Мать держала в руках копию ордера на арест. Сообща они попытались докопаться до смысла. Там шла речь о *наркотиках,* о каком-то *Бене* и *телесных повреждениях.* Никто из них не мог представить себе, чтобы Феликс связался с наркотиками, и никто ни разу не слыхал имени Бен. Алекс плел что-то бессвязное и поминутно названивал по мобильнику. Но так или иначе сумел установить, что дело идет об инциденте 1997 года. Арнольд больше молчал, а мать Феликса дала ей листок с шифром Феликсова дела, его новым адресом и пятью телефонами — номерами друзей, которым он хотел написать. Ее телефон тоже там значился. Потом Алекс ушел, и мать Феликса попросила их пойти с ней вместе на его разгромленную квартиру — собрать кое-что из вещей.

1. Перев. С. Заяицкого.

Замок на двери уже поменяли, лак вокруг него облупился, дерево в трещинах. Каждому видно, что недавно эту дверь вскрывали силой. Она побаивалась зрелища, ожидавшего внутри. Ведь до сих пор никогда не бывала в квартире после обыска. Друг за другом они вошли — кухонные шкафы распахнуты настежь, пакеты с мукой и сахаром порваны. На полу в комнате разбросана одежда, постель в беспорядке, письменный стол завален визитными карточками, фотографиями, записками. Ничто здесь не напоминало о дне рождения, который они праздновали всего неделю-другую назад.

Мать Феликса расплакалась, Арнольд дышал шумно и тяжело. Она машинально складывала в сумку брюки, пуловеры, трусы и почему-то чувствовала себя грязной, будто влезла в интимную жизнь Феликса. Мысленно она дала себе клятву, что никогда ему об этом не расскажет. Потом они втроем поехали к тогдашнему Феликсову адвокату, которого наняли Оливер и его парни. Из того разговора она мало что помнит. Адвокат еще не успел ознакомиться с материалами дела и только успокаивал их. Позднее Феликс нанял другого защитника.

Следующие дни она подолгу лежала в постели, спала, как всегда, когда ее угнетало что-нибудь такое, что наяву она изменить не могла. По Феликсу она горевала будто по умершему. Ей казалось, он выпал из этого мира, из этого времени. Она и не предполагала, что будет еще хуже. Писала ему письма, замечая, как трудно рассказывать о собственных буднях, о своих журналистских расследованиях. Разве все это имело значение? Так, сплошные пустяки. О том, что ее вправду интересовало, спрашивать нельзя. Ведь письма досматривались.

Она все время представляла себе, как судья или еще какой-нибудь чиновник читает ее строчки. Неприятная мысль. Связь между его и ее реальностью прервалась. Она чуть ли не стыдилась, что ее жизнь продолжается на воле, тогда как для Феликса в тюрьме жизнь искусственно замерла. Ей хотелось, чтобы их дружба осталась неизменной. Поэтому временами она испытывала замешательство, когда Феликс благодарил ее за вещи, которые она сама считала вполне естественными. За то, что она поддерживала его, присылала книги, довольно часто встречалась с Тиной и старалась успокоить его мать, о которой Феликс в письмах очень тревожился. *Ты делаешь для меня как раз то, что надо, и я тебе очень благодарен. Это дает мне силы выстоять.*

Перечитывая сейчас эти строки, она с трудом сдерживает слезы. Сил оказалось недостаточно.

Однажды она навестила Феликса. Он сообщил ей день и час свидания. Это было в апреле 2000-го, еще до начала процесса. Вместе с Тиной и его матерью она ждала в комнате для свиданий тюрьмы Моабит. Им присвоили номер. Иногда люди ждали по многу часов, пока выкликнут их номер. Она сидела на жестком пластиковом стуле, стоявшем тут не иначе как с семидесятых годов; с этого места можно было наблюдать за другими посетителями. Щуплые, серые женщины — чьи-то жены, — несколько крашеных блондинок и целые семьи с детьми, запасшиеся термосами с кофе, будто на пикнике.

В тот день очередь продвигалась довольно быстро, их вызвали уже через полчаса, проверили документы, обыскали и пропустили в следующую комнату. Там они снова ждали, в одиночестве. Посредине просторного помещения стоял стол, по виду школьный, на нем бутылки с водой, стаканы. Опять ожидание. Наконец пришел надзиратель, проводил их в

маленькую кабинку. До того крохотную, что стол аккурат перегораживал ее пополам, от стены до стены; по одну сторону сидели они трое, по другую — Феликс, а рядом с ним полицейский. Феликс коротко обнял всех трех. Некоторые надзиратели и это строго воспрещали.

На свидание отводилось полчаса. Феликс рассчитывал пятнадцать минут пообщаться с ней и с матерью, а потом побыть наедине с Тиной. Что можно сказать за пятнадцать минут? Он изменился, пополнел. Глянув на его предплечья, она испугалась: руки словно опухли. И он то и дело улыбался. Она видела, чего это ему стоит и как это все вымученно. Феликс старался сохранить видимость, любой ценой. Улыбкой внушал им: все в порядке, я справлюсь.

Она лихорадочно соображала, что сказать. Ничего путного в голову не приходило. Вот и спросила: "Ну как ты? Чем занимаешься тут целыми днями?"

Он быстро взглянул на нее и ответил: "Об этом я подробно напишу в следующем письме".

Что теперь? Она совсем пала духом. Феликс казался совершенно не таким, как в письмах. Куда более жестким. Не показывал ни малейшей слабости, изображал крутого. Она чувствовала, каким невероятным усилием он держит себя в узде.

Снова бесконечные улыбки. Феликс сидел совершенно спокойно, не спеша отвечал на их вопросы. Лишь временами резко поворачивал голову или протестующе взмахивал рукой, словно опасался чего-то и был начеку. Ее не оставляло ощущение, что достаточно легонько к нему прикоснуться, и он либо окончательно сникнет, либо взорвется, начнет кричать и плакать.

Когда четверть часа истекли, она вышла из кабинки, чувствуя свою полную несостоятельность. Ведь сказала не то, что хотела, и ничего не узнала. А теперь злилась на собственную беспомощность и заодно на Феликса, изображавшего неприступного крутого парня. Даже тут, в тюрьме, где все видели, что дело обстоит далеко не так. Она бросила в автомат для посетителей несколько монет и на двадцать пять марок набрала для Феликса шоколадных батончиков, жевательных мармеладных медвежат, кислых яблочных леденцов и лакрицы.

Вот и все. Она вернулась в свой мир.

17

Спокойный, собранный — таким Феликс показался и адвокатам, когда они пришли к нему в первый раз. Оба специализировались на правонарушениях, связанных с наркотиками. Одного из них, Харальда Ремé, нанял отец Феликса. Харальд Реме — человек добродушный, носит бороду и очки и всегда несколько рассеян. Второго адвоката, Олафа Франке, наняли Оливеровы молодцы. Феликс узнал о нем в тюрьме, от арестанта-турка, который восторженно твердил: "У меня лучший в мире адвокат". Оба юриста были из левых, участвовали в студенческом движении 1968 года. Франке седой, стрижется бобриком, носит серьгу и обычно ходит в джинсах.

Впервые увидев Феликса, защитники удивились. Его происхождение и та среда, в какой он жил, составляли разительный контраст. "Речь шла о процессе против хулиганствующих фанатов, а передо мной сидел цветной парень в очках, с виду типичный интеллигент", — говорит

Франке. В тюрьме Феликс уже не носил контактные линзы. От мелкой пыли глаза у него воспалились, пришлось надеть очки.

Первым делом защитники ознакомились с материалами дела. Материалы, касающиеся Марко, занимали почти целую комнату. Феликс играл там сравнительно малую роль. После они объяснили ему, что совсем без ущерба он выйти из дела не сможет, поскольку свидетельствовали против него двое – Марко и Бен. Вдобавок Марко был, что называется, звездой прокуратуры.

Они спросили у Феликса, чего бы он хотел избежать в любом случае. "Многолетнего срока тюремного заключения", – ответил Феликс. С этой минуты адвокаты поставили перед собой задачу добиться для него освобождения из-под стражи прямо в зале суда. Переговорили с соответствующей палатой суда и с заседателями. Хотели выторговать для Феликса четыре года. Палата настаивала на пяти, причем только если Феликс признает свою вину. Феликс вину признал, но больше никаких заявлений не сделал.

"Он всегда определял лишь то, чего не хочет", – говорит Франке. Наотрез отказался как поддерживать Марко, так и давать показания против других.

"Рыцарская натура", – говорит Реме.

Сообща с Феликсом они подготовили письменное заключение по пунктам обвинения. Защитники огласили его перед судом. В частности, там говорилось: "Однажды Бен спросил меня – на мой взгляд, совершенно спонтанно, – могу ли я достать кокс. Я ответил, что не знаю, поскольку никогда этим не занимался". Бен на это заметил, что Феликс как-никак знаком с Марко. Он сам, Бен то есть, с ним поссорился. Феликс согласился спросить у Марко. Почему – он, пожалуй, и сам толком не знал. В деньгах нуждался. Первый раз речь шла о десяти граммах.

Для передачи кокаина Феликс и Марко встретились в Панкове, неподалеку от выезда на автостраду – то ли в "Бургер-Кинге", то ли в "Макдоналдсе". Перед тем Феликс съездил к Бену, взял у него тысячу марок. Обмен состоялся. Феликс отвез Бену полученные десять граммов.

"При мне этот кокаин и четверти часа не находился", – читали адвокаты. На сделке Феликс заработал сотню марок.

Потом состоялось еще три-четыре подобных гешефта с продажей десяти-двадцати граммов. Марко повесил на него куда больше. В следующий раз Бен заказал Марко через Феликса сто граммов и в дальнейшем намеревался приобрести килограмм. На сей раз Феликс встретился с Марко в "Макдоналдсе" и получил пакетик, который передал Бену, заработав 500 марок.

Примерно через неделю Бен запросил килограмм. Марко потребовал за это 58 тысяч. Встретились они возле "Бургер-Кинга". Феликс сидел в машине с опущенными стеклами. Марко бросил товар на сиденье с ним рядом. Феликс отвез наркотик Бену, и тут выяснилось, что денег у Бена нет. Марко метал по мобильнику громы и молнии. Ведь получил-то он только 56 тысяч. Между тем Марко успел дознаться, кто Феликсов заказчик, и сказал Феликсу, что остаток денег взыщет с него. В общем, дело плохо.

"В дальнейшем Бен был для меня практически вне досягаемости. И я не мог получить с него деньги, которые он остался мне должен". Словом, курьерская служба никакой прибыли Феликсу не принесла.

Вскоре Бен позвонил опять и потребовал еще килограмм. На этот раз Феликс сперва проверил, есть ли у него деньги. Марко запросил всего 57 тысяч плюс 2 тысячи долга. Феликс расплатился с Марко и вновь не заработал ни гроша.

"В последующих поставках кокаина я не посредничал, в частности и прежде всего потому, что осуществление обеих упомянутых килограммовых сделок, на которых я ничего не заработал и, в общем-то, должен был радоваться, что не остался в убытке, отбило у меня всякую охоту". Две тысячи марок, которые Бен задолжал ему за курьерские услуги, Феликс так и не получил. Бен упорно от него скрывался. В общей сложности Феликс заработал 1200 марок. Нанесение телесных повреждений он отрицал.

Марко повесил на него больше трех килограммов, цены же, по его показаниям, были ниже: 42–45 тысяч марок за килограмм.

Как обстояло на самом деле, никто, наверно, уже не узнает. Даже Феликсовы защитники не могут сказать, соответствует его заявление истине или нет. Проверить невозможно.

Она спрашивает себя, вправду ли Феликс мог быть наркокурьером. Это он-то, который даже спиртного в рот не брал, – нет, в голове не укладывается. Может, он думал, что если несколько минут подержит кокаин в руках, то никакой вины за ним не будет? А может, не знал, что за торговлю кокаином в таких количествах грозит суровое наказание?

"Феликс не сумел по-настоящему осознать противоправность своих действий. Считал, что всего-навсего переправляет из одного места в другое маленький пакетик", – говорит адвокат Франке.

Никто ни разу не спросил Феликса, что произошло на самом деле. Одни не смели заговорить с ним об этом, другим было все равно, третьи думали, что спешить некуда, они еще успеют все это обсудить.

Вот и ей уже не довелось спросить его.

В первый день слушания дела, 16 мая 2000 года, Феликс сидел в зале суда слева, во втором ряду, за своими защитниками. На нем были очки, клетчатая рубашка, джинсы. Когда она вошла, они кивком поздоровались. С виду он казался невозмутимым, иногда откидывался на спинку стула. Временами делал какие-то заметки.

Она села среди публики, рядом с Тиной и его матерью. Отец Феликса тоже пришел. Со своего места она наблюдала за коллегами-журналистами, некоторых она знала и спрашивала себя, как бы сама написала об этом процессе, если б не была знакома с Феликсом. Потом Тина показала ей Марко, тот сидел справа, почти напротив Феликса. Она пыталась запомнить его лицо. Но безуспешно, черты снова и снова расплывались. Рядом с ним стоял полицейский – для охраны.

Обвинение в тот день предъявили восьмерым: Феликсу, Марко, Ронни, Бену, полицейскому-осведомителю, подруге Марко, брату Марко и еще одному человеку, замешанному в мошенничествах с кредитами и в торговле наркотиками.

Прокурор встала. Дама в очках, со светлыми волосами до плеч, слегка взбитыми для пышности. Она зачитала обвинительное заключение, и продолжалось это два часа. Ведь заключение насчитывало без малого восемьсот страниц.

Наверно, прокурор и правда вложила в это дело свое сердце. Она говорила о наркотиках, оружии, машинах, охранниках, футбольных побо-

ищах – хотя в ходе дальнейших слушаний футбол роли не играл. Главный свидетель обвинения сам был чересчур во всем этом замешан.

Однажды судья спросил Феликса, ездил ли он на драки. Феликс кивнул: "А как бы я иначе добился доверия в этих кругах?" Адвокаты полагают, что истории о хулиганских драках прокуратура поначалу использовала для создания общественного настроя. В Берлине это был первый большой процесс против мира хулиганов и охранников. Газета, для которой она работала, называла их *бандитским картелем.* Слово "картель" отдавало мафией, Сицилией. И это действовало. Обвинительное заключение звучало страшновато.

Она видела, как ее коллеги строчат в блокнотах, и прямо воочию представляла себе газетные шапки. В растерянности сидела среди публики и гадала, как Феликс там очутился. Что общего у него с этими людьми? Никто не мог дать ей ответ.

К тому же она не вполне понимала, почему Феликс попал в число обвиняемых на судебном процессе. По сравнению с другими его роль казалась ей незначительной. Он не ворочал нелегальными миллионами, не ездил в Южную Америку, не перевозил на себе наркотики. Только передавал маленькие пакетики от одного другому и даже ничего толком не заработал. Бессмысленно и глуповато, но, не в пример другим, безобидно, едва ли не наивно, так она считала.

Феликс тогда большей частью смотрел в стол, изредка бросая беглый взгляд на Тину и на других. И тотчас снова опускал глаза. Ему было неловко.

Через два часа она вместе с матерью Феликса и Тиной пошла пить кофе. На улице им вдруг заступила дорогу какая-то истеричная блондинка, напустилась на Феликсову мать: "Ваш сын избил моего мальчика!" Это была мать Бена. Мать Феликса даже бровью не повела, а блондинка бессвязно, взахлеб тараторила, словно просто хотела кому-нибудь рассказать о своем сыне и о процессе. Потом неожиданно отвернулась и исчезла.

Феликс тогда, скорей всего, уже сидел в камере, один, только мысли как безумные бились в мозгу. Как-то раз он написал ей, что ему хочется перестать думать и что он много размышляет о детстве. *Пожалуй, я еще тогда наметил себе кой-какие жизненные цели и теперь задаюсь вопросом, по-прежнему ли я этого хочу... Суровость к себе была для меня единственным способом существовать. Тогда я, наверно, не мог иначе, но все время жить так – губительно.* И он снова и снова успокаивал ее: мол, все нормально, не стоит о нем тревожиться.

С началом процесса письма приходить перестали. Феликс писал теперь одной только Тине. Слал ей многостраничные рассказы о своих мечтах, о своей жизни. Целиком сосредоточился на ней, связывал с нею свои надежды и чаяния. Через нее передавал весточки друзьям и семье. Ее это, наверно, пугало. Но она не умела сказать, что ей невмоготу.

На суде Феликс старался говорить о себе как можно меньше. Однажды прочел автобиографию, упомянув там лишь отца и отчима, однако же не сказав ни слова ни о деде с бабушкой, ни о матери. О своей семье Феликс вообще рассказывал мало, и большинство его друзей знали только его деда и бабушку. Арнольд и Жанетта присутствовали на всех слушаниях. Другие появлялись от случая к случаю, третьи не приходили вовсе. После первого слушания она тоже в суде не показывалась. Записывала в ежедневник даты, смотрела на них, мучаясь угрызениями

совести, и опять благополучно забывала. Обычно слушания проходили по вторникам, в первой половине дня. А ей нужно было работать.

Задним числом собственная невнимательность приводит ее в ужас. Какое бессердечие. Вполне ведь могла пойти и на другие слушания, ничем особенно срочным и неотложным не занималась. Как-то раз Тина передала ей, что Феликс просит ее прийти в суд. Хочет, чтобы она написала об этом. В душе она сказала "нет". Ни в коем случае, она же с ним знакома. Теперь, оглядываясь назад, она воспринимала это как завет, как просьбу, которую должна выполнить. Поскольку тогда этого не сделала.

Процесс продолжался. На одном из слушаний Феликс опознал на фотографии турка, Бенова контрагента, конечного получателя. И по-прежнему речь шла о третьем килограмме кокаина, который Марко повесил на Феликса. Адвокаты говорят, что Феликс был очень зол на Марко.

"Ложные обвинения оскорбляли его", — говорит Харальд Реме. Незаурядная натура Феликса произвела на него впечатление. "Меня завораживала его серьезность. Книги Феликс по-настоящему штудировал. Я, к примеру, знаю отнюдь не все свои книги. Тяжких правонарушений Феликс наверняка не совершал, они были ему совершенно чужды". Как человек он никак не вяжется с деянием, которое ему инкриминируют.

Всего лишь раз защитники видели, как Феликс потерял самообладание, — незадолго до летнего перерыва, когда возникли сомнения насчет того, возобновится ли процесс осенью или раньше. На миг им показалось, что Феликс вот-вот заплачет. Один-единственный раз. Феликс непременно хотел узнать свой приговор до перерыва в слушаниях. И они этого добились.

10 августа 2000 года Феликсу вынесли приговор: четыре года шесть месяцев. Ронни получил пять лет девять месяцев. Нелепо, ведь правонарушения несопоставимы. "В общем, приговор для Феликса не самый худший", — говорит его защитник Олаф Франке. Хотя Феликс не мог с ним примириться. Не мог объяснить себе такую меру наказания, она шла вразрез с его внутренним чувством справедливости. По сравнению с Марко, которому дали девять лет, Феликсу полагалось бы назначить меньший срок.

Судья освободил Феликса из-под стражи прямо в зале суда. Оставшийся срок он должен был провести на воле, под полицейским надзором. Прокурор заявила, что обжалует это решение. Кое-кого освободили из-под стражи в зале суда еще до Феликса, и прокурор ничего делать не стала. Вероятно, поэтому никто и не принял ее угрозу всерьез.

Теперь прокурор, как и судья, не желает высказываться по этому поводу.

Защитники Феликса добились своей цели и уехали в отпуск. Феликс был свободен.

В тот четверг, когда Феликса выпустили из тюрьмы, Оливер и еще несколько парней увезли его прямо из зала суда. Решили отпраздновать. Феликс только на минутку заехал к деду и бабушке, оставил вещи и сказал: "Я поужинаю с ребятами, а завтра утром вернусь". Ему непременно хотелось посидеть в "Макдоналдсе".

По городу он ходил с опаской. Не смел посмотреть людям в глаза, боялся, что любой поймет: он только что из тюрьмы.

Вечером Феликс с Оливером и другими парнями из охранной фирмы поехал в клуб. Но перед этим попросил у Оливера таблетку от головной боли. “Он был совершенно вымотан”, – говорит Оливер сейчас. Остальные пили. Феликс сидел и все время спрашивал себя, открыта ли дверь у него за спиной. Но улыбался. Ушел он рано, около одиннадцати, переночевал у Оливера. Больше не мог.

Утром он вернулся в Шёневайде, к деду с бабушкой. Давид уже успел перевезти туда из своей квартиры его вещи. Мебель Феликса стояла в подвале. В давнюю свою комнату Феликс перенес лишь самое необходимое – одежду, музыку, книги, картонку с письмами, ежедневниками и фотографиями. Развесил свои картины, сунул подальше, на шкаф, обвинительное заключение. Деду и бабушке он сказал: “Теперь останусь у вас надолго”. Из-за долгов отдельная квартира была ему не по карману.

Посудомоечную машину и холодильник Феликс поставил на кухне. Больше не хотел питаться в одиночку и смотреть телевизор, попросил деда и бабушку убавить громкость телефонного звонка. “Все это напоминало ему о тюрьме”, – говорит Жанетта.

Один из друзей одолжил ему автомобиль, и Феликс целыми днями мотался по учреждениям. Снова заявлял о своей жизни. Во внешнем мире. Через несколько месяцев ему стукнет тридцать. И он опять у начала.

Трижды в неделю он обязательно отмечался в полиции. Глаза у него воспалились, болели, а медицинской страховки он пока не имел. В клинике ему по-настоящему помочь не пожелали.

Чувствовал Феликс себя отвратно. Поделиться пережитым за последние девять месяцев было не с кем, он казался себе отрезанным от мира. Всю жизнь ему хотелось принадлежать к коллективу, хоть где-нибудь быть своим. Теперь же он находился на отшибе, совсем один.

Дед с бабушкой видели, как он страдает, но ничего поделать не могли. Однажды он сказал Жанетте: “У меня болят глаза, в социальном ведомстве все ни к черту. Не могу я больше терпеть”. Жанетта ответила, что ему надо снять деньги с ее счета и чем-нибудь себя порадовать. На некоторое время все успокоилось.

Вдобавок Тина, подруга Феликса. Тут обстоятельства складывались не так, как он рассчитывал. Когда Феликс вышел из тюрьмы, она сказала, что ей нужно время и некоторая дистанция. Для Феликса это наверняка прозвучало как отставка. Он всегда требовал абсолютной любви, стопроцентного приятия. Тина знала о нем больше кого бы то ни было, все время поддерживала его. И вот теперь ей стало невмоготу.

Однако же они пошли вместе в бассейн. В те последние дни, в августе 2000-го, стояла жара. Прежде оба накричали друг на друга по мобильнику. Он хотел побыть с ней вдвоем, она привела приятеля. Возле бассейна они помирились. Ненадолго. Тина прыгнула с вышки. Когда она вернулась, Феликс бушевал от ревности: весь бассейн пялился на ее задницу. Никто-де его не уважает, а ведь она его жена.

Чем больше любви он требовал, тем больше Тина отстранялась. Скверная игра. Когда они вместе пошли за мороженым, Феликс заметил: “Похоже, нам нечего сказать друг другу, если между нами нет полицейского”. Пожалуй, в этом была доля правды: их отношения основывались на чрезвычайной ситуации, к нормальной обстановке они не привыкли.

В конце того дня они коротко обнялись на прощание, и Тина шепнула: “У нас все будет хорошо”. Может, она и правда в это верила. Потом

Тина быстро пошла к своей машине, Феликс — к своей. Минуту-другую они ехали бок о бок. Затем он исчез.

По телефону Феликс сокрушался, что с Тиной все идет как-то не так. Голос его звучал непривычно, глухо и печально. Повидаться им пока не удалось. Он сказал, что очень занят. Учреждения, врачи. И относятся там к нему, бывшему заключенному, очень плохо: "Для них ты пустое место".

Говорил он о предстоящих вскоре общественных работах, которые ему назначили в Хакенфельде, и о том, что нашел себе место охранника и тренера. Помнится, она тогда подумала: ну вот, все сначала, те же люди, та же среда, те же проблемы. Говорили они недолго, собирались в ближайшее время повидаться. При встрече она как следует его расспросит. Вероятно, он почувствовал ее осторожность и вконец смутился. "Скоро увидимся" — последняя фраза последнего телефонного разговора.

За те тринадцать дней, что Феликс пробыл на воле, неизменным оставалось только одно — тренировки. На другой же день после освобождения он десять раундов кряду лупил по мешку с песком. Как-то раз он сказал ей, что самая большая его мечта — войти в мировую тройку лучших. В тюрьме он и эту мечту поставил под сомнение, но тренировки продолжал. У деда и бабушки висит последняя фотография Феликса, сделанная как раз в то время. Он стоит в квартире матери, рядом — брат и отчим. На губах широкая улыбка, глаза прищурены, вид опять-таки до ужаса счастливый.

Она так и не встретилась с ним в те августовские дни. Не попрощалась по-настоящему. Оттого и не может поставить точку. Тогда у нее опять были какие-то дела, казавшиеся очень важными.

Она ездила за границу на свадьбу, потом собирала в Праге материал для статьи о противниках глобализации. Эти ребята порой чем-то напоминали ей Феликса. Они тоже боролись против перемен, которые, по их ощущению, уже не поддадутся контролю. Как и Феликс, словно бы тосковали по ясности и прочным корням. Раз-другой у нее мелькала мысль позвонить Феликсу из Праги, но она так и не позвонила. Разговора наверняка бы не получилось.

Когда она приехала домой, на автоответчике был голос Феликса. "Куда вы подевались?" — спрашивал он. Боязливо, словно опасался, что она никогда больше не ответит, не захочет с ним разговаривать. Он оставил новый номер мобильника. Было 22 августа 2000 года, вторник. На следующий день она несколько раз пробовала связаться с ним. Мобильник молчал. В ежедневнике она записала на пятницу, 25 августа: "Завтрак с Феликсом?" Тогда он уже пропал.

В среду, 23 августа, Феликсова бабушка со своей сестрой вылетела в Рим. Феликс проводил ее в аэропорт, а оттуда поехал отметиться в полиции. На вечер они с дедом договорились вместе поужинать — со вчерашнего дня осталась кой-какая китайская еда. Арнольд в тот вечер ждал внука напрасно. Феликс не появился. Поныне дед корит себя, что не пошел с ним в полицию.

Полиция задержала Феликса. Прокурор осуществила свою угрозу и опротестовала освобождение из-под стражи. Феликсов адвокат Олаф Франке говорит: "По натуре она человек не злой, но если уж вцепится во что-нибудь, то мертвой хваткой. Прямо как питбуль. И тогда прощай объективность. Для нее речь шла о принципе, а не о Феликсе лично".

Самое плохое, наверно, большей частью происходит именно тогда, когда речь идет о принципе, а вовсе не об отдельном человеке.

Адрес деда и бабушки, указанный как место прописки Феликса, прокурор сочла фиктивным. Никто даже не зашел к Жанетте и Арнольду, не проверил. А ведь каждый мог бы увидеть, что Феликс вправду жил там. Кстати, с пропиской действительно что-то не заладилось, и официально он не был зарегистрирован у деда и бабушки, хотя все принимали это на веру.

Прокурор мотивировала свой протест, в частности, якобы по-прежнему существующей опасностью побега. "Обвиняемый Феликс С. не информировал, где и как он впредь намерен жить".

Его никто об этом не спрашивал.

Далее прокурор писала, что суд второй инстанции неоправданно положился на то, что обвиняемый не сбежит. Она заявила ходатайство об отмене освобождения из-под стражи. Есть основания для ареста по причине опасности побега. К тому времени Феликс уже неоднократно отмечался в полиции, согласно предписанию. 23 августа Четвертая судебная коллегия Высшего суда Берлина постановила удовлетворить протест прокуратуры. Решение об освобождении из-под стражи от 10 августа было отменено со следующей мотивировкой: *Прописка в квартире деда и бабушки, а равно и то обстоятельство, что он получил в одной из фитнес-студий место тренера, сами по себе не дают достаточной гарантии, что в случае возобновления процесса или угрозы исполнения наказания он добровольно явится в соответствующую инстанцию.*

Феликсовы защитники говорят, что Четвертая судебная коллегия вообще славится ограничительными постановлениями. Они чуть ли не из принципа принимают решения против обвиняемого. Прокурор тогда якобы злорадствовала: "Мы победили".

Вопрос в том, какой ценой. Но, похоже, со временем люди уже не задают себе подобных вопросов, похоже, главным становится победа как таковая.

Феликсу разрешили сделать один телефонный звонок. Он позвонил Тине и сказал, что намерен порвать контакт со всеми, пусть приходит только она. "Я должен одолеть это в одиночку".

Отчим Феликса попытался получить разрешение поговорить с ним в день судебного разбирательства. Он тревожился. Может, предчувствовал что-то. Прокурор позвонила затем в тюрьму Моабит, сообщила об этих тревогах и сделала пометку в своих бумагах. Иначе говоря, исполнила свой долг и переложила ответственность на пенитенциарное учреждение.

Почти две недели Феликс пробыл на воле. Он только-только начал привыкать к нормальной жизни, распоряжаться собой и своим временем. И опять все сызнова. Опять Моабит, опять карантинный блок на первом этаже. Тот самый, жуткого вида.

Защитники были в отпуске, как и судья, который освободил его из-под стражи. Феликс вновь остался один. Но ведь он знал, что адвокаты рано или поздно вернутся. И получил в тюрьме почти восемьсот писем. Многие помогали ему, многие очень его любили. Старый его друг Алекс как-то сказал ей: "Не знаю, получил ли бы я столько писем от разных людей". Все эти письма, вся эта любовь и симпатия по-настоящему так и не достигли Феликса. В глубине души он был одинок, вероятно уже давно.

Первую ночь в камере он кое-как выдержал. По тюрьме быстро разнеслась весть, что он опять там. Помощница католического священника навестила его. А потом настал вечер четверга.

Между 20 и 23 часами вечера, на переходе от дня к ночи, снаружи было еще светло. Никто не узнает, что в точности тогда произошло. Феликс написал два прощальных письма — одно своим родным, другое Тине. Он больше не может. Им нужно отпустить его с миром и простить. Даже под конец он попросил прощения. По всей видимости, Феликс был очень спокоен. Почерк ровный, уверенный.

Должно быть, он вправду этого хотел.

18

Сегодня ночью мне приснился дедушка. Думаю, я был им. Как тебе известно, он бегун. Я участвовал в соревнованиях и не имел ни малейшего понятия, в каком направлении все бегут. Бежал не в ту сторону. Мне кажется, здесь хорошо видно, как я боюсь приспосабливаться к течению жизни, — писал Феликс из тюрьмы.

Она теперь часто навещает его деда и бабушку. И порой видит в них Феликса. А порой просто сидит и смотрит на Арнольда и Жанетту. Их попытки жить с такой утратой вызывают у нее глубочайшее уважение. Она следит, как Арнольд клеит на конверты голубые наклейки. *Памяти Феликса Умконто. Честного, порядочного, гуманного спортсмена, чемпиона Германии по кикбоксу* — написано на них.

Арнольд пишет длинные статьи о правах человека и судебной системе в Германии. Он бы с превеликим удовольствием каждый день бегал вокруг дома прокурора, терроризируя ее своим присутствием. Но не стал этого делать. Хотел бы бороться за внука. Требовать справедливости. Делать хоть что-нибудь. В такие минуты Жанетта лишь искоса, печально глядит на него. “В этом нет смысла”. После случившегося они стали недоверчивы и беспомощны.

Вскоре после исчезновения Феликса Арнольд участвовал в общеберлинском марафоне. Феликс вообще-то обещал пойти с дедом. Но вместо него Арнольда сопровождала она. Смотрела на щуплого старика и с трудом сдерживала слезы. Он бежал очень медленно. Ведь несколько лет назад ломал ногу. И сердечный ритмоводитель иной раз подводит. Но Арнольд продолжает бег. Может, это единственное, что остается.

В 1990 году Жанетта с Арнольдом хотели вернуться в Южную Африку. Мандела тогда как раз вышел на свободу. Тридцать лет они ждали этой минуты. Родители Жанетты меж тем умерли, сын Арнольда стал взрослым. Жанетта девять месяцев провела на родине, навещала родных, ходила на собрания АНК. “Там сидели люди и рассказывали, что никогда не платили за квартиру и за свет, поскольку белый режим не был их правительством”. Жанетта пришла в ужас. “За квартиру и электричество надо платить повсюду на свете”, — сказала она.

На нее посмотрели как на сумасшедшую. В глубине души те, кто оставался здесь, всегда попрекали возвращенцев эмиграцией. Они, мол, понятия не имеют, каково здесь было, уехали, и всё. За долгие годы настало отчуждение. Возможно, Жанетта уже тогда предвидела некоторые вещи, случившиеся позднее. Как чернокожие станут относиться к собственному правительству, к собственной стране?

Жанетта и Арнольд хотели получить работу и жилье в Йоханнесбурге, АНК не мог обеспечить им ни того ни другого. Всю свою жизнь они боролись — ради этой минуты. А теперь оказались не нужны. В новой Южной Африке для них не было задачи, не было места. Арнольд говорит, ему все равно там понравилось. В газетах сохранилось два тогдашних интервью: одно дала Жанетта, другое — Арнольд. Разительный контраст. В словах Жанетты сквозят печаль и разочарование, в словах Арнольда — восторг и оптимизм.

Хотя и ему явно пришлось несладко: он вернулся в Берлин уже через месяц. Жанетта решила держаться. Но однажды вечером, когда она сидела у Уолтера Сизулу, давнего товарища Нельсона Манделы по борьбе и по тюрьме, он посмотрел на нее и сказал: "Возвращайся в Германию. Здесь ты не будешь счастлива". Так все закончилось и для нее тоже. По возвращении в Берлин Жанетта и Арнольд приняли немецкое гражданство, которым их дочь и Феликс обзавелись уже давно.

Что-то разбилось. Что-то большое. И боль, наверно, никогда не пройдет. Разве можно забыть всю свою жизнь?

Теперь дед и бабушка ежегодно ездили в Южную Африку. Иногда на месяц, иногда на более долгий срок. Останавливались обычно у брата Жанетты в Босмонте, районе Йоханнесбурга, где цветные по сей день жили в своем кругу. За последние десять лет брат обнес свой дом забором, установил охранную сигнализацию и завел бойцовых собак. Теперь каждый в Йоханнесбурге обитает в собственном высоконадежном бункере. За редким исключением каждая группа населения продолжает жить обособленно, с подозрением наблюдая за другими. У власти находится, правда, черное большинство. Но произошло слишком много всего, накопилось слишком много ненависти. За год случается примерно 25 000 убийств, и Йоханнесбург считают самым опасным городом в мире. В родном городе Феликсовых деда и бабушки теперь мало кто рискует ночью появиться на улице, разве только в машине.

Племянник Жанетты — главный врач в соуэтском "Барагванате", крупнейшей в мире больнице. И дважды неподалеку от больницы какие-то люди, угрожая оружием, отбирали у него машину. После второго случая он хотел уехать из страны, подобно многим, исчезнувшим в Англии, Австралии, Америке. Жанетта и Арнольд узнали об этих инцидентах по телефону. Одна из родственниц сказала Жанетте: "Это вы виноваты. Раньше такого не было".

Жертвам хотелось вернуться назад, во времена апартеида. Что Жанетта с Арнольдом могли тут возразить? Что никогда не желали такого? Что никто не предполагал, что и собственные соплеменники отнюдь не поголовно добрые и благородные люди? Что большая беда зачастую рождает лишь новую беду? Паршивая ситуация, хуже быть не может. Всю свою жизнь они отдали тому, что при ближайшем рассмотрении оказалось очень хрупким и далеко не без изъяна.

Табо Мбеки, новый молодой президент, когда-то сидевший на диване у Жанетты и Арнольда, обвинял своих людей в заговорщицкой деятельности. Критику никто в АНК и слушать больше не хотел. "Как в СЕПГ", — смеется Арнольд. Но ничего веселого тут нет. Жанетта с Арнольдом до сих пор иной раз отчаянно спорят насчет АНК, насчет коммунистов. Роли распределены с незапамятных времен — он защищает, она обвиняет. Это спор их жизни, который, как понимает любой слушатель, не кончится никогда. Порой она спрашивает себя, как они выдер-

живают. Теперь они потеряли все: родину, семью, а в конце концов и внука.

Феликс не любил слушать их рассказы. Возможно, не хотел себя обременять. Возможно, боялся их напористости, радикальности их решений, тех крайностей, что жили и в нем. Возможно, он сделал именно то, о чем временами думали дед и бабушка, — просто ушел. Поставил точку.

Она не сразу узнала, что случилось с Феликсом. Как она провела последние дни неведения? Удивлялась, что не может дозвониться до Феликса, но решила подождать выходных, а уж потом позвонить его деду и бабушке. Конец августа, жарища. Она ходила со своим другом купаться, каталась на яхте — словом, провела это время прекрасно.

Вечером в четверг, 24 августа, она вместе с другими авторами сидела за столом в Наумбурге, земля Саксония-Анхальт, ела бутерброды с ливерным паштетом, любовалась живописной долиной и слушала, как соседи обсуждают замораживание цен на книги. Федеральный канцлер пригласил ее и других восточногерманских писателей, чтобы они просветили его насчет Востока, насчет правых, насчет их поколения. Сейчас при воспоминании об этом ей становится плохо. Она возмущалась у канцлера бездарными социальными работниками, а Феликс меж тем писал в Моабите прощальные письма. Они были так далеки друг от друга — дальше некуда. Кульминация, последний сигнал о том, какие миры успели разделить их поколение. Неужели общность была только иллюзией?

В конце концов она узнала все от Тины, через несколько дней. По телефону.

Что остается после такой истории? Печаль. Неверие. Чувство вины. Подобный уход из жизни всегда еще и акт агрессии. Повергающий других в безмолвие и беспомощность. Ни объяснений, ни ответов. Кара, но за что? — мучительно размышляют живые. Иногда примешивается и злость: почему? Все так нелепо, бессмысленно.

Впоследствии она снова и снова слышала фразу: “Мы не знали Феликса”. Но можно ли вообще знать человека настолько, чтобы видеть то, чего сам видеть не желаешь? Многие друзья Феликса после гадали, как расценивать этот шаг — как мужественный поступок или как признак слабости. Не все ли равно?

Сегодня она частенько вспоминает разные вещи, пережитые сообща. Клубы, в которых они бывали и которых уже нет, школы, которые теперь называются иначе, Йоханнисталь, канувшую в прошлое юность. Его уход — словно бы знак, что эти времена миновали безвозвратно. Умерли. Феликс был одним из старых друзей, одним из тех, кем она дорожила, потому что разделяла с ними исчезнувшую страну, исчезнувшую жизнь. О них она думала всякий раз, когда слышала известные песни или ходила по известным районам Берлина. Город теперь целиком изменился. Все иначе, все ушло. Давние друзья были воспоминаниями, последней связью с минувшим. Потому-то Восточный Берлин по-прежнему жил. Иногда. Что если и они уйдут?

Кончено. Восточного Берлина больше нет.

В последний путь Феликса провожали там, куда раньше ездили с классом на экскурсии, — на Баумшуленвег. Она немного опоздала. В зале крематория собралось две сотни бритоголовых в черных костюмах, белых рубашках и темных очках. В первом ряду сидели цветная Феликсова семья и южноафриканский посол. Казалось, все противоречия Фе-

ликса обрели зримое воплощение и собрались здесь, чтобы попрощаться. Просто тотальный разлад.

Кой-кому из его знакомых только в тот день стало ясно, что Феликс был не совсем белым. Один потом спросил Тину: "Тебе понятно, что ты жила с канаком?"

Самую лучшую речь произнес посол, хотя он Феликса вообще не знал. Говорил он о бесприютности, о боли эмиграции. Затем вперед вышел Феликсов старый друг Алекс, который с трудом подбирал слова. Он говорил о Феликсовой одержимости в спорте и о безоговорочной любви, которой Феликс требовал.

У дверей стоял полицейский пост. Один из друзей Феликса позднее заметил: "Южноафриканский посол говорил перед людьми, у которых было на всех тыщу лет тюряги". Под конец включили песню группы "Пинк флойд", "The Great Gig in the Sky", которую Феликс очень любил. Эту песню и громкие всхлипывания Арнольда ей не забыть никогда.

После похорон они поехали туда, где все началось, — в Йоханнисталь. Феликсовы кореши припарковали свои "мерседесы" и "БМВ" на Штерндамм, где раньше жили и она, и Феликс. Потом, на поминках в греческом ресторане, отдельные, частью враждующие группировки охранников сидели за разными столиками: впереди — рансдорфские, слева в углу — парни из Боксерского клуба, а ближе всех к семье Феликса — группа Оливера.

Они ничего не пили, знали, как положено себя вести. Отдавали Феликсу последние почести. Все кивали друг другу, конкуренты понимали: нужно проявить уважение. В знак привета и на прощанье касались друг друга левым виском. Некоторые коротко обнимались. Феликсу это наверняка бы очень понравилось. Потом они составили списки Феликсовых недругов, хотели разделаться поголовно со всеми. Кой-кому, наверно, отомстили. Может, опять запретили иным появляться в Берлине. Но это не имеет значения.

Его семью все это сломило. Вероятно, тут и заключена подлинная трагедия: такие события почти никогда не заставляют людей одуматься и утешить друг друга. Ненависть, злоба, вина — чувства мощные, способные полностью завладеть человеком. И виновных нет. Нигде.

Комната Феликса все такая же, какой он оставил ее в ту августовскую среду. Вернее, почти такая же: кровать стоит теперь у левой стены, а не под окном. На ней лежит его красный боксерский шлем. В шкафу ждут черные ботинки фирмы "Оттер". Шнурки не развязаны. В этих ботинках Феликс всегда ходил на слушания.

Все чисто, аккуратно, ведь и он был таким — ради того, чтобы обуздать внутренний хаос. На стене висят его фотографии. Иногда она сидит здесь, на его кровати. Как бы приходит к нему в гости и думает, что теперь знает Феликса куда лучше. Его давняя комната — единственное место, где еще есть что-то от него, пусть даже всего-навсего в виде смутного ощущения. Через год Жанетта собиралась полностью ее освободить. А потом только купила новый стеллаж, немного подвинула кровать и вставила в рамку его чемпионский диплом.

Феликс умер. Повесился на пижаме в одной из камер Моабита.

Я приношу благодарность людям, без которых никогда бы не смогла написать эту книгу:

моему другу Франку за большую поддержку и терпение, деду и бабушке Феликса – Арнольду и Жанетте – за дружбу и доверие, отцу Феликса и его жене Гизеле, а особенно Даниэлю за большую помощь, Стиву, Марио, Штеффи, Томасу, Денизе, Кристиану, Кристиану К., Мони, Мануэлю, Паулю, Оливеру, Томми Л., Маттиасу, Михаэлю Акселю, Вивиану, Йёргу, Дану, г-ну Бахману, г-ну Зузебаху, Ирис Таннендорф, г-же Шедлер, бюро католической церкви тюрьмы Моабит, адвокатам Олафу Франке и Харальду Реме, моим деду и бабушке, моим родителям, Кристиану Керстену, Хольгеру Штарку

и, разумеется, Сив Бублиц за ее мужество и помощь, Маттиасу Ландверу, Кристиану Шерцу и газете “Тагесшпигель”.

Некоторые детали истории, а также имена всех упомянутых лиц, кроме Феликса, Жанетты, Арнольда и адвокатов, изменены.

Константинос Кавафис
В *ожидании варваров*

Переводы с греческого

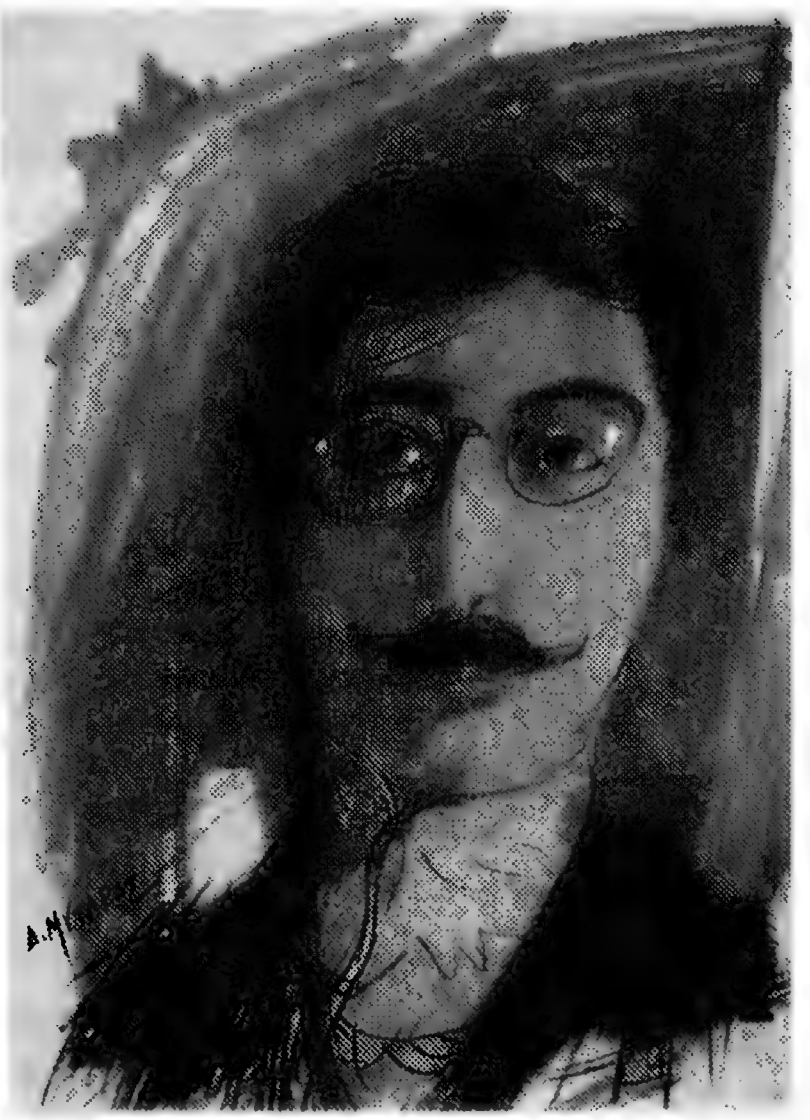
Вступительная статья Ирины Ковалевой

Константинос Кавафис, предположительно 1896 г.

Константинос Кавафис (1863—1933) — один из великих греческих поэтов двадцатого века. Именно двадцатого, ибо гений его созревал медленно, и лучшие стихи — те, которые Кавафис включил в канонический свод, — написаны в зрелые годы (практически все, созданное до 1901 года, было впоследствии сильно переработано поэтом или осталось в архиве). Кавафис, вероятно, единственный после Гомера и древних трагиков греческий поэт, чье значение стало и вправду мировым. Среди тех, кто с благодарностью называл Кавафиса в числе своих учителей (разумеется,

© И. Ковалева. Перевод, вступление, 2004
Автор статьи сердечно благодарит Валентину Полухину, Питера Макриджа, Хамдама Закирова и Софью Ильинскую за помощь при подготовке данного материала.

помимо греков; влияние Кавафиса на греческую поэзию — особый разговор), — Иосиф Бродский и Уистен Хью Оден, Эудженио Монтале и Лоренс Даррелл... Вышло так, что европейская известность пришла к Кавафису даже раньше, чем признание в Греции. Он жил в Александрии, в Египте, находившемся тогда под властью Британии (у Кавафиса, сына состоятельных родителей, было британское гражданство, от которого он совсем молодым человеком отказался по политическим соображениям). Александрия — город с древними культурными традициями и с процветающей греческой колонией: здесь были греческие школы и церкви, выходили греческие газеты и журналы, и неудивительно, что уже в 10-е годы в Александрии сложился кружок почитателей Кавафиса[1]. Но для Греции, для царившей в тогдашней греческой поэзии афинской романтической школы Кавафис был чужаком. У любителей поэзии в Греции были тогда другие кумиры (прежде всего Костис Паламас), и только к концу жизни Кавафиса его присутствие в греческой литературе сделалось достаточно весомым. Уже после Второй мировой войны будущий нобелевский лауреат Г. Сеферис немало сделал для "открытия Кавафиса" в Греции, да и тому литературному поколению, к которому принадлежал Сеферис (так называемому "поколению 30-х годов"), кавафисовские скептицизм и трагическая ирония оказались ближе, чем романтический пафос Паламаса; в послевоенной греческой поэзии влияние Кавафиса стало неоспоримым.



Кавафис. Рис. Д. Митараса

С европейской известностью Кавафиса получилось вот что. В годы Первой мировой войны в Александрию приехал работать (через Красный Крест) английский писатель Э. М. Форстер. Он познакомился и подружился с Кавафисом, стал горячим поклонником его поэзии и неутомимым ее пропагандистом в Англии. В 1919 году в "Атенеуме" были напечатаны первые переводы стихов Кавафиса на английский язык (переводы эти были сделаны по инициативе Форстера) и статья самого Форстера "Поэзия К. П. Кавафиса". Затем на протяжении полутора десятилетий Форстер "погонял" неторопливого переводчика Кавафиса, Г. Валасопулоса, показывал эти переводы то Лоуренсу Аравийскому, то Вирджинии и Леонарду Вулфам, уговорил Элиота напечатать в журнале "Крайтирион" несколько стихотворений Кавафиса — и не забывал "выбивать" для поэта маленькие гонорары за эти публикации[2]... Стоит сказать, что эти английские гонорары были единственными литературными заработками Кавафиса за всю его жизнь. И хотя первая *книга* стихов Кавафиса в переводе на английский появилась без малого два десятилетия спустя после смерти поэта, благодаря усилиям Форстера англоязычный читатель познакомился с поэзией

1. Первая монография о Кавафисе, "ругательная", появилась в Александрии в 1912 г. (Ровертос Камбос. Поэтическое творчество К. П. Кавафиса) и породила серию "защитительных" статей в александрийских журналах "Новая жизнь" и "Литература". Первая научная монография — "Творчество К. П. Кавафиса" Г. Врисимитзакиса — вышла там же в 1917 г. Кавафис в это время был только в середине пути. (*Здесь и далее – прим. авт.*)
2. См. интереснейшую переписку Кавафиса и Форстера, опубликованную в томе: Константинос Кавафис. Проза. М.: Журнал ИТАКА — Журнал КОММЕНТАРИИ, 2003, с. 283–345. Перев. Артема Федорчука.

Кавафис. Рис. Д. Йоргоса

Кавафиса и полюбил ее уже в 20-е годы. С тех пор стихи Кавафиса переводились на английский (и, разумеется, на другие европейские языки) десятки раз. В нашей подборке мы предлагаем вниманию читателей стихотворение "В ожидании варваров", помимо оригинального текста и его русских версий, также и перевод Эдмунда Кили — известного американского эллиниста, исследователя и переводчика современной греческой литературы, автора знаменитой книги "Александрия Кавафиса: исследование мифа в развитии". Не менее знаменитое эссе Иосифа Бродского "На стороне Кавафиса" было написано как рецензия на эту книгу.

В журнале "Иностранная литература" в 1967 году (№ 8) были напечатаны переводы на русский язык нескольких стихотворений Кавафиса (в том числе "В ожидании варваров"), сделанные Софьей Ильинской, "первооткрывателем" Кавафиса в России. Эта публикация сразу привлекла внимание читателей к греческому поэту, именно тогда им заинтересовался Бродский и захотел его переводить... В 1983 году (№ 12) "ИЛ" вновь обратилась к Кавафису — это был, как теперь иногда говорят, "журнальный препринт" вышедшего в следующем, 1984 году, маленького сборника стихотворений Кавафиса[1], ставшего, однако, заметным событием не только для любителей греческой литературы, но и для читателей поэзии в тогдашнем Советском Союзе. В 12-м номере "ИЛ" за 1995 год Борис Дубин подготовил рубрику "Константинос Кавафис. Портрет в зеркалах", включив в нее тексты о Кавафисе, написанные Оденом и Милошем, Бродским и Маргерит Юрсенар (которая, заметим в скобках, одной из первых представила великого александрийца французской аудитории). С тех пор Кавафис существенно "приблизился" к русскому читателю благодаря целой серии публикаций. Во-первых, эссе Бродского "На стороне Кавафиса" многократно перепечатывалось в различных изданиях, и те, кто любит Бродского, учились любить и Кавафиса. Во-вторых, в 1997 году журнал "Литературное обозрение" посвятил специальный выпуск (№ 1) греческой литературе XX века, и там Кавафису было уделено значительное внимание, а в 1998 году в журнале "Комментарии" (№ 15) было напечатано "программное" эссе Г. Сефериса "К. П. Кавафис и Т. С. Элиот: параллельные" (в моем переводе). В-третьих, и в-главных, в 2000 году вышел долго готовившийся том "Русской Кавафианы"[2], включающий практически полный перевод стихотворений Кавафиса на русский язык, а также две монографии о Кавафисе и серию статей, написанных лучшими знатоками творчества поэта — С. Б. Ильинской, В. Н. Топоровым, Т. В. Цивьян и др. Редактура эссе о Кавафисе, включенного в этот том, стала последней работой, которую успел сделать Бродский... Наконец, в ноябре юбилейного для поэта 2003 года появился том его прозы[3], открывающий нам Кавафиса с неожиданной стороны — как автора одного из первых образцов новой прозы XX века[4].

Стихотворение "В ожидании варваров" (1904) — едва ли не самое знаменитое у Кавафиса; достаточно сказать, что последний нобелевский лауреат (2003)

1. Константинос Кавафис. Лирика. М.: Худож. лит., 1984.
2. Русская Кавафиана. В трех частях / Сост. С. Б. Ильинская. М.: О.Г.И., 2000.
3. Константинос Кавафис. Проза. М.: Журнал ИТАКА – Журнал КОММЕНТАРИИ, 2003.
4. Стоит упомянуть и очень информативный сайт Константинос@Кавафис.ru (http://library.ferghana.ru/kavafis/main.htm), оперативно публикующий не только множество материалов о Кавафисе, но и переводы новогреческой поэзии.

Дж. Кутзее назвал так один из своих романов и не только назвал, но и использовал мрачный и саркастический кавафисовский символизм, а составители вышедшего в 2001 г. в Санкт-Петербурге тома переводов из мировой поэзии, сделанных И. Бродским, дали этой книге то же название. На русский язык это стихотворение переводили не раз, и переводили мастера: Софья Ильинская, Геннадий Шмаков, ленинградский эллинист, друг Бродского (Бродский редактировал эти переводы, и потому иногда их печатают как тексты Бродского), поэты Александр Величанский и Игорь Жданов... В каждом из этих переводов есть свои несомненные удачи, какие-то строки, которые, кажется, нельзя сделать лучше. Особое место занимает "экспериментальный", сокращенный перевод, сделанный Михаилом Гаспаровым. Именно этот эксперимент побудил меня посмотреть внимательнее на греческий текст, пытаясь понять, что уцелело, а что исчезло в таком поэтизированном пересказе. И тогда мне бросилось в глаза, что во всех перечисленных выше переводах есть одна общая черта: все они выполнены не тем размером, которым написан оригинал, — вернее, оригинал написан *двумя* разными размерами, и это, как всегда у Кавафиса, неслучайно.

Кавафис в кафе "Олимп". Афины, 27 октября 1932 г. Рис. Х. Стефанопулу

"В ожидании варваров" имеет диалогическую форму. В нем, как в античной трагедии, два полухория, две партии, чередуются вопросы и ответы, и эта диалогическая форма, естественно, сохранена всеми переводчиками. Но в оригинале *вопросы задают одним размером, а отвечают — другим*. Разница между этими размерами несет смысловую нагрузку, которая до сих пор не нашла отражения в переводах. Дело в том, что сама ситуация, изображенная в стихотворении Кавафиса, может быть понята двояко. Слова "император", "сенат", "консулы", "преторы", "риторы" и, наконец, "варвары" оставляют впечатление, что Кавафис описывает закат античности, нашествие то ли гуннов, то ли вестготов. Конечно, такой пласт смыслов у Кавафиса есть, но есть и нечто другое, куда более близкое греческому сердцу. Все перечисленные выше слова продолжали употребляться и в эпоху Византийской империи. "Император" значит то же, что и прежде, а вот магистратуры Древнего Рима получили иные значения, и в переводе византийских исторических сочинений они будут переводиться на русский другими словами. А картина получается совсем другая — не о конце античности говорит поэт (или не только о нем), но — о падении Константинополя, о гибели Византии, об этой до сих пор не зажившей ране греческой души... Догадаться об этом помогает стихотворный размер. Дело в том, что реплики-вопросы написаны 15-сложником, имеющим в послеантичной греческой поэзии долгую историю и очень заметный семантический ореол. Этот размер заменил собою гекзаметр в качестве эпического, героического метра; им написаны поэма о Дигенисе Акрите, византийском чудо-богатыре, — и тем же 15-сложником написано множество народных песен, в том числе — "Плач о падении Константинополя"...

Первые две строки кавафисовского стихотворения — обмен вопросом-ответом: полухория выходят на сцену. В первой строке 15 слогов, но всего три ударения: это еще не "настоящий" 15-сложник. В ответной реплике 12 слогов и 4 ударения. Это быстрые, динамичные реплики, сразу вводящие in medias res[1]:

1. В суть дела *(лат.)*.

— Чего мы ждем, сошедшись здесь на площади?

— Да, говорят, придут сегодня варвары.

Но уже следующая реплика первого, вопрошающего "полухория" — это классический 15-сложник:

— Так почему бездействие и тишина в сенате?
И что ж сидят сенаторы, не пишут нам законов?

И дальше все реплики-вопросы будут написаны 15-сложником. Нужно заметить, что С. Ильинская первую и вторую реплики "вопрошающей стороны" перевела 15-сложником, но в остальных стихах-вопросах этот размер не выдержан, другие переводчики и вовсе оставили 15-сложник без внимания. Между тем у нас есть свидетельства тому, насколько внимателен к нему был Кавафис. В 1914 году поэт публикует в александрийском журнале "Новая жизнь" рецензию на собрание греческих народных песен, изданное выдающимся греческим этнографом Н. Политисом. Собрание Политиса в греческой культуре играет примерно ту же роль, что собрание сказок Афанасьева — в русской или труды братьев Гримм — в немецкой. В своей рецензии Кавафис, среди прочего, цитирует запись "Плача по Константинополю", отмечая его диалогическую форму: "...В одной скорбной песне, 'Плач по Константинополю', произведении безымянного автора XV века, в первых же стихах я обнаруживаю удивительную силу выражения и описания — это разговор двух кораблей; с какой тревогой вопрошает один, с какой тревогой другой сообщает весть:

— Откуда ты плывешь, корабль, откуда ты отчалил?
— Плыву я от проклятия, из темноты кромешной...
отчалил из Царьграда я, сраженного грозою...[1]

Несколько лет спустя, в 1921 году, Кавафис пишет стихотворение "Взят", которое при жизни поэта не публиковалось. В этом стихотворении он цитирует песни о взятии Константинополя, упомянутые в рецензии 1914 года. В превосходном переводе Евг. Смагиной 15-сложник этих песен сохранен:

Я занимался чтением народных старых песен
О славных войнах и деяньях клефтов —
Вещь трогательная весьма; все греческие, наши.

Вот песни скорбные о том, как пал Константинополь:
"Ах, взяли, взяли наш Царьград и взяли Салоники".
Когда молились вместе в час последний
"по леву руку царь, а патриарх по праву",
раздался Глас и повелел молчать:
"священники, умолкните, Евангелья закройте:
ах, взяли, взяли наш Царьград и взяли Салоники"[2].

1. Избранные песни греческого народа (Н. Г. Политис) //Константинос Кавафис. Проза. М.: Журнал ИТАКА – Журнал КОММЕНТАРИИ, 2003, с. 121. Перев. Евг. Смагиной.
2. Русская Кавафиана, с. 251.

А вот как фрагмент этой песни процитирован в упомянутой выше рецензии 1914 года:

Господь ударил в колокол, звенит земля и небо,
Звонят в Софии во святой, в монастыре великом,
Во шестьдесят колоколов, четыреста набатов,
На каждый по священнику, у каждого диакон.
По леву руку царь поет, а патриарх по праву,
От многогласия псалмов дрожат столпы собора[1].

Не об этом ли "царе" думал Кавафис, когда писал:

А император наш зачем, поднявшись рано утром,
У главных городских ворот на троне восседает
В своем уборе царственном и в золотой короне?

В стихотворении "Взят" Кавафис вспоминает и "плач греков Трапезунда", который тоже был — хоть и более кратко, чем в стихотворении, — процитирован им в рецензии 1914 года, но цитирует он только отдельные строки. Цитаты из песен, естественно, — 15-сложник; обрамляющий их авторский текст то воспроизводит размер народной песни, то превращается в типичный для Кавафиса прозаизированный стих, — все это точно отражено в переводе Евг. Смагиной.:

Увы, как птица бедная "летела из Царьграда,
Письмо неведомо кому под крылышком держала,
Ни в палисад, ни в виноград не снизилась, не села,
А села, опустилась под кипарис надгробный".

Архиереи не смогли прочесть письмо (иль не хотели),
Один лишь в руки взял его "сынок вдовы Яники"
и прочитал — и залился слезами.
"И ты читай, и ты заплачь, услышь, как сердце бьется.
Ой, говорит, ой, горе нам, конец державе Римской"[2].

В рецензии 1914 года Кавафис цитирует также и трапезундские песни:

Молились, ограждали мы Царьград, столицу Рима...
А юноша, а молодец, подходит и читает...
И ты читай, и ты заплачь, и ты скажи им тоже...[3]

Итак, 15-сложник ассоциируется у Кавафиса с народными песнями, и прежде всего с плачами о взятии Константинополя, с "концом державы Римской", — напомним, что официальное название Византии было именно "Римская империя" и жители ее именовали себя (на греческом языке) "ромеями", т. е. "римлянами". К народным песням-плачам восходит и структура вопрос-ответ, которую воспроизводит в стихотворении "В ожидании варваров" Кавафис. Но в эту структуру он вносит важнейшее изменение. В народных песнях вопросы и ответы написаны одним и тем же размером. У Кавафиса же вопросы написаны 15-сложником: они

1. Избранные песни греческого народа, с. 121.
2. Русская Кавафиана, с. 251.
3. Избранные песни греческого народа, с. 133.

задаются как бы от имени вековой народной традиции, с подробностями описаний, с перечислениями драгоценностей, украшающих вельмож, — эти описания похожи на роскошные византийские мозаики:

— А консулы и преторы зачем из дому вышли
сегодня в шитых золотом, тяжелых багряницах?
Зачем на них запястия все в крупных аметистах
и перстни с изумрудами, сверкающими ярко,
и опираются они на посохи резные
из золота и серебра, в узорах прихотливых?

Ответы же написаны не всегда строгим 12-сложником. В стихотворении "В ожидании варваров" в репликах-ответах использован стих, близкий к тому, каким Кавафис пробовал переводить Шекспира и Теннисона.

И скипетр мой, и остров я оставлю
возлюбленному сыну Телемаху.
Подходит он для жребия такого...[1]

Еще ближе стих "ответов" к ямбу древнегреческой комедии, например Аристофана:

Пускай бы удавилась сваха подлая,
На матери твоей меня женившая[2].

На горестные причитания-вопросы "первого полухория" отвечает язвительный, скептический ямб, напоминающий об античной драме и шекспировской трагедии. Кавафис сталкивает не просто два размера — две традиции, что придает дополнительное измерение и его сарказму, и его символизму. Знаменательно, что два финальных стиха написаны размером "отвечающей партии", хотя их расположение — они составляют как бы отдельную строфу — позволяет предположить, что в конце смыкаются голоса обоих полухорий:

И как теперь нам дальше жить без варваров?
Ведь варвары каким-то были выходом.

Предлагаемые вниманию читателя переводы расположены в хронологическом порядке их публикации на русском языке (естественно, это не относится к английскому переводу Кили). Почти все они затем многократно перепечатывались в различных изданиях. Мой перевод сделан специально для этой публикации в журнале "Иностранная литература".

1. Конец истории Одиссея // Константинос Кавафис. Проза. М.: Журнал ИТАКА – Журнал КОММЕНТАРИИ, 2003, с. 87.
2. Облака, 41–42. Перев. А. Пиотровского.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ

— Τί περιμένουμε στὴν ἀγορὰ συναθροισμένοι;

Εἶναι οἱ βάρβαροι νὰ φθάσουν σήμερα.

— Γιατί μέσα στὴν Σύγκλητο μιὰ τέτοια ἀπραξία;
Τί κάθοντ' οἱ Συγκλητικοὶ καὶ δὲν νομοθετοῦνε;

Γιατὶ οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα.
Τί νόμους πιὰ θὰ κάμουν οἱ Συγκλητικοί;
Οἱ βάρβαροι σὰν ἔλθουν θὰ νομοθετήσουν.

— Γιατί ὁ αὐτοκράτωρ μας τόσο πρωΐ σηκώθη,
καὶ κάθεται στῆς πόλεως τὴν πιὸ μεγάλη πύλη
στὸν θρόνο ἐπάνω, ἐπίσημος, φορῶντας τὴν κορώνα;

Γιατὶ οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα.
Κι ὁ αὐτοκράτωρ περιμένει νὰ δεχθεῖ
τὸν ἀρχηγό τους. Μάλιστα ἑτοίμασε
γιὰ νὰ τὸν δώσει μιὰ περγαμηνή. Ἐκεῖ
τὸν ἔγραψε τίτλους πολλοὺς κι ὀνόματα.

— Γιατί οἱ δυό μας ὕπατοι κ' οἱ πραίτορες ἐβγῆκαν
σήμερα μὲ τὲς κόκκινες, τὲς κεντημένες τόγες·
γιατί βραχιόλια φόρεσαν μὲ τόσους ἀμεθύστους,
καὶ δαχτυλίδια μὲ λαμπρά, γυαλιστερὰ σμαράγδια·
γιατί νὰ πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ' ἀσήμια καὶ μαλάματα ἔκτακτα σκαλιγμένα;

Γιατὶ οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα·
καὶ τέτοια πράγματα θαμπώνουν τοὺς βαρβάρους.

— Γιατί κ' οἱ ἄξιοι ρήτορες δὲν ἔρχονται σὰν πάντα
νὰ βγάλουνε τοὺς λόγους τους, νὰ ποῦνε τὰ δικά τους;

Γιατὶ οἱ βάρβαροι θὰ φθάσουν σήμερα·
κι αὐτοὶ βαρυοῦντ' εὐφράδειες καὶ δημηγορίες.

— Γιατί ν' ἀρχίσει μονομιᾶς αὐτὴ ἡ ἀνησυχία
κ' ἡ σύγχυσις. (Τὰ πρόσωπα τί σοβαρὰ ποὺ ἐγίναν).
Γιατί ἀδειάζουν γρήγορα οἱ δρόμοι κ' ἡ πλατέες,
κι ὅλοι γυρνοῦν στὰ σπίτια τους πολὺ συλλογισμένοι;

Γιατὶ ἐνύχτωσε κ' οἱ βάρβαροι δὲν ἦλθαν.
Καὶ μερικοὶ ἔφθασαν ἀπ' τὰ σύνορα,
καὶ εἴπανε πὼς βάρβαροι πιὰ δὲν ὑπάρχουν.

Καὶ τώρα τί θὰ γένουμε χωρὶς βαρβάρους.
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἦσαν μιὰ κάποια λύσις.

[1898, 1904]

W*aiting for the* B*arbarians*

What are we waiting for, assembled in the forum?

The barbarians are due here today.

Why isn't anything happening in the senate?
Why do the senators sit there without legislating?

Because the barbarians are coming today.
What laws can the senators make now?
Once the barbarians are here, they'll do the legislating.

Why did our emperor get up so early,
and why is he sitting at the city's main gate
on his throne, in state, wearing the crown?

Because the barbarians are coming today
and the emperor is waiting to receive their leader.
He has even prepared a scroll to give him,
replete with titles, with imposing names.

Why have our two consuls and praetors come out today
wearing their embroidered, their scarlet togas?
Why have they put on bracelets with so many amethysts,
and rings sparkling with magnificent emeralds?
Why are they carrying elegant canes
beautifully worked in silver and gold?

Because the barbarians are coming today
and things like that dazzle the barbarians.

Why don't our distinguished orators come forward as usual
to make their speeches, say what they have to say?

Because the barbarians are coming today
and they're bored by rhetoric and public speaking.

Why this sudden restlessness, this confusion?
(How serious people's faces have become.)
Why are the streets and squares emptying so rapidly,
everyone going home so lost in thought?

Because night has fallen and the barbarians have not come.
And some who have just returned from the border say
there are no barbarians any longer.

And now, what's going to happen to us without barbarians?
They were, those people, a kind of solution.

Translated by EDMUND KEELEY.
In: C. P. Cavafy. Collected Poems. Princeton:
Princeton University Press, 1975

Ожидая варваров

— Зачем на площади сошлись сегодня горожане?

Сегодня варвары сюда прибудут.

— Так что ж бездействует сенат, закрыто заседанье,
сенаторы безмолвствуют, не издают законов?

Ведь варвары сегодня прибывают.
Зачем законы издавать сенаторам?
Прибудут варвары, у них свои законы.

— Зачем наш император встал чуть свет
и почему у городских ворот
на троне и в короне восседает?

Ведь варвары сегодня прибывают.
Наш император ждет, он хочет встретить
их предводителя. Давно уж заготовлен
пергамент дарственный. Там титулы высокие,
которые пожалует ему наш император.

— Зачем же наши консулы и преторы
в расшитых красных тогах появились,
зачем браслеты с аметистами надели,
зачем на пальцах кольца с изумрудами?
Их жезлы серебром, эмалью изукрашены.
Зачем у них сегодня эти жезлы?

Ведь варвары сегодня прибывают,
обычно роскошь ослепляет варваров.

— Что риторов достойных не видать нигде?
Как непривычно их речей не слышать.

Ведь варвары сегодня прибывают,
а речи им как будто не по нраву.

— Однако что за беспокойство в городе?
Что опустели улицы и площади?
И почему, охваченный волнением,
спешит народ укрыться по домам?

Спустилась ночь, а варвары не прибыли.
А с государственных границ нам донесли,
что их и вовсе нет уже в природе.

И что же делать нам теперь без варваров?
Ведь это был бы хоть какой-то выход.

Перевод Софьи Ильинской
Журнал "Иностранная литература", 1967, № 8

В *ожидании варваров*

— Зачем народ на площади толпится?
— Все говорят, что варвары нагрянут.
— А почему сенат не заседает?
Или уже упразднены законы?
— Да варвары должны явиться вскоре.
Зачем же нам решения сената?
Пусть варвары приходят и решают.
— Вы слышали?.. Встревожен император:
С утра пораньше в тоге и в короне
Сидит на троне — будто ждет чего-то.
— Всё варвары, от них и беспокойство, —
Пергамент император заготовил —
Вождю пришельцев титулы и званья,
А заодно и власть вручить собрался.
— Вон консулы и преторы выходят
В одеждах дорогих, золототканых,
Смотри — блестят серебряные жезлы,
Сверкают изумруды на браслетах...
К чему такая пышность и поспешность?
— К нам варвары идут... Иль ты не знаешь,
Что диких укрощает блеск сокровищ?
— Где ж гордые ораторы, трибуны,
Способные заворожить речами?
— Ведь варвары на подступах к столице,
А их не остановишь красноречьем.
— Опять в народе шум и недовольство,
Сенаторы насупились внезапно,
Расходится толпа — спешат укрыться
Все по домам... Чего они боятся?
— Да ночь уже, а варваров не видно.

Сейчас гонцы вернулись от границы
И говорят, что в мире все спокойно, –
Нас покорять никто не собирался...
Как жить теперь? Какой придумать выход?
На варваров – одна была надежда!

Перевод Игоря Жданова
В кн: Я. Мочос. Современная греческая литература.
М.: ИМЛИ, 1973

В *ожидании варваров*

– Чего мы ждем, собравшись здесь на площади?

– Сегодня в город прибывают варвары.

– Почто бездействует Сенат? Почто сенаторы
сидят, не заняты законодательством?

– Сегодня в город прибывают варвары.
К чему теперь Сенат с его законами?
Вот варвары придут и издадут законы.

– Зачем так рано Император поднялся?
Зачем уселся он у городских ворот на троне
при всех регалиях и в золотой короне?

– Сегодня в город прибывают варвары,
и Император ждет их предводителя,
чтоб свиток поднести ему пергаментный,
в котором загодя начертаны
торжественные звания и титулы.

– Почто с ним оба консула и преторы
с утра в расшитых серебром багряных тогах?
Зачем на них браслеты с аметистами,
сверкающие перстни с изумрудами?
Зачем в руках их жезлы, что украшены
серебряной и золотой чеканкой?

– Затем, что варвары сегодня ожидаются,
а драгоценности пленяют варваров.

– Почто нигде не видно наших риторов,
обычного не слышно красноречия?

– Затем, что варвары должны прибыть сегодня,
а красноречье утомляет варваров.

— Чем объяснить внезапное смятение
и лиц растерянность? И то, что улицы
и площади внезапно обезлюдели,
что населенье по домам попряталось?
— Тем, что смеркается уже, а варвары
не прибыли, и что с границы вестники
сообщают: больше нет на свете варваров.

— Но как нам быть, как жить теперь без варваров?
Они казались нам подобьем выхода.

Перевод Геннадия Шмакова под редакцией
Иосифа Бродского
Литературное приложение к "Русской мысли" от 11 ноября 1988 г.

В *ожидании варваров*

— Отчего народ в переполохе?
— Идут варвары, скоро будут здесь.
— Отчего сенаторы не у дела?
— Идут варвары, их и будет власть.
— Отчего император застыл на троне?
— Идут варвары, он воздаст им честь.
— Отчего вся знать в золоте и каменьях?
— Идут варвары, они любят блеск.
— Отчего ораторы онемели?
— Идут варвары, они не любят слов.
— Отчего не работают водопроводы?
— Идут варвары, спрашивайте их.
— Отчего все кричат и разбегаются?
Весть с границы: варвары не пришли,
Варваров вовсе и не было.
Что теперь будет?
С варварами была хоть какая-то ясность.

Перевод Михаила Гаспарова
Журнал "Комментарии", № 15 (1998)

В *ожидании варваров*

Чего мы ждем здесь, отчего форум так переполнен?

Ибо варвары к нам днесь пожалуют.

Отчего же сенат наш сегодня бездействует?
Сенаторы почто сидят, не издают законов?

Поскольку варвары к нам днесь пожалуют.
Зачем законы станет принимать сенат?
Вот варвары придут — ужо создадут законы.

Почто же император наш нынче чуть свет поднялся,
почто сидит у городских ворот, у самых главных,
на троне в парадном облачении он и при короне?
Поскольку варвары к нам днесь пожалуют,
и император должен будет принимать
вождя их. Для вручения готов уже
у императора роскошный свиток. В нем
привел он все титулы, все обращения.

Почто два наших консула и претора явились
нынче в пурпурных тогах, украшенных каймою?
Почто на них браслеты эти в стольких аметистах,
почто на кольцах их блестят роскошные смарагды?
Почто им вдруг понадобились дорогие жезлы,
те, что из злата, серебра сделаны столь блестяще?

Поскольку варвары к нам днесь пожалуют,
слепящий блеск таких вещей их прельщает.

Почто ораторы славные не встают, как обычно,
чтоб речи огласить свои, как то им подобает?

Поскольку варвары к нам днесь пожалуют,
а им претит риторика сих речей публичных.

Почто внезапно началось всеобщее беспокойство,
смущение (Серьезными такими стали вдруг лица).
Почто пустеют площади и улицы внезапно
и все по домам расходятся, задумавшись глубоко?

Поскольку пала ночь, а варваров не видно.
От рубежей прибыв, люди некие
поведали, что варваров как не бывало.

Что станется без варваров с нами теперь?
Приход сих дикарей все ж неким был исходом.

Перевод А. Величанского.
В кн.: А. Величанский. Охота на эхо.
М.: Прогресс-Традиция, 2000

В *ожидании варваров*

— Чего мы ждем, сошедшись здесь на площади?

— Да, говорят, придут сегодня варвары.

— Так почему бездействие и тишина в сенате?
И что ж сидят сенаторы, не пишут нам законов?

— Да ведь сегодня варвары придут сюда.
Сенаторам не до законов более.
Теперь писать законы станут варвары.
— А император наш зачем, поднявшись рано утром,
У главных городских ворот на троне восседает
В своем уборе царственном и в золотой короне?

— Да ведь сегодня варвары придут сюда.
И император наш готов принять
их предводителя, — он даже приготовил
указ, чтобы тому вручить: указом сим
ему дарует титулы и звания.

— А консулы и преторы зачем из дому вышли
сегодня в шитых золотом, тяжелых багряницах?
Зачем на них запястия все в крупных аметистах
и перстни с изумрудами, сверкающими ярко,
и опираются они на посохи резные,
из золота и серебра, в узорах прихотливых?

— Да ведь сегодня варвары придут сюда,
так роскошью им пыль в глаза пустить хотят.

— А что же наши риторы не вышли, как обычно,
Произносить пространные торжественные речи?

— Да ведь сегодня варвары придут сюда,
а варвары не любят красноречия.

— А отчего вдруг поднялось смятение в народе
и озабоченно у всех враз вытянулись лица,
и улицы и площади стремительно пустеют,
и по домам все разошлись в унынии глубоком?

Уже стемнело — а не видно варваров.
Зато пришли с границы донесения,
что более не существует варваров.

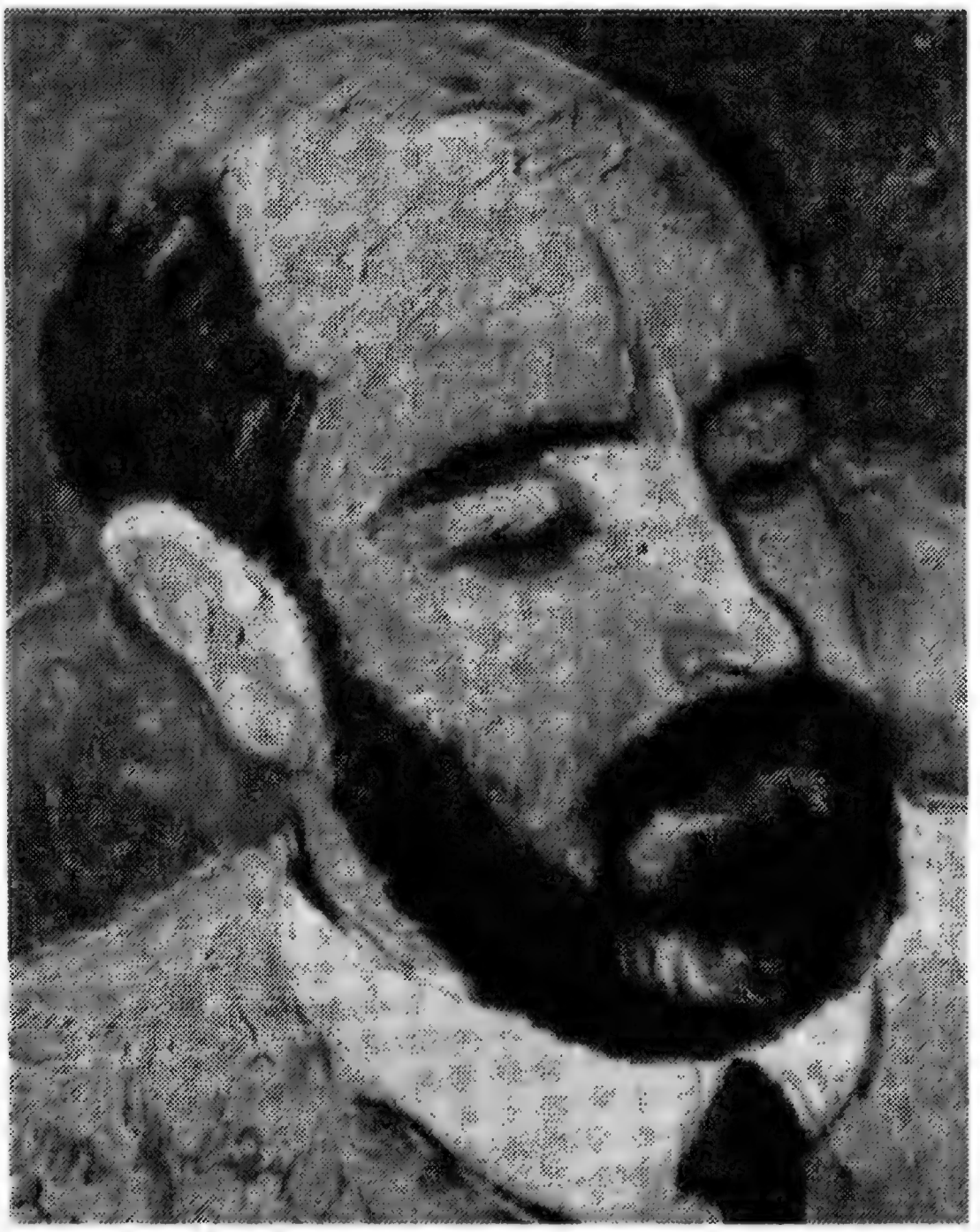
И как теперь нам дальше жить без варваров?
Ведь варвары каким-то были выходом.

Перевод Ирины Ковалевой.
2004 г.

Мирослав Крлежа
Поездка в Россию

Главы из книги

Перевод с хорватского и вступление Натальи Вагаповой



Портрет Мирослава Крлежи работы художника Петра Добровича. 1938 г.

От переводчика

Мирослав Крлежа — один из тех хорватских литераторов, чье творчество способствовало органичному вхождению его родины, да и всей многонациональной Югославии, к которой тогда принадлежала Хорватия, в европейскую культуру XX века. Он интересен нам сегодня как тонкий наблюдатель человеческой природы, памфлетист, обличитель каких угодно мифов: социальных, милитаристских и национал-патриотических, как разоблачитель политических иллюзий и сословных предрассудков.

Крлежа известен у себя на родине и во многих европейских странах как поэт, прозаик, драматург и публицист. После Второй мировой войны его стихи, романы, повести, новеллы не раз выходили на русском языке. В середине 70-х го-

© Н. Вагапова. Перевод, вступление, 2004
Полностью книга выйдет в издательстве "Культура".

дов в Москве, в Театре им. Вахтангова, была поставлена его пьеса "Господа Глембаи", а в 1979 году состоялась премьера драмы "Агония" в Государственном академическом Малом театре. Оба спектакля долгое время шли с неизменным успехом. Изданы на русском языке роман "Знамена", однотомник, включающий стихи, прозу, эссе об искусстве и последнюю пьесу Крлежи "Аретей".

Однако на острые публицистические выступления Крлежи в нашей стране в советское время был наложен запрет.

Распространялся он и на путевые заметки о пребывании в Москве и на севере России, опубликованные в Загребе в 1926 году под названием "Поездка в Россию".

Минуя многочисленные пограничные и полицейские кордоны, молодой, но уже весьма популярный в тогдашнем Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, позже, в 1929 году, переименованном в Югославию, Мирослав Крлежа в начале 1925 года пустился в рискованное путешествие в советскую Россию. Писатель намеревался рассказать о первом государстве рабочих и крестьян читателям левого загребского журнала "Книжевна република".

Книга полна живых зарисовок жизни СССР середины 20-х годов: тут и убежденные строители нового общества, и внутренние эмигранты, и бунтари и конформисты в искусстве, и позиция церкви. Немалый интерес представляют также заметки путешественника о европейских городах, которые проехал Крлежа, добираясь до Москвы поездом с остановками в Вене, Дрездене, Берлине, проехав через Литву и, наконец, пересев в прямой вагон Рига—Москва. Размышления Крлежи о "русском эксперименте" и о его восприятии в Европе, а также о феномене русского революционного движения — превосходный документ эпохи, образчик далеко не ординарного мышления творца и журналиста, увлеченного социалистическими идеями. При всем том Крлежа, в отличие от, казалось бы, ничуть не менее ироничных и интеллектуальных Шоу, Фейхтвангера, Уэллса и других друзей СССР, оказался проницательным наблюдателем, не склонным корректировать свои оценки в угоду идеологическим схемам.

Возвратившись домой тем же путем, каким и приехал в Москву, Крлежа в 1925 году опубликовал свои путевые заметки в нескольких загребских журналах. В 1926 году очерки были собраны в книгу "Поездка в Россию", которая приобрела широкую популярность в тогдашней Югославии и в других странах Центральной Европы.

Правда, популярность эта основывалась на публикациях, сокращенных издателями, и на изустных рассказах тех, кто успел ознакомиться с первым полным изданием. Даже в изданиях 50—70-х годов, которые выходили в Белграде, Загребе и Сараеве, отсутствовала или была сокращена та часть путевых впечатлений Крлежи, которая предшествовала въезду в Москву, и были добавлены написанные им в разные годы очерки, лояльные по отношению к личности Ленина.

Русские друзья Крлежи не могли не знать об этой книге. Давно известна она и специалистам. Почему же самые интересные ее страницы мы сегодня открываем для себя впервые? Ответ на этот вопрос дал в свое время А. А. Сурков, принимавший Мирослава Крлежу от имени Союза писателей СССР во время его второй поездки в нашу страну, которая смогла состояться лишь в 1965 году. По словам самого Крлежи, в ответ на вопрос о том, почему некоторые его произведения, в том числе и "Поездка в Россию", не публикуются в СССР, Сурков сказал одну-единственную фразу: "Сложно с вами, товарищ Крлежа". И действительно, во второй раз Крлежа смог приехать в Москву лишь в составе правительственной делегации, куда его включили по личному указанию Иосипа Броз Тито и, как мы видим, сорок лет спустя после первого путешествия в Россию.

Причин тому было достаточно: и трудности послевоенных межгосударственных отношений СССР и Югославии, и бескомпромиссная позиция самого писате-

ля. Верный традициям профессиональной журналистики, он упрямо отстаивал свое право задавать неудобные вопросы и высказывать мнения о людях, общественных процессах и явлениях искусства независимо от того, нравится ли это тем, кто находится у кормила власти. Главным его врагом всю жизнь оставалась "сила всемирной глупости", равная, по пессимистическому замечанию Крлежи, силе всемирного тяготения.

Не кто иной, как Крлежа, впервые резко поставил вопрос об ответственности ЦК КПЮ за исчезновение в сталинских лагерях югославских работников Коминтерна. Это привело к разрыву с недавними единомышленниками, и за писателем в партийных кругах надолго закрепилась кличка "левого троцкиста".

Немало столкновений вызвал и призыв Крлежи к здравому смыслу в литературных спорах — в тридцатые годы среди югославской левой интеллигенции была распространена сектантская концепция "пролетарской литературы". Ее сторонники в полемическом задоре отрицали значение опыта мировой художественной культуры и предлагали критике руководствоваться исключительно "классовым чутьем".

Русскую культуру Крлежа всегда ценил очень высоко. Так, в 1920 году, посмотрев спектакль "Три сестры", сыгранный в Загребе "качаловской группой" артистов МХТ, он писал: "Думаю, пока жив, не забыть мне мгновений, когда Книппер-Чехова нервно зажигала спички и тушила их, смеясь и плача... Дивная женщина, она смеялась и ломала спички, в то время как Вершинин (Качалов) говорил ей о любви... 'Три сестры'... Серо-коричневые, грязно-пепельные мутные российские сумерки, сумерки российской провинции, арцыбашевской, чеховской, с ее калошами, керосиновыми лампами и грязью на улицах, сумерки, когда двое несчастливых, недовольных жизнью людей могут сесть в темных комнатах на диван и соединить свои руки, и сердца их бьются учащенно, а с улицы доносятся голоса, далекие и глухие, гаснущие и замирающие... Да, то были великие, по-настоящему интимные, торжественные мгновения театра, когда разверзается пространство и все реальное куда-то исчезает... Книппер-Чехова ломала спички — это было впечатление настолько сильное, что зритель невольно начинал нервно хрустеть пальцами, и кровь приливала у него к голове..."

Вместе с тем писатель трезво оценивал и политические, и культурные события, происходившие в Советском Союзе. Так, в своей речи на съезде писателей Югославии в 1954 году он заметил, что "герасимовщина" (в живописи) есть не что иное, как апология провинциальной отсталости. Сказанного, наверное, достаточно, чтобы понять, почему появление новых книг Крлежи в русском переводе порой сопровождалось отчаянной борьбой.

"Правоверные" литературоведы и в Белграде, и в Москве создавали путевым заметкам Крлежи о России репутацию "сомнительного" сочинения. Над этой небольшой книжкой постоянно витала некая мрачная тень. Между тем это честная и умная книга. Хорватский писатель представил сочную, контрастную картину Москвы весной 1925 года и не лишенные интереса заметки о своей родине, о европейских городах. Крлежу-прозаика с его барочной, плотно насыщенной речью, со вкусом к детали, к форме, цвету, запаху описываемых предметов как будто комментирует трезвый и насмешливый Крлежа-публицист.

О *путешествиях вообще*
(В*печатления от северных городов*)

МОИ путешествия часто — как бы это сказать — получаются скучноватыми. Я видел Неаполь, но не умер (*Vedi Napoli e poi muori!*)[1]. Я побывал на острове Капри, но избежал неотвратимой встречи с Максимом Горьким. Я лицезрел купола собора Святого Петра, не побывав в Риме (как ни странно, это так и было). Был я и в Акрополе, над которым обычно ясное голубое небо, но в день моего приезда шел дождь и объявили мобилизацию. Всюду и везде кишели люди в военной форме, и во всех витринах были выставлены сине-белые транспаранты с надписью: "*Zito o bazilevs mâs!*"[2] Батальоны пехоты в грязных, с пятнами крови, гимнастерках цвета хаки маршировали перед Акрополем, горлания солдатские песни, и вся эта тифозно-холерная атмосфера вкупе с общим мутным, грязноватым колоритом помешала мне насладиться видом "красивейшего здания Греции — Парфенона" и почувствовать классическую золотую пропорцию большого и малого: *AC:CD=CD:(AC+CD)*.

То, что было суждено увидеть и оценить нашему сиятельному Франьо фон Марковичу[3] или благополучно здравствующему Мережковскому, не дано было мне, многогрешному. Стражники Его Величества (ныне в бозе почившего короля Константина) обломали об меня свои приклады, когда я, проявив немыслимую и, разумеется, чисто плебейскую дерзость, попытался заглянуть за решетчатую ограду королевской виллы на Кале-Мария в Салониках. "Вон отсюда!"

В Генуе я чудом избежал хорошей трепки, когда попытался объяснить матросам, поднимавшимся на борт броненосца ради участия в военной авантюре при Триполи, что довольно глупо называть именем Данте Алигьери эту громадину, оснащенную тридцатисемимиллиметровыми орудиями. В Париже мне довелось увидеть сотни тысяч республиканцев, в состоянии крайней экзальтации прославлявших Его Величество короля Альфонса XIII. Я никак не мог взять в толк, что бы это могло означать. В то утро для меня перестала существовать Третья буржуазная республика, и я помню совершенно точно, что вопли сумасшедших в Шарантоне (заведение под покровительством святого Мориса в Шарантоне — нечто вроде лондонского Бедлама, другими словами парижский Стеньевац[4]) мне показались куда более осмысленными. Там текла тихая, зеленая Марна, в сумерках чернела аллея сгорбленных платанов, и в Шарантоне, по-моему, все было на своих местах.

Мотаясь по надобностям своей авантюрной солдатской карьеры по пространству между Карпатами и Адриатикой, я установил, что Станислав во многом похож на Любляну (*Laibach und Stanislau* — южная и северная окраины *К.и.К.*).

Однажды утром, сидя в кафе в Станиславе и просматривая какой-то украинский литературный листок, я размышлял о славянстве. Весь город неизвестно почему был увешан траурными флагами, а я с горечью думал о дурацком положении человека, считающего себя, например, символистом бодлеровского толка или последователем Хосе Мария Эредия и живущего в таком вот пункте королевской империи.

1. Увидеть Неаполь и умереть! (*итал.*) (*Здесь и далее – прим перев.*)
2. "Да здравствует наш король!" (*новогреч.*).
3. Франьо Маркович (1845—1914) — хорватский поэт, теоретик литературы и философ.
4. Стеньевац — известная в Загребе лечебница для умалишенных.

В Кракове и в Лионе мне случалось напиться до бесчувствия, и еще по меньшей мере двадцать городов имели честь видеть меня пациентом своих больниц. В Салониках я впервые услышал выстрелы из боевых орудий, причем лично убедился в справедливости пословицы, уравнивающей дурака по тупости с пушкой. При виде Везувия и Стромболи, изрыгающих пламя, мне сначала показалось, что они похожи на печь для обжига известняка где-нибудь в словацких Татрах. Окружающие тем не менее с пафосом утверждали, что перед нами извержение внесенного во все бедекеры вулкана Везувия. Люди вообще склонны к пафосу, особенно ложному.

Итак, сторонники ложного пафоса не найдут в моих путевых заметках ничего для них подходящего. Я не любитель поездок, дающих повод патетическим культурно-историческим реминисценциям! Поскольку каждый субъект представляет собой комок плоти и крови и как таковой безусловно преходящ в своем земном существовании, то реки, города и люди, пропускаемые через сознание путешественника, возникают только благодаря ему и, следовательно, вместе с ним исчезают. Итак, эти мои краткие наброски лишены особых претензий в плане культурно-историческом, и особенно информационном. Когда я путешествую, я не стремлюсь к посещению соборов, да и в музеи заглядываю редко. Хочу подчеркнуть, что я предпочитаю демонстрации, стычки на улицах, забастовки, паровые машины, женщин, покойников в гробах и вообще обычную, неприкрашенную жизнь картинам, выставленным в залах различных академий, а также барокко и ренессансу. На одном из наших ренессансных островов меня как-то ночью бросили в венецианскую темницу, где я слушал вой сирокко, бившегося о стены крепости. Я чувствовал себя каким-нибудь графом Монте-Кристо или Конрадом Файдтом из приключенческого фильма, ожидающим прихода палачей с обнаженными мечами. И все это случилось из-за того, что я не хотел снять шапку во время исполнения гимна "Дай нам, Господи, справедливости и свободы!"[1]. С тех пор я ненавижу ренессанс! Мне трудно понять старика Джалски[2], который мог часами сидеть, любуясь "вечной красотой" Венеры Милосской. При виде этой "вечно прекрасной" Венеры я пожал плечами, послал к дьяволу всех стоящих перед ней снобов и повернулся к ним спиной. Клянусь! Есть картины, с которыми человек живет долгие годы. Лет десять назад я увидел на полотне в далеком, закопченном городе, где текли глухонемые, глубокие зеленые воды, в которых трепетно переливались отблески света, фигуру святого в плаще из ярко-красного сукна, и по сей день я ношу в себе этот кровавый румянец, это пурпурное пятно, подобно возгоревшемуся во мне драгоценному огню.

Я люблю Брейгеля, голландский бархат и хрусталь — в одиночестве, в четырех стенах, в тишине комнаты, зимой, глубокой морозной ночью, когда в печной трубе завывает ветер.

Я не могу смотреть картины в музейных залах, под скрип паркета. Мне действуют на нервы снобы и мысль о том, что и я, скорее всего, тоже сноб, кому-то действующий на нервы. (Ведь небо никогда не бывает таким грязным от бесконечного множества взглядов, как в ночь лунного затмения. Кто только тогда не смотрит на небо? И тем, кто каждый вечер привык смывать с себя следы нашей цивилизации, глядя в чистоту небес, ничего не остается, как опустить глаза. Хотя мы и живем в буржуазном обществе, мы тем не менее не можем устремлять свои взгляды параллельно прочим особям. И с картинами точно так же, как с лунным затмением.)

1. Гимн Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев, с 1929 г. — Югославии.
2. Ксавер Шандор Джалски (1854—1935) — хорватский писатель.

Быть может, рассказать, как я однажды утром, в праздничный день оказался в берлинской синагоге, где все господа были в черных шляпах, а дамы — в шелках и старинных золотых украшениях, а седобородый раввин вещал о пятитысячелетнем Израиле? Или вот — железнодорожная катастрофа, в которой погибли двадцать семь человек, — как описать кошмарный запах крови, газа и серы? Можно поведать и о том, как я был необыкновенно польщен выпавшей на мою долю честью дышать одним воздухом с Роменом Ролланом, гостем республики Чехословакии, в резиденции пана Масарика (человека, начинавшего свою карьеру научным исследованием проблемы самоубийств). Рассказать, как я собрался в Россию?

Что ж, вот как это началось. Дождливой, туманной ночью я прогуливался по Верхней Илице[1] мимо комплекса казарм. В воздухе, как и в моем расположении духа, повисла тяжелая депрессия. В маленьких корчмах на западной окраине города, где обычно по воскресеньям собираются участники велосипедных гонок, рыдали гармоники и слышались отзвуки того противного тирольско-штирийского музыкального инструмента, чей усиливающийся и затихающий голос напоминает скрип то отворяемой, то закрываемой стеклянной двери. Я стоял у подножья каменной статуи Христа, склонившегося под тяжестью своей ноши при входе в город, и вспоминал покойного Вида, столетнего слепого старца, который здесь, бывало, пел еще в начале войны, не выпуская из рук маленькое, позеленевшее бронзовое распятие.

Его выбритые челюсти тряслись, он облизывался как-то по-собачьи и жутко вращал выпученными белками своих незрячих глаз. А теперь старик Вид умер, вечная ему память. Вон там — окно девушки, в которую я когда-то был безумно влюблен. Я ее просто обожал! Это слово здесь вполне уместно! Где-то высоко под потолком горит свеча. В сторонке кто-то кашляет, сухо, болезненно. Стены казарм в свете газовых фонарей кажутся светло-зелеными. О, эти ночные казармы с их ощущением безнадежности! Теперь же из постовых будок выглядывают какие-то смуглые арнаутские физиономии, и уж не звучит более мелодия гайдновской "Вечерней зари": "до-до-соль, до-до-до-ми-до-ми-до-соль". Не успела отмереть одна глупость, как тут же на ее месте выросла другая. (Глупости множатся, как грибы, это надо признать без малейших сантиментов.) Над горами курилась тьма, со стороны южного вокзала доносились гудки паровозов, и именно в это мгновение я вдруг живо почувствовал на себе все параметры нашей жизни. Дело обстоит так: все мы живем на провинциальной станции южного направления австрийской железной дороги, с двухэтажным кирпичным вокзалом. Здесь — провинция! Мрачная, утопающая в грязи, унылая провинция! Да к тому же последние пятьдесят лет посреди этой грубой реальности слоняются олухи, способные прислушиваться к приглушенно-болезненным звукам своих внутренних струн. Насколько же бессмысленно таскаться в таком израненном состоянии по грязным окраинам, тяжко вздыхая и окутывая ватой свои нервы, стремиться в неведомые дали и при этом продолжать лениво погружаться в трясину. Созерцая двухэтажное кирпичное здание вокзала, деревья, лесопилки, казармы, слушая гармонику, чувствуешь перспективу и одновременно понимаешь, что нам, со всеми нашими мещанскими интеллигентскими якобы талантами, подобно кимвалам

1. Верхняя Илица — улица в Загребе.

бряцающим, никогда не перекинуть мосты к Реальности и Действительности. Надо же все-таки взяться за дело, надо выпрямиться, надо что-то предпринять. Опротивели мне звуки гармоники за стеклянной дверью, собственные стародевические мысли о покойных слепых старцах, о давно забытых девушках, о рассыпавшихся мелодиях "Вечерней зари". Я плюнул на все и уехал на следующий же день.

Я умчался очертя голову за несколько тысяч километров, я пронесся по северным городам, где все наши так называемые интеллектуалы влачили существование голодных собак, перебираясь из одной кофейни в другую или бродя по улицам в обществе продажных женщин и нищих студентов. По этим серым, несимпатичным городам скитались неприкаянные наши соотечественники, и двери уютных домиков и буржуазных домов оставались для них закрыты. Одичавшие студенты занимались поденной перепиской бумаг в канцеляриях, жили в долг и питались в народных столовых. Все — начиная с гранитных тротуаров и аллей и кончая венскими булочками и сецессионом, начиная с полицейской формы и кончая современной литературой, трамвайными вагонами и мелодией "Вечерней зари", начиная с кофе со сливками и кончая салонной мебелью, начиная с живописи и кончая архитектурой, начиная с законов и кончая тюрьмами, — все дали нам эти печальные, заброшенные, грустные северные города. Подобно тому как керосиновая лампа, горящая в трактире, отражается в соседней луже, так и наша провинциальная жизнь отражала жизненную силу этих гранитных северных центров. И газеты, и искусство, и политика, и ремесла, и деньги, и идеологическая фразеология, и образование — все это в нашем маленьком южном городе с двухэтажным кирпичным вокзалом было схвачено рельсами, телеграфными проводами и воинскими гарнизонами как железным обручем. В Систему. В Панцирь. В Модель. Я промчался, как безумный, по знакомым и незнакомым улицам, я выпивал с какими-то экзотическими иностранцами, с проститутками, с китайцами, с тенями мертвецов, я досыта наговорился с революционерами, со студентами и моряками и вернулся домой, усталый, как Мартин из нашей пословицы[1].

И вот я опять гуляю по окраинам Загреба, смотрю на тополя, на освещенные окна кабачков, слушаю гармонику, идет дождь. Встретившись со мной, знакомые останавливают меня и расспрашивают: как я съездил, где побывал, что видел, сколько денег потратил; словом, задают обычные вопросы, как уж это у нас принято.

— Что я видел? Да ничего я не видел! Банки видел. Множество банковских зданий. На каждой улице стоит банк, похожий на крепость!

— Банки? Но банков сколько угодно и в нашем городе!

— Ну да! И у нас тоже есть банки! Разумеется! Мы же не на Луне живем. Наш город находится на Земле. Как при феодализме каждый граф строил себе замок, так теперь банкиры возводят банки. Банкиры окружены мрамором, бронзой, начищенной медью, стеклом, бархатом и шелком. Фрески, ковры, дерево, светильники, роскошь и техника. Банки, господин мой! Банковское дело прогрессирует. Доллары, золотые марки, валюта. Все мужчины носят кожаные бумажники, курят папиросы, жуют жвачку и считают деньги.

— Неужели вы только это и видели?

1. Мартин — анекдотический персонаж хорватской пословицы, который везде побывал, но ничего не запомнил.

— Да нет! Люди жуют не только жвачку, но и конфеты, пралине. Я видел очень много шоколадок пралине.

— Вы шутите!

— Честное слово! Я видел много-много пралине. Вот и все, что я видел!

— Выходит, не так-то много вы и видели!

— Выходит, не много! Что я могу поделать, если видел не много. Я ни в коей мере не несу ответственности за наш нынешний буржуазный строй. Я его разоблачаю вот уже десять лет совершенно безуспешно!

— Ну, тогда прощайте. Будьте здоровы!

— Будьте здоровы!

Продолжаю слушать гармонику, дождь идет, я размышляю о своих знакомых, о себе, о строе нашей жизни, как вдруг появляется еще один приятель.

— Низкий поклон! Здравствуйте! Я слышал, вы уезжали? Ну, как они там живут, за границей? Что вы видели?

— Я видел более пятисот банков! Видел банковских чиновников, они путешествуют, держа за пазухой бумажники, и очень спешат. Биржи, банковские учреждения, автомобили, маклеры. Доллары и фунты. Я побывал в одном банке, где после десятилетнего перерыва впервые открыто выплачивали серебро! Впервые за десять лет я услышал звон серебра! Что вам сказать? Там были горбуны, слабоумные и какие-то заплывшие жиром уроды (с такими затылками, что в них, как в кусок солонины, можно воткнуть гвоздь размером в целую пядь, а они этого даже не почувствуют), и вся эта толпа кретинов считала сребреники. Эти иуды, эти неисправимые омерзительные животные постукивали серебряными монетами о мраморные плиты и складывали их в полотняные мешочки. Это зрелище я не забуду до конца своих дней! Мне вдруг стало ясно, что пулеметы и виселицы еще очень долго будут главенствовать на земном шаре. Я слышал, как господа с сигарами в зубах говорили о рабочих, как говорят о скоте. Я видел множество заводских труб!

— Ну да. Банки и заводские трубы! Старая песня. Но все-таки, в общем и целом, что там происходит?

— В общем и целом? Да вот что. Банк соотносится с феодализмом так же, как фабрика с крестьянской барщиной. Такова формула. Индустриальный большой город — это то, чего наверняка не будет при более достойной цивилизации. Многоэтажные дома, где рабы живут над головой друг у друга. Слышно, как вбивают гвозди в гроб или в стену, как ссорятся жены с мужьями, и каждый живет, мешая другим. Поэтому они организуются — одни против других. Бокс. Тысяча девятьсот двадцать четыре раунда. На улицах много дам в трауре, но можно увидеть и пары молодоженов в фиакрах. Женщин можно купить и дорого, и по дешевке. На заводах выставлены голые рабы в отблесках пламени, в отелях — рабы во фраках с шелковой тесьмой. Всюду примитивная ложь и обман. Вместо говядины — конина, вместо кофе — фасоль. Поддельные китайские вазы, поддельные предметы обстановки. Папиросы набивают сеном, вместо книг и литературы предлагают омерзительные суррогаты. Много шоколада и американской жвачки. Где-то в стеклянных витринах выставлены бокалы, сабли, ножи и ружья! Это музеи.

— Да это же просто анекдот! Шутить изволите?

— Милостивый государь, я вовсе не шучу. Индустриальный город — это "Много шума из ничего". До сих пор еще не найдена настоящая причина существования такого города. Я вас спрашиваю, почему миллионы голод-

ных, больных и испытывающих глубокое недовольство рабов должны жить в одном месте? Почему они должны каждый вечер видеть своих патрициев, разъезжающих в обитых шелком ландо, как в бонбоньерках, торопящихся на вечеринки и концерты? Ведь вы не станете мне доказывать, что люди концентрируются в больших городах для того, чтобы курить папиросы марки "Масари". Так для чего же? Большой город – ясное и неоспоримое доказательство тому, что наша жизнь настолько примитивна, что события развиваются сами по себе. Механический ход событий, простая механика происходящего сильнее человека. Большой город возник помимо воли человека, но он исчезнет в соответствии с сознательным планом и намерениями упомянутого человека. Миллионы людей столпились сегодня в большом городе, как ядовитые осы на куске падали, они роятся на гноящихся ранах и жалят в безумной анархии друг друга. Человек, парнокопытное жвачное животное, – раб, дурак, мещанин и санкюлот, топчется на месте со своим стадом, блеет в пустоту, мемекает и уныло тянет свое ярмо. А "сверхчеловеки", владельцы индустриальных предприятий, восседают на яхтах, поплевывают и дымят своими трубочками.

Все, что несет в себе мудрость, что может быть выражено в пристойных, изысканных формах, существует при таком порядке вещей в полной изоляции. Сфера разума сегодня все еще ограничена сектами в раннехристианском, катакомбном смысле и существует в подполье. В виде узких кружков адептов посреди моря глупости и зла. Эти одинокие кружки сектантов могут соприкасаться между собой лишь в абстракции. Мысленно. С помощью книг, печатного слова. Поэтому, чтобы вступить в контакт с какой-нибудь из этих сект, не обязательно совершать путешествие, ибо секты раздроблены, их члены не живут вместе. Можно остаться и здесь, на провинциальной станции южной железной дороги. Можно созерцать тополя, слушать гармонику и шум дождя и размышлять о своей сектантской ерунде.

– Все это сплошные парадоксы!

– Да почему же парадоксы? В этом нет ничего парадоксального. Сегодня в Европе очень тревожно. Что-то происходит! Европа сегодня все еще лепечет на своих двадцати полуязыках и выпускает резиновые подметки фирмы "Пальма". Все прочее находится в состоянии рабства или в изоляции. Журавли и аисты, ласточки и утки живут над всем этим в пространствах между Нилом и Тибетом, между Африкой и Европой. Перелетные птицы умнее нас и наших больших городов. Они движутся на высоте по линиям интегральных окружностей. Мы же, люди, на земле разодрали эти линии между народами и классами, установили климатические, географические и индустриальные зоны. Сегодня европейцев гложет великая тоска, и я уверен, что во всех северных городах (в которые мы так стремимся) индивидуумы страдают от одиночества и мечтают выбраться из этого ада. Эти родственные души слышат в вышине крики перелетных птиц, летящих осенними дождливыми ночами через нашу тьму на юг, к свету, к солнцу. Великий закон помогает перелетным птицам преодолеть расстояния и темные ночи. Но этот великий закон существует и внутри нас. Люди наверняка вырвутся из этой жизни в более благодатные края, улетят, как перелетные птицы! Счастливого вам пути, братья мои! Счастливого пути!

* * *

В Вологде (расположенной по северной железной дороге), между Москвой и Архангельском, я насчитал в одном меню шестнадцать наименова-

ний супов. В далеком краю, к востоку от Вятки, где отбывали ссылку Герцен и Салтыков[1], в доме одного ярого противника большевизма, который не переставая поносил существующий режим, нам было подано следующее: приперченная вяленая рыба, рыба отварная, рыба соленая, рыба в маринаде, винегрет, моченые яблоки, икра и масло, три сорта вина и хрен со сметаной. Эти тринадцать закусок были сервированы под сорокоградусную водку, именуемую рыковкой (потому что ее якобы пьет сам Рыков), а также плюс портвейн, малага, вишневая настойка и зубровка — это превосходный самогон с запахом травы, которую едят дикие сибирские буйволы. Это для начала. После чего внесли самовар и подали свинину, индюшку, салаты и соусы, пироги, варенье, фрукты, торты, кофе и какое-то горькое водянистое пиво. При этом хозяева ругательски ругали революцию, которая разрушила их блестящую довоенную жизнь.

В Москве мне случалось видеть нищих, которые держат в руке бутерброд, намазанный слоем икры толщиной в палец. Не выпуская изо рта папиросы и не переставая жевать, они тянут извечный православный, русский, он же цыганский, припев: "Подайте, люди добрые!" Я всегда был противником фейерверков и бенгальских огней, но если вы сегодня путешествуете по России и если у вас, как у гоголевских героев, мясной фарш стоит в горле, то вы не сможете согласиться с утверждениями европейской печати о том, что Россия умирает от голода. На станциях между Ярославлем и Якшангой я видел в огромных серебряных подносах такую массу жареных рябчиков, что казалось, будто их кто-то буквально загребал лопатой.

Вагоны и улицы заплеваны тыквенными семечками, а большинство людей, с которыми вам приходится общаться, что-то жуют, пытаясь разговаривать с набитым ртом. В учреждениях заваривают чай, едят горячие пирожки с мясом; чиновники, разговаривая с клиентом и оформляя документы, вечно чем-то шуршат в своих ящиках поверх бумаг или грызут яблоки.

Центр Москвы представляет собой скопище хлеба, крымских фруктов, студня, икры, сыра, халвы, апельсинов, шоколада и рыбы. Бочонки сала, масла, икры, упитанные осетры в метр длиной, ободранная красная рыба, соленая рыба, запах юфти, масла, солонины, кож, специй, бисквитов, водки — вот центр Москвы. Итак: дымятся самовары, благоухают горячие, жирные, гоголевские пироги; мешки с мукой и бочки с маслом, здоровенные рыбины и мясной фарш, супы овощные, щи с капустой, с луком, с говядиной, с яйцом — и нищие, которые клянчат бога ради. Слепые, хромые, в меховых тулупах или красных шерстяных кофтах — днем и ночью натыкаешься на них на мостовых и тротуарах.

Единственная постоянная величина в России: время — не деньги. К понятию времени здесь все относятся индифферентно. Вы звоните кому-нибудь во вторник, а его нет, хотя вы договорились встретиться во вторник.

— Приходите в пятницу, — лениво отвечают вам. Вы заходите в пятницу, а его опять нет.

— Зайдите во вторник!

— Да я уже был во вторник!

— А что мы можем сделать? Его нет. Позвоните попозже!

Вы звоните через неделю, а его нет.

1. Салтыков-Щедрин.

— Он уехал!
— Он в отпуске!
— Он заболел. Звоните завтра!
Вы звоните завтра: опять ничего!

Потом, спустя несколько недель, вы встречаетесь с этим человеком на улице, он очень спешит на какую-то встречу, но он забывает об этой встрече и сидит с вами всю ночь до утра и еще следующий день до вечера, в то время как тридцать человек его разыскивают точно так же, как вы гонялись за ним по вашему делу.

Или: заседание назначено в час. В час все сидят и жуют, все курят, и никто ничего не знает. В три часа — ни малейшего понятия. А что? Еще не поздно. Еще только три! Слышится ленивый голос: "Наверное, в пять начнется". В пять часов: заседание скоро начнется. "Скоро" значит в половине седьмого.

Итак: запах юфти, мясной фарш, время, которое не деньги, папиросы фабрики имени Розы Люксембург — за все заплачено серебром, чуть дешевле цен международного золотого паритета. Десять золотых рублей (червонец) во время моего пребывания в России был равен примерно 4,34 доллара. Можно пообедать за рубль сорок копеек (около 42 динаров). Обед из трех блюд: суп или суп-пюре, щи или говяжий суп с приличным куском мяса. Потом рыба или жаркое, салат, шоколадный крем или мороженое. Обед за шестьдесят копеек состоит из супа с куском говядины и жаркого с гарниром. Текстиль так же дорог, как в Германии. Чаевые давать не принято; впрочем, официанты — тема для отдельной главы. В киосках и в залах ожидания на вокзале продаются книги — от сочинений энциклопедистов до безбожников-материалистов первой половины девятнадцатого века и полные собрания сочинений Маркса и Энгельса, Ленина, Бухарина и т. д. Приятный сюрприз после европейской порнографии. На пограничных польских, литовских и латвийских станциях у вас в ушах еще звучат сообщения белогвардейской печати об азиатских способах ведения хозяйства у московитов. Однако станции по ту сторону относительно чистые и аккуратные, с неплохими ресторанами и книжными киосками. Итак, первое и главное впечатление — то, что страна не голодает и что здесь много читают.

Второе впечатление, преследующее вас с первого дня, — это голоса недовольных. Если применить международные мерки, то происходящее в России приобретает более высокий смысл и мотивацию. Речь идет о далеко идущих замыслах, в рамках концепций предстоящих битв крупного международного масштаба. Такие люди, как царские чиновники, служанки, кельнеры, вдовы, гнилая чеховская мещанская интеллигенция, не понимают происходящего, они вздыхают и уныло брюзжат. Русский чиновник, носивший в царское время полковничьи погоны или генеральские эполеты, а теперь одетый в потрепанный цивильный пиджак, смотрит на все это с глубоким раздражением. Кожа на нем шелушится, как на мумии, у него проницательный прокурорский взгляд серых глаз, его закоренелый бюрократизм, врожденная злоба, непробиваемая тупость, прикрытая неискоренимой печатью условностей традиционного воспитания, приправлены передовицами из газеты "Новое время"[1] и затверженными фразами о народе, Боге и царе; такой вот чиновник работает на теперешний режим, но безмолвно ненавидит все

1. "Новое время" — русская эмигрантская газета, издававшаяся в Белграде.

происходящее и умирает с проклятием на устах. Эти легендарные русские чиновники судят о партиях и событиях свысока, из их взглядов и нудных голосов так и сочится презрение. Для этих типов все происходящее — бессмысленное нарушение порядка, бунт, хаос, насилие, преступление, они ненавидят всех и вся, осознавая свое бессилие, дрожат перед ЧК и умирают, растоптанные и поверженные. Как объяснить кухарке, которая в Страстную пятницу вечером отчаянно рыдает при мысли, что в этот день тысяча девятьсот двадцать пять лет назад должна была ужасно страдать Матерь Божья, как объяснить такому вот созданию, что сегодня происходит в России? Ее призывают в Кремль, чтобы управлять одной шестой частью света, а она не идет. И слава богу! Требуется зоркость ума, масштаб личности, знания, убежденность, одаренность, опыт, вынесенный из пережитого на своей собственной шкуре, для того чтобы почувствовать темп движения, осознать его направление и взять инициативу в свои руки. Ничего этого нет у господ юнкеров и помещиков, и потому они предпочитают купание в Дунае и рыбную ловлю в Сремски Карловци[1] шести- или восьмичасовому рабочему дню в каком-нибудь пыльном московском учреждении или конторе.

Рядом с недовольными и побежденными клубится новый мир, толпа людей, переживающих в первом поколении пробуждение и возведение собственной государственности *Civis sovjeticus sum!*[2]. Это еще не ощущение инстинкта бесклассовости (самоотверженного ухода в борьбу за уничтожение не только класса буржуазии, но и вообще всех классов), но активное подтверждение классовой принадлежности на определенной повседневной практике. Это — сегодняшнее бонапартистское рождение нового советского строя. В то время как юнкер, генерал и чиновник культивируют бессильную злобу, ворчат и порицают, настоящий советский гражданин конструирует и строит. *Civis sovjeticus* повесил на гвоздь свою солдатскую каску и револьвер, он торгует древесиной, организует кооперативы, строит железные дороги, проводит электрификацию, но завтра он готов снова надеть каску, взять револьвер и вступить в смертельную борьбу. Прежнее положение вещей ликвидировано, оно юридически не существует; сегодня это ясно, неопровержимо и чувствуется на каждом шагу. Доказано, что можно обойтись без великих умов, отбывших в эмиграцию. По своим внешним, поверхностным формам жизнь в сегодняшней России ничем не отличается от жизни на Балканах, или в Литве, или где угодно в пространстве, лежащем на восток от линии Данциг—Триест. Поезда идут точно по расписанию. Правда, я путешествовал в международном экспрессе, и здесь спальные вагоны были чистые и аккуратные, и кормили хорошо. Путешественника, прибывшего из урбанизированной буржуазной Европы, на первый взгляд поражает отсутствие роскоши. Женщины в основном одеты очень просто. На улицах преобладает скромный средний вкус, что весьма симпатично после западных столичных борделей. Кафе отсутствуют. Все гостиницы принадлежат государству, цены в них в два-три раза выше, чем в Германии. Самый обычный гостиничный номер стоит минимум шесть—восемь рублей в день, что, принимая во внимание низкий курс доллара, очень дорого. Частное лицо, путешествующее по своей личной надобности, может в первый же день в гостинице почувствовать, что быть индивидуальным туристом в несколько сот раз

1. В городе Сремски Карловци находился штаб Врангеля.
2. "Я — советский гражданин!" *(лат.)*

сложнее, чем быть членом какой-нибудь организации, объединения или профсоюза. Организация — всё, индивидуум — ничто. Все это пока примитивно и подчеркнуто принципиально, но здесь ощущаешь, как создается фундамент нового порядка в обстановке саботажа со стороны всего мира и огромной части русской интеллигенции.

В своих записках я не буду приводить какие-либо статистические данные. Статистики хватает во всех докладах и ежегодниках. Вы можете убедиться на любом вокзале, в государственном учреждении, в любой приемной или на выставке, что статистические графики плодятся, как грибы после дождя. Кто интересуется состоянием экономики в России по разным хозяйственным или промышленным отраслям, пусть прочтет отчет делегации английских профсоюзов.

Гораздо больше статистических данных меня в этой поездке интересовали люди, человеческие отношения, настроения, поступки, их освещение, их масштабы, общий климат. Я разглядывал русские церкви и — позвольте мне проявить сентиментальность — прислушивался к шуму ветра в верхушках елей и больше думал о проблемах культуры, чем о статистических данных. Пожалуй, стоит особо подчеркнуть, что каждое слово написано совершенно беспристрастно. У нас изо дня в день печатают лживые и тенденциозные сообщения о положении дел в России, и я, уже несколько лет свободно и независимо отстаивающий логику русской концепции, опровергая измышления всевозможных писак и явно ангажированных незрелых умов, не вижу необходимости отступать от истины. В России не текут молочные реки в медовых берегах. Там хватает и горя, и бедности, как во всем мире, но кто работает, тот и ест.

Венские впечатления

...Индивидуум, отягощенный чувством истории, такой, как, например, я, на каждом шагу чувствует в этом городе некий надлом. На первый взгляд, это все еще город Радецкого, Шварценберга, Лихтенштейна, город с имперскими надписями на латинском языке, с тяжелыми мраморными порталами банков и картелей, которые держали в руках огромные, простиравшиеся до самого Дрездена территории в военных границах империи кайзера. По улицам столицы прогуливаются дочери пребывающих ныне на пенсии советников венского двора, бледнолицые барышни с малокровными рейнольдсовскими фигурами, на низких каблуках, блондинки с прилизанными соломенно-желтыми волосами. В витринах фотографов там и сям еще можно увидеть цветные фотографии венгерских магнатов, но дворец знаменитой венской Кригсшуле стоит неоштукатуренный, грязный и пустой, с замусоленными немытыми окнами, в то время как в Бурге точильщик точит ножницы, а в самом императорском дворце размещаются торговые агентства.

...Нелегко писать о своих скромных впечатлениях после таких знаменитых путешественников, как Црнянски[1], Бегович[2], да и Винавер[3], да еще о таком известном и неоднократно описанном городе, как Вена. Последние итальянские письма Милана Беговича были такими роскошны-

1. Милош Црнянски (1893—1977) — сербский писатель.
2. Милан Бегович (1871—1948) — хорватский писатель.
3. Станислав Винавер (1891—1955) — хорватский писатель, эссеист.

ми, просто тициановскими, что я, в силу своей природной стыдливости, просто не знаю, с чего начать свои недостойные заметки. Без красок, без палитры, без любовных похождений, без исторической ретроспективы от ренессанса до барокко.

Прежде всего в Вене дело обстоит так, что здесь не выходит ни одна литературная газета. В десяти книжных лавках на Ринге я спрашивал немецкие художественные журналы, и ни в одной из них этого товара не оказалось. Одно из самых плачевных ощущений, которое может быть у человека, занимающегося литературой (что-то вроде малопочтенной кожной болезни), — это констатация факта, что искусство такой же товар, как галстуки, стекло или женское тело. Люди торгуют книгами так же, как билетами на концерт, картинами и прочими предметами роскоши буржуазного общества. Макс Рейнхардт в своем театре, созданном для спекулянтов, разбогатевших на военных подрядах, разыгрывает на сцене живые картинки в духе умилительных английских открыток. Таков, например, спектакль по Морису Рейналю "Господин своего сердца". В кафе (или ресторане) рядом с театром тот же Макс Рейнхардт предлагает негритянский джаз-банд, пока идет спектакль в этом немыслимом, обтянутом красным штофным дамастом йозефштадтском театре.

Я не знаю, тот ли это самый "Господин своего сердца", который шел у нас, но чувствую сердцем, что наш спектакль, скорей всего, был ничуть не лучше. Красный камин в сумерках, библиотека, дома в розовом освещении, снова сумерки, но зеленые, разговор о любви. Треугольник. Великолепно. Единственная цель этой торговой операции состоит в том, что Меди Кристианс играет в туалетах, выполненных по эскизам господ Шпицера и Пенижека компании Райнер, меха от Кляйна компании Франкль, туфли от Елинека и жемчуг фирмы "Королева жемчуга". Господ актеров одела фирма Ф. Хумхла.

В этом городе, где Конрад Файдт умирает на экране под бетховенскую увертюру "Эгмонт", где люди проявляют гораздо больше интереса к футбольным состязаниям, чем к исходу выборов в Германии, в этом императорском городе множество инвалидов просят милостыню на улицах. В самом деле! Ведь не мы, антимилитаристы, выдумали войну, чтобы написать несколько новелл и выдвинуть политические требования! Война в самом деле была! Война произошла совершенно независимо от моих новелл на военные темы, которые госпожа Нина Ваврa[1] называет идиотскими. И в то время как на бульварах можно прочитать таблички, предупреждающие о том, что во время гололедицы не стоит гулять по тропинкам, если они не посыпаны золой (какая галантность и самаритянская предупредительность со стороны властей), по улицам во множестве ползают безногие инвалиды с посиневшими лицами, с непокрытыми головами и выпрашивают у прохожих банкноту в сто крон, что соответствует примерно десяти динарам. И если бы один из них не напомнил мне Христа с картины Джотто, если бы он не дрожал так, прислонившись к огромной черной вывеске какого-то банка, по которой скользили лучи рекламы, рассыпавшейся фейерверком на другой стороне улицы, если бы этот сломленный, больной человек не был похож на Иисуса, снятого с креста, — черная бородка его тряслась, от холода и нервного напряжения тряслись и челюсти, — другими словами, если бы этот мужчина с дивной головой не напомнил сюжет Голгофы — и мне бы не пришло в голову, что

1. Нина Ваврa (1879—1942) — хорватская актриса.

я стал свидетелем чудовищного, страшного, непростительного скандального эпизода, я тоже прошел бы мимо него, как вся эта черная, безликая, мрачная толпа, не вспомнив, что была война и что этот мужчина не виноват в том, что он оказался поверженным, на улице.

Зачем только тысячи и тысячи лет проповедуется христианская обязанность любить ближнего своего, как самого себя? Я ждал более одиннадцати минут, пока какая-то дама обозначила, что готова остановиться и раскошелиться. Но она только поковырялась в своей сумочке (ридикюле) и прошла мимо, так и не остановившись. Иссиня-черное, печальное лицо с выражением собачьей преданности было обращено к этой госпоже, которая, возможно, подала бы инвалиду сумму, равную десяти динарам. Да-да, это было то, что в романтическом и совершенно автономном искусстве называется веризмом и что наши господа эстеты вроде Визнера-Ливадича[1] отважно отрицают в принципе, ибо это — шокинг, разрушение "высокой эстетики, которая сама себе цель".

Если бывший солдат королевской императорской армии родом из Загорья, такой холоп, как, например, я, приезжает в Вену, то куда он торопится прежде всего, как не в Бург, чтобы посетить императорский дворец? Крпан, герой Левстика[2], представлял себе дворец императора как двухэтажное здание с дверями из чистого золота, на крыше которого восседает огромный черный орел о двух головах, охраняющий этот светлейший лотарингский дом, блеск которого мы воспевали и в церкви, и в школе, и в зале суда, и в газетах, и во сне. Я сам слышал в казармах рассказы простого люда о том, что к царскому дворцу можно пройти, только миновав девяносто девять постов.

Первое впечатление от Бурга — то, что этот дворец устроен с бóльшим вкусом, чем дворец в Белграде. Правда, и в первом и во втором случае не обошлось без испанцев, но что правда, то правда. При этом на весь флигель Леопольда, в котором жил последний отпрыск испанской династии Франц Иосиф, нет ни одной ванной комнаты. Есть одна, но она заперта со дня смерти Елизаветы (1895 год). Умывальные неудобные, с очень маленькими тазиками, на которых, правда, сверкают золотые царские короны. Но у такого богохульника и плебея, как я, при виде их закрадывается дерзкая мысль: как же, собственно, испанцы мылись из таких крошечных тазиков? Кажется, династия Габсбургов не отличалась музыкальностью. Во всем дворце нет ни одного фортепиано. Габсбурги, вероятно, начиная с Карла V, интересовались часами и часовым ремеслом. В каждой комнате обязательно есть несколько часовых механизмов, которые тикают старую песенку о том, что время течет, а слава империй проходит. В комнате Марии Терезии есть часы со стрелками, которые идут слева направо. Привратник или служитель, который проводит публику по царским покоям, с особой гордостью это отмечает и лукаво щурится, наблюдая, какое впечатление на иностранцев производит то, что в комнате Марии Терезии есть такие часы, что идут не в ту сторону. В этой же комнате есть и еще одни часы, подарок тирольского монаха, которые заводятся раз в три года. И еще одни: на них каждый час появляется вырезанная из бумаги фигурка самой Марии Те-

1. Бранимир Визнер-Ливадич (1871–1949) — хорватский литературный критик, один из идеологов хорватского модерна.
2. Фран Левстик (1831–1887) — словенский писатель, автор популярной юмористической повести "Мартин Крпан из деревни Врх".

резии, перед которой изображен коленопреклоненный народ, набожно взирающий на императрицу.

В соседнем кабинете выставлен недавно написанный портрет Марии Антуанетты. В одной из комнат ночевал российский император. В другой стоит мавританская ваза, принадлежавшая испанскому королю. В каждом помещении находится какой-нибудь предмет, представляющий историческую ценность. Что касается истории, то можно заметить, что это весьма благодарная дисциплина, ибо все без исключения к ней относящееся знаменито. (Например, квитанции, в которых мы записываем свое грязное белье, — мы им не придаем значения, а через две-три сотни лет кто-нибудь напишет о них докторскую диссертацию.)

Пройдясь по этим бело-золотым распахнутым покоям в стиле рококо, так похожим на кулисы какой-нибудь оперы (например, "Пиковой дамы" Чайковского), начинаешь чувствовать себя статистом при виде всех этих гобеленов, ваз, японских шкатулок, безвкусных кресел из палисандрового и красного дерева, и остается только пожать плечами, как после прогулки по скучному музею. А ведь несколько лет назад это был вовсе не скучный музей, а реальность. В самом леопольдовском флигеле жил слабоумный старик, уже почти мумия, он прикасался к этому пульту, он спал на своей знаменитой солдатской койке, прислоненной к стене, — все подчеркнуто просто и оставляет впечатление тяжкой пустоты. Вот в эти двери входили с трепетом в сердце и дрожью в коленях Шурмины и Лукиничи[1] и, неловко оправляя на себе фрак и свои жалкие ордена, ожидали в приемной высочайшей аудиенции. Затем слышался приглушенный красным ковром звон кавалерийских шпор какого-нибудь флигель-адъютанта, отворялась дверь, и простой смертный представал пред светлыми очами Его Величества. На стенах аудиенц-зала висели написанные маслом картины, изображавшие подавление австрийскими войсками венгерской революции 1848 года. В окно можно было увидеть силуэт бронзового императора Франца с омерзительно фальшивой надписью *Amorem meum – populis meis*[2]. Сегодня ничего этого нет, но все-таки ничего не изменилось. Вот тут-то и зарыта собака. Сегодня я сижу с моими австрийскими знакомыми в кафе, мы курим папиросы, пьем черный кофе и ведем беседу о Югославии.

— Кажется, прогнило что-то в вашем датском королевстве? — спрашивает меня приятель, только что прочитавший сообщение об очередной нашей резне. Для здешних граждан наше государство — нечто вроде Мексики. Экзотическая страна с мечетями, иконами, восточными феодалами и рахат-лукумом. Наполовину Восток, наполовину Запад. Всего понемножку.

— Так ведь в любом датском королевстве найдется какая-нибудь гниль, господин мой! А кроме того, ну, немножко режут друг друга, это не так уж страшно! Таков наш народный обычай!

— Разве? Но, кажется, там у вас еще кое-что происходит, кроме соблюдения народных обычаев? Мне непонятно, зачем, собственно, хорваты требуют республику? К чему она им?

— Странный вопрос, господин мой! А зачем вам, австрийцам, ваша республика? Республика ради республики. Как "искусство ради искусства".

1. Шурмины, Лукиничи — представители высших кругов хорватского дворянства, принятых при венском дворе.
2. "Моя любовь — моим народам" *(лат.)*.

— Так, так. А как представляют себе подобное развитие событий люди, сидящие в Белграде? Нам здесь это непонятно. Разъясните нам.

— Объяснить? Очень просто. Они готовят указ, которым осудят на смерть всех сторонников республики.

— Очень интересно! А сколько наберется таких осужденных республиканцев?

— Да не так уж много. Миллионов девять!

— Чрезвычайно интересно! И что тогда будет?

— Да, видно, что вы совершенно не знаете нашей истории. Я не знаю, что будет, но люди, стоящие у власти в нашем государстве, убеждены, что история повторяется. Вы, конечно, слышали о битве при Косове? Это произошло в 1389 году. После этой битвы пало Царство, за пятьдесят лет до того процветавшее. Затем, через пятьсот двадцать три года, Косово было отмщено, и семь лет спустя Царство вновь воссияло в полном блеске, заполучив Конституцию в День святого Вида. Если история и вправду повторится (а она, несомненно, повторяется), то через пятьдесят лет нас ожидает новое падение Царства, то есть в 1974 году снова будет что-то вроде новой катастрофы при Косове. Через пятьсот двадцать три года, в 2437 году, мы опять отомстим за Косово, а в 2504 году примем новую Конституцию в День святого Вида, а в ней снова запретим всякие помыслы о республике путем чрезвычайных мер, и все будет в полном порядке. Такие вот этапы предполагают люди, находящиеся у власти в нашем государстве. Но может произойти и по-другому. Подобные вопросы всегда остаются открытыми.

— Превосходные перспективы, господин мой!

— Да уж какие есть, и никуда нам от них не деться! Благо вам, что у вас нет таких перспектив!

Каждый день в восемь часов утра я наблюдаю из своего окна одну и ту же картину: продавец каштанов (он жарит каштаны на противоположной стороне улицы, под высоким уличным фонарем) приходит, как обычно, очень точно, минута в минуту. Вот он снял с плеча свою ношу и положил ее рядом с фонарем. Это сундук, чуть побольше обычного сундучка рекрута, покрашенный черным лаком, с написанной красивым каллиграфическим почерком фамилией продавца каштанов.

Затем он отпер свою печку, прикованную к фонарному столбу толстой цепью с висячим замком, снял с печки круглую жестяную крышку, открыл сундучок, достал из него щетку и фланелевую тряпку и начал тщательнейшим образом чистить со всех сторон свою железную жаровню. Он обмел всю жаровню общипанной, испачканной в золе метелкой из перьев, потом намазал ее какой-то смолистой массой так, что она заблестела, не забыл начистить и треножник. Закончив эти приготовления, он с помощью сухих кусочков дерева и заранее принесенной в сундучке старой газеты ловко разжег огонь. Во всех этих действиях чувствовалась привычка к экономии: и в разведении огня, и в аккуратности, с которой раскладывались кусочки древесного угля, ощущался навык обращения с ценным сырьем, которое здесь, на углу под фонарем, при минус семи градусах по Цельсию, превращалось в горячий, аппетитный товар. В сверкающем черным лаком сундучке лежали рассортированные, перетянутые шпагатом связки щепок, мешочек угля, ацетиленовый фонарь с карбидом, емкость с водой, две пачки разных газет, мисочка мучного супа, который продавец каштанов подогреет для себя

в полдень, и, наконец, приклеенный на внутренней стороне сундучка портрет Франца Иосифа, на коленях молящегося о счастье своей короны и своего народа.

Продавец каштанов пришел в восемь часов утра и будет стоять на том же месте до десяти вечера, невзирая на ветер и снег — целых двенадцать часов при минус семи по Цельсию, стоять, переминаясь с ноги на ногу, стуча зубами и подпрыгивая в своих начищенных сапогах, время от времени похлопывая себя по коленкам и растирая уши потрепанной черной шерстяной шапочкой. Да! Ни в чем не повинный продавец каштанов будет до поздней ночи мерзнуть здесь на углу, подобно облезлому псу, лишившемуся и хозяина, и будки. И так же, как он стоит здесь на углу рядом со своей железной жаровней на треножнике, он стоял отважно и дисциплинированно, бесконечно долго в стрелковых окопах от Луцка до Черновиц и от Горицы до Ужока — целых четыре года.

И так же, как теперь он аккуратно раскладывает на раскаленной решетке свои каштаны, один к одному — полураскрывшиеся, желтоватые изнутри плоды расположены абсолютно симметрично, — так же точно он и в своей солдатской землянке содержал в порядке свою банку с ваксой, свою трубку, свою винтовку, свой мешочек с солдатским хлебом и топтался на месте, постукивая ногой об ногу, и дрожал на холодном ветру, как он это делает и теперь, — то есть таскал каштаны из огня для других. Так же и слепой музыкант, обычно присоединяющийся к нему около одиннадцати часов (его приводит за руку восьмилетняя дочка), с жестяной табличкой на шее: “Отец семейства, лишился зрения на войне”, — ведь и он, вместе с ни в чем не повинным продавцом горячих каштанов, тоже таскал каштаны из огня для других. Тогда им было хорошо. Гораздо лучше, чем теперь!

Единственной заботой в то время было как следует смазать вазелином свою винтовку системы “манлихер”, начистить ваксой ботинки, туго затянуть пояса шинели и оправить ее согласно правилам воинского устава. То были золотые, идиллические военные денечки! Или вот крикливая продавщица идет, старая, беззубая — всегда на одном и том же углу она выкрикивает с утра до вечера название одной и той же газеты, как старый осипший фонограф, — наверное, лет пятьдесят тому назад она приводила сюда своего отца, отца семейства, ослепшего в битве при Сольферино, при Кустоце или Маджженте, и он играл тут на своей цитре *La Paloma* и дрожал от холода при температуре минус семь по Цельсию, как дрожит сегодняшний слепой. А потом и сама она вышла на улицу — третьеразрядный товар, продавщица газет — и стала неуклюже, по-куриному прыгать вокруг прохожих в своем грубом полотняном балахоне и толстых шерстяных носках, подвязанных под коленками розовой ленточкой. Наконец докатилась до этого вот угла и отчаянно вопит уже здесь; голова у нее замотана каким-то бурым шерстяным платком, и видно, как пар замерзает у нее во рту и в ноздрях.

Не знаю, откуда это взялось, но я уже много раз читал и слышал, что Вена — город вальса и веселья. На мой взгляд, в этом городе все печально, начиная с чадящего, желтоватого северного освещения и кончая склизким серым гранитом. А бесконечные тысячи и тысячи рабов, что страдают на улицах, выпрашивая корку хлеба! Авторы путевых заметок и рассказов о Вене часто цитируют синьорину Джованну Карьера, которая в середине восемнадцатого века писала своей матери в Венецию письма из Вены, сообщая, что Вена — город, где нет места ни печали, ни

ревматизму. Изо дня в день я наблюдаю массы грустных, недовольных прохожих, а в трамвае каждый второй скрючен и сутул. О, эти жуткие, адские вагончики, в которых на каждом стыке рельс дребезжат стекла! В этих стеклянных коробках толкают друг друга истерики, больные зобом, чахоточные, страдающие близорукостью в очках со стеклами в палец толщиной, дегенераты с открытыми ранами, нетерпимые и раздражительные, или огромные жирные туши, какие-то спящие, заплывшие салом типы, у которых подбородки свешиваются с воротников, как кошельки или гульфики, набитые жиром. Во всем какие-то дьявольские диспропорции. У одних пассажиров — скрипучие, скрытые под брюками железные протезы на пружинах, в то время как другие похожи на объевшихся, астматических трутней.

Так течет уличная жизнь. Вопят газетчики, дымятся печки продавцов каштанов, слепые играют на цитрах, рычат и жестикулируют глухонемые, гремят трамвайные звонки, сверкают ярко освещенные витрины, полные предметов роскоши, — так живет центр большого города, кварталы Ринга и Оперы, еще недавно бывшие городскими укреплениями, вроде замка в Карловци или крепости в Петроварадине. Предместья же дунайской столицы пусты и печальны. Замерзшие болота в зеленовато-сером освещении подслеповато посверкивают в дыму, испускаемом фабричными трубами. Там разбросаны деревянные лачуги нищих и рабов, крытые досками или пропитанной дегтем бумагой, точь-в-точь как у нас на Завртнице или в Заселке; а в грязных, отвратительных многоэтажках окна расположены криво, в виде скошенных параллелограммов, словно на рисунке какого-нибудь безумного иллюстратора сочинений Федора Достоевского.

Здесь протекает Дунай и желтеет обнаженная земля, по которой при таком же освещении скакала кавалерия в битве при Аустерлице, как это описал по-стендалевски прозрачно Толстой в "Войне и мире". По замерзшим болотам катаются детишки — как и полагается в нищей провинции, на одном коньке, тут же гогочут гуси и где-то в углу хрюкают свиньи. Это уже деревня, провинция, простирающаяся до Линца и Пассау — соломенные крыши, гармоники, свиноводство. После Пассау соломы вы уже не увидите. Это уже Европа. Здесь в предместьях живут массы безработных. Длинными вереницами, с флагами и транспарантами они направляются в город, где безмолвно и вызывающе стоят всю вторую половину дня перед эллинским зданием парламента, точно перед каким-нибудь античным храмом. Обнаженные эллинские герои и боги в золотых шлемах, как, впрочем, и бронзовые генералы на уличных памятниках, тоже стоят неподвижно и не понимают, что нужно этим рабам из северных предместий.

Laurum militibus lauro dignis[1].

Все покрывается инеем, дует ветер, с желобов свисают сталактитами ледяные свечи сосулек, граждане в центре города торопятся на какую-нибудь комедию Ференца Мольнара или же на "Тангейзера". Это называется "искусство ради искусства". Это — бегство от "мерзкой, варварской действительности в вечные сферы Прекрасного". А когда процессия отчаявшихся и больных демонстрантов под вечер возвращается обратно в предместья, на улицах уже зажигаются лимонно-желтые газовые фонари и становится тихо и печально, как на похоронах.

1. "Лавры — воинам, достойным лавров" *(лат.)*.

Я стоял в предместье, смотрел на возвращающуюся из города процессию безработных и думал о том, что, если бы здесь появился некто совершенно независимый, способный мыслить на уровне высшей объективности, своего рода последнего знания, и если бы такой прохожий или путешественник остановился рядом со мной на улице и смотрел на эту вереницу людей при этой освещенности, чужеземец, но не такой, как я, вынужденный и здесь зарабатывать и весьма ограниченный в средствах, а тот, кто пустился в пророческое путешествие, подобно Данте, и оказался на одном из витков спирали, находящемся недалеко от самого дна, от ада, – он бы наверняка глубоко вздохнул, повернулся и постарался бы удалиться без слов, торопясь поскорее оказаться подальше от всего этого. Если бы он стоял рядом и смотрел на все происходящее, между нами мог бы состояться следующий диалог:

– Что означает этот черный застекленный экипаж с четырьмя фонарями, что стоит на улице? – спросил бы неизвестный путешественник, не без страха поглядывая на похоронную карету третьего разряда.

– Это похороны по третьему разряду. Человек умер, и теперь его везут хоронить. Он застрелился от безнадежности.

– Не может быть! А что означает это шествие женщин и детей с флагами?

– Это – безработные. Они хотят работать, но в стране экономический кризис. Понимаете? Три миллиона голодают. У нас это называется экономическим кризисом. У нас были войны, катастрофы, поражения, вот почему так обстоит дело.

– А эти мужчины, почему они все такие мрачные? Чем они живут?

– Они голодают, господин мой.

– Голодают? Но я видел в центре города огромные количества всевозможных яств! Там все завалено продуктами. Как это возможно?

– Такой у нас общественный порядок, дорогой господин!

– Странно! Странный общественный порядок! А почему вон в том доме играет музыка?

– Там таверна. Там люди пьют. Они пьют и одурманивают себя алкоголем. Вино – это своего рода яд, который действует на наши нервы, и на полчаса человеку кажется, что жизнь его немного легче, чем она есть на самом деле. Это некий самообман.

– Ну, ладно. А что означает этот грохот?

– Это – звон колоколов. Это – огромные гонги, которые люди подвешивают в специальных помещениях, выстроенных в честь нашего Бога. Он хотел, чтобы не было недовольных, чтобы люди не убивали себя от безнадежности, – вот его и убили, растерзали, а теперь опять прославляют.

Когда я намекнул на историю Христа, мой чужестранец откровенно изумился. Он уже слышал имя этого человека.

– Но мне кажется, что это продолжается уже две тысячи лет!

– Да-да. Примерно так.

– Однако странная же порода вы, люди! Как неудобно и неловко жить при ваших цивилизациях. Представьте воочию, насколько кошмарна эта улица в пригороде, эти похороны по третьему разряду на фоне процессии безработных, при ярком свете из окон трактира, под звуки колоколов в честь истерзанного Бога, в которого никто не верит! Я чужестранец, я здесь ненадолго, и я счастлив, что мне не суждено жить в этих местах. Я удаляюсь немедленно и никогда больше не вернусь в этот ад!

Чужеземец исчез, как привидение, а я остался на улице, продолжая наблюдать вереницу безработных, и думал о том, каким мужеством надо обладать, чтобы задержаться на этом плотном и шершавом земном шаре в условиях нашей гнусной цивилизации.

Я направился в трактир. Он назывался "Далматинский погребок". Там пили красное далматинское вино железнодорожники, грузчики и просто бродяги.

Но не только "Далматинским погребком" обозначили мы свое присутствие в имперской столице. В центре Вены, недалеко от Бурга и бывшей придворной библиотеки, размещены большие вывески: "Адриатический банк", "Юго-банк", "Славянский банк".

В *Дрездене*
(*Мистер* Ву *Сан-пэ интересуется сербско-хорватским вопросом*)

Дрезден – город, в котором статуи королей держат в руках книги, а королям даются такие необычные эпитеты, как, например, "мудрый и справедливый". Дрезден – город, который в моей памяти связан с дрезденскими медовыми пряниками, тесто которых пахло очищенным медом, и как только я вспоминаю эти коричневатые пряники, вокруг меня начинают, сильно и на низких нотах, как пчелы, возвращающиеся в улей с ношей пыльцы, жужжать сценки из раннего детства. С Дрезденом меня связывает также воспоминание об одном ныне покойном гимназическом товарище. Его дядя погиб в Китае во время восстания боксеров, а бабушка его была родом из Дрездена. Однажды, когда после пасхальных каникул он вернулся из Дрездена, я написал за него домашнее сочинение "Мое путешествие в Дрезден", и он получил "отлично". Я тихо ликовал, когда наш учитель вслух зачитывал это сочинение всему классу. Это был мой первый крупный литературный успех! Помню, я упомянул в этом сочинении, что Дрезден – "немецкая Флоренция" и что Цвингер – "прекрасное недостроенное здание эпохи барокко". Теперь, стоя перед дрезденским Цвингером, я невольно вспомнил об этом сочинении, о своем покойном приятеле, о том, что Дрезден – "немецкая Флоренция" и что Цвингер – "прекрасное недостроенное здание эпохи барокко". Вспомнил я и о своем менторе и учителе Шопенгауэре. Старик собирал маргаритки на лужайках вокруг Дрездена и приходил в отчаяние от узости горизонтов своей фарфоровой эпохи, укрытой за стеклом, как бокал в бидермайерской витрине. И вот в таком растроганном состоянии духа, в окружении хорошо знакомых предметов и событий, меня застиг врасплох господин Ву Сан-пэ, который подошел ко мне и спросил, где находится Цвингер.

Как порядочный европеец, лучше знакомый с Цвингером и с Дрезденом, чем господин Ву Сан-пэ, который в конце концов не ел в детстве дрезденских пряников и не является последователем философа из этого города, а также не писал домашних сочинений о Цвингере, "прекрасном барочном здании", я повел себя с ним как европеец, хозяин, и целый день ему рассказывал о Европе. О нашей европейской истории, о будущем нашей Европы, о проблемах европейской культуры. Я повествовал синтетически, интегрально. Когда же вечером этого дня китай-

ский господин узнал, что я не немец и, более того, не европеец, его это весьма удивило.

— Ах, вот что? Вы не немец? Откуда же вы?

— Из Югославии, господин Сан-пэ!

(В это мгновение, в том расположении духа, в котором я находился, мне показалось глупым заниматься самопровокациями и говорить господину Сан-пэ правду. Я забыл, что существует сербско-хорватский вопрос и что Югославии нет, но существует "Эс Ха Эс". Именно в смысле Конституции, принятой в День святого Вида: королевство Эс-Ха-Эс (Сербов, Хорватов и Словенцев). Потому что, в конце концов, не бывает государств, которые назывались бы иначе, чем они называются. Итак: королевство СХС. Поскольку у меня не было намерения никого провоцировать, я все-таки продолжал вранье в духе какой-то воображаемой югославянской идеи, четко осознавая, как омерзительно я лгу и обманываю китайца. При этом я вспомнил, что мы таким образом лжем и обманываем мир и самих себя, утверждая, будто существует нечто, чего вот уже более шестидесяти лет нет, и глубоко вздохнул. У меня не хватило характера не солгать. Таким образом, в основе югославянской идеи еще раз оказалась ложь.)

— О, иес, иес! Чекославия! Президент республики — господин Бенеш-Масарик!

— Нет-нет, господин Ву Сан-пэ! Вы заблуждаетесь! Югославия — это не Чекославия. Чекославия — это Чехословакия. Словакия, Словения, Славия, Славония, Югославия, Чехословакия — это все разные страны, разные народы, разные государства.

— Странно! Неужели? А так похоже звучит. Панславия!

(А именно, мы только что разговаривали о паневропеизме Калерги[1], о чем господин Ву Сан-пэ читал несколько дней тому назад. Это тяготение к масштабному синтезу несло в себе нечто азиатское. Калерги — японец по матери, а ведь у всех у нас, у псевдославян, более или менее узкие, монгольские глаза. Сколь бы ни была мне симпатична и близка эта точка зрения, я вспомнил о наших эс-ха-эсовских различиях и не мог не упомянуть о них.)

— Панславия — это романтическая мелкобуржуазная иллюзия прошлого века, господин Ву Сан! Югославия — это не Чекославия. Чекославия — республика, а Югославия — королевство. Республика Чекославия отстоит от королевства Югославии километров на пятьсот. Это два государства. Две разные страны, так же как Бенеш и Масарик — два разных человека! Два министра, два философа. У каждого из них своя особая философия.

— Простите меня, — извинился благонамеренный китаец. — Я ни в коем случае не хотел вас задеть. Но вы, мой достопочтенный и дорогой друг, поймите, что из нашей, китайской, перспективы — а дистанция между нами составляет десять-пятнадцать тысяч километров — эти пятьсот километров не имеют существенного значения. На таком расстоянии два персонажа могут показаться одним человеком, — добродушно прибавил господин Ву Сан-пэ с чуть заметным оттенком иронии, так что я с трудом удержался от усмешки. Подумав, что я обиделся, он решил заполнить паузу вопросом, заданным скорее из вежливости, с явно наиг-

1. Рихард фон Куденхоф-Калерги (1894—1972) — австрийский политический деятель, автор проекта пан-Европы.

ранным любопытством: — Так вы, значит, из Югославии? Из Югославии? Да? Хе-хе!

— Хе-хе! — Мне было ясно, что он понятия не имеет, где бы могла находиться эта самая Югославия, и поэтому я хохотнул, на этот раз вслух. Смешно, да, смешно ничего не знать про Югославию. Хе-хе!

— Хе-хе, никак не могу припомнить, где может быть расположена эта ваша Югославия. Я слабо ориентируюсь в послевоенных границах. В Европе сейчас все поставлено с ног на голову!

— В Европе сейчас как раз многое расставлено по своим местам, господин мой, — послышался из моих уст патриотический возглас в духе Версальского договора, который я решительно не одобряю со дня его подписания; однако разговор с китайцем заставил меня вступить в противоречие с самим собой. — Югославия — балканская страна. Балканы, господин Ву Сан-пэ!

По водянисто-голубому рыбьему взгляду Ву Сан-пэ можно было заключить, что он уже слышал о Балканах, но что он не в силах разобраться во всех этих европейских островах и полуостровах и сейчас блуждает в тумане. (Точно так же, как на европейца наводят туман такие имена, как Тон-кин, Хай-нан, Шан-тунг, Ля-тунг, Бал-кан.) Поэтому мы встали, подошли к географической карте, висевшей в холле отеля, и я нагляднейшим образом объяснил Ву Сан-пэ, что такое Балканы и где расположена Югославия. Демонстрируя китайцу географическое положение нашей страны между Веной и Константинополем, я уже не в первый раз понял ту бесспорную истину, что в европейских школах географию преподают глупо, схематично и ограниченно. Мы считаем Европу безусловным и твердо укорененным центром мира, а все прочее для нас второстепенно, точно так же, как для венгерских детей всегда было второстепенным все, что не является Magyarország[1].

С точки зрения господина Ву Сан-пэ, Европа — нечто вроде виноградной грозди, привешенной к Иберии; во время этого географического экскурса я с необычайной четкостью осознал относительность нашего европейского взгляда. Вот стоит господин Ву Сан-пэ, за ним — тысячи и тысячи лет богатейшей истории его страны, о которой мы не имеем ни малейшего представления. У них — Китайская стена, фантастическая архитектура, необъятные плантации чая и риса, производство туши и лака, красок, шелка, старинные цивилизации с их мудрыми религиями, газовым освещением и книгопечатанием во времена нашей дохристианской эпохи, изобретение компаса, колониальные захваты через Тихий океан, фарфор, майолика, воздухоплавание, астрономия, лирика. Я же здесь представляю цивилизацию романов Загорки[2] "Колдунья с Грича" и "Общество хорватских дам времен Катарины Зриньской". При этом, естественно, я происхожу из европейского центра и удивляюсь, как это господину Ву Сан-пэ неизвестно, что город, где я имел честь родиться, является центром мира и цивилизации.

— Так, значит, Балканы? Это интересно! Осмелюсь спросить, а вы какой национальности?

Я почувствовал, что кровь прихлынула к моему лицу. Мне всегда неудобно, когда меня спрашивают, какой я национальности. В самом деле! Кто я, собственно, по национальности? В начальной школе, когда мы

1. Венгрия (*венгерск.*).
2. Мария Юрич-Загорка (1873–1957) — хорватская писательница, автор популярных исторических романов.

били стекла на вокзале, выкрикивали "Позор!" в адрес венгерского бана, все мы были героями, как Степко Грегориянац из романа "Сокровище ювелира"[1], – тогда я был хорватом, сторонником Старчевича и Кватерника, твердокаменным сторонником программы хорватских максималистов. Исключительно хорватом. Хорватом во всех отношениях. Сверххорватом. Потом, во времена Риекской резолюции, мы кричали "Вон!" бану Ракоци и стали схоластическими сторонниками коалиции сербов и хорватов, мы носили на руках мудреца нашего и отца родного Джюру Шурмина. Затем мы стали либералами, космополитами, прогрессистами, потеряли интерес к национальному вопросу и стали читать журнал "Звоно" ("Колокол"), издаваемый Милчеком Марьяновичем, который получил прозвище Герцен.

Мы побывали и югославянами в узком, то бишь культурном смысле слова: каждый из нас тащил за собой на веревке гипсовую лошадь Королевича Марко, вылепленную в репрезентативных целях, во славу нашего народа скульптором Мештровичем. Отечество наше прекрасное было для нас в те времена арией из "Лючии де Ламермур" Доницетти, а к иллирийцам мы причисляли и фракийцев, и валахов, и каноников, и черно-желтую проавстрийскую компанию дворян во главе с фон Гаем. Мы были сербами, мы жаждали отомстить за Косово, мы были панславистами и говорили о славянстве как о едином органическом целом. Мы славяне! От Аляски до Стеньевца! Мы – гуситы, ратники Господа Бога. Мы – Подбипьенте и Кмицици. Мы – пан Володыевский и Достоевский. Мы – Толстой и Соловьев. Мы перестали признавать существование хорватов во времена Австро-Венгрии, мы не желали знать этих францисканских черно-желтых выродков, а за границей притворялись сербами. (Помню, как я однажды, будучи на французском пароходе, целое утро спорил с каким-то геодезистом, пытаясь объяснить, что я не австриец, а хорват. Я ему толковал об итальянской Ломбардии времен Пьемонта, о жаждущих свободы Эльзасе и Лотарингии, но он был не в состоянии понять, кто же я. Тогда я в ярости выкрикнул, что я серб, и он все понял и поздравил меня с успехами нашей славной артиллерии. Итак, мы были сербами, убийцами Обреновича, мстителями за Косово, пьемонтцами! Но потом мы дождались своего Пьемонта, и вот теперь мы уже не пьемонтцы. Мы пережили панславизм графа Бобринского, Врангеля, Распутина и Николая. От этой идеи, положа руку на сердце, тоже осталось не так уж много.

Так кто же мы теперь? Австрия развалилась, следовательно, мы больше не австрийцы. Мы не сербы, потому что зачем врать, раз мы не являемся сербами. Мы не югославяне, потому что если югославянство представляет воевода Степа Степанович или монополизировавший эту идею Юрица Деметрович, то ни один разумный человек не захочет быть в такой компании. Остается нам только посыпать главу пеплом и вернуться под сень своей превосходной, неоднократно оплеванной хорватской идеи, в честь которой Степан Радич, будучи в подпитии, вот уже тридцать лет произносит одну и ту же здравицу.)

– Какой я национальности, мистер Ву Сан-гуэй? Я – хорватский выкрест, конвертит.

(Сначала я хотел объяснить китайцу, что у меня вообще нет национальности. Что я принадлежу к языковому региону, который еще не

1. Роман хорватского писателя Аугусто Шеноа (1838–1881).

сформировался. Потом мне пришло в голову солгать, что я серб. Ведь в этом случае мой собеседник с вежливым поклоном скажет несколько комплиментов в адрес "нашей сербской артиллерии", и проблема разрешится вполне гармонично, как нам предписывают международные нормы, принятые в Женеве Лигой Наций.)

– Это интересно! Вы – хорватский конвертит! А что это значит? Я никогда не слыхал о такой религии.

– Хорваты, мистер Ву Сан-пэ, – это не религия, а национальность! Это как тело без костей. У нас даже продают в пропагандистских целях спички с надписью, что мы народ без национальности, мясо без костей. В нашей столице в ресторанах наклеены официальные призывы к хорватам говорить по-хорватски. Я один из тех, кто сначала добровольно отказался от своей национальности. А теперь, в эпоху национального возрождения, я вернулся в свою веру и внял голосу плаката, висящего в ресторане. Сегодня я опять говорю по-хорватски. Итак, быть хорватом – это вопрос языка.

– Невероятно интересно! А разве вы до того говорили по-кельтски, как ирландцы?

– О нет, господин Ву Сан-пэ! Мы говорим по-сербски. По-сербски! (Я хотел было сказать "по- югославянски", но это уже была бы дурацкая, откровенная ложь. Ведь югославян много, а югославянского языка нет.)

– По-сербски? Очень, очень интересно. Но ведь вы, кажется, сказали, что вы из Югославии?

– Да-да, я из Югославии. Но Югославия – государство многих национальностей. Это государство состоит из разных народов. А среди них есть сербы и некоторое количество хорватов.

– О сербах я уже слышал. У них славная артиллерия. И еще у них есть один скульптор, который, как Джотто, до шестнадцати лет был пастухом. Так вы, мистер, происходите из Сербии? Это талантливая страна.

– Нет! Я – не из Сербии! Я – из Хорватии. Вернее, я – из Сербо-Хорватии. Или из Хорвато-Сербии. Собственно, из государства СХ (я нарочно не упомянул титул словенцев, а то, если добавить еще одно "С", китаец окончательно запутается в лабиринтах проблем нашего государственного творчества). Я – из Сербо-Кроации. Из Кроато-Сербии.

– Так вы не из Югославии?!

– Да! Я – из Югославии. У нашей державы несколько названий.

– А, значит, ваш народ – неодноименный народ, а ваша держава – неодноименная держава! Странно.

– Мы такие же неодноименные, как бритты из Канады и Техаса. Они американцы и бритты, но не англичане. Один язык и две нации. Как провансальцы и эльзасцы. Как бельгийцы, как корсиканцы. Фламандцы и нидерландцы. Датчане и жители Ганновера. Шведы и норвежцы.

– Как все-таки у вас, в Европе, все запутано!

– О, мистер Ву Сан-пэ, этот запутанный Вавилон создан в результате развития нашей столетней культуры!

– Ну, хорошо. Вы утверждаете, что говорили на сербском языке, а потом перестали на нем говорить. А на каком языке вы говорите сегодня?

– На хорватском! Сегодня я говорю по-хорватски. Сербия – это государство и артиллерия, а Хорватия *была* государством, но в те времена артиллерии еще не было (это было тысячу лет тому назад).

— Так! А как вы отличаете сербский язык от хорватского?

— По акценту, господин Ву Сан! По ударениям. Сербы делают ударение на первом слоге, а хорваты обычно делают ударение на втором или на третьем слоге. Или наоборот! Кроме того, имеются "количественные" различия в протяженности некоторых гласных звуков, но их может различить только сербско-хорватский слух.

— Следовательно, это в некотором роде субъективные, национальные различия в акцентуации? А существуют какие-нибудь особые значки для обозначения таких ударений?

— Существуют, но только в древних книгах, и эту тайну хранят несколько священнослужителей высшего ранга.

— Значит, эта ваша акцентуация — тайна за семью печатями?

— Да-да, именно так.

— И это — единственное, что вас разделяет?

— Нет, не только это. Нас разделяет еще и Бог!

— Как это — Бог? Во всем мире Бог объединяет народы, а не разделяет.

— А вот у нас, видите ли, как раз наоборот. Сербы печатают на своих банкнотах девиз: "Бог хранит Сербию". А хорваты верят, что Бог с ними: "Бог и Хорваты"! Пока не решено, на чью сторону склонится Бог. На хорватскую или на сербскую.

— Непонятно! Так у вас два Бога и один народ или два народа и один Бог?

— Два народа и один Бог.

— Странно. Как может один и тот же Бог разделять два народа?!

— Может. У нас две церкви и один Бог. Хорваты верят, что женщина может родить ребенка, будучи девой, а сербы, исходя из своего опыта, утверждают, что это невозможно. До сих пор еще ни одной сербке не удалось родить ребенка, оставаясь девицей.

— А хорваткам это удается?! Фантастика! Да ваши хорваты — просто какая-то эзотерическая секта!

— Видите! Эти две основополагающие догмы раскололи хорватов и сербов на два лагеря. Борьба вокруг этой женской проблемы продолжается уже более тысячи пятисот лет.

— Не может быть!

— Так и есть! Кроме того, не решен вопрос о том, сербы ли освободили хорватов или хорваты сербов.

— Что значит *освободили*?! Значит, это вопрос политический?

— Естественно, политический! Сербы оккупировали хорватов с помощью пушек и генералов. Как вам известно, у них великолепная артиллерия.

— Значит, была война между сербами и хорватами?

— Видите ли, дело именно в том, что между сербами и хорватами никогда не было войны. Сербы *освободили* хорватов и сразу же их *поработили без войны*. Война началась сразу после заключения мира.

— Но это же парадокс! Как может война начаться в мирное время? Но вы утверждали, что и хорваты тоже освободили сербов и что неизвестно, кто кого освободил?

— Да! Хорваты — миротворцы, своего рода последователи Ганди, они республиканцы. Они освобождают сербов от таких конституционных факторов, как артиллерия и сербская свобода. Освобожденные и порабощенные, они, будучи порабощенными, освобождают освободите-

лей идеей мира, республиканскими идеями, миролюбием, и таким образом из миротворцев превращаются в завоевателей!

— По-моему, тут одни сплошные противоречия!

— Мистер Ву Сан-пэ! Вы не знаете современной европейской философии. Например, Гегель. Вы когда-нибудь слышали о Гегеле? Жаль. Наше европейское развитие и прогресс базируются на противоречиях. Тезис сербов гласит: я принадлежу к сербскому народу! Сыр — это сербский сыр, лук — сербский лук. Сербское героическое прошлое, сербский язык, сербская династия, сербский табак, сербская свинина, сербская литература, сербская победа, сербская вера, сербский Бог, "Сербский литературный вестник". Хорватский антитезис заключается в следующем: я принадлежу к хорватскому народу! Первая хорватская сберегательная касса, первая хорватская прачечная, общество хорватских писателей, первый лозунг "Хорватия — хорватам", Первое хорватское единение, первый Союз хорватских трактирщиков, пожарных, мелких торговцев и продавцов содовой воды. Это — антитезис. Тезис и антитезис дают синтез.

— А что такое синтез?

— Синтез — это югославянский народ! Кто не верит в синтетическое югославянство, тот изменник родины, и кто такого изменника родины застрелит, тот герой, мотор, инициатор объединения; тот гениальный государственник, представляющий идею объединения, как Мадзини, как Кавур. Как Светозар Прибичевич!

Далее я рассказывал китайцу Ву Сан-пэ о динарском антропологическом типе, о типах паннонском, моравском и вардарском, об ответвлениях и влиянии ренессанса и барокко, о великом европейском пути на Восток, причем все это я вещал, приподняв голову и патетически возвышая голос, слегка прикрыв глаза, стремясь уверить китайца, а в какой-то мере и себя самого, что мы — гениальная раса, талантливая раса, раса будущего, народ молодой и многообещающий, как гимназист седьмого класса. И все это было неправда, все это было притворство и ложь, похожая на предисловие к какому-нибудь каталогу для нашей художественной выставки за рубежом, в котором говорится о десятисложном размере народного стиха, о Джотто, о пастухах, о нашей расе, о ее призвании и о великой пророческой миссии нашего поколения.

Через печальную Литву

По мере продвижения от Берлина к Эйдкунену, что на литовской границе, с каждым километром все больше чувствуется Азия. Железнодорожный вокзал в кантовском Кёнигсберге при желтоватом свете раннего утра кажется сквозь копоть точно таким же несимпатичным, как вокзал в городе Сисак. Из Европы с ее борделями возвращаешься назад, в зону Паннонии, как будто едешь по Балканам с юга на север. После чисто выметенных станций под крышами, с фарфоровыми табличками, музыкальными автоматами, автоматами, продающими шоколад, с огнетушителями — открытые перроны, покрытые сажей котельные, снежная метель, бьющая по вагонному окну, скатерти со следами пролитого кофе и доллар в качестве международной валюты. На станциях белые польские орлы на красном фоне, звон кавалерийских шпор, мундиры, вооруженные люди, таможенники, границы, международное политическое

положение — о нем напоминают какие-то деревянные времянки, сторожевые будки и типично солдафонская обстановка, словно проезжаешь по военному лагерю. Солдатские котлы, пломбированные вагоны, вооруженная пехота — человек, едущий с Балкан в Москву, перепрыгивает границы, как лошадь, преодолевающая препятствия на скачках. Балканское препятствие, потом австрийское христианско-социалистическое, барьер Масарика, забор Эберта-Носке-Стиннеса, польский с двуглавым белым орлом и уланскими флажками, восточно-прусский барьер Гинденбурга и, наконец, заборы литовский и латвийский. Лига Наций отгородила Балканы от России восемью рядами колючей проволоки, и кто не верит в блокаду, пусть проедется до Москвы, этого жуткого центра большевистской заразы, огороженного восемью европейскими карантинами. Такой путешественник сможет лично удостовериться, что чемоданы открывают восемь раз и при этом изымают все сомнительное — людей, мысли, книги, газеты, все, вплоть до туалетной бумаги.

Чем дальше на Восток, тем более из зоны спальных вагонов углубляешься в зону оголтелого национализма и невыспавшихся людей, которые зевают от усталости и чувства беспомощности перед ударами судьбы. У них зеленоватый цвет лица, они примитивны, потому что лишены элементарных удобств, таких, как, например, папиросы с золотым мундштуком и утренний кофе, отравленный желтой печатью, футболом и политикой; здесь люди живут на черной пахотной почве вместе с коровами, как скотоводческие племена, как в Чулинеце, как в Азии. Раньше вам чаще всего встречался тип, который ровно в одиннадцать часов проглатывает свой "брёдхен", курит папиросы "Батшари" или "Масари", голосует за "Немецкую национальную партию" (DNP) или "Социал-демократическую партию Германии" (SPD), путешествует с чемоданом из вулканизированной древесины, не переставая твердит о мощи своего народа (как граммофон, в точном соответствии с передовой статьей своей ежедневной партийной газеты) и вообще ведет жизнь упорядоченную и четко регламентированную. Однако, по мере продвижения к Востоку, вам то и дело попадаются люди в неустроенном первобытном состоянии, которые не движутся по проложенным рельсам, но продолжают гнить и страдать неорганизованно, испуская при этом вздохи тщетные, не урбанизированные, азиатские.

В Эйдкунене поезд пересекает границу Восточной Пруссии и затем у Вирбалиса (Virballen) переезжает на территорию республики Летувы, прежнего княжества Литовского, ныне страны без столицы, потому что Вильно принадлежит полякам, а Каунас (Ковно), старая русская крепость на Немане, производит впечатление скорее некой импровизации, но не главного города суверенной балтийской республики. Литва — это неостывший котел русско-польско-немецко-литовско-еврейских противоречий, и при наличии открытой проблемы польского Гданьского коридора и зоны вокруг Вислы вся Литва есть не что иное, как еще один барьер в карантине, охраняемый статистами Версальского мира в знакомых английских шинелях цвета хаки и мундирах, похожих, пожалуй, на греческие. Печальная Литва с полуразвалившимися хижинами под соломенными крышами, с распаханными полями, с разбросанными участками леса во многом напоминает наше милое отечество — Хорватию.

В ее главном городе Каунасе выходит семь ежедневных газет, в парламенте верховодят клерикальные аграрии и бароны, а вся земля слева и справа от полотна железной дороги изрыта траншеями. Тому, кто был в

Галиции, это напоминает Коломей и Рожнатов[1]. Холмики над могилами павших героев с покосившимися крестами, на которых сидят жирные вороны, ветряные мельницы, ясные горизонтали света над равниной — все это производит грустное впечатление. Гнилая желтоватая глина, заплаты подтаявшего снега, грязноватая разлившаяся вода, леса вдали и крестьяне с круглыми, румяными, одутловатыми лицами, пасущие скот, посасывающие свои трубочки и то и дело сплевывающие, — все это навевает меланхолию, свойственную туманным, дождливым дням. В вагонах душно, как в парной бане; все вентили в поезде выпускают густой белый дым.

Рядом со мной сидела молодая женщина не старше двадцати лет. У нее было припухшее лицо с выдающимися скулами и губы, отекшие и яркие, как разлившаяся кровь. Она судорожно сжимала руки, лежавшие на коленях, и ломала пальцы. От этих непрерывных движений и от волнения кровь приливала к кончикам ее пальцев, и потому ногти у нее казались еще более черными и грязными, чем они, наверное, были на самом деле. Она все время что-то искала в муфте, напрягая вспотевшие руки с набрякшими венами, вытирала лицо грязным платочком, терла брови косточкой большого пальца и глубоко вздыхала, прислонившись головой к зеленоватому вагонному стеклу. За этим небольшим старомодным окошком русского вагона третьего класса, свежеокрашенного красновато-коричневой, еще пахнувшей масляной краской, медленно проплывали предметы: телеграфные столбы, поля, пашни, иногда какая-нибудь полуразрушенная изба, из трубы которой выходил стлавшийся по земле дым.

С усталым и безнадежным видом прислонившись к стеклу, женщина провожала своими беспокойными, заплаканными глазами стаю ворон. На ней был воротник из облезлого желтоватого меха и точно такая же муфта. Клочья меха от муфты сыпались на юбку, обтягивавшую ее полные женственные бедра. Шляпа у нее была украшена промокшим зеленым пером, которое все время падало ей на щеку, описывая одну и ту же кривую, и дама в ритме вагонной тряски время от времени поправляла это перо и узел густых волос на затылке, скрепленный простой шпилькой с крупным фальшивым бриллиантом. Напротив сидел, сгорбившись, мужчина старше ее лет на тридцать в низко надвинутом потертом полуцилиндре, рваных калошах и старой, поношенной шубе. Наклонившись и опершись правым локтем на колено, он что-то шептал своей молодой спутнице. Голос этого немолодого человека (ему было явно за пятьдесят) нервно подрагивал, его рыжие жесткие торчащие усы подпрыгивали над верхней губой с каждым произнесенным словом. Он говорил тихо, но в его шепоте слышалась ласка и затаенное сладострастие, и в то же время подавленность, и попытки убедить ее в том, что ему самому казалось нереальным. Женщина вздыхала, слушала его невнимательно, не переставая смотреть в окно на лес и облака, и откусывала шоколадку, обернутую в мятый станиоль. Они говорили по-русски, и мне показалось, что речь шла о беременности и о сложностях, которые может принести новый человечек, заявивший о своем желании явиться на свет божий. Мужчина говорил, говорил и говорил. Он доставал из карманов шубы все новые и новые шоколадки, разворачивал их и с готовностью подавал своей даме, а та все жевала, вздыхала, поправляла перо на шляпе, что-то искала в муфте, утиралась платочком, и видно было, что ей тяжело и что она не очень-то верит словам своего спутника. Как вы-

1. Коломей, Рожнатов — городки в Галиции.

яснилось впоследствии, это были русские эмигранты. Он представился как полковник, а она — как генеральская дочь. Он — женатый человек, у него пятеро детей. Ей было всего одиннадцать лет, когда разразилась революция. И так далее и тому подобное...

Снаружи сгущались сумерки. Бесконечные могилы павших героев, линии стрелковых окопов, проходящие через пашни, время от времени артиллерийские укрепления и батареи. Серые тучи, из которых полосами зарядил снег, — все это было необычно. И в то же время уныло и тоскливо. На станциях из вагонов медленно, неуклюже высаживались крестьяне со своими женами, державшими в руках большие полотняные узлы. На одной станции побольше, наверное, близ какого-то городка, на платформе, освещенной ацетиленовыми фонарями, стоял целый отряд пехоты с музыкой. Таможенники, конные жандармы со шпорами, барышни и прочая типично провинциальная публика на перроне и в довершение всего генерал, прибывший нашим поездом, в честь которого и был выстроен отряд пехоты. Послышалась команда на литовском языке, ударили медные тарелки, генерал в золотых эполетах поговорил с какими-то штатскими и встал перед развернутой шеренгой. Поезд тронулся, но из полутьмы еще долго доносились отзвуки военного оркестра, под этим серым, нависшим небом с кружащимися вороньими стаями вызывавшие ассоциации с похоронным маршем. В вагонах зажгли довоенные масляные лампы с черными коптящими фитилями, дающими трепетный свет; по дощатым стенам сновали тени. Евреи в черных кафтанах поглаживали курчавые бороды; легендарные русские мужики, постриженные в кружок, сушили портянки, плевали на пол и ковыряли в носу...

В *спальном вагоне* Рига–Москва (*Примеры современной социальной мимикрии*)

Рига с массивными траверзами своих мостов, огромными черными пароходами, высокими типично курляндскими четырехэтажными домами в свете зеленоватых огней мерцала как освещенная сцена, представляющая веселую романтическую оперу.

С неба падали густые влажные, тяжелые снежинки. Позванивали колокольчики саней, все фонари словно были окутаны белой ватой, дети перебрасывались снежками, и все это, вместе с выкриками кучеров и пыхтением локомотивов под стеклянным куполом балтийского вокзала, двигалось в возрастающем темпе скерцо. Дамы в старомодных мехах и меховых шапках, словно с портретов постимпрессионистов или с картин Кабанеля, русские носильщики в белых фартуках, гудки русских паровозов, похожие на звук пароходной сирены, пестрота огней, крики возниц, гомон пассажиров — все это стремительно двигалось и звучало, как самый настоящий, классический Стравинский. На московском вокзале стоял уже готовый русский состав, с отоплением, с электрическим освещением, с проводниками, которые застилали постели в спальных вагонах чистыми белыми простынями. Русские спальные вагоны широкие, удобные, как пульмановские “слиппинг кар”, в них подают чай, в умывальниках есть горячая вода — наверное, для того, чтобы пассажи-

ры могли отмыть руки от пролитой крови. Проводник вагона в черной "большевистской" косоворотке уверял нас, что завтра на русско-латвийской границе в Зилупе к поезду прицепят вагон-ресторан, и объяснял по-французски одному англичанину разницу между литом и латом. Литы — это литовские деньги, а латы — латвийские. Рига — столица Латвии, и лат несколько дороже лита, хотя и тот и другой стоят немного. Поскольку Сербско-Хорватско-Словенское королевство не признало ни Литвы, ни Латвии, мне пришлось заплатить Латвии около восьмисот динар за транзитную визу без права пребывания в стране. Я устал от предыдущей бессонной ночи в поезде, и, кроме того, мне хотелось осмотреть город, из которого Рихард Вагнер бежал от кредиторов. Я направился к начальнику вокзального полицейского участка и попросил его предоставить мне право пребывания сроком на двадцать четыре часа. Но уже не в первый раз на берегах Балтики я имел честь убедиться, что устройство полицейских мозгов носит международный характер. Здоровенный унтер времен Тридцатилетней войны обгладывал гусиную ногу и одновременно пытался растолковать по-латышски нечто, чего я был не в состоянии понять.

Мой тезис заключался в том, что госпожа Латвия, взявши с меня восемьсот динар, могла бы мне предоставить ночлег в такую холодную, снежную погоду. Антитезис унтера заключался в параграфе, черным по белому изложенном в его инструкции. Вот так! Потом весь вечер меня преследовала мысль о том, почему во всех полицейских канцеляриях стоит один и тот же застоявшийся запах, соответствующий полицейскому образу мыслей, и почему плевательницы в них всегда засыпаны опилками? Интермеццо в полицейском участке нарушило радостное впечатление от снежного вечера в Риге. Всю ночь в вагоне мне снился незнакомый приморский город, весна, цветущие кусты и скрип флюгеров с позолоченными петушками, запах серебристого моря и смолы, но при этом меня преследовали черные горбатые мусорщики с грязными тяжелыми метлами.

...Не успели мы переехать русско-латвийскую границу и остановиться на русской пограничной станции Себеж, как ситуация в нашем спальном вагоне стала постепенно меняться. Пограничные власти сняли с поезда персидского министра вместе со свитой, и это крайне встревожило всех миллионеров нашего вагона. Господин Айерштенглер, крупный промышленник, производитель шелка из Шанхая, по собственной инициативе выбросил из вагона газету "Берлинер тагеблатт" и экземпляр "Ригаше рундшау", немецкого ежедневника, выходящего в Риге вот уже пятьдесят шесть лет, опасаясь, что таможенники и агенты ГПУ (Государственного политического управления, ранее "чрезвычайки") обнаружат у него это контрреволюционное издание. Нервозно демонстративный жест господина Айерштенглера оказался совершенно излишним, тем более что ни в газете "Берлинер тагеблатт", ни в "Ригаше рундшау" кроме сообщений о красных "revolverheld" я не нашел ничего такого, что могло бы заставить промышленника расстаться со своим интеллектуальным компасом. Тем не менее господин Айерштенглер в первые же минуты переезда антипатичной ему революционной границы отрекся от своей политической ориентации, как Петр отрекся от Христа в прихожей дома Каиафы. Я смеялся от всей души, потому что в эту самую минуту из курятника какого-то железнодорожного служащего прокричал петух. А делегаты рабочих из Гамбурга, которых до тех пор на всех станциях уво-

дили для обыска как подозрительных лиц, теперь радостно улыбались молодому красноармейцу, стоявшему возле нашего вагона и добродушно глазевшему на пассажиров из Европы, на "иностранцев". Госпожа Айерштенглер приветливо улыбалась своими серыми монголоидными глазами гамбургским рабочим и изо всех сил старалась завязать с ними разговор. Она угощала их папиросами, что-то говорила о солидарности путешественников, "связанных общей судьбой такого долгого пути", и неожиданно оказалась милой, общительной дамой. Торговец драгоценностями, армянин из Салоник, стал мне объяснять, что он, собственно, родом из Грузии и что он из сочувствующих партии. Он рассказал, что коммунисты ежегодно завозят в Грузию десять тысяч фордовских тракторов и что в Грузии все прекрасно. Он изобразил Грузию в таких розовых красках, что мне захотелось увидеть эту землю обетованную, поскольку Карл Каутский оплакивает ее судьбу под гнетом русских...

В привокзальном ресторане в Себеже господин Айерштенглер говорил с портовым грузчиком из Гамбурга о великом будущем Союза Советских Социалистических Республик. Когда Трансбайкальская магистраль достигнет уровня американских железных дорог и когда господин Айерштенглер сможет перебрасывать свой товар из Гамбурга в Пекин за четырнадцать дней, тогда Империя (Британская империя) может закрывать свою лавочку.

Но все эти уловки, напоминавшие мне поведение клопов при ярком свете лампы, без сомнения, переплюнул мой сосед-нэпман[1].

Своего будущего сотоварища по купе я заприметил еще в литовском консульстве, в Берлине. Крепкий, полный, невысокого роста мужчина в бобровой шубе, прибывший в наемном автомобиле без таксометра вместе с великолепной любовницей в дорогих мехах, в приемной литовского консульства от него веяло самоуверенностью и богатством, которого он не собирался скрывать.

На вокзал на Фридрихштрассе его провожала дама, укутанная в меха. Прошлой ночью я видел в красном коридоре международного спального вагона его силуэт в пестрой шелковой пижаме с разноцветными розами а-ля Людовик XV. (Ужас!) Входя в наше общее купе на рижском вокзале, он препирался с бородатым русским носильщиком, к которому обращался на "ты", относительно платы, причем напирал на совесть.

— Сколько тебе положено по тарифу?

— Два лата, ваша милость!

— А если по совести?

— Да не надо мне по совести, господин! Мне положено два лата!

— По совести, братец мой, по совести! Хватит с тебя пол-лата. Вот тебе! А теперь проваливай!

Итак, он дал носильщику "по совести" пол-лата и тут же заговорил с проводником, назвав его "товарищем". Я обратил внимание на то, что, когда он вошел в вагон в Риге, на нем уже не было бобровой шубы. Не было с ним и прежних первоклассных чемоданов. В купе он размещался подо мной, и я увидел в зеркале, что он укрылся плащом, предварительно перекрестившись на сон грядущий. Наутро он вышел в черной большевистской косоворотке и в сапогах. Он скупил все московские газеты

1. Нэпман — тип, появившийся одновременно с новой экономической политикой в 1921 году. Обычно синоним спекулянта. Этот термин стал международным: в Берлине я слышал слово "Neplokal", которым называют рестораны, чьи владельцы разбогатели во время войны или занимаются валютными махинациями. *(Прим. М. Крлежи.)*

и журналы, чтобы узнать, что нового дома, потому что, как он сказал, полгода не был на родине.

– Вы себе представить не можете, как приятно чувствовать себя на родине! Как приятно видеть эти русские буквы, – говорил он, листая атеистический журнал "Безбожник" и смеясь над карикатурами на нэпманов и прочих, с точки зрения советского строя, паразитов... Нет, вы посмотрите! СССР! Союз Советских Социалистических Республик! Как это прекрасно! Вы только посмотрите!.. Просто плакать хочется. Наш CCGP! – Так он восхищался буквами на железнодорожных вагонах. Он с восторгом читал передовую статью Сталина в "Известиях" и вообще вел себя как подлинный энтузиаст нового порядка. (Потом я узнал, что этот человек – один из самых отъявленных спекулянтов последнего времени.)

Итак, все мы оказались в вагоне-ресторане, где ели икру, дичь и пудинги. Мы пили чай, кавказскую минеральную воду "Ессентуки" и водку. Мы курили легкие русские папиросы и слушали в записи на фонографе Маяковского. Это уже не были бордельные песенки из маленького дорожного фонографа господина Айерштенглера. Не было ни шимми, ни джаз-банда. Из рупора огромного фонографа в вагоне-ресторане доносились стихи Маяковского в исполнении какого-то чтеца, обладателя глубокого баритона. Маяковский, подобно Мефистофелю, высмеивал буржуев.

Въезд в Москву

...Гёте писал об оптическом анализе красок, но, кажется, упустил из виду эротическую основу настроения, отражающего, подобно зеркалу, интенсивную вибрацию окрашенной поверхности. Во время путешествия (которое представляет par exellence эротическую гонку в пространстве) сексуальное воздействие цвета и запаха на людей проявляется с необычайной интенсивностью, ибо фантазия под влиянием динамического воздействия новых материальных впечатлений (видов, движения, природных и архитектурных красот) возвращает нас во взволнованное первобытное состояние детства, когда громко произнесенное слово способно вызвать поток слез, а появление красного мячика может избавить от зубной боли и от скуки дождливых сумерек. Когда вы путешествуете по городам и весям, сила запаха и цвета становится особенно впечатляющей, и далеко не безразлично, пахнет ли в момент вашего въезда в тот или иной город свежемолотым кофе, виднеются ли в синеватых сумерках контуры бронзовых статуй, предвещающих добрый поворот событий, или же льет дождь, струится туман и у первого же встреченного вами прохожего дырявая обувь, так что слышно хлюпанье воды в его ботинках. Эти неизгладимые оттиски пережитого остаются с нами на всю жизнь, и даже на смертном одре, когда воспоминания низвергнутся с последнего порога, мы, без сомнения, услышим шум какого-нибудь города с радостными звуками трамвайных звонков и голосами его веселых жителей, играющих в бильярд в ярко освещенных кафе, а другой город вспомнится нам унылым нагромождением гранита и домов с серыми непромытыми оконными стеклами, с уродливыми силуэтами прохожих в полутемных улицах, где позванивают маленькие звоночки в подвальных помещениях дешевых харчевен, где бродят голодные, ободранные и пе-

чальные псы. Меланхолия и восторг, радость жизни и усталость – все эти настроения, подобно ручейкам, вытекают из красок и запахов, и, разъезжая много и стремительно, мы снова и снова упиваемся тайнами детства, попадая из одной географической среды в другую так же, как наслаждались когда-то, путешествуя по своей комнате от шкафа до комода или от кресла до печи.

От первого знакомства с Москвой у меня осталось грустное впечатление. Едва ступив на московскую землю, буквально в ту же секунду, когда с перрона Виндавского вокзала я махнул рукой извозчику, я вдохнул воздух печали. Пахло снегом, с золоченых луковок стоявшей невдалеке русской церкви каркали вороны, и казалось, что где-то неподалеку жгут тряпки: воздух был насыщен влагой и резким запахом паленой шерсти. Невдалеке от вокзального перрона садилась в машину дама в черном. Она показалась мне очень высокой, вероятно, оттого, что выпрямилась во весь рост в автомобиле; потом она села, вернее, почти улеглась на заднее сиденье, завернулась в меха и приказала шоферу ехать. Лицо у нее было бледное, запоминающееся, с горизонтальным монголоидным разрезом глаз, а голос оказался хриплым и очень низким. Грубый тембр ее голоса, неожиданный в женских устах, произвел на меня впечатление, но я не смог сконцентрировать внимание на госпоже в трауре; теперь, анализируя это в ретроспективе и припоминая все очень ясно, я вижу, что остановился, смущенный еще одним неожиданным зрелищем. В извозчичьих санях, запряженных одной лошадью, сидел еврей с черной бородой, в черном кафтане, держа поперек колен белый гроб, явно предназначенный для взрослого покойника. Этот комичный и противоестественный способ транспортировки настолько поразил меня, что я застыл на месте, разрываясь между странной женщиной и евреем, державшим гроб поперек колен. В следующий миг (или, быть может, в тот же самый, теперь этого уж не различить) я осознал, что бесцветная физиономия неизвестной мне дамы в трауре и есть лицо самой печали. Я стоял как вкопанный, не в силах оторвать взгляд от ее черного костюма, словно зачарованный тембром ее голоса и отталкивающей символикой всего ее облика. Женщина махнула рукой шоферу, машина задребезжала и исчезла в облаке дешевого бензина, а я остался на месте, точно пригвожденный грузом черного цвета и жирных запахов.

Это не было состояние невыразимой подавленности, которое толкает вас на поиски новых впечатлений, и не усталость после бессонной ночи, когда все люди кажутся страдальцами с зелеными физиономиями утопленников. Это было сочетание неприятных запахов и мрачного цвета, тяжкое ощущение, лишенное какой бы то ни было материальной основы, скорее тончайшая паутинка души, трепещущая на ветру реальности, чем сильное, ярко выраженное чувство. Да, в такое вот туманное утро при первом приезде в новый город в душу пробирается паническое состояние нервного перенапряжения, дыхание останавливается, и тогда от тяжких запахов и мрачных красок душа сжимается, как жабры у рыбы, попавшей в грязную воду.

Если бы не встретилась неприятная женщина в черном, если бы светило солнце, если бы не было дыма от подпаленных тряпок, а все сияло бы свежестью, и если бы вместо еврея с гробом мне попались на глаза смеющиеся белолицые молодые девушки, то обычный, сугубо материальный въезд в город превратился бы в триумф, точно так же, как теперь он стал олицетворением зияющей, как рана, печали. Точно так, ес-

ли гитара, исполняющая мелодию, вдруг выдает фальшивый звук, все дальнейшее стало восприниматься как диссонанс, и, наблюдая синее бензиновое облако в глубине улицы, я чувствовал, что волны материи вибрируют не в ту сторону, что после дьявольской символики отталкивающей вони и отвратительных красок потребуется колоссальное напряжение, чтобы преодолеть сопротивление цвета, звуков и запахов. Я сел в сани, ощущая себя неуверенным и беспомощным, стараясь не смотреть ни вправо, ни влево, чтобы не наткнуться взглядом на нищего или на разбитое окно, на взъерошенную собаку или на уродливую женщину.

В номере гостиницы воняло карболкой и паленым; грубые простыни на солдатском топчане, пустота выбеленной комнаты и ее голые стены — все это напоминало скорее палату сумасшедшего дома, чем отель. Меня сильно лихорадило. Пристроившись на краешке постели, я увидел у противоположной стены малосимпатичного, совершенно незнакомого мне бородатого субъекта, который, лежа в кровати, в упор смотрел на меня. Чтобы не смотреть на этого бесцеремонного типа из зеркала (воспринимавшегося совершенно отдельно от моей личности), я встал и набросил на зеркало черную накидку. Когда же я вернулся на свое ложе, то черная пелерина, наброшенная на зеркало, стала раздражать меня как символ траура. Ведь зеркала закрывают черной материей, только если в комнате лежит покойник. Наволочки отчаянно пахли каким-то резким дезинфицирующим раствором, влажные простыни испарялись от соприкосновения с моим телом, вспотевшим от повышенной температуры. Я оставил снаружи ключ от комнаты, и уже дважды кто-то врывался в номер с какими-то претензиями. Когда же я встал, чтобы убрать ключ, его не оказалось на месте. На обратном пути от двери в меня вцепилась заноза. Я стал выковыривать ее иголкой и раскровенил ногу. Лихорадка усиливалась, и, сидя полуголым в нетопленой комнате, я стучал зубами от холода. Стены были совершенно ледяные, при каждом вдохе становилось все холоднее, и от всего этого комплекса осложнений и неудач настроение портилось все больше и больше. Флакончик йода в моем чемодане пролился и вылился на шерстяной свитер; в тени шкафа мне стали мерещиться какие-то покойники; железные трубы время от времени издавали противный треск; так я и провалялся до сумерек, ведя напряженную борьбу с красками, запахами и звуками. Со двора, освещаемого слабеньким желтоватым светом электрической лампочки, висевшей на высоком просмоленном столбе, проникал едва заметный отсвет, разливавшийся по потолку, что придало неуютной комнате оттенок тепла, которое в предвечерний час так дорого одинокой душе. Откуда-то из глубины гостиницы послышались звуки рояля, и еле слышная музыка создавала ощущение тепла и мягкости. Это вызвало воспоминание об иных далеких вечерних часах, проведенных в полусне, на диване, в ожидании женщины, в предвкушении прикосновения к ее горячему белому телу, отчего биение сердца в горле и в висках перебивает тиканье часов. Я согрелся, выпив коньяку. Лихорадка прошла, я встал и подошел к окну и долго молча стоял там, чувствуя, как душу мою заливает добрыми, нежными красками, вытесняющими темные пятна и неприятные впечатления. На обитой жестью крыше двухэтажного дома виднелись пятна подтаявшего снега. Деревянные заборы, бочка с замерзшей водой — очертания всех этих предметов смягчала белизна. Шел легкий снежок, и, глядя на него, я чувствовал, как с каждой снежинкой в меня проника-

ет все большая невозмутимость и покой. Посреди тишины и белизны с нижних этажей отеля продолжали доноситься звуки рояля. В наступившей гармонии цвета и звука все снова стало казаться милым и величественным.

Кремль

...Все, что в Кремле построено в царствование последних двух-трех императоров, несет отпечаток типично мещанской безвкусицы, которая часто встречается в убранстве европейских правящих дворов девятнадцатого века. Царские палаты в стиле модерн воспринимаются в архитектурном ансамбле крепости как нечто до такой степени неуместное, словно к ним приложил свою тяжелую руку наш сиятельный граф Кршняви[1]. Красный мрамор на порталах императорской резиденции, массивные подсвечники — точная копия царских покоев, какими их представляют публике с экрана провинциального кинематографа. В одном из залов над лепниной главного входа — огромное полотно в манере Репина шириной в десять, а высотой бог его знает во сколько метров в массивной золотой раме. В солнечных лучах окруженный своей свитой Его Величество, Самодержец Всероссийский, царь Александр III обращается к депутации мужиков, покаянно склонивших перед ним свои головы после безуспешных, подавленных крестьянских волнений, прокатившихся по всей стране: "Ступайте по домам и не верьте слухам о переделе земли. Собственность неприкосновенна!" Эти слова императора вырезаны на желтой табличке, помещенной под рамой картины. Русские крестьяне, которых еще недавно иронически называли "мужиками", сегодня останавливаются перед этим полотном, разбирая по слогам мудрые царские слова и радуясь, что слухи о переделе земли все-таки осуществились. Где теперь неприкосновенность собственности?..

Интернационал заседает, как Ватиканский собор, и вот уже сорок лет дискутирует все на одну и ту же тему. Земля, одно из самых тяжелых небесных тел, окутанное туманностями, вращается медленно — один оборот в двадцать четыре часа. Не спеша совершает свой оборот тяжелая, затянутая облаками планета — сквозь туман проступают пятнами вспаханные поля, выкорчеванные леса и паутиной едва заметные прерывистые нитевидные следы цивилизации. Буро-зеленые континенты, синие океаны, линии пароходных маршрутов, черточки каналов и насыпи железных дорог. Прогресс. Вдоль всех этих линий и черточек ощущается какое-то движение, возня, оставляющая за собой красные следы крови. А тем временем здесь, с возвышения в Андреевском зале Кремля, люди говорят в темноту, и слова их, срываясь с антенн, волнами расходятся по всему затуманенному земному шару, подобно сигналам маяка.

Столетний седой китаец сидит, точно ворон на ветке, пережевывая какой-то сладкий корешок или жвачку, глядя на мир своими мудрыми глазами черепахи. Сидит старик, нахохлившись, жует и прислушивается к кремлевским сигналам, а черные глаза его поблескивают от внутреннего огня. Говорят о Шанхае, о Китае, о мясе китайцев, которое оптом и в роз-

1. Исидор Кршняви (1845–1927) — хорватский художник и историк искусства.

ницу терзают европейские мясники. Люди из Азербайджана и Бухары говорят что-то о "Бритиш эмпайр" и о пулеметах, а с другой стороны зала машут им руками в знак глубокой солидарности. Какой-то юноша из Мексики рассуждает о нефти и о Соединенных Штатах Америки. Чахоточный, неумело подстриженный финн с плохо сделанной вставной челюстью по-лютерански монотонно что-то декламирует о восьмичасовом рабочем дне, об Амстердаме и о поденной оплате. У него всегда под мышкой тщательно переплетенная книга – что-то вроде букваря политграмоты. Жестикулируя, издает свои темпераментные выкрики итальянец. Бледная, истощенная женщина, прислонившись к окованной золотом мраморной колонне, мечтательно смотрит в пространство. Звуки речи ораторов, слетая с антенны, сливаются в однообразный шум, точно в микрофоне шуршат неизвестные насекомые или ветер гудит в телеграфных проводах. Выступает кто-то из Индии, ему вторят Борнео или Скопле, причем все голоса изливают друг другу свои жалобы. Это землекопы и рабочие с каменоломен, ресницы у них склеены пылью и поры забиты цементом, их плоть опалена раскаленным железом. Говорят люди, на чьих плечах покоится тяжкий, окутанный туманом земной шар. Они договариваются, как бы с помощью некоего архимедова рычага сбросить эту тяжесть со своих плеч, освободиться, зажить по-человечески. Скепсис, темнота и инерция, присущие обычному мышлению, не дают им скинуть с плеч земной шар. *Ведь сила тяготения – неуклонный закон и принцип, на котором строится жизнь.* Но дух Ленина, этого грандиознейшего гипнотизера истории, витает над порталом зала. Все люди с трибуны начинают и заканчивают свои речи и тезисы цитатами из Ленина.

Вещают апостолы ленинизма, а малайцы, индокитайцы и японцы из Университета народов Востока в глубине зала внимают им. Сидят в зале и молодые венгры, и хорватские парни, и албанцы рядом с немцами и поляками. Один из ораторов своим нудным голосом и манерой строить фразы удивительно напоминает священника. Под его речь две русские гимназистки решают примеры, листая логарифмические таблицы. Вот так же и мы списывали друг у друга задания во время гимназической мессы.

Ленинизм на московских улицах

Толстой говорил, что каждый русский воспринимает Москву как мать. Согласно Толстому, иностранцы, не зная, что Москва – мать всех русских, чувствуют женский характер этого города. Наполеон и у Толстого, и по свидетельству всех историков почувствовал женскую природу Москвы.

С точки зрения сегодняшнего путешественника-марксиста, ничего женственного сегодня в Москве не осталось. Лозунги и знамена этого города отражают героический синтез современной активности и волюнтаризма. Сегодняшняя Москва – огромная кузница ленинизма, она ленинизирована всеми возможными декоративными средствами. На вокзалах установлены памятники Ленину, и путешественник видит его, едва ступив на московскую землю, а затем наблюдает фигуру Ленина в бесчисленном множестве вариантов. Там Ленин стоит в ораторской позе, изо всех сил устремившись ввысь, и машет рукой в воздухе, или же с трибуны радостно улыбается скачущим мимо него конникам; тут он бросает золотые червонцы в копилку внутреннего займа восстановления

народного хозяйства, а там его плешивая татарская голова с живыми черными глазами и чувственной нижней губой смотрит на вас из медальона в красной рамочке. Он выглядывает из всех витрин, плакатов и знамен, он на экране кинематографа и в рекламе, его портреты на трамваях, на стенах церквей и дворцов, он сегодняшний символ Москвы, проповедник московского мировоззрения и московских концепций, утверждающих Москву в роли третьего и последнего Рима. Ленин сегодня врезан в московские стены, московские дома сегодня исписаны ленинскими цитатами, как мечети — цитатами из Корана. Вы пьете пиво в ресторане, и случайно ваш взгляд падает на бумажную салфетку, на которой стоит кружка, а на ней по кругу выписан ленинский тезис по колониальной проблеме: "Пять шестых земного шара стонет под пятой капитала! Единственная свободная часть света — Союз ССР".

...Вы видите в кондитерских Владимира Ильича из крема и шоколада, торты и пирожные исписаны цитатами из его произведений. Композиция из красных и белых гвоздик составляет его имя в витринах цветочных магазинов, он красуется на титульных листах в книжном магазине, продается в качестве игрушки на базарах. Дети складывают из кубиков жизнь Ленина, начиная с первых мальчишеских дней в симбирской гимназии, когда был повешен его брат, и кончая огромными революционными митингами на Театральной площади. Он вылеплен из марок в филателистических киосках; с настольных календарей, бланков и ресторанных прейскурантов он провозглашает, подняв правую руку, новую экономическую политику переходного периода (НЭП). В мануфактурных лавках его портрет выложен из кусочков сукна, в распивочных он — виньетка на бутылке, в парикмахерских сложен из женских волос. Портреты Ленина составлены из подков и гвоздей, из свеч и прочих восковых изделий, он и на открытке, и на векселе, и на облигации, и в рекламе, и на обложке программы партии. С его цитат начинаются передовые статьи газет, ими открываются заседания и лекции, и когда вы смотрите спектакль в театре, ваш сопровождающий расскажет вам не о театральном здании или об актерах, но о том, что здесь, с этой сцены, однажды выступал Ленин. Здесь он дважды проехал по этой улице, там он сидел в такой-то исторический день, когда наступал Колчак, здесь он лежал больной, а тут его видели в последний раз! "Ленин умер, но дело его живет" — это вы читаете по сто раз в день на трамвайных остановках, этот лозунг вьется с красными стягами и мерцает по ночам с иллюминированных крыш и фасадов. Он в витринах слева и справа, он и в урбанизированном центре города, и в предместьях, застроенных желтыми зданиями казарм и больниц, где на улицах мычат коровы; этот лозунг помещается между туалетным мылом и духами, вы читаете его на фоне суррогатного кофе, постного масла и белых сахарных голов. Белый ленинский бюст освещается обернутой в красную материю лампочкой в какой-нибудь мраморной витрине мясных деликатесов, фигурка Ленина — четырехлетнего мальчика — продается в церковной лавке, наряду с иконами и святыми мощами. Ленин — трехцветная олеография в золотой рамке, которую покупают в рассрочку и вешают в супружеской спальне, и он же — водяной знак на любовном письме и тема докторской диссертации. Ленинский мавзолей из алебастра может быть чернильницей или деревянной шкатулкой для драгоценностей; сувениром в виде вазы или бокала; он выгравирован на тарелках, на спичечных коробках, на щетках для платья, на карманных часах, на меню, на транспорте, на

агитплакате. Есть Институт Ленина – большое здание, где множество людей профессионально занимается изучением его личности, книг, которые он читал, писем, которые он писал, людей, с которыми он встречался. Издается специальный Ленинский сборник, публикуются любые, пусть даже самые незначительные воспоминания об этом человеке, который сегодня постепенно завоевывает Москву в облике странной, неправдоподобной исторической легенды. Его похороны были для Москвы перворазрядным историческим событием. То, что Петербург сегодня называется Ленинградом, что от Москвы вплоть до самого Китая нет ни одного города, где не было бы улицы или площади имени этого человека, что русских детей сегодня называют в его честь, как когда-то французских называли Наполеонами, – все это означает, что лавина, именуемая Ильичом, отнюдь не остановилась, она движется. Ильич был! Ильич сказал! Ильич писал!

И этот Ильич – не только портрет в милицейских участках, мотив лирических стихотворений или звук фонографа. Он не просто военное знамя или здравица на банкете, где много пьют и говорят, но мало думают. Он и вправду погребен где-то глубоко в душах русских людей. Эти люди многое пережили и достаточно настрадались, но как бы ни закостенело их мышление под влиянием жестокой действительности, имя Ленина вопреки всему звучит тепло, мягко, негромко, почти умиротворенно. Это не сентиментальная лирическая тишина, это катарсис, в котором слышится всплеск крыльев трагедии...

Мавзолей Ленина – это сегодня центр Москвы. На Красной площади, перед Спасской башней, установлена временная модель Мавзолея по проекту академика архитектуры Щусева. Ассирийский куб – символ вечности, с надписью из пяти простых букв, которые потрясли мир: ЛЕНИН. Модель деревянная, ее предполагается исполнить в белом мраморе с большими черными буквами. Перед деревянным Мавзолеем ежедневно собираются паломники, чтобы поклониться покойному. Рядом с золотоискателем или охотником на медведей из Сибири тут стоит желтолицый китайский рабочий, рядом с мужиком из тульской губернии – толстый астматический голландский торговец. Женщины и дети, старики и солдаты, нищие и дьяконы в камилавках – все они стоят под дождем, на ветру, ожидая своей очереди войти и поклониться. Начиная с двадцать первого января 1924 года толпы народа ежедневно проходят безмолвной процессией перед набальзамированным телом в стеклянном гробу. Черный саркофаг Наполеона в овале парижского Дома инвалидов, в окружении знамен и трофеев всех его побед от Ваграма до Москвы, самой архитектоникой создает атмосферу торжественности. Мраморный саркофаг умышленно помещен так низко, что каждый желающий видеть Наполеона вынужден склонить свою голову перед генералом, предавшим революцию. Напротив, Ленин, желтый, набальзамированный, со своей рыжей бородкой, лежит в стеклянном гробу в обыкновенной рабочей блузе, стиснув кулак и затаив в уголках губ ироническую усмешку. Восковой, неподвижный Ленин, в неясном красноватом освещении, с одной стороны, создает впечатление варварского паноптикума, с другой стороны, во всем этом так много Востока, столько азиатской, русской, жуткой мистериальности, которой веет от прокопченных и сырых старинных московских церквей, той мистериальности, которая почти недоступна материалистически мыслящему человеку двадцатого века. Ленин лежит под стеклом. Слева и справа от покойни-

ка стоят красногвардейцы, на чьих обнаженных кавалерийских саблях колеблется багряный отсвет, подобный тому, что поблескивает на штыках караула, застывшего у Гроба Господня в ночь с Великой пятницы на Великую субботу. В деревянном мавзолее, на глубине четырех метров под землей, при комнатной температуре, где по красному ковру неслышно движутся люди без головных уборов, устремив свои взгляды на желтый лысый череп мертвеца, чьи ноздри лоснятся так, точно он умер только вчера, — происходит чудо. После собственной смерти он по-прежнему агитирует, он действует в интересах своей партии...

Если Наполеон является в своей гробнице в Доме инвалидов призраком мертвого императора, перед которым, согласно придворному церемониалу, следует склонить голову, то Ленин в центре Москвы — агитатор, он агитирует сегодня так же, как агитировал при жизни, когда его голос раздавался на площадях этого города и тысячи и тысячи людей впитывали в себя, как губки, его слова и жесты...

Сегодня для иностранца, приехавшего в Москву, первое и самое необычное впечатление состоит в том, что вся динамика города, все движение масс несет на себе печать ирреального образа, который посмертно, символически является людям, как являлись им Христос и Мохаммед. Да! Слова Ленина несут на себе и трамвайные вагоны, и мраморные памятники, Ленин говорит с фасадов московских дворцов и со стен крепостей; Ленин смотрит на вас с витрин, из окон, он вьется надписями на знаменах и лентах, он висит над вашим изголовьем в номере гостиницы, он и маяк, и путеводная звезда, и предмет повседневного разговора, и статья в газете, и государственная власть.

Маска адмирала

На улице бушевала метель... Продавцы предлагали купить окровавленное мясо в мокрой газетной бумаге, размахивали жирными рыбами, прохожие перебегали через улицу и исчезали в облаках тумана и снега. Тем временем из глубины бульвара, словно гонимая ветром, появилась огромная процессия с красными знаменами. Бородатые старцы палками нащупывали дорогу, держась за руки, ступали женщины, дети тянули печальный и непонятный напев. Процессия выглядела как шествие паломников. Все эти люди с черными пустыми глазницами шагали, высоко задрав головы, устремив взгляд высоко, в покрытое облаками ветреное небо. Двое мужчин во главе манифестации несли горизонтально натянутый между двумя палками транспарант с сияющими золотыми буквами: "Да здравствует труд слепых!" Ветер выл и метался, косыми полосами шел мокрый снег, и над головами идущих с театральной серьезностью басовито гремели звуки колоколов, точно у Римского-Корсакова или у Мусоргского в сцене венчания на царство русского царя Бориса Годунова. Слепцы с пением шагали сквозь метель, их горизонтальный красный стяг не спеша продвигался вперед, постепенно исчезая в сером мельтешении улицы. Мне припомнился умирающий Свердлов, на смертном одре говоривший своим друзьям о великом счастье тех, кому дано было пережить прекрасные дни, когда человечество стало пробуждаться от сна.

Пасхальная ночь

Есть изображение Христа благостного. Религиозные люди и церковники видят в Христе своего защитника, рыцаря, который придет и совершит чудо: низвергнет красных Вельзевулов из Кремля прямо в пекло!

Есть, однако, в московских церквах и изображения Христа отчаявшегося, безнадежного, истекающего кровью, потерявшего всякую надежду, с устремленным в пустоту взглядом проигравшегося картежника или самоубийцы. Такой Христос со страдальческим, покрытым копотью лицом в золотом окладе смотрит из своей черной ниши, подобно индийскому гипнотизеру, на детей, проходящих мимо него цепочкой и хихикающих над заплесневелыми привидениями эпохи Ивана Грозного.

Русские дети сегодня ходят в церкви как в музеи, и они разглядывают все эти святыни с ощущением дистанции, с которой мы, будучи детьми, наблюдали божков и прочий уклад бронзового века или центральноафриканской культуры. Хорошо стоять в московской церкви на Страстной неделе, когда священник читает о муках Господних. Пар изо рта певцов курится в полутьме и леденеет в густом облаке. Где-то в глубине молятся нищие, в зеленоватом мерцании лампадки, вздыхая, вполголоса напевает простуженная старуха. Одновременно через этот музей проходит цепочка детей, посмеиваясь над призраками, нарисованными на стене церкви. Божество становится смешным в глазах свободных детей. Агония, мрак!

Тяжкое, болезненное умирание в Пасхальную ночь проявляет свой протест горячечными движениями губ. Православие лихорадочно стремится снова выпрямиться во весь рост, захватить в свои руки хоругвь, победить Антихриста и под победным адмиральским стягом начать в сиянии фейерверка плавание к великим и светлым триумфальным победам.

Постепенно и неприметно звон переходил от лирической пасхальной прелюдии к патриархальной, инквизиторской, жестокой и дерзкой канонаде, к пароксизму пальбы по облакам, по городу, по далекой, бесконечной московской равнине, а отдельные панические, истерические колокола вели мелодию к демонстративному грохоту, к *выражению протеста.* Все звонницы протестовали! И старый Тихон Аматхунтский у Арбатских ворот, и Стефан Архидьякон, и церковь Рождества Пречистой Богородицы, и Великомученицы Екатерины, и Святого Иоанна Предтечи — все они хором протестовали под воинственный перезвон храма Христа Спасителя, который гремел анафему, звал как на пожар, к контрреволюционному бунту! И с каждой волной этого звона, с огромными и беспокойными кругами этого полуночного наваждения разверзались все гробницы Российский империи, раскрывались могилы, вставали все цари, все патриархи и великомученики в полном облачении, с золотыми крестами и паникадилами, и все они призывали кару на головы антихристов, евреев и большевиков, обесчестивших землю русскую.

Да будут прокляты те, кто в эту святую ночь подвязывали язык колокола Ивана Великого в Кремле! — громыхали триста шестьдесят пудов Спасителя, ударяя всеми своими сорока колоколами по головам православных верующих, точно мельничным камнем.

Проклятие тем, кто выкинул Бога из школ! — вторили им вереницы святых из низины на противоположном берегу Москвы-реки.

Превратили наши церкви в музеи и партийные клубы, детей наших воспитывают в безбожии, а православную веру распяли на кресте. Разорили Россию, опозорили матушку Русь православную!

Сорок сороков московских церквей пятнадцатью тысячами колоколов протестующе гремели в ту ночь от имени Господа Бога, от имени Его Величества Российского императора, от имени их превосходительств Колчака, Деникина и Врангеля! Мы протестуем от имени Его Святейшества Русского Патриарха в Сремски Карловци!

Это уже не был благостный воскресный колокольный звон, это переходило в кровавый бешеный лай, в отравленную канонаду железных проклятий, исполненных ненависти...

В *музее русской революции*

...Я не сомневаюсь, что материалы, нагроможденные в Музее русской революции, дождутся своего Данте, и он уложит в стихи эпопею кровавых и безумных дней России, длившихся от Стеньки Разина до Ленина, то есть более двухсот пятидесяти лет. От Пугачева до декабристов, от Радищева до Чаадаева, от Герцена и Чернышевского до Деборина, Бухарина и Бронштейна не было русского человека, который в глубине души не чувствовал бы глубокого отвращения к русской действительности. Русские интеллигенты, поколение за поколением последующие по стопам предыдущих, одни следом за другими уходили по далеким ледяным равнинам, и бесконечные зимние ночи на каторге, последние тяжкие вздохи под виселицей, самоубийства от безнадежности, уход в безумие или в терзания эмиграции — от всего этого накопилось огромное количество энергии, которой сегодня, как электричеством, заряжается Россия.

Сумасшедший дом, виселица, предсмертная свеча, зачтение смертных приговоров по ночам, при свете керосиновой лампы, заговоры, составлявшиеся в полутьме, террористические акты, бомбы и револьверы — таковы были символы русской жизни, которая сегодня представлена в качестве исторического материала в стеклянных шкафах дьявольского паноптикума революции.

Тысячи и тысячи неизвестных и безымянных мертвецов стали путеводными звездами движения, проявлявшегося в последние сто лет русской истории непрерывным подземным гулом, — и все это в единственном в мире музее увенчано триумфальным залом похорон Ленина...

Развитие русского марксизма отмечено вереницей бунтов, виселиц и погромов. Этот процесс в течение последних четырех десятилетий, в отличие от европейского, не ограничивался ни интеллектуальной схемой, сопровождавшейся парламентскими и оппортунистическими реверансами, ни политическими программами, но перешел в новое фанатичное мировоззрение. Подчеркнутая этическая интонация (характерная черта русской идеологии) придавала ему черты фанатического мессианизма, экзальтированность выражения гуманных принципов и упорной веры в победу, упорной, как все убеждения, рождающиеся в борьбе, в крови, под виселицей...

Кантовская "вещь в себе" с точки зрения русской революции полностью совпадает с её предпосылками; страдания и муки русского челове-

ка она делает исходным пунктом и через индивидуальное сознание отдельно взятого страдальца становится коллективным сознанием революционной коллективистской партии, которая *хочет взять политическую власть в интересах страдальцев и мучеников.* Эта партия как идейно, теоретически, так и с пулеметом в руках боролась за принцип *объективной реальности*. Если действительность является объективной реальностью, то классовые противоречия являются механикой, несущей в себе все возможности вознести кровавую русскую действительность в высшую категорию происходящего...

Пройдясь по мраморным залам бывшего Английского клуба на Тверской и глядя на отражения огней в полированных стеклах музейных витрин, приходишь в состояние тихого умиротворенного надгробного молчания, какое обычно царит в храмах и мавзолеях. За музейным стеклом, в запахе окровавленных лохмотьев и потрепанных памфлетов, на старом, молью побитом сукне, среди выцветших фотографий хранятся бальзамированные свидетельства человеческой жертвенности и героизма. В красные суконные драпировки заключены воспоминания о целых поколениях последних реально существовавших романтиков. Благородные профили ушедших людей, их бледные лица, взгляды — все это живет за стеклышками или в стеклянных коробочках тихой, торжественной жизнью. У посетителя захватывает дух. Словно слышится шуршание гигантских крыльев — где-то в пространстве реют идеи. Откуда-то издали, с Кавказа, доносится орлиный клекот. Слава тебе, прометеевская вечность!

Станислав Баранчак

Малый, но максималистский манифест переводчика,

или
Объяснение того,
что стихи переводят еще и для того,
чтобы объяснить
другим переводчикам:
для большинства переводов стихов
нет объяснения

Фрагменты эссе

Перевод с польского И. Киселевой

На этот раз в "Трибуне переводчика" мы предлагаем вниманию наших читателей фрагменты "Манифеста" признанного во всем мире польского переводчика, поэта, литературного критика, эссеиста Станислава Баранчака. Надеемся, публикуемое эссе будет интересно многим, поскольку в нем отражены размышления и замечания автора непосредственно о процессе перевода, приемах работы с текстом. Соотечественники называют Баранчака лучшим переводчиком англоязычной поэзии второй половины XX века.

Не строй особых иллюзий, читатель: ты найдешь здесь всего лишь рассуждения, полные отвратительной спеси, жуткой гордыни и твердолобой уверенности в собственной непогрешимости. Да и можно ли ждать чего-то другого, если один переводчик берется судить о работе других переводчиков или даже своей собственной? Представьте, что человек заходит в купе, где уже разместились пятеро баскетболистов из национальной сборной, и начинает критиковать их манеру игры и броски с дальней дистанции, напирая на то, что сам он кидает мяч куда лучше — во дворе у гаража. Тут даже самые терпеливые назовут его невоспитанным и бестактным болтуном. Переводчика же по непонятной причине абсолютно не смущает тот факт, что он принимается за четырнадцатый по счету перевод на польский язык, например, сонета Шекспира, а ведь тем самым он без приглашения вторгается в общество тринадцати предыдущих переводчиков. Вторгается нагло, с миной превосходства на лице, и даже если он впрямую не критикует работу коллег, грудь его раздувается от гордости, ибо собственное творение он ставит куда выше прочих.

Что уж говорить о случаях, когда переводчик рискует публично оценивать качество чужих переводов? Правда, он поступает честнее обычного литературного критика. Ведь у последнего нечасто бывает наготове убедительный ответ на раздраженное бурчание писателя: "Ну-ка, брат, раз ты такой умник, может, сам попробуешь написать лучше?" А переводчик, выступающий в роли критика чужих переводов, как правило,

© St. Barańczak, 1994
© И. Киселева. Перевод, 2004

идет на это именно потому, что у него за пазухой лежит его собственный перевод, который он в нужный момент уверенным жестом вытащит на свет божий, как бы отвечая: "Пожалуйста, я уже попробовал, и у меня получилось гораздо лучше, чем у тебя". Такой ответ, как я сказал, звучит честнее, хотя все равно достаточно заносчиво и в какой-то степени даже оскорбительно.

Вот и меня давно тянет на подобного рода грубый поступок, хотя до сих пор этот порыв сдерживали мои представления о благопристойности. Критикой перевода как таковой я, в принципе, никогда не занимался (исключением был только раздраженный отклик на польские переводы Дж. М. Хопкинса, который я позволил себе написать в 1981 году). Зато я много внимания уделял косвенной критике, то есть переводам стихов, уже переведенных ранее другими переводчиками. Здесь пора пояснить, что я почти четверть века перевожу поэзию, причем это стало — буквально — дурной привычкой: нет такой срочной работы или обязательства, которые я тут же не откладываю в сторону, прочитав на чужом языке какое-нибудь замечательное стихотворение, "требующее" от меня — так, по крайней мере, мне, самонадеянному, кажется — перевода на польский.

Возможны три варианта такого "требования". Вариант первый: стихотворение вообще никогда не переводилось, и тут мне еще удается сохранять видимость альтруизма и личной скромности, тут я могу свои переводческие амбиции скрыть, сделав вид, будто занимаюсь общественно-полезной деятельностью, каковой является заполнение пробелов в освоении поляками, например, английской поэзии. В меру прилично выглядит и второй вариант: у стихотворения есть один или даже несколько прекрасных польских версий, но свое дерзкое решение сделать новую я выдаю за намерение обогатить литературу собственной, более точной — пусть и спорной — переводческой интерпретацией, которая (лицемерно объясняю каждому, кто хочет слушать), может, и не станет лучшей, но прольет на смысл оригинала дополнительный свет. Однако мерзкие стороны моей натуры во всей красе открываются в третьем варианте: все существующие переводы стихотворения кажутся мне неудачными, и тут уж трудно скрыть, что попутно я преследую еще кое-какие цели и перевожу поэзию прежде всего для того, чтобы доказать читателям и самому себе, что *я могу лучше.*

Я могу лучше (чем другие переводчики) — в этих словах кроется один из вероятных и, скорее всего, самый искренний ответ на вопрос, зачем переводить стихотворение, кем-то уже переведенное. *Я могу не хуже* (чем автор) — еще один, и наверняка самый искренний, ответ на вопрос, зачем вообще переводить. Желание послужить читателям, не владеющим иностранными языками, желание обогатить родную словесность, желание отдать дань выдающемуся зарубежному поэту — все это намерения прекрасные и благородные, но я полагаю, что, скажем, под пытками либо под воздействием сыворотки истины каждый переводчик поэзии рано или поздно признался бы в самом сокровенном: движущей силой его трудов является амбиция. Одного гроссмейстера спросили, почему он принимает участие в турнирах, и он ответил: "Потому что нет ничего приятнее момента, когда я чувствую, что ломаю противнику хребет". Не всем это придется по вкусу, но пора признаться: мы переводим сонет Шекспира затем, чтобы точно так же сломать хребет... нет, боже упаси, не Шекспиру и не его поэзии, а тому, что кажется непереводимым, а также, чтобы испытать в этот миг двойное чувство триумфа: я могу так же (как Шекспир), я могу лучше (чем другие переводчики).

А разве не то же происходит в любом литературном творчестве? Разве пишут не для того, чтобы подкрепить весомыми доказательствами свои притязания или завышенные оценки собственного таланта? Разумеется, только вот *перевод* поэзии — особая область литературного творчества, где допустимо более или менее объективное сопоставление результатов. Можно, конечно, упрямо твердить, что стихотворение Тадеуша Ружевича "Похвала теще" лучше, чем сонет Семпа Шажинского "О непродолжительности и сомнительности жизни чело-

веческой на земле", но не совсем ясно, зачем это, собственно, нужно. Переводы же допускают сравнение с оригиналом и с другими переводами на онтологической, гораздо более надежной, основе: ведь по сути мы имеем дело с версиями одного произведения. В данном случае сравнение и определение того, какая версия лучше, будут в меру объективными.

Но именно "в меру". За этим коротким выражением кроется бездна — терминологический хаос и фундаментальные различия во взглядах на предмет. Говорить о полной объективности оценок в процессе сопоставления перевода с оригиналом и другими переводами допустимо только при условии, что все договорились и согласились с двумя вещами. Поскольку в игру вступает критерий верности передачи смысла (смыслов) стихотворения, следовало бы сначала установить, какой же именно смысл (или смыслы) несет данное стихотворение. А это невозможно определить без предварительного решения второй, несомненно, более сложной проблемы: что такое вообще смысл в поэзии, как и какими средствами он выражается, каким образом способствует возникновению неповторимой оригинальности произведения.

Здесь появляется весьма серьезная проблема: разные люди никогда не дадут схожие ответы на первый вопрос и почти никогда — на второй. Напомню банальную истину: перевод поэзии всегда является ее интерпретацией. В польском языке наряду со словом "tłumaczenie" используется и "przekład", что в общем-то подтверждает их равнозначность, но сама этимология этих слов указывает на разницу значений. Аналогичная оппозиция существует, впрочем, и в латинском языке. "Tłumaczę" (я перевожу) соответствовало бы "interpretor" (что в своем первоначальном значении обозначает "объясняю", а также "понимаю" и "выбираю"); "przekładam" (я перевожу) является калькой слова "transferor" ("переносить", "перевозить"; в форме причастия "translatum", отсюда "трансляция" и "транслятор"). Разница, как видно, значительная, что подталкивает нас к выводу: механическая "трансляция" высказывания с одного языка на другой (образ, впрочем, упрощающий реальную суть дела, поскольку о подобной идеальной механике перевода не может быть и речи — даже в случае самой незамысловатой прозы) отнюдь не то же самое, что ее "перевод", когда сам процесс "переноса" текста на другой язык трактуется как процесс его "объяснения", объяснения, основанного на "понимании" и "выборе". Итак, перевод является интерпретацией в том самом смысле, что и интерпретация, понимаемая как истолкование текста критиком. Больше того — истолкованием текста в квадрате: если критическая интерпретация только *описывает* свойства текста на своем метаязыке, то конечная цель переводческой интерпретации — *создание* аналогичного (аналогично функционирующего) текста на языке другого народа. Готовый перевод — как бы вещественное доказательство тому, что оригинал был понят абсолютно верно. Настолько верно, что он в состоянии функционировать в языке Б и литературной культуре Б так же, как в языке и культуре А.

Что является критерием успеха? Самый точный критерий — здесь, к сожалению, мы должны перейти от семиотики к соматике, но ничего не поделаешь, физиология, по крайней мере, не врет и не поддается фальсификации — это, в особенно удачных случаях, мурашки, пробегающие по коже, слеза, навернувшаяся на глаза, или непроизвольный взрыв смеха. В конце концов, зачем мы читаем стихотворение? Затем — здесь я повторю за Виткацием, который, впрочем, именно поэзии отказывал в возможностях такого рода, — чтобы его единство во всем своем многообразии заставило нас содрогнуться, ощутить метафизический и — буквально — физиологический трепет. Поэтому переводчик поэзии переводит не только, чтобы сравняться с кем-либо и превзойти кого-либо, одолев сопротивление языка и формы, но и для того, чтобы испытать дрожь экстаза в собственном позвоночнике. Короче говоря, чтобы понять, почему мурашки пробежали у него по коже, когда он читал оригинал; а абсолютно точно понять это можно, только проверив, оказывает ли подобное воздействие перевод.

У того, кто знаком с дискуссиями переводчиков и имеет хотя бы элементарное представление о принципах поэтического перевода, вероятно, возникнет вопрос: возможно ли вообще такое совершенное "воспроизведение"? Разве перевод поэзии, о чем не устают повторять сами переводчики, не связан с неминуемыми потерями? Разве не утверждают столь переводимые поэты, как Роберт Фрост, что "поэзия – это то, что пропадает в переводе"? Разве процесс перевода не является по сути своей серией уступок и компромиссов, а сам текст перевода – неизбежным злом, чем-то заведомо ущербным, в лучшем случае – мутной копией оригинала? Короче говоря, может, следует согласиться с избитым афоризмом: "переводы как женщины – или красивые, или верные"?

Для меня мнимое остроумие этого афоризма всегда было примером тому, насколько идиотичны любые пословицы, если в них вникнуть. Откуда эта шовинистически-мужская уверенность в том, что красивая женщина неверна в принципе? Или, что верная женщина верна только потому, что некрасива? Я лично знаю множество женщин, которые и красивы, и верны – одно другому не мешает. И я знаю множество поэтических переводов (нет, не только своих собственных), которые все же соединяют в себе эти две черты.

Только вот, разумеется, такая аналогия изначально не имеет никакого смысла: верность женщин мы можем рассматривать как абсолютную ценность (либо она верна, либо нет; одна измена перечеркивает годы верности), но совсем по-другому обстоит дело с переводческой "верностью". Эта последняя не является абсолютной и поддается градации: о женщине нельзя сказать, что "она верна на восемьдесят пять процентов", о переводе – можно. Кроме того, смысл понятия переводческой "верности" зависит от принятой методологии. Поскольку здесь речь идет о "верности" по отношению к смыслу оригинала, наша основная задача – определить, что именно в поэтическом произведении выступает в качестве носителя смысла, то есть смыслопорождающие элементы. И какой из них требует безусловного сохранения в переводе. Совершенно объективные различия языковых систем, систем стихосложения, литературной традиции и т. д. приводят к тому, что перевод стихотворения становится его интерпретацией и в смысле "решения": выбора наименьшего зла, поиска максимально близких эквивалентов, отказа от чего-то одного ради сохранения другого. А значит, не последним будет вопрос: какие критерии мы будем использовать, принимая решение? Что *должно* быть сохранено в переводе, чтобы переводчик имел полное право сказать: "*я могу не хуже*" (чем автор), "*я могу лучше*" (чем другие переводчики)?

У меня на этот счет особое и весьма твердое мнение, но прежде чем я его изложу, следует наконец – после стольких хвастливых и кичливых реплик – рискнуть показать читателю конкретный пример собственной переводческой работы. Одновременно это будет и примером, который особенно наглядно иллюстрирует, что иногда на поставленный выше вопрос приходится отвечать самым неожиданным образом. Сначала оригинальный текст:

Эдвард, лорд Герберт Чербери
(1583–1648)

E*cho in a Church*

Where shall my troubled soul at large
Discharge
The burden of her sins, oh where?
Echo: Here.

Whence comes this voice I hear?
Who doth this grace afford?
If it be thou, O Lord,
Say if thou hear my prayers when I call.
Echo: All.

And wilt thou pity grant when I do cry?
Echo: Ay.

Oh may that will and voice be blest,
Which yields such comforts unto
one distress'd,
More blessed yet, wouldst thou thyself
unmask,
Or tell, at least, who undertakes this task.
Echo: Ask.

Then quickly speak,
Since now with crying I am grown so
weak
I shall want force even to crave thy name;
O speak before I wholly weary am.
Echo: I am.

Самый распространенный ответ на вопрос, что обязательно должно быть сохранено в переводе, опирается на вечное разделение содержания и формы: содержание, или то, *что* нам говорит стихотворение, является якобы самым важным; форму, или то, *как* это сказано, в переводе можно модифицировать, заменить другой формой или даже — если уж иначе нельзя — проигнорировать. Давайте посмотрим, что осталось бы от стихотворения лорда Герберта Чербери, если использовать данную тактику. Самой большой "формальной" сложностью для переводчика является здесь, конечно, как и вообще в старинной поэзии, рифма. Тогда, может, отказаться от нее, а вместо этого требовать от себя абсолютной точности в передаче "содержания"? Первая строфа выглядела бы так (рабочие и гипотетические переводы я отмечаю звездочкой):

*Gdzie moja znękana i pozostawiona
samej sobie dusza
Zrzuci
Brzemię swych grzechów, o gdzie?
Echo: Tutaj.
(*Где моя измученная
и предоставленная самой себе душа
Сбросит
Бремя своих грехов, о где?
Эхо: Здесь.)

Ну, нет. Все, что угодно, только не это. С первых же строк мы столкнулись с кучей неожиданностей: отказавшись от формальной верности, мы нанесли смертельный удар "содержанию" стихотворения, попав в самое сердце заключавшейся в нем информации. А именно: строфа потеряла не только рифму, но и смысл, причем самый простой, здравый смысл. Эхо не может ответить "здесь" или "тут" на вопрос "где?"! Если мы в пустой церкви крикнем "где?", эхо нам ответит тем же "где" или, при плохой акустике, каким-нибудь "де". В оригинале эхо отвечает "here" на вопрос "where" не столько для того, чтобы получилась рифма, сколько потому, что только так оно — эхо — и может ответить.

Фу! Теперь нам ясно, в чем заключается смысл данного стихотворения: наряду с тем, что выражено *explicite*, важно, что это диалог, в котором Эхо дает рифмованные ответы. Однако нам пока не хочется иметь дело с рифмой, которая в любом случае усложняет нашу переводческую жизнь. Может, облегчить себе задачу и найти половинчатое решение — использовать, к примеру, неполную рифму?

*Gdzie moja dusza, nie chcąc samotnie
się smucić,
Ma zrzucić
Brzemię, którym obciąża ją występków
buta?
Echo: Tutaj.
(*Где моя душа, не желая
в одиночестве грустить,
Может сбросить
Бремя, которым отягощает ее пороков
спесь?
Эхо: Здесь.)

Нет, тут тоже осечка. Ни одно Эхо, даже самое покладистое, не добавит согласный на конце слова и не поменяет "b" на "t" для того, чтобы облегчить нам рифмовку. На слово "buta" Эхо ответит "buta" (впрочем, рискуя внести обувную двузначность[1]). Теперь понятно, что недостаточно просто рифмовать: в ответах Эха должна быть, в общем-то, как и в природе, полная и глубокая рифма. Еще раз "Фу!": мы отдаем себе отчет в том, что поиски такой рифмы будут абсолютным мучением, особенно когда Эхо будет произносить более длинные слова — полную и глубокую рифму, понятное дело, тем более трудно найти, чем больше слогов она охватывает. Минуту, но, может быть, тогда облегчить себе задачу иным образом: сократить количество этих слогов до минимума, то есть просто-напросто использовать мужскую рифму?

1. But (*польск.*) — ботинок, сапог. (*Прим. перев.*)

*Gdzież moja dusza, nie chcąc samotnie
się smucić,
Ma zrzucić
Ciężar tysiąca grzechów i występków stu?
Echo: Tu.
(*Где моя душа, не желая в
одиночестве грустить,
Может сбросить
Тяжесть тысячи грехов и пороков ста?
Эхо: Тут.)

Лучше с точки зрения церковной акустики, очень плохо с точки зрения исторической поэтики. Мы забыли о том, что это стихотворение XVII века. В это время в Польше ни один поэт не использовал мужскую рифму: проклял данный тип рифмы Кохановский, и анафема продолжала действовать позже. Нам не следует чересчур архаизировать текст и слишком уж заботиться об абсолютной исторической верности (степень которой, впрочем, определить сложно, поскольку состояние поэтического языка и литературной культуры в Англии и Польше в XVII веке было совершенно разным), но в нашем переводе должна быть сохранена верность, о которой мы до сих пор забывали: верность стилю эпохи в самом широком смысле слова. При переводе на польский язык стихотворения времен, предшествовавших эпохе Просвещения, многое можно модернизировать, но рифма, как ни крути, обязана быть только точной женской рифмой. Следовательно, она должна охватывать идентичным звучанием по крайней мере полтора слога. В стихотворении лорда Герберта принцип эха заставляет нас еще больше расширить рифму: она должна охватить по крайней мере два полных слога. Как же совместить это с необходимостью дословно передать "содержание"? Ведь для слова "здесь" мы не найдем ни одной рифмы, которая точно повторяла бы фонетику его полных двух слогов! Третье "Фу!": нужно закатать рукава, потому что только сейчас и начинается настоящая работа. Вывод один: раз уж в данном случае "форма" не поддается, должно уступить "содержание". Для слова "Tutaj" (здесь) нужно найти какую-нибудь замену. Что еще может ответить Эхо на вопрос грешника, если не "Tutaj"? Давайте минутку подумаем, что конкретно данное определение значит для Эха? Это церковное Эхо, а следовательно, "Tutaj" значит "w kościele" (в церкви). Тогда, может, Эхо просто ответит "w kościele"? Ничего себе "просто", ведь это слово из трех слогов. Господи, какую же рифму — точную и глубокую, охватывающую полных три слога! — найти к "w kościele"? Предшествующая строчка должна была бы заканчиваться глаголом "ściele" (стелет), это ясно, но какой вопрос может задать герой стихотворения, чтобы в его окончании слово "ściele" находилось за каким-нибудь "-wko"? Что вообще заканчивается на "-wko"? "Drzewko" (деревце)? "Dziewko" (девица)? "Krzewko" (кустик)? Ничего не подходит — ни к слову "ściele", ни к обстановке в церкви. Секунду... "naprzeciwko" (напротив)? "Naprzeciwko ściele"? Тепло, тепло...

Однако все усложняется: раз в строке, в которой речь идет о "грехах", что-то "стелется напротив", следует отказаться от образа "сбрасывания грехов", потому что эти два образа в общей сложности создали бы полную галиматью. Всю логику сцены необходимо реорганизовать. Коль скоро "напротив стелется" грех — лучше, более образно: "ciemność grzechu" (темнота греха), словно мрак в углах церкви, — то надо бы ему что-нибудь противопоставить. "Темнота греха", конечно же, "стелется" против света невинности; последняя не только позволяет душе сбросить бремя греха, но и отразить его натиск. Последний взгляд на все эти элементы для проверки, нет ли внутреннего противоречия между ними и все ли согласуется с любым из контекстов стихотворения, начиная англиканской теологией лорда Герберта и заканчивая литературным стилем эпохи. И можем переводить.

<...>

Правда, "Эхо в церкви" — крайний случай: данное стихотворение, в котором используется прием диалога лирического героя с рифмующимся Эхом, впрочем, не единственное в XVII веке (подобное стихотворение под названием "Небеса" написал младший брат лорда Чербери, великий Джордж Герберт), относится к особому роду поэзии, где тот или иной формальный прием играет на-

столько важную роль, что даже приобретает вид иконического знака. Подобно распространенным в XVII веке так называемым *shaped verses*, повторяющим графическим очертанием строф контур алтаря или закрытых створок, данное стихотворение не только повествует о диалоге с эхом и не только его драматически инсценирует, но также становится акустическим отражением, звуковой иконой этого диалога. В ситуации, когда так полно используется смыслопорождающий потенциал, на первый взгляд, "чисто формального" приема, каждый переводчик – если у него есть хоть малейшее понятие о том, что такое поэзия, – конечно, сразу заметит, что в данном случае самым важным элементом значения стихотворения, его незаменимым "формальным" элементом, который в сущности является ключом к "содержанию", его (введем это понятие) *семантической доминантой*, является рифма. И не первая попавшаяся рифма: "эховая" рифма, точная и более глубокая, чем обычная женская рифма, которая была бы допустима в другом произведении. Половинчатость тут никак не пройдет. Если переводчик скажет себе: "Ну, нет, читатель наверняка поймет, как ужасно трудно найти такую рифму, и не будет сетовать на меня за то, что я на худой конец использую неточную рифму; в конце концов, это только перевод", – он жестоко ошибется и потерпит позорное поражение. Необходимо отдать должное польским переводчикам: требования, которые стояли перед переводчиком "Эха в церкви", они поняли очень хорошо. Настолько хорошо, что никто из них не рискнул до сих пор перевести на польский язык это стихотворение. <...>

***

Одной из набивших оскомину банальностей в современной литературной критике стало сетование на низкий уровень переводов иностранной литературы. Причину подобного положения вещей видят обычно в том, что переводчиков и переводов слишком мало. Я никогда не мог до конца постигнуть логику этого аргумента. Все ведь как раз наоборот: с переводами плохо, поскольку переводчиков и переводов слишком много! Сколько плохих переводов не увидело бы света божьего, если бы переводчики перед прыжком вверх, каким является попытка перевода хорошего стихотворения, устанавливали бы планку точно на уровне художественной ценности оригинала и, признав, что подобную высоту они взять не в состоянии, вообще отказались бы прыгать! К сожалению, более распространены ситуации, когда переводчик барским жестом, с которым обычно расточают *чужое* имущество, решает *за автора*, что "формальные" приемы можно выбросить на свалку и стихотворение от этого не пострадает, а если пострадает, то ничего не поделаешь, "в конце концов, это только перевод", а переводы, как известно, подобны женщинам: или красивы...

Особенно часто так обращаются с произведениями, имеющими не такую уж непередаваемую форму – она только на первый взгляд кажется типичной и независимой от семантической телеологии конкретного стихотворения. Переводчики обычно заявляют (чего только человек не придумает, чтобы увильнуть от работы!), что данная форма организации текста, допустим, с лингвистической или историко-литературной точки зрения, "естественна" для языка оригинала, в то время как попытка отыскать соответствие в языке перевода может иметь успех только за счет весьма существенного отхода от буквальных значений. В США, к примеру, в среде переводчиков достаточно распространена теория о том, что русским поэтам, да и вообще славянским, рифмовать легче, чем американцам. Я пишу это, пережив тяжелый опыт добросовестного чтения всего поэтического наследия – 700 произведений – Анны Ахматовой, переведенного на английский язык белым стихом с попадающимися иногда рифмами и изданного недавно в США в виде двух массивных томов на двух языках. Переводчица Юдит Гемшемейер (Judith Hemschemeyer) в предисловии использует именно этот аргумент: по ее мнению, в любом стихотворении можно различить "значение" и "музыку", и две эти вещи друг от друга отделимы. Русский язык – смиренно продолжаю кратко излагать выводы переводчи-

цы — имеет ряд особых, только ему присущих, возможностей для сотворения "музыки", которых не имеет английский. (Например, флективность русского языка якобы расширяет репертуар рифм, так как каждое слово способно выступать в различных грамматических формах. Невероятно наивный тезис: какой толк для поэта или переводчика в том, что он владеет тысячами потенциальных грамматических рифм, если он должен использовать их очень экономно? И разве английский язык не имеет своих собственных преимуществ, хотя бы сжатости синтаксиса и обилия коротких слов, в результате чего строка стихотворения получается более емкой?) Для английского или американского переводчика естественно звучит следующий вывод: вместо того чтобы притягивать "значение" к "музыке", всегда лучше скромно отказаться от любых попыток воссоздать последнюю и сосредоточиться на гораздо более важной задаче — воспроизведении буквального значения слов и фраз, то есть именно того, "что автор нам хотел сказать". А если особо чувствительный читатель пожалеет о прелестях "музыки", потерянных в процессе перевода, то для него у госпожи Гемшемейер есть практический совет: "Я советовала бы англоязычному читателю найти какого-либо русского друга, который вслух прочитает ему (или, как умеют многие русские, расскажет наизусть) некоторые стихотворения; таким образом читатель получит определенное представление о богатстве ахматовской ткани звуков и динамических ритмов".

К сожалению, несмотря на то, что изданные госпожой Гемшемейер два тома стоят аж 80 долларов, книготорговцы почему-то не дают к ним в дополнение футляр с русским другом внутри. И если даже наем чтецов за собственный счет с почасовой оплатой решил бы в некоторой степени проблему безработицы в среде русских эмигрантов, в США все же есть районы, где слишком сложно найти хорошего чтеца из Ленинграда или Одессы. Говоря серьезно, не нужно быть большим знатоком поэзии, чтобы понять: изначально что-то не так в теории перевода, вырастающей из концепции, согласно которой в стихотворении возможно разделение "музыки" и "значения". В любом хорошем стихотворении "музыка" *является* "значением" или, по крайней мере, его составной частью. Это не отдельное, прикрепленное для красоты кружевное жабо, которое в случае необходимости легко отстегивается от простой сорочки "значения" и выбрасывается без ущерба для целого.

Госпожа Гемшемейер, к сожалению, попала в неприятную ситуацию еще и потому, что нет более убедительного подтверждения всего вышесказанного, чем поэзия Ахматовой. Уж кто-кто, а эта серьезная и трагическая поэтесса не пришивала к своим стихотворениям декоративных оборок. Рифма и регулярный метр были для нее вопросом жизни и смерти: жизни и смерти стихотворения (которое в сталинской России безопаснее было сохранить, запомнив его, нежели записав: рифма и ритм, с этой точки зрения, являлись мнемотехническими средствами), жизни и смерти культуры (в которой регулярность и точность словесной конструкции волшебным образом сохраняют и поддерживают человеческий порядок, навязанный смертоносному хаосу мира) и, конечно, собственной жизни и смерти. Лишить ахматовские стихотворения "музыки", служащей *подобным* целям, все равно, что каждое ее "*нет*" перевести как "*yes*". Хотя в отношении любого другого значительного поэта свойственный госпоже Гемшемейер (а также множеству других переводчиков, и не только американских) переводческий минимализм — установление планки требований к себе на высоте, которую мы наверняка возьмем, не свернув шею, — является не менее серьезной ошибкой. Поэзия, которая производит на нас настоящее, неподдельное впечатление, поэзия, от которой мурашки пробегают по коже, действует так потому, что максимально использует возможности языка и воображения. В отношении такой поэзии имеет смысл только равноценный — то есть абсолютный — максимализм переводчика. Если кому-то жаль тратить на это время и энергию, если он заранее уверен, что все равно не справится, — пусть посвятит свободные вечера игре в бинго или выращиванию кактусов, а 700 стихотво-

рений Ахматовой оставит более смелому переводчику. Точнее сказать, "более дерзкому" или, если угодно, "более самоуверенному"...

<...>

После всего, что я — предвидя гневную реакцию читателя — уже успел наговорить о своем переводческом честолюбии и наглости, я должен внести важное уточнение в этот двойной диагноз. Итак, насколько мое переводческое честолюбие безгранично, настолько наглость имеет пределы. Другими словами, максимализм моей личной переводческой нормативной поэтики заключается в следующем: я стремлюсь себе самому — а заодно и другим переводчикам — выдвигать максимальные требования; кроме того, иногда я, забыв о скромности, полагаю, будто мне удалось превзойти других переводчиков; однако это не означает, что то же стихотворение нельзя перевести лучше. Перевести лучше может другой переводчик, который в свою очередь в полемике с моим ви́дением оригинала предложит другое ви́дение, более полное или более точное, и убедительно воплотит его на польском языке; к лучшему решению могу прийти я сам через некоторое время, как бы вступив в полемику с самим собой (и много раз это уже случалось...). Как известно, идеал по своей природе недостижим. Однако здесь важно само стремление приблизиться к нему максимально.

Какие же критерии мы примем? Мне кажется, что по крайней мере пару основных критериев допустимо применять, не задевая достоинство других переводчиков. С данной точки зрения и в данном контексте эти основные критерии, составляющие часть моей личной нормативной поэтики, вообще могли бы быть использованы в переводческой критике (естественно, без малейшего снисхождения и к моим собственным переводам, я ничего не имею против). Иными словами, моя личная максималистская программа содержит в себе ядро программы-минимум, самые элементарные вещи, которые — по моему мнению — должны быть приняты каждым, кто берется за перевод поэзии или за критику поэтических переводов. Эта программа-минимум состоит всего из двух очень простых запретов.

Первый запрет. Не переводи стихотворение прозой.

...Речь идет о ложной концепции, согласно которой прозаический перевод поэтического произведения, может быть, и не так "красив", как оригинал, но зато более "верен" оригиналу, чем поэтический. Данная концепция абсолютно ошибочна. Помимо чисто "технического" использования текста перевода, который не воспринимается как полноправное художественное произведение и не годится для публикации (например, так называемый подстрочник или филологический перевод), перевод стихотворения прозой всегда приводит к серьезному *семантическому* уродованию произведения. Полученный текст явно будет уступать хорошему поэтическому переводу того же самого стихотворения не только в эстетическом ("формальном") плане: вопреки прагматическим замыслам он окажется менее емким в плане "содержательном", менее упорядоченным в своем логическом устройстве, менее прозрачным семантически, и в итоге — просто-напросто — менее понятным. <...> Наглядным примером может служить филологический перевод "Гамлета", сделанный когда-то В. Хвалевиком: перевод настолько прозаически-дословный (в нем чувствуется боязнь поэтического лаконизма, синтезирования значений), что — подобно канцелярским циркулярам на искусственном языке Птидепе, изобретенном Вацлавом Гавелом в драме "Меморандум", — кажется не только растянутым и неорганизованным в языковом плане, но и местами совершенно непонятным. Мнимые преимущества подобных переводов, которые якобы объясняют нам то, что "автор хотел сказать", являются, научно выражаясь, чушью собачьей. Если бы автор стихотворения действительно хотел сказать то же самое, что получилось у переводчика, он сразу бы написал свой текст прозой. Разумеется, существуют поэтические произведения, которые при передаче их прозой теряют весьма немного или совсем ничего не теряют. Однако, как уже когда-то проница-

тельно заметил Поль Валери, именно то, что потеря не кажется столь великой, подвергает сомнению их поэтическую ценность. В данном смысле процитированное уже высказывание Роберта Фроста: "Поэзия — это то, что пропадает в переводе" — было бы более точным (но и более бесспорным и поэтому менее эффектным), если представить его в виде: "Поэзия — это то, что пропадает в переводе ее прозой".

Второй запрет. Не переводи хорошую поэзию плохой поэзией.

Но можно сказать и так: "Поэзия — это то, что пропадает в не очень хорошем поэтическом переводе". По моему мнению, нельзя допускать, чтобы выдающееся поэтическое произведение на языке А становилось средним или эстетически ущербным при переводе на язык Б. Нередко переводчики оправдываются: "Это ведь только перевод — он в принципе не может быть так же хорош, как оригинал" — и опираются на верную в общем-то предпосылку (я сам минуту назад утверждал: даже самый лучший перевод всегда можно сделать еще лучше, иначе говоря, никогда переводу не достичь совершенства оригинала). Как правило, за подобным оправданием кроется чрезмерная снисходительность к себе: планка занижена, работа выполняется халтурно и переводчик не слишком напрягается. Но к поэзии — которая, как когда-то просто определил ее Иосиф Бродский, является "самой совершенной версией языка", — необходимо подходить с позиций высшего порядка: ничто не извинит иное отношение к стихотворному переводу. Сколько же тонн бумаги мы сэкономим, осознав элементарную вещь: плохая поэзия никому не нужна. Ничем нельзя оправдать появление плохого стихотворения — всегда лучше, когда его нет. Плохая литература, как сказал бы томист, это не только отсутствие хорошей литературы; это скорее, как выразился бы манихеец, активное присутствие эстетического Зла. А Злу не следует помогать, оправдывая его проявления и господство ссылками на прагматические цели. Например, издание плохих переводов У. Х. Одена — только потому, что нет под рукой хороших, а нужно дать польскому читателю "какое-либо" представление об этом значительном поэте, — безусловная ошибка: плохие польские стихотворения не дадут вообще никакого понятия о творчестве Одена, поскольку по-английски он таких плохих стихотворений не писал.

Из всего сказанного следует, как мне кажется, определенная практическая рекомендация для критики поэтического перевода. Подобная критика, если она вообще существует у нас или в других литературах, обычно начинает анализ не с того конца: она сравнивает текст перевода с текстом оригинала с точки зрения "верности содержанию", снисходительно вылавливая все случаи неточных лексических эквивалентов, неверно понятых идиом, образов и т. д., и только потом — но не обязательно — уделяет немного внимания самостоятельной ценности перевода как поэтического произведения. "Перевод стихотворения поэта X, сделанный переводчиком Y, содержит множество ужасных ошибок: например, вместо "безупречный алебастр твоего тела" должно быть "каррарский мрамор твоего тела", вместо "на рассвете разбудил нас пением скворец" должно быть "на заре пробудила нас ото сна песня скворца", и уж абсолютно недопустимо то, что переводчик говорит о "саде, дышащем ароматом тимьяна", или *Thymus serphyllum*, в то время как в оригинале стоит "двурогий", как бык, "левкой" (*Mathiola bicornis*). С другой стороны, необходимо с удовлетворением отметить, что в переводе используется рифма". Так выглядит типичная критика перевода.

А следовало бы, собственно говоря, идти от обратного, сразу же поставив ключевой вопрос: сто́ит ли вот это стихотворение, которое лежит передо мной (если на него взглянуть как на стихотворение, а не как на перевод), стихотворение, написанное по-польски ради высоких целей, которым служит поэзия, — сто́ит ли оно вообще чего-нибудь с точки зрения поэзии? Если нет, если его нельзя назвать выдающимся эстетическим творением, если оно, проще говоря, не берет меня за душу или, наоборот, кажется поэтически не состоявшимся — тогда тут же следует за-

вершить анализ и не тратить силы на сравнение перевода с оригиналом; в конце концов, даже если благоухает там левкой, а не тимьян, если даже перевод выглядит стопроцентно "верным" по отношению к лежащим на поверхности значениям, это не изменит нашего мнения: перевод никуда не годится. Если же мы признаем перевод поэтическим произведением, незаурядным в полном смысле этого слова, то можно перейти ко второму этапу оценки — к размышлению о том, какую цену заплатил переводчик за достигнутую им поэтическую незаурядность и насколько отклонился от поверхностной семантической "верности".

Это не значит, что я призываю снисходительно относиться к переводам, в которых переводчик с трудом справляется с сохранением важных смыслов оригинала (взять, к примеру, хотя бы тот же несчастный левкой, если для лирического действия так уж необходимо, чтобы благоухал именно он), переиначивая и искажая их в погоне за художественным эффектом. Вовсе нет: если нарушения такого рода заходят слишком далеко, такой перевод я не признаю, несмотря даже на его высочайшее, истинно поэтическое мастерство. Однако место и время для подобной критики — во второй части рецензии, там потребуется объективный анализ, а искажения смысла можно будет оценивать в категориях их функциональной пользы, с точки зрения эстетического эффекта. Если же критик начинает свою оценку с того, что указывает переводчику на промахи в "содержании", значит, он заблудился в трех соснах, то есть не сумел систематизировать свои наблюдения и не задумался над более общим, не только "содержательным", поэтическим смыслом перевода.

Тут может возникнуть возражение: к оценке перевода следует применять иные критерии, здесь труднее провести границу между "хорошим" и "плохим" — вместо черно-белой оппозиции этих понятий уместнее использовать градуированную гамму оттенков и оценок типа "лучшее" и "худшее". Я согласен, но только отчасти. Очевидно, что хорошие переводы отличаются высокой степенью достигнутой "хорошести"; очевидно и то, что к плохим переводам можно применить шкалу "плохости". Несмотря на это, я настаивал бы на том, что четкая и — в рамках принятой системы оценок — бесспорная граница между "хорошими" и "плохими" переводами, которые можно или нельзя принять, все же существует. В искусстве критического анализа текста концепция множества возможных его прочтений не мешает признать определенные прочтения объективно ошибочными, находящимися в состоянии противоречия с нетронутым, непонятым ядром смысла произведения (я знаю, что деструкционист со мной не согласится, но мне плевать на его несогласие, поскольку в соответствии с принципами самого деструкционизма данное несогласие, как и сам текст, изначально лишены какого-либо конкретного значения). Так и в искусстве перевода можно установить границу, при пересечении которой переводческая интерпретация является не только "худшей" по сравнению с другими ("лучшими"), но и объективно "плохой".

Определение такой границы — задача серьезной критики перевода. Однако как эту границу определить, с помощью какого критерия?

Я бы советовал использовать уже предложенную мной категорию *семантической доминанты* поэтического произведения. Чтобы правильно понять данный термин, необходимо сначала отказаться от давно скомпрометировавшего себя (но типичного для критики перевода или самих переводчиков) деления на "содержание" и "форму". Заменить его должно общее понятие значения как совокупности семантических возможностей, содержащихся в словах или фразах, а также в поэтической организации высказывания. Каждое выдающееся поэтическое произведение является миниатюрной моделью мира, и в данной модели буквально каждый составляющий ее элемент — от суммы непосредственно высказанных мыслей до мельчайших атомов фонетики, лишенной, в принципе, самостоятельного значения, от жанровой принадлежности или обращений к традиции до внутритекстовых решений средст-

вами синтаксиса или грамматики — может, благодаря соответствующей организации текста, принять участие в процессе формирования значений. Эстетическая ценность рождается в этом процессе в момент, когда значения в данном произведении начинают подчиняться некоему конкретному сверхпринципу — и он все элементы текста, участвующие в формировании значения, выводит, условно говоря, на общую поверхность или задает им общее направление. Виткаций, процитирую его еще раз, в таких случаях говорил бы о единстве во множестве, Шкловский назвал бы данный принцип главным "приемом" произведения, структуралист привел бы термин "семантический жест" — мы же будем очень осторожно говорить о *семантической доминанте*, первенстве определенного элемента структуры, который представляет собой более или менее доступный ключ к совокупности всех смыслов. Разгадать этот ключ и правильно использовать — задача как для читателя и критика-интерпретатора, так и, разумеется, для переводчика.

Мария Карп
На *лондонской сцене*

Сильвия! Кто же она?
Пастушки все без ума...

Эта песенка из "Двух веронцев" пришла на ум семидесятилетнему американскому драматургу Эдварду Олби, когда он сочинял свою новую драму, и теперь те, кто знаком с пьесами современного американца лучше, чем с пьесами великого английского барда, навсегда запомнят, что Сильвия — коза. Пьеса Олби так и называется: "Коза, или Кто такая Сильвия?" Лондонская интеллигенция, которая валом валит в маленький модный театр "Альмейда", от одного этого названия ощущает некий потаенный трепет, который принято называть французским — непременно французским — словом *frisson*. Потому что автор "Случая в зоопарке" написал пьесу о любви к козе, и лондонская — как, впрочем, и нью-йоркская — искушенная публика не может прийти в себя от возбуждения.

Обычная благополучная семья в обычном благополучном доме: он — преуспевающий архитектор, она — любящая жена, сын-подросток, очевидно, с гомосексуальными наклонностями, что тоже в благополучной лондонско-нью-йоркской интеллигентской среде, в общем, дело обычное... И вдруг гром среди ясного неба: "Чем это от тебя пахнет?" Кто она? Кто она? Из-за предательства друга быстро выясняется, что она — коза. Речь в самом деле идет о скотоложестве. Мягкий интеллигентный человек, даже в минуты глубочайшего душевного волнения обеспокоенный правильностью речи домашних (по-русски было бы постоянно: "красИвее, а не красивЕе!", "хотите, а не хочете!"), — полюбил козу, совокупляется с козой... Герой, разумеется, и сам чувствует, что что-то не в порядке и идет на занятия групповой психотерапией, где у всех "сходные проблемы": "Там одна девушка полюбила гуся..." Пахнет грубоватой и довольно затянутой комедией. Однако длящийся три четверти спектакля семейный скандал, в ходе которого жена крушит все, что попадает под руку, и особенно драматический финал должны убедить нас, что мы не правы: перед нами высокая трагедия, и скотоложество — лишь метафора незаконной, запретной любви. И правда, когда отлучившаяся жена возвращается запачканная кровью, волоча тяжелый труп козы — той самой нежной Сильвии, от волоокого взгляда которой у нашего героя замирало сердце, — нас пронзает ужас при мысли о мере человеческой жестокости и способности близких — с наилучшими намерениями — растоптать то, что человеку дорого. Впрочем, как ни странно, метафора ощущается только при появлении козы на сцене, так сказать, при материализации образа, вернее, символа... Возникает даже мысль о том, что, может быть, виноваты постановщик (Энтони Пейдж) с оформительницей (Хильдегард Бехтлер), сделавшие спектакль чрезмерно реалистичным (в Нью-Йорке, говорят, символики больше), что, может быть, актеры (Джонатан Прайс и Кейт Фей) играют чересчур натуралистично... Однако, скорее всего, дело все-таки в самой пьесе.

Олби — драматург беспощадный ("Кто боится Вирджинии Вулф?" — если мы сами готовы разодрать своих друзей в клочья), но в тонкости не входящий. Персонажи "Козы" не отличаются особо сложными душевны-

© М. Карп 2004

ми переливами: друг детства совершает предательство без малейших колебаний; жена, двадцать лет счастливо прожившая с верным ей мужем, не испытывает к нему ни малейшего сочувствия; любовь к козе – что ж, это любовь к козе, и в интервью писатель без обиняков рассказывает, что, преподавая в Хьюстоне, штат Техас, он не раз встречал университетских профессоров – особенно из фермерских семей, – которые в юности чем только не занимались... Двусмысленность ситуации щекочет нервы интеллигенции. И игриво, и политически корректно разом – ко всему мы относимся с должной терпимостью... В Америке четыре влиятельных жюри назвали "Козу" лучшей пьесой 2003 года. Те, кто попроще, в отвращении выходят из зала, но не мы...

Никто не выходит из зала и при показе в лондонском "Барбикане" ультрасовременной постановки ибсеновской "Норы", хотя молодой берлинский режиссер Томас Остермайер делает все, чтобы – как единодушно признают рецензенты – превратить Ибсена в Тарантино. Ибсеновский банкир Торвальд становится преуспевающим яппи, друг семьи доктор Ранк умирает от СПИДа, а в роскошно-стерильном "кукольном доме" с огромным аквариумом может жить одна только кукла – Барби. Барби, разумеется, не до Нориного самоутверждения, не до ее терзаний. Играющая Нору сорокатрехлетняя актриса Анне Тисмер признана немецкими критиками лучшей актрисой года, очевидно, за то, что она – не хуже Барби – стройна и сексуально привлекательна, особенно в тех сценах, где, раздетая и перетянутая ремнями, возвращается домой после садо-мазохистских оргий (это там, где у Ибсена бедная Нора смело плясала тарантеллу). Спектакль заканчивается тем, что Нора убивает Торвальда, ибо, по словам режиссера, сегодня уходом женщины от мужа и трех детей, так потрясавшим современников драматурга, никого не удивишь, а убийством, надеется он, все-таки еще можно...

Что удивит или покорит лондонскую театральную публику – вопрос непростой. Недавно английский писатель-фантаст Джеймс Грэм Баллард написал роман "Люди тысячелетия", главные герои которого – лондонские интеллигенты – в наши дни устраивают революцию. Взрывается бомба в аэропорту Хитроу, горит Национальный кинотеатр, толпа готова разнести здание Би-би-си, бомбу подкладывают и в цитадель искусства современной тониблэровской Британии – галерею Тейт-Модерн... Неужели британская интеллигенция действительно способна на такие ужасы? Нет, конечно. Но сквозь описание бунта у Балларда проступает сатирический портрет британского среднего класса, и социальная фантастика рисует нам его ярче, чем писатели-реалисты.

Рассказчик, психолог Дейвид Маркем, пытается урезонить демонстрантку, выступающую против показа кошек в столичном выставочном зале "Олимпия":

– Анжела, взгляните, им же хорошо, – сказал я, указывая на десятки изысканных существ – персидских, сиамских и русских голубых, бирманских и пятнистых короткошерстных, дремлющих на безупречно чистых соломенных подстилках. Их шерстка колыхалась и блестела после разнообразных шампуней и укладок. – О них прекрасно заботятся. Мы же пытаемся спасти их из рая.

Анжела не дрогнула.

– Откуда вы знаете?

– Да поглядите же на них! – Мы остановились перед рядом абиссинок, которые были так упоены собственным роскошеством, что, казалось, не замечали восхищенных толп. – Не так уж им и плохо. Иначе они бы шныряли туда-сюда, пытаясь вырваться.

– Они одурманены. – Брови Анжелы сошлись над переносицей. – Ни одно живое существо, мистер Маркем, не должно находиться в клетке. Это не кошачья выставка, это концлагерь!

Убежденность в своей правоте ослепляет, и известны случаи, когда борцы за права животных совершали преступления против людей – например, посылая тем, кто надевал шубу из натурального меха, письма со взрывчаткой, так что Баллард не столь и фантастичен в своей утопии. Но интереснее в романе не идеологи революции, а, так сказать, революци-

онные массы интеллигенции. В "Людях тысячелетия" Баллард смеется над избалованностью, буржуазностью и законопослушностью бунтующих врачей, юристов, университетских преподавателей; эти качества проявляются даже в ходе революции: автомобиль поджигают, но сперва припарковывают по всем правилам, горючую смесь — так называемый коктейль Молотова — наливают в роскошные французские бутылки из-под бургундского... Более того, писатель отмечает, хоть и мимоходом, интеллектуальную зависимость среднего класса, его несамостоятельность, его единомыслие. Герои потому и стремятся взорвать культурные институты вроде Национального кинотеатра или Би-би-си, что ощущают себя — и справедливо! — их порождением. В володинской пьесе шестидесятых годов героиня отмечала, что "за столом сидели люди с разнообразными интеллигентными лицами" и почему-то разнообразность этих интеллигентных лиц наводила тоску, свидетельствуя, на самом деле, об их однообразии. В Англии, где понятия "средний класс" и "интеллигенция" часто пересекаются, тоска становится еще сильней, особенно там, где и восприятие искусства делается "классовым", и предпочтение книги или спектакля определяется рецензиями...

Постмодернист при дворе короля Артура

Бартелми Д. *Король* / Перев. с англ. М. Немцова. М.: Эксмо, 2004

...Во-вторых, потому что уж очень изящно книга издана: удобный "покетбуковый" формат (как раз влезет в карман плаща или куртки), хорошая бумага, крупный шрифт, эстетская обложка — с пикирующими аэропланами над островерхими башенками замка и празднично-яркими фигурками, позаимствованными с картины века пятнадцатого.

В-третьих, магическое влияние оказывает статус автора — "американского классика постмодернизма", как гласит аннотация, а ведь как ни бейся, изрядно затертое, выхолощенное словечко "постмодернизм" и всё, что им обозначается, до сих пор у многих "продвинутых читателей" вызывает такую же благоговейную оторопь, как у стародавних стиляг — "забугорные" шмотки с фирменным лейблом.

Правда, с тем, что Дональд Бартельм — теперь его фамилию принято почему-то писать на итальянский манер: Бартелми, но мне уж позвольте называть его по старинке, — так вот, с тем, что Бартельм был чистокровным и беспримесным постмодернистом, можно поспорить. Сам он весьма иронично относился к попыткам критиков навесить на него какой-либо ярлык — "черный юморист", "неоавангардист", "неофабулист", "минималист", "постмодернист", — да и его творчество едва ли исчерпывается каким-либо "измом" (как и литературная продукция других американских писателей — Джона Барта, Уильяма Гасса, Курта Воннегута, которых всевозможные "веды" и "еды" упрямо загоняют в постмодернистское гетто).

Добрая половина бартельмовских текстов чужда игровой поэтике постмодернизма и скорее относится к герметичному авангарду "второй волны" (Саррот, Роб-Грийе и другие "новые романисты"), к тому, что Гор Видал иронично именовал "литературой Поиска и Эксперимента". В этом вы легко убедитесь, если одолеете относительно недавно переведенный сборник "Шестьдесят рассказов" (1981)[1], представляющий творческую эволюцию Бартельма за двадцать лет. Некоторые из бартельмовских текстов явно поднялись на модернистских дрожжах. Взять хотя бы "Восстание индейцев", "Скажи ты мне" или "Алису": своей бессвязной манерой повествования и искалеченным синтаксисом они имитируют поток шизофренического "бессознания" в духе Джойса и Беккета. Недаром же сам Бартельм неоднократно признавал то огромное влияние, которое оказали на него мэтры модернизма, а американские критики, одаривая его двусмысленными похвалами — "Он один из полудюжины действительно интересных американских писателей, пишущих в наше время. И при этом — нудный, напыщенный, без конца повторяющийся, наводящий тоску...", — называли его "талантливым художником, стоящим в тени Гертруды Стайн и Джеймса Джойса"[2].

Но вот что касается романа "Король" (1990), то тут спору нет. "Наитипичнейше постмодернистская вещь", — с удовольствием констатировал один из наших газетных обозревателей.

"Наитипичнейше постмодернистские вещи", как известно,

1. Бартельми Д. Шестьдесят рассказов. Перев. с англ. А. Пчелинцева. СПб.: Симпозиум, 2000.
2. Scott W. Dreams of the Body Neurotic // The Washington Post — Book World. 1972. November 5, p. 3.

строятся на травестийном переосмыслении, снижении и, если уж начистоту, опошлении классического сюжета, образца "высокой литературы" или мифа. В начале писательской карьеры Бартельм разделался с персонажами популярной сказки — в романе "Белоснежка" (1967); напоследок, завершая творческий, да и земной путь ("Король" был закончен всего за три месяца до смерти писателя от рака), он порезвился с героями Артуровского цикла, перенеся их в Англию времен Второй мировой войны и прихотливо перетасовав приметы нескольких эпох.

Король Артур, прозябая в бездействии, с мазохистским упорством слушает пропагандистские радиопередачи мистера Ха-Ха[1] и Эзры Паунда, дает бессмысленные интервью, где туманно рассуждает о системе налогообложения и тяготах королевской жизни; войной с Третьим рейхом он озабочен не больше, чем повесткой в суд "выполнять гражданскую повинность присяжного" или проблемой, как бы сдвинуть с места локомотив, намертво приваренный к рельсам бастующими железнодорожниками. Между тем Гвиневера напропалую изменяет мужу с Ланселотом и Коричневым Рыцарем, а Мордред интригует против отца и готовит государственный переворот. Рыцари Круглого стола, как им и положено, носятся по полям по лугам и мутузят друг друга почем зря, хотя больше пьянствуют, разглагольствуя о феях, драконах и прочих материях. Красный Рыцарь оказывается коммунистом и вовсю расхваливает Партию, "олицетворяющую коллективную мудрость народа"; Черный Рыцарь — негром-интеллектуалом, который "с ученым видом знатока" может говорить на какие угодно темы: от "негритюда" до ядерной физики и публикаций в "Журнале репродуктивной технологии"; Вальтер Безденежный (так переводчик обозвал предводителя первого ополчения крестоносцев, в русской историографии традиционно именуемого "Вальтер Голяк") браконьерствует в королевском лесу, проповедует крестовый поход на Европу и пугает честной народ эсхатологическими прогнозами; Синий Рыцарь озадачен поиском Святого Грааля, то бишь изобретением супероружия, способного "причинить ни с чем не сравнимые разрушения и отвратительнейшим образом подействовать на человеческую жизнь".

В общем, благородные витязи Артуровских легенд предстают у Бартельма фарсовыми фигурами, вроде валких рыцарей из кэрролловского "Зазеркалья", прекрасные дамы — распутницами, символ Божественной Благодати — атомной бомбой.

Гротескно-комическому сюжету "Короля" подстать и лоскутный стиль, сочетающий архаизмы и просторечия, обрывистые реплики и тяжеловесные периоды, в которых пародируется язык политических передовиц и квазинаучная заумь: "...В соответствии с чем и на основании чего и следует то внутреннее смятение, коим вынужден терзаться король и говорить о коем я не могу, поскольку будучи рассказанным, смятение это станет овнешвленным, а не внутренним, а удержание внутреннего *внутри* и есть сама сущность королевской власти..." и т. п.

Как и прежде, Бартельм остается верен раз и навсегда выбранному принципу фрагментарного повествования. "Фрагмент — единственная форма, которой я доверяю", — признание героя-по-

1. Тут переводчику следовало бы пояснить, что речь идет о реальном лице, Уильяме Джойсе (1906—1946), всю войну вещавшем по немецкому радио на англоязычные страны и за своеобразную манеру речи получившем у англичан прозвище Lord Haw-Haw; после разгрома Германии Джойс был арестован, вывезен в Лондон (при том, что он не являлся британским подданным) и за сотрудничество с геббельсовским ведомством повешен.

вествователя из рассказа "Видишь Луну?" не без основания приписывают самому Бартельму. В "Короле" нет ни связной фабулы, ни завязки, ни кульминации, ни развязки. Нет и повествования как такового. По сути, перед нами не роман, а череда скетчей, слабо связанных друг с другом. Текст "Короля" на девяносто девять процентов состоит из диалогов; авторская речь сводится к скупым вводным ремаркам: "Лионесса и Эдвард на палубе танкера 'Урсала'. Слушаючи Эзру по корабельному радио"; "Сэр Роже де Ибадан беседуючи с Красным Рыцарем — сэром Железнобоком"; "В кафе 'Балалайка' Ланселот и Гвиневера за кофием..."

Читается бартельмовская травестия легко — не сравнить с "экспериментальными" опусами из "Шестидесяти рассказов" с их осколочной композицией и мутным словесным потоком, в котором тонут самые благие намерения самого прилежного читателя. Однако к середине книги, когда ты понимаешь, что тебя и дальше ничего не ждет, кроме очередной порции абсурдистских диалогов "ни о чем", интерес к чтению пропадает. Стилизации под витиеватый слог рыцарских романов приедаются, аллюзии и анахронизмы кажутся нарочитыми, шуточки — вымученными, да и вся эта буффонада с рыцарями Круглого стола — затянувшейся шуткой, никчемной затеей, поражающей своей инфантильностью. Вдумайтесь только: пятидесятидевятилетний мужик болен раком, позади прожитая жизнь, скоро он вступит "в ту область ночи, откуда возвращенья нет". Казалось бы, вот тут-то, перед лицом вечности (или небытия?!) о душе подумать, взять да и написать нечто пронзительно-искреннее, без кривлянья — "пять-шесть как бы случайных строк", овеянных метафизическим ветерком, способных пробрать до дрожи в позвоночнике. Так нет же! Вместо этого — щедрые россыпи пестрого словесного сора, коим бойко обмениваются марионеточные персонажи.

"Гвиневера в Лондоне, во дворце. Сидючи в кресле, переводя яблоко на повидло.

— Мне это надоело до смерти, до чертиков, и меня уже тошнит..."

Подташнивает от подобных игрищ и меня, но, чтобы вы не подумали, будто я такой привереда, строго конфиденциально сообщу: лебединая песнь "классика американского постмодернизма" не особо впечатлила и англоязычных рецензентов:

"К сожалению, несмотря на отдельные удачные фразы, книга остается примитивной, бессодержательной, своей дурашливостью вызывающей чувство неловкости. Я полагаю, что, если бы она подавалась не в качестве последнего творения высокоуважаемого американского писателя, а как дебютная работа незнакомца, ее никогда бы не опубликовали"[1]; "Тем, кто вспомнит 'Голубые цветочки' Раймона Кено (роман был переведен на английский в 1967 году), эта комическая путаница с рыцарями представится менее оригинальной, чем может показаться с первого взгляда. В конце концов постоянное шутовство Бартельма утомляет... Нет ни развития характеров, ни сюжета, способного поддержать читательский интерес"[2].

Я бы мог привести еще несколько подобных высказываний, но из присущего мне милосердия не буду этого делать. Как говаривал бартельмовский Черный Рыцарь: "В книгах ведь что главное? Что есть великое множество таких, которые вовсе не обязательно читать".

И пусть на мой вкус книга Бартельма именно из "таких", я уве-

1. King F. Lord Haw-Haw Meets King Arthur // Spectator. 1991. Vol. 266. № 8484, p. 26.
2. Carver R. Knights Shift // New Statesman & Society. 1991. Vol. 4. № 140, p. 38.

рен: она найдет своего читателя. А то и двух-трех.

Во-первых, потому что это переводная вещь, а "если книжка написана по-английски, — заметил один неглупый человек, — то она имеет на рынке преимущества, независимо от своих литературных качеств. Она может быть гораздо слабее и гораздо менее привлекательна даже для среднего читателя, чем французская, немецкая или португальская книга того же жанра, но ее купят только за словосочетание 'перевод с английского'"...

Николай Мельников

Примы и фигуранты русского Парижа

Алексей Зверев. *Повседневная жизнь русского литературного Парижа.* 1920—1940. М.: Молодая гвардия, 2003

Фигурантами называли в начале прошлого века статистов. Это был почетный и довольно распространенный способ заработка среди русских эмигрантов (статистами одно время подрабатывали Сергей Эфрон, муж Марины Цветаевой, и Галина Кузнецова, будущая возлюбленная Бунина, и Татьяна Яковлева, парижская любовь Маяковского, а также множество других, не столь известных русских парижан, особенно из тех, кто страшился пополнить ряды пролетариата). Некоторым случалось выйти в примы, стать королями или королевами экрана (например, дочь Куприна Киса сыграла главную роль в фильме "Искатели приключений", имевшем большой успех у парижской публики). О жизни "звезд" и "массовки" русского Парижа — если уж перейти на киножаргон — идет речь в книге "Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920—1940" из серии "Повседневная жизнь человечества" издательства "Молодая гвардия". К горькому сожалению, книга эта посмертная. Ее автора, замечательного филолога Алексея Зверева, не стало в прошлом году.

Почему-то читать о "массовке" иногда бывает интереснее, чем о "звездах". Наверное, потому, что жизнь парижских литературных "звезд" достаточно хорошо известна читателю — во всяком случае читателю мемуаров Серебряного века (а "звезды" все, понятное дело, оттуда). Другое дело — повседневная жизнь русского Рассеянья, сконцентрированная в кварталах русского "городка" (название, придуманное Тэффи), а также рассеянная (извините за каламбур) и растворенная в парижской повседневной жизни.

Алексей Зверев знает эту жизнь сплошь и насквозь. Даже удивительно, что страстью — и делом — его жизни была зарубежная, по преимуществу американская литература. Не потому, что он писал о ней недостаточно хорошо (наоборот, писал прекрасно), а потому, что книга о русском литературном Париже написана так, как пишут о дорогом и "заветном" (это слово любили его русские персонажи). Такому исследованию обычно посвящают жизнь — и по-другому никак нельзя, потому что иначе как возможно прочесть тысячи газет, сотни мемуаров, многие десятки романов и стихотворных сборников? (А есть еще рукописные архивы, которые автор тоже знал.) Алексею Звереву каким-то непостижимым образом это удавалось.

Когда читаешь его биографические главы о Ходасевиче, Цветаевой, Бунине (особенно Бунине), видишь, что в этих очерках, необходимо кратких и достаточно полноцветных, есть все, чтоб каждый из них мог развернуться в отдельную книгу. Насколько мне известно, перу Зверева принадле-

жит только одно — но блестящее — биографическое сочинение: биография Набокова (она вышла не так давно в том же издательстве "Молодая гвардия", автор еще успел увидеть эту книгу).

Зверев выбрал очень деликатную позицию по отношению к читателю. "Протазанов — пионер русского кинематографа", "Вертинский — первый русский шансонье", — то и дело комментирует он и, комментируя, ненавязчиво просвещает читателя. Видимо, предполагает — и вполне обоснованно, — что читатель его книги может этого и не знать. Книга написана так, чтобы те, кто не знает культурного контекста эпохи, не почувствовали себя здесь незваными гостями, а те, кто знает, не разочаровались: для них там приготовлено очень много.

Зверев знает и чувствует жизнь рабочих кварталов, блошиных рынков, переулков и нищих задворок города — то есть "чрево Парижа" — так же хорошо, как блеск его витрин и буржуазность его фешенебельного центра. Последние, впрочем, автора интересуют мало — не там протекает жизнь его героев, парижских таксистов, портье, модисток и литераторов русского происхождения.

Среди "массовки" — не только те, кто раньше, "до катастрофы", имели отношение к интеллектуальной деятельности. Но еще — казаки, врангелевцы и деникинцы, махновцы, сионисты, отпрыски дворянских семей, а также "священнослужители, разоренные промышленники, оставшиеся без синекур сановники и дипломаты из закрывшихся русских посольств, и пролетарии, не поверившие в утопию государства рабочих и крестьян, и меньшевики, насмерть разругавшиеся с большевиками, а в эмиграции и друг с другом".

Кто-то из них смотрел на свое изгнанничество как на служение, подвиг. Подвиг, тут же скептически замечает автор, понимался очень по-разному. От подготовки и осуществления террористических актов "на территории, прежде называвшейся Россией, до деятельного сотрудничества с советской агентурой, чтобы 'искупить вину'". И о тех и о других он расскажет подробно.

Большинству же нужно было просто выжить. Что происходило с теми русскими, которым удалось добраться до Парижа? Как складывалась жизнь новых парижан дальше, после того, как они спускались с трапа корабля во французском порту? Что они делали потом, зарегистрировавшись в посольстве на рю де Гренель, 12, пока еще представлявшем Временное правительство, и получив справку о регистрации? Кто им помогал в устройстве жизни? Чем хотели заниматься русские и куда их брали на работу?

На эти вопросы книга отвечает замечательно интересно. Здесь много о том, как новые французские автогиганты — "Рено", "Пежо" — предоставляли работу в своих цехах, иногда даже организовывали бесплатный проезд русских беженцев из Константинополя до заводских ворот, брали на себя юридические хлопоты.

Отдельный сюжет посвящен тому, как становились водителями такси (из этой среды вышел Гайто Газданов, о ней он написал свою автобиографическую книгу "Ночные дороги"). Сколько стоила аренда такси, какова была продолжительность рабочего дня занимавшихся извозом, каковы были самые популярные маршруты (бордель, понятное дело, — и владельцы борделей за богатых клиентов еще доплачивали).

Кому-то помогала выкарабкаться мода на все русское — и великие княгини основывали Дома вышивки, а, например, князь Феликс Юсупов, один из организаторов убийства Распутина, вместе с княгиней Ириной владели ателье "Ирфе" — "Ирина—Феликс". (Как причудливо тасуется колода!)

Кому-то удалось открыть русские ночные кабаре (туда усилен-

но старались зазвать Вертинского) и рестораны в стиле а-ля рюсс, русские больницы, общежития, приюты для престарелых.

А кого-то спасала — или казалось, что спасала, — русская литературная жизнь. Двадцать лет между двумя мировыми войнами, в которые укладывается лучшая эпоха русского литературного Парижа. Конец этой эпохе положили война и немецкая оккупация.

"Русский Париж действительно стал историей, причем задолго до того, как ушли его последние яркие личности. В сущности, черта была подведена в тот летний день 1939 года, когда... хоронили Ходасевича, а Цветаева, не знавшая о том, что он умер, после семнадцатилетней разлуки впервые увидела свою родную, неузнаваемую Москву. Через два с половиной месяца началась война, и французское правительство тут же приступило к ликвидации всех политических союзов эмигрантов, конфискуя их архивы, закрывая газеты". Следующим летом "в Париж вошли немцы, докончившие этот разгром и русской периодики, и русских объединений, даже совсем далеких от политики", — подводит Зверев печальный итог двух десятилетий русской эмиграции.

Многим героям книги Париж представлялся временным прибежищем перед возвращением в Россию, а оказался "приглашением на казнь".

Вот один из сюжетов. Литературный кружок "Зеленая лампа", названный в честь пушкинской "Зеленой лампы", представлял собой смешение немыслимое. "Лампа" объединяла в круге своего света Мережковского, Гиппиус, Куприна, Бориса Зайцева, Адамовича, Довида Кнута. Все эти, подчас взрывчато противоположные люди собирались там с одной целью — приобрести опыт свободы, неизвестный доселе. Никто из них не предполагал, сколь недолгим окажется этот опыт, в какие разные стороны он поведет участников "Зеленой лампы". Всего через несколько лет Довид Кнут ушел во французское Сопротивление и в годы войны занимался крайне опасным делом: переводил "неарийцев" через швейцарскую границу, спасая от лагерей смерти. После войны уехал в Израиль. Его жену Ариадну Скрябину, дочь композитора, принявшую иудаизм, расстреляли в 1944-м.

Мережковский получил долгожданную субсидию из Италии и уехал работать над книгой о Леонардо да Винчи. Писал восторженные письма Муссолини. Вернулся во Францию. О Мережковском ходили слухи, будто он занимался шпионажем в пользу немцев и сманивал русскую молодежь на службу в гестапо. А перед самым нападением Гитлера на СССР он произнес по радио взволнованную речь, где сравнивал Гитлера с Жанной д'Арк, призванной спасти мир от власти дьявола. От него с ужасом отвернулись все знакомые. В 1941 году, когда он скоропостижно умер, на кладбище в Сент-Женевьев гроб никто не провожал.

В 1937-м из Парижа в СССР вернулся Куприн. Старого и больного писателя, про которого Берберова писала, что он впал в детство (и это было, увы, правдой), встретили с помпой, попытались использовать для пропаганды советских успехов, сделали вид, будто забыли, что новое название своей страны он в газетных статьях писал только так: "Сррр...". У Куприна был рак, жить ему оставалось чуть больше года. "Убедившись, что он ни на что не годен, его отправили тихо умирать в любимую им Гатчину. Для этого он и ехал в 'Сррр...' — не каяться, не виниться и мириться, а просто умереть — на опоганенной и все-таки родной земле".

Через два года после возвращения Куприна, в 1939-м, из парижского неуюта собиралась, вслед за мужем и дочерью, возвращаться в СССР Марина Цветаева.

Перед самым отъездом написала последнее парижское стихотворение — "Нежная Франция", где есть строчки: "Дано мне отплытье Марии Стюарт". "Из Франции, которая ее выталкивала, — напоминает Зверев, — королева Шотландии отправилась в английскую тюрьму и затем на эшафот". Приняв это мучительное решение, Цветаева, полагает автор, отказалась от своего парижского пути и выбрала свой русский путь — очереди с передачами на Кузнецком, в приемной НКВД, нищета, бездомность, а потом пароход с эвакуированными и Елабуга...

Во многих мемуарах русских эмигрантов встречаются сетования на тяготы быта, неустроенность, просто нищету. Это был удел не только русских — в 1929 году, когда рухнула нью-йоркская биржа и цены поползли вверх, началась Великая депрессия, затронувшая многих. Это время и этот Париж красочно описаны в романе Генри Миллера "Тропик Рака" (Миллеру посвящен один из сюжетов книги Зверева). Ему, начинающему американскому прозаику, приехавшему во французскую столицу, достались те же самые бедность и бездомность, что и тысячам таких же, как он, которые со всего света тянулись в Париж. Перед Второй мировой он вернулся в США — ему это не стоило тех усилий, как его русским приятелям, мечтавшим об Америке, куда не доберутся танки вермахта.

"Миллер воспел Париж как вечный приют изгнанников, — пишет Зверев. — Русские монпарнасцы вписывались в этот ряд". В главе, посвященной русским "монпарно", рассказано о многих — в том числе о самом талантливом из них, Борисе Поплавском.

Язык прозы Зверева точен, лишен "сентиментальной горячки" и очень красив. Подкупает зверевская интонация. Он знает о своих персонажах, наверное, все. Большинство людей, о которых он пишет, друг друга, мягко говоря, недолюбливали, а честно говоря — терпеть не могли. Но он не перенял от своих героев ни их враждебности друг к другу, ни их любования собой, ни их склонности к бесконечным поучениям. Ничего похожего на то, что "алкоголь" — или, как варианты, "героин, гомосексуализм, супружеская неверность, супружеская невинность" (чего только не случалось с его героями, бывало и такое) — "до добра не доводит", в его книге не встретить. Он бережен ко всем и никого (в том числе читателя) не пытается воспитывать. В его интонации соединились предельно допустимая откровенность и такая же предельная деликатность — в очень правильной пропорции.

Зверев ставит — и решает — гораздо больше задач, чем ожидается от жанра биографии. Он историк эпохи (и даже удивительно, что не ее современник, — есть такие филологи, к ним, например, и В. Вацуро относился, которые умеют чужую эпоху чувствовать как свою). Он ее добросовестный и доброжелательный комментатор. Но научная добросовестность Зверева вовсе не то же самое, что равнодушие. Он лирик, когда пишет о своих любимцах (например, о Цветаевой, о Бунине), и скептик, когда ведет речь о писателях, ему антипатичных (их, впрочем, гораздо меньше, явно нелюбимый — и то с оговорками — персонаж у него один: "красный граф" Алексей Толстой. О нем Зверев пишет в основном в таком тоне: "Красный граф состряпал этот пасквиль", "дородный, обрюзгший советский лауреат"... и т. д.).

...За пределами книги остались те, кто захотел — и смог — укорениться в жизни "французской Франции". Та же Татьяна Яковлева, героиня лирики Маяковского и "маяковского" сюжета "Повседневной жизни русского Парижа"; или Ромен Гари, сын упомянутого в книге русского актера Ивана

Мозжухина, замечательный французский писатель, единственный за всю историю Франции, кто дважды стал лауреатом Гонкуровской премии (к его книге Зверев когда-то написал очень хорошее предисловие), и т. д.

Между прочим, в книге прочитываются некоторые рифмы в их судьбе. Первый муж Татьяны Яковлевой, виконт дю Плесси, погиб в небе над Средиземным морем, сражаясь в армии де Голля. В той же армии в то же время и тоже в авиации сражался и Ромен Гари, чудом остался в живых — и об этом написал в романе "Обещание на рассвете". За несколько дней до падения Парижа Яковлевой с дочерью удалось спастись бегством в Америку. Там госпожа Либерман — так она звалась по второму мужу — прожила более пятидесяти лет и в конце жизни очень дружила с Бродским, который был частым гостем в загородном доме Либерманов.

Но, как сказал Зверев по иному поводу, "это уже другая история. В летописях русского Парижа она если и займет место, то лишь на правах приложения".

Ольга Кануникова

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Уэлш И. *Порно*: Роман / Пер. с англ. Н. Гордеевой и Т. Мухиной. — М.: АСТ, 2004. — 525 с. 5000 экз. (п)

Продолжение знаменитого романа "На игле". Те же герои, только двадцать лет спустя. Теперь, правда, они заняты не наркотиками, а подпольными съемками порнофильма в шотландском пабе. Интрига почти детективная: снимают порно два жулика. Понятно, что под конец один другого кинет. Вопрос только: кто кого?

Леви М. *Где ты?* Роман / Пер. с фр. О. Косовой. — М.: FreeFly, 2004. — 272 с. — (Фр. линия.) 5000 экз. (п)

Роман популярного французского писателя Марка Леви про любовь и про то, как люди усложняют себе жизнь. Филипп любит Сьюзен, Сьюзен любит Филиппа... Но при этом у нее слишком развито чувство социальной ответственности. Филипп думает о карьере, семье и т. д., а она — о пострадавших от наводнения в Гондурасе. И, разумеется, записывается в Корпус мира. И спасает жизни тысячам людей. Но дать нормальное воспитание собственной дочери не способна. Девочкой занимается Филипп. Чья жизненная позиция правильней, решать читателю.

Уортман Р. *Властители и судии: Развитие правового сознания в Императорской России* / Авториз. пер. с англ. М. Долбилова при участии Ф. Севостьянова. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 520 с. Тираж не указ. (п)

Одна из первых книг замечательного американского историка Ричарда Уортмана, автора недавно появившихся на русском "Сценариев власти". Когда в России возникла судебная система? Мы знаем, что судебная реформа проводилась в 1864-м... А как обстояли дела раньше? Об этом и о тех, кто готовил реформу, рассказывает книга Ричарда Уортмана. Работа содержит неизвестные архивные документы и оригинальные концепции.

Жискар д'Эстен В. *Французы*: Размышления о судьбе народа / Пер. с фр. Г. Абрамова. — М.: Ладомир, 2004. — 248 с. 15000 экз. (п)

Бывший президент Франции Валери Жискар д' Эстен пишет о своих согражданах. И добрые слова находит с большим трудом. Французы постоянно замахиваются на громкие проекты, забывая, что в кармане пусто. Французы плохо знают собственную историю до 1789 года. У французов слишком много парламентариев на душу населения: свыше 700 на 60 миллионов человек (у американцев всего 300, хотя население США в пять раз больше)... Главная загадка: как бывший президент сумел сохранить такое, мягко говоря, пристрастное отношение к соотечественникам? Видно, сильно намучился со своим народом.

Коллина П. *Мои правила игры* / Пер. с ит. — М.: АСТ, Астрель, 2004. — 191 с. 5000 экз. (п)

Самый знаменитый арбитр современности, лысый и пучеглазый итальянец Пьерлуиджи Коллина о судейском ремесле вообще и своей судейской практике в частности. Как становятся судьями,

чем питаются судьи (вовсе не игроками, как можно было бы подумать), как судьи готовятся к матчам, как судьи приходят в себя после матчей. Судей даже жалко. Эти ребята всегда вынуждены болеть против "своей" сборной. Ведь чем раньше собственная команда вылетит из кубка, тем больше шансов у арбитра судить финал. А главная идея книги Колины — "давайте жить дружно"...

Декруазетт Ф. *Повседневная жизнь Венеции во времена Гольдони* / Пер. с фр. Е. Морозовой. — М.: Мол. гвардия, 2004. — 286 с. 5000 экз. (п)

Венеция в середине XVIII века — конец венецианского политического могущества и золотой век венецианской культуры. Венецианские галеры больше не хозяйничают в Средиземноморье, зато в этом городе творят лучшие драматурги своего времени. Настоящий путеводитель по Венеции, только не по сегодняшней, а по той, прежней... Дворцы, площади, каналы. И, разумеется, прекрасные местные традиции. Между прочим, именно жители Венеции научили европейцев правильно пить кофе. Для этого они придумали кафетерии.

Пирсон Э. *И как ей это удается?* Роман / Пер. с англ. Е. Ивашины. — М.: Фантом Пресс, 2004. — 480 с. (PHANTIKI) 7000 экз. (ц)

Англичанка на грани нервного истощения. Муж, дети, карьера — непонятно, как ей на все хватает времени. А его и не хватает. Домашние дела не выполняются месяцами. Детей воспитывает няня... На мужа (вообще-то любимого) тоже не остается ни нежности, ни внимания. Милая романтическая комедия с любопытными подробностями из лондонской жизни. Оказывается, у них там все, как у нас: очереди в магазинах, для поступления в элитную школу нужен блат, в волосах школьников заводятся вши, в домах — крысы, а для более эффективной борьбы с крысами отключают горячую воду.

Токарчук О. *Правек и другие времена* / Пер. с польск. Т. Изотовой; послесл. П. Чаплинского. — М.: Новое литературное обозрение, 2004. — 336 с. (Современное европейское письмо. Польша). Тираж не указ. (о)

Книга одной из самых популярных сегодня польских писательниц. Бестселлер 1996 года. Жизнь польской деревни от Первой мировой и до начала 1980-х. Никакие войны и катаклизмы не могут поколебать спокойное течение событий в маленькой деревеньке. В традиционную сельскую сагу Токарчук вплетает волшебство: ее деревню населяют не только крестьяне, но и колдуны, водяные, духи...

Левит И. *Сказки доктора Левита: Беспокойные герои.* — М.: Мосты культуры, 2004; Иерусалим, 5764: Гешарим. Тираж не указ. (п)

Рассказ о двух создателях израильской армии: российском еврее Иосифе Трумпельдоре и британском офицере Чарльзе Орде Уингейте. Трумпельдор в русско-японскую войну стал полным георгиевским кавалером, в Первую мировую создал еврейскую часть в составе британской армии. Погиб в 1920-м в мелкой стычке в Галлилее, после чего израильскую армию создавал британец Уингейт. Вернее, он создал для охраны нефтепровода от набегов арабских повстанцев несколько рот. От них-то все и пошло. По форме книга Левита — парная биография, или парный портрет двух очень "беспокойных" героев. А по сути, по реальному замыслу — история сионизма на одном из ранних этапов.

Великобритания

Прогулки по Лондону с сотовым телефоном

Отныне те, кто хочет посетить исторические места Лондона, могут вместо экскурсовода воспользоваться услугами мобильной связи и прослушать по телефону инсценировку "Биографии Лондона" Питера Акройда (отрывки из нее опубликованы в "ИЛ", 2002, № 10). Замысел использовать книгу в качестве своеобразного путеводителя принадлежит корпорации Би-би-си, ранее уже выпустившей ее телевизионную версию.

Пока разработано пять маршрутов, каждый из которых охватывает семь достопримечательностей. Чтобы услышать, что писал Акройд по поводу каждой из них, необходимо набрать определенный номер. В будущем организаторы проекта собираются включить в программу отрывки из произведений Уильяма Шекспира, Уильяма Блейка, Чарльза Диккенса и Вирджинии Вулф.

Неизвестный рассказ Киплинга

В весеннем номере журнала, издаваемого обществом Киплинга, впервые увидело свет неоконченное произведение английского классика, написанное более ста лет назад.

Рассказ "Сцилла и Харибда" принадлежит к тому же циклу, что истории о школе, вошедшие в сборник "Стоки и компания", который был опубликован в 1899 году. В Англии книга неоднократно переиздавалась, хотя в свое время критики сочли ее вредной: покоробило их то, что школьные будни в ней описывались глазами троих озорников, не ставивших ни в грош авторитет взрослых. В "Сцилле и Харибде" Стоки и его друзья выводят на чистую воду заносчивого полковника, который жульничает во время игры в гольф.

Рукопись была найдена в архивах Имперского колледжа госслужбы, преемницы заведения, где учился писатель. Исследователям понадобился почти год на то, чтобы расшифровать почерк Киплинга — в напечатанном виде текст занял 62 страницы.

Рассказ был написан в 1897 году, когда автору было 32 года. По всей очевидности, он хотел открыть им сборник, но затем, сочтя его слишком слабым, так и оставил недописанным. Среди героев Киплинг изобразил и себя — в образе мальчика по имени Битл, — толстого, неуклюжего очкарика, которым вечно помыкают друзья.

Германия

Юность Канта

Аскет, зануда и педант, по ежедневным прогулкам которого домохозяйки могли сверять часы, — такой образ Иммануила Канта закрепился в сознании большинства людей. Однако, как следует из биографии Манфреда Кюна, выход которой приурочен к двухсотлетию со дня смерти философа, в молодости родоначальник немецкой классической философии отнюдь не чуждался светских развлечений. Он был частым гостем на шумных вечеринках, любил сыграть партию в бильярд или пропустить рюмочку с приятелями, одевался ярко, но со вкусом и обладал тонким чувством юмора. "Канта принято изображать человеком, ведущим механическую жизнь, — замечает Манфред Кюн. — Это представление соответствует тому, что мы знаем о пожилом Канте. Но в юности он был совсем другим".

Несмотря на то, что Кант никогда не был женат, в его судьбе оставили след две женщины, к которым он испытывал "любовный интерес". Но завести семью он, если и мог, то лишь после публикации знаменитой "Критики чистого разума", которая принесла ему не только славу, но и деньги. Тогда философу было уже 57 лет — не самый подходящий возраст для вступления в брак.

Помимо исследования Кюна, недавно увидели свет также "Мир Канта" Манфреда Гайера и "Иммануил Канта" Штефена Дича. Эти три книги стали первыми биографиями великого философа, написанными после почти полувекового перерыва.

США

Метафизика Пола Остера

Произведения Пола Остера неизменно привлекают к себе внимание читателей в разных странах. Не стал исключением и его последний роман "Ночь оракула", переведенный уже на несколько языков. По случаю появления французского издания, еженедельник "Нувель обсерватёр" опубликовал интервью с прозаиком.

Герой "Ночи оракула", писатель Сидни Орр, однажды купил в китайской лавке голубой блокнот, который, как обнаружилось позднее, обладает магической силой. У Сидни складывается впечатление, будто это не он сочиняет рассказы и записывает их в блокнот, а они возникают самопроизвольно, без его участия. Одна история перетекает в другую, персонажи множатся, повествование набирает ход и превращается в роман об издателе Нике Боуэне, двойнике Сидни.

Как и другие произведения Остера, "Ночь оракула" полна мистификаций, аллегорий и парадоксов, реальность в романе сплетается с фантазией, сюжет развивается, словно двигаясь по ленте Мёбиуса.

Замысел этой книги появился у Остера более двадцати лет назад во время свадебного путешествия в Париж. Незадолго до возвращения домой приятель подарил ему небольшой красный блокнот. Подарок и натолкнул Остера на мысль о романе, в котором блокнот играл бы роль проводника в иное измерение, где нет четкой грани между прошлым и настоящим.

В 1989 году Остер получил письмо от знаменитого немецкого режиссера Вима Вендерса с предложением поработать в кино. Они встретились и стали вместе придумывать сюжет будущего фильма. Вендерс хотел положить в основу сценария судьбу одного из персонажей романа "Мальтийский сокол" Д. Хэммета, который внезапно бросает все — жену, работу, дом — и исчезает из виду с тем, чтобы начать новую жизнь. Фильм не был снят по финансовым причинам, однако некоторые детали из набросков, сделанных в тот период, Остер позднее включил в "Ночь оракула".

По словам писателя, работать он предпочитает по старинке: пишет чернильной ручкой, иногда карандашом. Имеется в его арсенале и старенькая печатная машинка. Компьютером не пользуется, возможно, поэтому работа идет медленно, обычно получается одна-две страницы в день.

Франция

Девальвация литературных премий

По данным журнала "Лир", сегодня во Франции ежегодно присуждается почти тысяча литературных премий, причем их число постоянно увеличивается. "Складывается такое впечатление, что существует некий скрытый источник энергии, который, действуя на систему, заставляет ее расширяться до бесконечности, — отмечает критик Бертран Лаб. — Кроме того, изменилось и само назначение премий. Если раньше во главу угла ставился литературный критерий, то теперь в большинстве случаев премирование стало чисто рекламной акцией".

В конце апреля впервые была вручена премия Эдуара Карлье, ныне покойного "легендарного хозяина" одного из ресторанов на Монмартре. Этой премией отмечается французский роман, "пропагандирующий радости жизни". Обсуждение кандидатур — в присутствии журналистов — проходило в бывшем ресторане Карлье. Здесь же состоялась торжественная церемония, во время которой победитель получил чек на две тысячи евро.

В середине мая были названы имена двух первых лауреатов премии женского журнала "Мари Франс". Хотя сама награда не имеет денежного эквивалента, премированные книги будут опубликованы одним из крупных издательств. А в конце того же месяца состоялось вручение премии "Водевиль", учрежденной одной из парижских пивоварен.

Не подрывает ли обилие премий их престиж? "Поскольку люди все равно почти ничего не читают, — замечает Бертран Лаб, — раздача наград мало что меняет. Да и библиотеки не очень-то рады, когда им присылают груду книг, на суперобложках которых значится, что они получили никому не известную премию".

Портрет художника в образе паяца

Фигуру шута можно обнаружить в разных культурах и в разные эпохи. И во времена Гомера, и во времена Платона, и во времена Шекспира его функцией было "царей оскорблять, презирая пристойность, все

позволяя себе, что казалось смешно для народа". В средневековой Европе арлекин был основным персонажем комедии дель арте. В XVIII веке венецианский художник Джованни Тьеполо (1727—1804), заинтригованный масками и экстравагантными нарядами, изобразил труппу бродячих артистов из северной Италии. В XIX и начале XX века цирковая тематика притягивала таких мастеров, как Домье, Пикассо и Тулуз-Лотрек.

Выставка "Большой парад", организованная Музеем изящных искусств Канады и Объединением национальных музеев Франции, прослеживает тему "художник и шут" с древних времен до наших дней. Ей посвящено более 200 экспонатов — картин, скульптур, аудиовизуальных инсталляций, — собранных в залах Гран-Пале в Париже.

Каковы точки пересечения между живописью и цирком? Почему, например, Пикассо изобразил себя в костюме арлекина? Чтобы найти ответ на эти вопросы, необходимо обратиться к истории. В XVI-XVII веках живописец занимал привилегированное положение в обществе. Его статус резко изменился в конце XVIII века. Из персоны, обласканной властью, он превратился в лицо, занимающее нижние ступени в социальной иерархии, стал играть почти ту же роль, что и шут при дворе или клоун на цирковой арене. И тому, и другому приходилось не только бросать вызов нравам, затрагивая темы, которых обычно не принято было касаться в респектабельных кругах, но и веселить и ублажать публику, при этом часто не находя у нее понимания. Эту двойственность, ведущую к драматическому внутреннему разладу, отметил в своей книге "Портрет художника в образе паяца" известный швейцарский филолог и историк культуры Жан Старобинский, на многие идеи которого опирались устроители экспозиции.

По материалам информационного агентства АФП [Франция], газет "Гардиан" и "Лондон телеграф" [Великобритания], еженедельников "Экономист" [Великобритания] и "Нувель обсерватёр" [Франция].

Грэм Свифт
Graham Swift
[р. 1949]. Английский писатель.

Автор романов *Хозяин кондитерской* [*The Sweet-Shop Owner*, 1980], *Игрушка судьбы* [*Shuttlecock*, 1981], *Земля воды* [Waterland, 1983, литературная премия газеты *Гардиан*; рус. перев. 2003], *Отныне и навсегда* [*Ever After*, 1992, французская литературная премия *За лучшую иностранную книгу года*], *Вне этого мира* [*Out of This World*, 1998]. В *ИЛ* напечатаны роман *Последние распоряжения* [*Last Orders*, 1998, № 1] и рассказы из сборника *Учимся плавать* [*Learning to Swim and Other Stories*; 1997, № 2].
Публикуемый роман печатается по изданию *Light of the Day* [London: Hamish Hamilton, 2003].

Жан-Клод Пенсон
Jean-Claude Pinson
[р. 1947]. Французский поэт, философ, эссеист.

Автор поэтических книг *Лай на берегу* [*Laïus au bord de l'eau*, 1993], *Фадо (со снежинками и призраками)* [*Fado (avec flocons et fantômes)*, 2000] и др., а также ряда трудов по философии, эстетике и литературной критике. На русский язык переведена его книга *Гегель, право и либерализм* [*Hegel, le droit et le libéralisme*, 1989]. В *ИЛ* были напечатаны его стихи [1999, № 1].
Публикуемые стихи взяты из сборников *Я здесь живу* [*J'habite ici*. Seyssel: Éditions Champ Vallon, 1991] и *Краткий курс моральной философии* [*Abrégé de philosophie morale*. Seyssel: Éditions Champ Vallon, 1997].

Константинос Кавафис
Konstantinos Kavaphes
[1863–1933]. Греческий поэт.

Родился и всю жизнь жил в греческой общине древней эллинистической столицы, а в то время – арабского города Александрия (Египет).
При жизни поэта вышли два его сборника *Стихотворения* [*Ποιήματα*, 1904 и 1910], оказавших позднее большое влияние на греческую и европейскую поэзию XX века. На русском языке вышла его книга стихов *Лирика* [1984]. Стихи Кавафиса печатались в *ИЛ* [1967, № 8; 1983, № 12; 1995, № 12].

Ирина Игоревна Ковалева
Филолог, переводчик с греческого и английского, критик. Кандидат филологических наук.

Автор стихотворных сборников *В прошедшем времени* [2002], *Кукольный ящик* [2002] и *Юбилейный гимн* [2003]. Переводила стихи и прозу Г. Сефериса, прозу Константиноса Кавафиса, стихи О. Элитиса, М. Сахтуриса, Т. С. Элиота и др. В *ИЛ* в ее переводе публиковались стихи Ага Шахида Али [2003, № 1].

Мирослав Крлежа
Miroslav Krleža
[1893–1981]. Хорватский прозаик, поэт, драматург, эссеист, публицист. Лауреат многих национальных литературных премий, а также международной премии имени Гердера [1968].

Автор романов *Возвращение Филипа Латиновича* [*Povratak Filipa Latinovića*, 1932], *На грани безумия* [*Na rubu pameti*, 1938], *Банкет в Блитве* [*Banket u Blitvi*, 1938], *Знамёна* [*Zastave*, 1963–1969], сборников новелл *Хорватский бог Марс* [*Hrvatski bog Mars*, 1922] и др., поэтических сборников *Стихи* [*Pjesme*, 1919], *Лирика* [*Lirika*, 1919], *Симфонии* [*Simfonije*, 1933], *Баллады Петрушки Керемпуха* [*Balade Petrice Kerempuha*, 1936] и др., пьес *Голгофа* [*Golgota*, 1922], *Агония [U agoniji*, 1928], *Господа Глембаи* [*Gospoda Glembajevi*, 1928], *Леда* [*Leda*, 1932], *Аретей* [*Aretej*, 1959] и др., сборников эссе *Европа сегодня* [*Evropa danas*, 1935], *Диалектический антибарбарус* [*Dialektički antibarbarus*, 1939] и др. В русском переводе выходили его книги: *Избранное* [1958 и 1980], *Знамёна* [1984], *Бал-*

лады Петрушки Керемпуха [1986]. На русской сцене исполнялись пьесы *Господа Глембаи* и *Агония.*
Публикуемые главы печатаются по изданию *Izlet u Rusiju* [Zagreb: Narodna knjiga, 1926].

Станислав Баранчак
Stanisław Barańczak
[р. 1946]. Польский поэт, эссеист, переводчик. Лауреат премии *Ника* [1999].

Автор сборников *Зимнее путешествие* [*Podróż zimowa*, 1994], *Хирургическая точность* [*Chirurgiczna precyzja*, 1999].
Публикуемое эссе взято из книги *Сохраненные в переводе* [*Ocalone w tłumaczeniu.* Poznań: a5, 1994].

Мария Поэлевна Карп
Переводчик стихов и прозы с английского и немецкого языков. Живет в Лондоне, работает на Русской службе Би-би-си. Лауреат премии *ИЛ* [1991].

В ее переводе публиковались стихи У. Х. Одена, Дилана Томаса, Э. Дженнингс, поэма Н. Ленау *Дон Жуан,* повесть Джорджа Оруэлла *Скотское хозяйство* [2001], роман Вирджинии Вулф *Комната Джейкоба* [ИЛ, 1991, № 9] и др.

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Леонид Юльевич Мотылев
[р. 1955]. Переводчик с английского, лауреат премии *Иностранка* [1999].

В его переводе издавались произведения А. Рой, С. Рушди, У. Фолкнера, Дж. Конрада, Ф. О'Коннор, Т. О'Брайена, П. Акройда, И. Б. Зингера, А. Грея, Ф. Рота и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ.*

Александр Давидович Давыдов
[р. 1953]. Переводчик с французского, прозаик, издатель.

Переводил стихи Ж. де Нерваля, Г. Аполлинера, А. Рембо, Ж. Превера, а также прозу М. Турнье, Ж. Полана, Л. Повеля и др. Издает культурологический журнал *Комментарии.*
В *ИЛ* опубликованы его переводы стихов М. Сен-Мартена [1995, № 6].

Наталья Михайловна Вагапова
Литературный и театральный критик, переводчик с сербского, хорватского, словенского и македонского языков, кандидат искусствоведения. Лауреат международной премии имени Юлия Бенешича [1982].

Автор книг *Формирование реализма в сценическом искусстве Югославии. 20—30 годы XX века* [1983], *БИТЕФ: театр и фестиваль* [1998]. В ее переводе изданы произведения И. Андрича, М. Крлежи, М. Матковича, А. Хинга, Б. Зупанчича, Ч. Сиярича, Г. Стефановского, М. Павича. В *ИЛ* печатались ее статьи, а также переводы глав из книги М. Матковича *Американский триптих* [1976, № 5], новеллы *Шляпа из рыбьей чешуи* [1997, № 1], рассказа *Корсет* [1998, № 4], и повести *Стеклянная улитка* и новеллы *Дамаскин* [1999, № 10] М. Павича, романа М. Гаврана *Юдифь* [2003, № 4] и др.

Ирина Витальевна Киселева
Славист, переводчик с польского и нидерландского языков, кандидат филологических наук.

Готовятся к печати ее переводы романа Р. Капусцинского *Шахиншах,* повести А. Онихимовской *Гера — моя любовь,* рассказов О. Токарчук, Е. Сосновского, Х. Клауса.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (– В ЦЕНТРЕ ГОРОДА –) В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины итальянского писателя, художника, музыканта Альберто Савиньо [наст. имя Андреа де Кирико; 1891–1952]
Смерть Великого Помпея [1929].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran
http://www.inostranka.ru

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: inostranka@lenta.ru
e-mail: journal@inostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 20.07.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1740.
Тираж 7 800 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

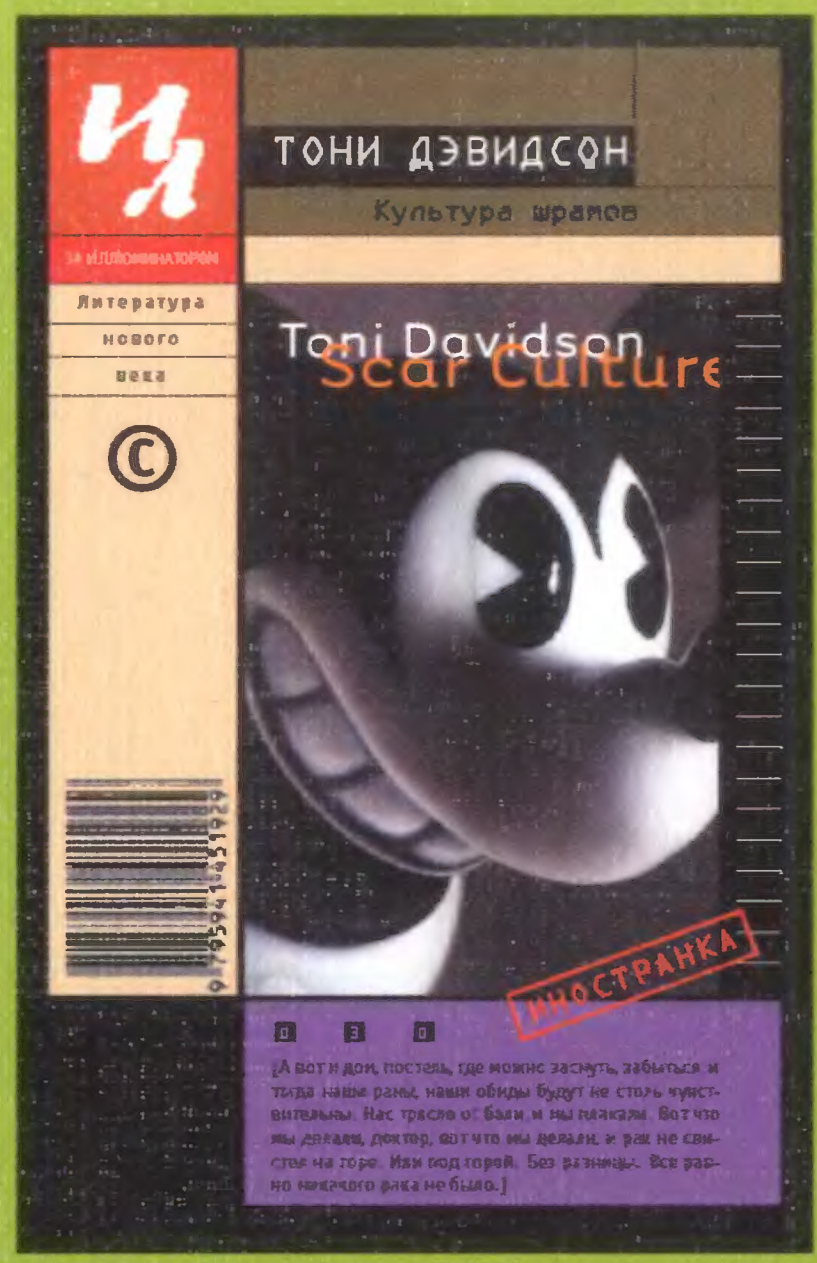
[9] 2004

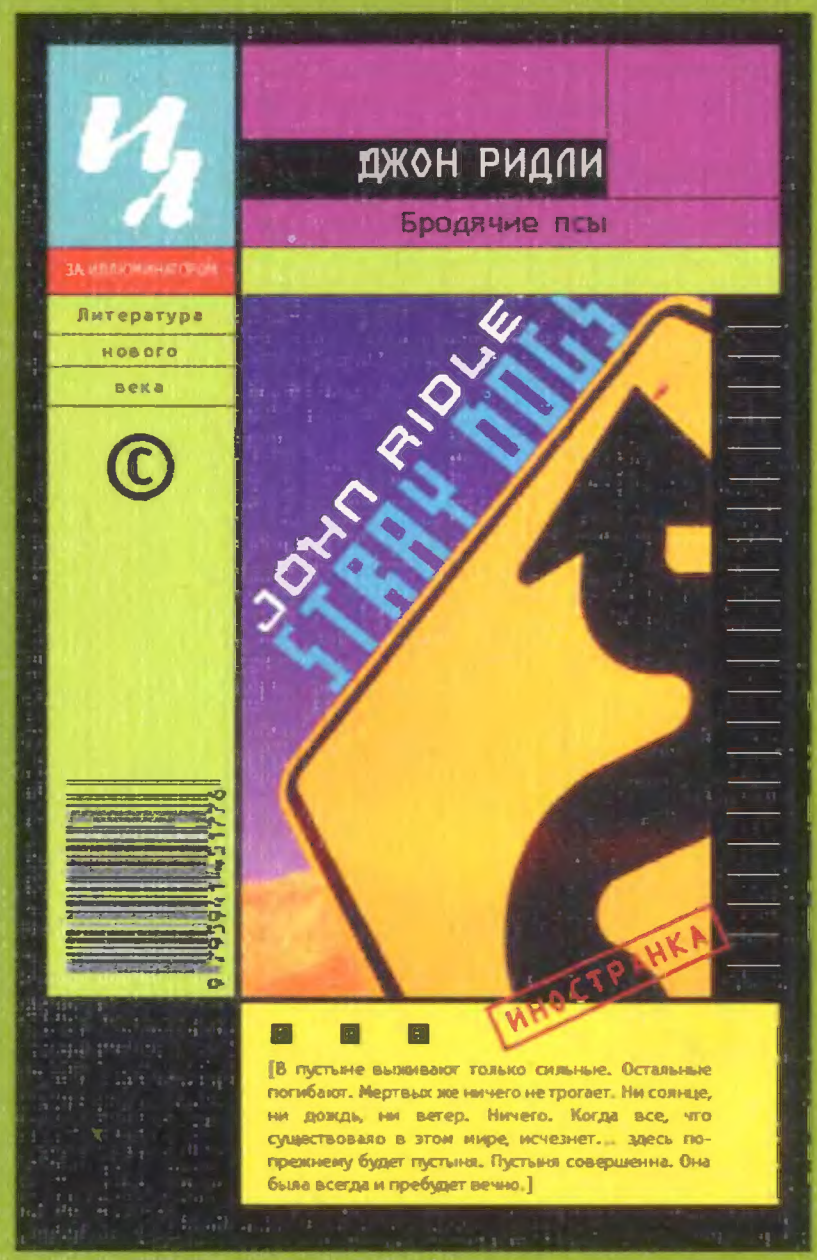
РОМАН ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА “WINDOWS ON THE WORLD” / РАССКАЗЫ НАДИН ГОРДИМЕР, УЗИ ВАЙЛЯ И ХАВЬЕРА МЕНДИГРЕНА / “ОСАДА ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА” ДЖУЗЕППЕ БОНАВОЛОНТЫ И МАРКА ИННАРО И “АВТОБИОГРАФИЯ” ИЛЬИЧА РАМИРЕСА САНЧЕСА В РУБРИКЕ “ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА” / ХЕФРИД МЮНКЛЕР, СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ, ДОН ДЕЛИЛЛО, АНДЖЕЙ СТАСЮК, ЧАРЛЬЗ СИМИК И ДОРОТА КУБАЦКАЯ-ЯСЕЦКАЯ ГОВОРЯТ О ТЕРРОРИЗМЕ

Новая серия издательства "Иностранка"

"За иллюминатором"

"ИЛЛЮМИНАТОР" НОВОГО ВЕКА





По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство "Иностранка"
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефонам: в Москве (095) 289 0284;
в Екатеринбурге (3432) 74 4423

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №8, 1-288